

И О В Ы И
М И Р

И О В Ы И
М И Р

1969

И О



1969

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 10

Октябрь 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАКСИМ ТАНК — Из новых стихотворений. Перевел с белорусского Я. Хелемский	3
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Четыре стихотворения. Перевели с литовского Петр Вегин, Ю. Левитанский	6
С. СЛАВИЧ — В поисках Киммерии	11
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Снегопад; Женский портрет. XVIII век, стихи	65
В. ШУКШИН — В селе Чебровка, рассказы	67
МУСТАЙ КАРИМ — Из лирики, стихи. Перевели с башкирского Ирина Снегова, Елена Николаевская	95
ЛЮБОВЬ КАБО — В тот день, рассказ	99
Н. МЕЛЬНИКОВ — Пассажирский 83-й. Из записок корреспондента	106
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Потусторонние встречи (Из мюнхенской тетради)	129

ПУБЛИЦИСТИКА

А. НЕЖНЫЙ — Города, которые мы строим	188
---------------------------------------	-----

В МИРЕ НАУКИ

Ю. ШРЕЙДЕР — Наука — источник знаний и суеверий	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОГНЕВ — Поэзия Ираклия Абашидзе	227
------------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	233
-------------------------------	-----

Г. Березкин. Годы тревог и мужества.— Б. Закс. Аркадий Гайдар в газете.— Ю. Буртин. «Может быть, это мои прощальные письма...»— В. Портнов. Целое и детали.— Александр Gladkov. Литература и театр.— Р. Орлова. Женщина охраняет дом.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	258
Г. Водолазов. Человек против идолов.— А. Каждан. Единство и многообразие.— О. Лацис. Правда и ложь статистики.— Р. Баландин. От факта к гипотезе.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	273
КОРОТКО О КНИГАХ — Александр Големба. Грамши.— Александр Дракохруст. И нет конца тревогам.— Культура чувств.— Ник. Смирнов. Золотой Плес.— Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии.— О. В. Орлик. Россия и французская революция 1830 года.— М. Я. Гринблат. Белорусы.— Г. Бояджиев. Итальянские тетради.— Г. Г. Поспелов. Русский портретный рисунок начала XIX века.— Бартоломе де Лас Касас. История Индии.— Юл. Медведев. Безмолвный фронт.— Дж. М. Барри. Питер Пэн и Венди.— Вопросы киноискусства	275
В. КАВЕРИН. Памяти К. И. Чуковского	284
ОТ РЕДАКЦИИ	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МАКСИМ ТАНК

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

С белорусского

ВОСХОД СОЛНЦА

Наступающий день
Снится прежде всего петухам.
Но никто им не верит.
Только старая мать,
Их сигналы услышав, проснется,
Разбудит свою кочережку,
В печи раздует огонь,
Хлеб перекрестит
И положит на стол.
А потом
Черета облаков над селом
Затеплится,
Словно рассветная песня жаворонка.
И аист —
Наш испытанный часовой —
Достанет солнце,
Осторожно его потюкает клювом
И даст поиграть аистяткам.
Пускай позабавятся,
Пока из большого, щелястого их гнезда
Не выскользнет солнце
И, упав на завалинку хаты,
Не рассыплется перезвоном мельчайшим --
Клепкой кос,
Каплями росы
Или песней трубы-берестянки.

Интересно —
Все так же солнце
И сегодня восходит
В нашем селе
Пильковщина?

ПЕРЕНЕСЕНИЕ УРНЫ С ПРАХОМ КУПАЛЫ

Мы долго не решались эту урну
Перенести в края, где он когда-то
Увидел свет, и пуши, и поля.

Боялись растравить былую боль
 Земли, что родила его в страданиях,
 А в пору зрелости его

не раз

Под бомбами то кровью обливалась,
 То глела, головешками чадя.

Мы думали: когда залечим раны,
 Когда запашем старые окопы,
 И вырастим хлеба на пепелищах,
 И вновь подвесим зыбки к потолкам
 В своих домах, поднявшихся из пепла,
 Не так земле спасенной будет больно
 Вновь пережить безмерную утрату.

И все ж бессильным оказалось время.
 С годами все острее мы ощущаем
 Невосполнимую потерю эту.
 И оттого у каждого из нас,
 Благоговейно доставлявших урну
 К порогу вечного захороненья,
 Сгибались плечи под легчайшим прахом
 Сильней, чем под губительной грозой,
 Чем под свинцовым градом лихолетья.

ХОТЬ РАЗ В ГОДУ

Необходимо
 Хоть раз в году
 Пройти босиком бороздою за плугом,
 Обновить свои давние связи
 С родней,
 С весенней землей,
 С травой, с валунами.

Необходимо
 Хоть раз в году
 Посетить магазин игрушек,
 Купить малышу подарок,
 И, кто его знает,
 Может, он, получивший копеечную ракету,
 Подарит потом человечеству
 Галактику счастья.

Необходимо
 Хоть раз в году
 Посетить и кладбище,
 Чтобы вновь убедиться в простейшей истине —
 Ты, увы, не навечно приписан
 К этой зеленой планете
 И к должности, которую занимаешь,—
 Ибо даже и те,
 Что почили с комфортом
 Под мрамором эпитафий,
 Под бронзой реквиема,

В триумфе венков и речей,
Если они по себе
Не оставили добрую память,
Были только случайными прохожими
На этой планете.

* * *

Начинается осень не тогда, когда синий
Сивер лезет за пазуху, заставляя поежиться,
Не тогда, когда ветви в сквозной паутине
И стерня на пригорке щетинится ежиком,
А тогда, когда птиц торопливая стая
Жар последних лучей унесет, улетаю,
Лишь оставив взамен уцелевшую гроздь на рябине,
Как подарок для той, что к венцу собирается ныне,
По которой вздыхал ты на танцах, на шумных вечерках...
Но уже не тебе будет свадьба командовать: «Горько!..»

КЛЕВЕР

Неделю напролет
Все шмели, все пчелы
Поджигали соцветия клевера.
И вспыхнуло поле,
И так запольхало,
Что пришлось торопиться
С косами и граблями,
Чтобы пожар не успел перекинуться
На нашу деревню.

Теперь вечерами,
Пока усмиренное полымя
Не вывезли с поля,
Копны глеют закатной зарей,
Теплятся светлячками,
Звенят несмолкающим девичьим смехом,
Который, как падающую звезду
В темнеющем небе,
Нелегко отыскать
В этом пьяном, как сон,
И огнеопасном, как порох,
Клевере.

Перевел Я. Хелемский.



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С литовского

Апокалиптический диалог

...Кошмары наступают среди сна...

...Сон черной кровью истекал в рассвет,
и кто-то закричал:

— Война! Война!..

Ответил кто-то: нет.

Ответил: нет.

Нет. Нет...

Кричали: счастье рушится твое...

Ответили: его не размести.

Кричали: отниму гнездо, жилье...

Услышал я: вот лира — защити.

Кричали: затопило города...

В ответ звучало: солнцем золотым.

Кричали: океанская вода

отравлена...

В ответ: цветов хотим.

Кричали: вся сирень стоит в крови...

В ответ звучало: светит синевой.

Кричали: птицы падают, мертвы...

Ответили: летят над головой.

Кричали:

— Пули зреют, не зерно...

— Живите хлебом, — чей-то был ответ.

Кричали:

— Кровью тело истекло...

Ответил кто-то:

— Нет.

Ответил:

— Нет!

— Да!..

...Я, спотыкаясь, по полям бежал.
— Поберегись! — кричали мне шутя.
Передо мной росточек ржи дрожал,
и я упал и плакал, как дитя.

И сквозь слезы прозрачный кристалл,
что был наполнен солнцем до краев,
я видел — остров сказочный вставал
в сплетенье фантастических цветов!

Цветком багряным здесь любовь цвела.
Надежды зелень — словно лен весны.
Печаль, поэта вечный друг, была
исполнена высокой синевы.

Та красота могла бы ослепить...
И поднялся я, хмурый после сна.
Но, приготовясь к берегу уплыть,
знакомые услышал голоса...

Кричали:
— Крови черная волна
охватит остров... все затмит кругом...

Кричали:
— Ты бессилён, не вольна
рука. Тебе не править кораблем...

— Нет!

И мертвые опять встают стеной,
и мученики заслоняют свет...
Но возникает остров предо мной,
и повторяю я — нет,
нет, нет, нет...

...Вой бомб, тела космических ракет
в меня, в меня нацелены опять...
Но пробудившийся во мне поэт
не прекращает — нет,
нет — повторять.

...Сквозь слезы к острову я плыл, сквозь пелену
сна, кровью истекавшего в рассвет...

— На войну плыви, на войну, войну — войну!..

...Но я все время
повторял:

— Нет.

— Нет...

Каменное презрение. Лицо

Лицо —
гранитный монолит...

...ни мускул
в нем не задрожит...

...его
гранитные глаза
не одухотворит слеза...

Укутавшись
в саги и руны,
войдя
в морские буруны,
которые охлестывают
береговой гранит,
лицо, как оцепеневший
викинг, стоит
в ночные
волны закованное,
и снится ему
далекое средневековье...

— Ты, Человек,
ты предал сам забвенью,
как превращаются
сердца — в камень...
И провожает
города агонию
окаменевших
мертвых губ ирония.

И провожает
сутолоку масс
презрение
окаменевших глаз...

...Лицо —
из камня онемелого,
из мускула окаменелого.

...окаменевшие глаза
не одухотворит слеза.

...и сердца каменного стук
ничей здесь не услышит слух.

...не внемлет каменное ухо
ни жалобам, ни стонам — глухо.

...Ему приятно разразиться
тяжелым хохотом гранита.

О каменная бравада!
.....
Читаю Ибсена.
«Бранда»...

В этом белом лесу и высоком
мы сегодня гостинцы получим —
два бочонка
с березовым соком
и с березовым медом пахучим.

В ожиданье сладчайшего блага
мое сердце никак не стихает.
...И блестит на щеках моих влага,
с подбородка блаженно стекает.

Пью из бочки,
едва ль не до ночи
(молодая весна, молодая!),
а потом я ору что есть мочи,
вместе с ветром к траве припадая.

Тишина над березовой чашей,
синева высоко над лугами.
Пьем медовый напиток горчащий,
утираемся смачно руками.

А березы плечами поводят,
хороводом меня окружают,
и в честь праздника
песню заводят,
и меня с ними петь приглашают.

Что мне петь?
(Стало поле лилово,
лишь вдали розовеет полоска...)
Я так мал еще, честное слово,—
просто к небу тянусь, как березка.

Но растет мое сердце —
найди-ка
государство огромней на свете!
Небо — вот его лучшая книга,
а рисунок — звезда на рассвете.

...В этой вечно молчащей Вселенной,
в этом грохоте вечном и гуле,
дорости до звезды отдаленной —
как когда-то Чюрленис —
смогу ли?

Буду с вами расти, не оставлю
вас, березы из рощиц окрестных,
и когда-нибудь книгу составлю
из созвездий,
пока неизвестных.

Перевел Ю. Левитанский.



С. СЛАВИЧ

★

В ПОИСКАХ КИММЕРИИ

1. Признание

В начале мая я поеду в Керчь. Не удивляйся: как, мол, опять? Да, опять. Конечно, все, что нужно увидеть, давно осмотрено, все, что нужно помнить, никогда из памяти не изгладится, почти каждый шаг заранее известен, и, однако, стоит вспомнить о Керчи — тут же хочется побывать в ней опять.

Как всегда, вечером посмотрю на гору Митридат. Горит огонь? Горит и будет гореть вечно. А глянув на этот огонь, я вспомню о маяках, о друзьях-мореплавателях, которых жизнь разбросала по всей планете, и в сотый, наверное, раз подумаю: удивительный город! Вот уже сколько тысячелетий море исправно берет с него дань. Рано или поздно едва ли не каждый второй из здешних парней ступает на палубу, чтобы потом прокататься на ней всю жизнь.

Я спрошу себя: а бесшумно ли вертится Земля? Конечно, нет! Просто мы притерпелись и перестали воспринимать скрип ее оси, нам не слышен пронзительнейший свист, с каким Земля рассекает пространство выпуклостью экватора, — все это свелось к еле ощутимому звону в ушах. Сейчас, когда молчат цикады, особенно явственно слышен этот звон.

Вот она скрипнула, повернулась к солнцу другим боком, спрятала нас в тень, и на всем побережье разом вспыхнули разноцветные маяки. На рассвете погаснут. Как ни романтично они выглядят, разбросать эти светлячки людей вынудила простая житейская необходимость. *Navigare periclitose est*¹. Но есть другие, в е ч н ы е огни, зажечь которые заставила память. Не знаю, сколько их во всем мире. Один мне особенно дорог — в Керчи, на горе Митридат.

9 мая огней на Митридате будет много. С утра начнут собираться люди. Год назад они условились снова встретиться здесь. Токари, бухгалтеры, пенсионеры, рыбаки, виноградари, ночные сторожа, учителя, шоферы опять ненадолго станут моряками, пехотинцами, саперами, артиллеристами и летчиками, участниками десантов, прорывов, арьергардных боев на залитой кровью переправе.

Запылают костры, и вокруг них возникнут землячества. Во время войны земляком для москвича был москвич, для сибиряка — сибиряк, для уральца — уралец. Сейчас все будет по-другому. Встретятся земляки по дивизиям, полкам и морским бригадам.

¹ Плавать по морю необходимо (лат.).

У одного костра появится бочонок местного вина, у другого — бутыл с кукурузной кочерыжкой вместо пробки, будут песни, разговоры, слезы, неожиданные встречи, тосты «за нашего комбата, да будет земля ему пухом», будут притихшие пацаны, и тарань, и вяленые бычки, и бабауля горячего копчения. Я все свалил в одну кучу, но такой это город и такова, между прочим, жизнь.

Не много найдется мест, где в такой степени испытываешь на каждом шагу соприкосновение с историей. Она предстает перед тобой с самого начала — со стоянок пещерного человека. Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, греки, римляне, готы, гунны, хазары, славяне, итальянцы, татары, турки... — каждый народ оставил свой след. Как на речном обрыве иной раз видишь то прожилку угля, то отложения давно исчезнувшего моря, то затвердевший лавовый поток, так здесь открывается в разрезе почти вся история человечества. В одной борозде от плуга лежат обломок амфоры и осколок снаряда. Рядом — скифский курган, в склон которого врыт железобетонный дог. И тут же вспарывает степь, добывая руду, исполинский отвальный мост, дымит похожая издали на старинный многотрубный крейсер электростанция, пышет жаром еще не остывшего агломерата железорудный комбинат.

Склоны горы Митридат опоясаны террасами увитых виноградом улочек. В их облик сохранилось что-то средиземноморское. С улицы на улицу ведут ступени, двory вымощены каменными плитами, которым сотни лет; фасады домов до сих пор хранят следы артиллерийских обстрелов времен минувшей Великой войны. Эти следы никто не замазывает и не пытается скрыть. Может быть, ими даже гордятся.

А внизу — забитая кораблями гавань, на берегу которой стоит церковь Иоанна Предтечи, построенная — ни много ни мало — 1200 лет назад.

Да, таков этот город, когорый в разные времена назывался то Пантикапеем, то Боспором, то Корчевом. Почти всегда он оказывался в эпицентре величайших человеческих потрясений. На заре истории здесь полыхало восстание «скифского Спартака» — предводителя рабов Савмака. Честолюбивые понтийские цари лелеяли здесь свои планы сокрушения могущественного Рима. До сих пор поражаешься дерзости этих планов. Был задуман союз с галлами — те поднимают восстание на западе, а с востока нанесут удар владыки Черного моря. Увы, Цезарь «пришел, увидел, победил». Да-да, эти ставшие крылатыми слова тоже в немалой степени относятся к нашему городу: отсюда пошел в поход царь Фарнак и сюда он бежал, потерпев в Малой Азии поражение от Юлия Цезаря, который доложил сенату: «Veni, vidi, vici». На этих берегах создавались и рушились государства, цивилизации, чеканилась монета, строились суда, дворцы, храмы, хижины и величественные гробницы. Через Керченский пролив шли караваны в устье Танаис, в Индию и Семиречье, в него ускользали от преследователей древние русские дружины, ватаги запорожских и донских казаков. Здесь «в лето 6576 индикта 6 (то есть в 1068 году нашего летосчисления. — С. С.) Глеб князь мерил море по льду от Тмутороканя до Корчева», как высечено на знаменитом тмутараканском камне.

Что за история случилась с этим камнем! До того, как он был найден (в XVIII веке), русское княжество Тмутаракань считалось загадочным, полулегендарным. Где оно находилось — на Черниговской земле на Муромской? А может, его вообще никогда не было?

А у солдатской казармы у порога лежал камень, взятый из развалин древнего города близ нынешней Тамани. Об него просто вытирали ноги. Когда же присмотрелись, заметили старинные письмена. Вот

она где находилась, сказочная Тмутаракань, — на восточной стороне пролива, и Корчев-Керчь входил в ее состав.

Но керчане помнят не только об этом. Здесь в ноябре 1920-го была закончена гражданская война, а во время Великой Отечественной через их город по существу проходил один из последних рубежей обороны Севастополя. Пала Керчь, и вскоре пришлось оставить Севастополь. По отношению к Севастополю Керчь в это время играла примерно ту же роль, что Тула по отношению к Москве. Однако на юге обстоятельства сложились, к сожалению, по-другому...

Был период, когда падение Керчи легло как бы тенью на город. О событиях мая 1942 года не любили вспоминать. Но разве было только поражение и беспорядочное отступление через пролив? А десять тысяч тех, кто ушел в Аджимушкайские каменоломни, сплотились в подземный гарнизон и еще полгода, пока почти все не легли костями, продолжали сопротивление — разве этого не было?

В мае немногие оставшиеся в живых аджимушкайцы тоже съедутся в Керчь, встретятся на горе Митридат.

Соберутся и эльтигенцы — самое, быть может, многочисленное и дружное из здешних фронтовых землячеств. До сих пор сохранились следы их удивительного и тоже трагического десанга. У самой кромки прибоя всосались в морское дно затонувшие мотоботы и баржи, лежат на берегу пушки. До сих пор пополняется устроенный в школе музей: ребята находят то полуистлевшие документы погибших, то оружие, то ордена и медали...

В свое время волшебница Циркея предсказывала многосланному Одиссею: «Достигнешь низкого берега, где дико растет... лес из ракии, свой теряющих плод, и из тополей черных... Там киммериян печальная область...» За нею — Океан, река, обтекающая Землю. А еще дальше — потусторонний мир, царство мертвых, Аид. Мрачноватые края. Впрочем, путешественникам, волшебникам, охотникам, поэтам и детям свойственно преувеличивать. Опять же религиозные предрассудки... Так или иначе, Одиссей побывал в Киммерии, и Гомер рассказал нам об этом. То было первое упоминание о наших местах. Сколько с тех пор писали о них! А сколько еще будут писать! Вот и я решился на признание в любви к городу, который стоит у стыка двух морей на берегу Боспора Киммерийского — так некогда назывался Керченский пролив. Кое-кто считает его неудобным и слишком разбросанным. Все верно: и ветры здесь иногда налетают сразу со всех сторон, и питьевая вода с непривычки кажется солоноватой, и девушкам нередко приходится месяцами ждать своих парней из рейсов в Атлантику и Индийский океан. Но что поделаешь! Стоит вспомнить о Керчи — и тут же хочется снова побывать в ней.

Мы еще не старики, однако надобно спешить. Тем более что на дворе весна, «и торопятся, — как сказал поэт, — в путь веселый ноги».

2. Поважный

Сам не пойму, откуда они берутся, эти красивые слова. А потом их вычеркиваешь или спешишь стать по отношению к самому себе в эдакую ироническую позу.

Вот хотя бы этот случай. Путь-то, в который «торопятся ноги», не из веселых. Просто в незапамятные уже времена я прочел и полюбил строку Катуллы: «И торопятся в путь веселый ноги...» Речь в этих стихах о весне. А дальше — длинная и запутанная цепочка ассоциаций: курганы,

древности, руины, куст белого боярышника рядом со скелетом огромного здания на пустыре, который был когда-то заводским двором, греческие и латинские письма на стенах: «Прощайте, о странники!» — высечено на них. (Эти древние камни сейчас так же стары, как сто или двести лет назад. Что для них сто или двести лет?..) А откуда-то сбоку вдруг вклинивается стихами о весне легкомысленный Катулл, хотя весна явно запоздала, над Крымом висит туман, а на перевалах шоссе покрыто гололедом. «Дворник» размазывает по ветровому стеклу то мокрый снег, то тяжелые дождевые капли. Машины при встрече подслеповато щурятся.

...Керчь вначале легко может разочаровать. Крайние улицы на въезде зауражны. Дома и домишки вроде бы обыкновенны, неинтересны. Здесь ничто с первого взгляда не поражает, не бросается в глаза. Я бы сравнил этот город с хорошим вином, которое требует неторопливости и определенной обстановки. Можно зачерпнуть в жаркий день ковшик и опорожнить несколькими глотками — иногда так и приходится делать, утоление жажды — тоже радость. Но налейте рубиновой матрасы из степных виноградников в тонкий стакан и посмотрите на свет, вдохните аромат, а потом пригубите, отхлебните самую малость...

В города приезжают по-разному. По делам. Ради людей, которые там живут. Для встречи с прошлым. Я ехал просто так, ради самого города. До этого я даже не подозревал, сколько людей с поистине фантастическими судьбами живут в одной маленькой Керчи. Да и с Поважным познакомился только в 66-м году.

Вот что я о нем читал:

«Рядом с центральными каменоломнями Аджимушкая, где разместился подземный гарнизон под командованием полковника П. М. Ягунова, в так называемых Малых каменоломнях действовали и другие подразделения... Михаил Григорьевич Поважный в тяжелые дни нашего керченского отступления в мае 1942 года был командиром батальона. Когда, теснимые фашистскими танками, пехотой врага, наши воины отошли в Малые каменоломни, оборону здесь вначале возглавил подполковник Ермаков. После его гибели командиром подземного гарнизона Малых каменоломен стал Михаил Григорьевич Поважный».

А вот что он сам пишет:

«Когда кончились последние продукты и голод стал терзать с каждым днем все сильнее, в пищу пошли шкуры и копыта лошадей. Заедали вши. Трупы погибших товарищей, похороненных тут же, разлагались. Воздух был тяжелым.

Немцы продолжали газовые атаки. Не все выдерживали это. Умирили, сходили с ума...

Немцы заваливали выходы бревнами и мусором, мы использовали этот материал для костров. Забрасывали к нам немецкие листовки, кричали в рупоры, что взята Москва. Однако духа наших людей они сломить не смогли...

Не могу сейчас вспомнить всех боевых операций. Скажу только, что оружие наше пополнялось трофейным после каждой вылазки, а однажды ночью мы так неожиданно напали на спящих гитлеровцев, что они в одном белье бежали в Керчь. Мы продержались на поверхности всю ночь, но к утру фашисты перебросили к Аджимушкаю большие силы, и мы вынуждены были снова занять оборону в нашей подземной крепости.

Мы не теряли надежды, что свяжемся с Большой землей, что пробьемся к своим. Но когда? Как?

Зайдешь, бывало, в госпиталь (а у нас было 250 раненых), и со всех сторон подступают к тебе с вопросами:

— Товарищ командир, что будет с нами? Выйдем мы отсюда?

— Выйдем, соединимся с нашими, еще сколько водки с друзьями выпьем! — говорил я, но в глубине души и себе задавал такие же вопросы.

...Шел шестой месяц обороны. Нас оставалась горстка. Уже не хватало людей, чтобы охранять ходы и выходы из каменоломен. Заложили их камнями и замаскировали. Оставили только секретные...

Дни нашей обороны завершались... Немцы уже нахально врываются в катакомбы, зная, что сопротивляться почти некому. Они шли с фонарями, стреляя по сторонам...

30 октября 1942 года (дату я узнал позже) фашисты подтянули к Малым каменоломням автомобили с динамо-машинами. Освещая штольни, они начали прочесывание катакомб. Бесперывно стреляя из автоматов, они продвигались по каменному коридору. Мы, отстреливаясь, отходили к нашему штабу... Бежать было некуда...

Нас оставалось всего трое: Шкода, Дрикер и я... Последним нашим убежищем в катакомбах были две маленькие комнатки, в которых в начале обороны размещался штаб... Как мы ни скрывались, фашисты обнаружили и схватили нас — последних безоружных защитников Малых каменоломен. Запомнилось, что двое гитлеровцев, державших меня, сами дрожали.

Может, и вид мой пугал их. На мне была старая, потемневшая шинель, ватные брюки и стоптанные валенки. Лицо заросшее, руки и ноги словно водой налились. Тяжело было идти и трудно привыкать к свету.

Потом нас допрашивали... Связали за спиной руки. Конец длинной веревки держал в руке автоматчик. Впереди и по сторонам тоже шли автоматчики. Почему-то привели назад к каменоломням. Недалеко от входа поставили у стены. Гитлеровцы выстроились шеренгой.

До сих пор не пойму, что произошло. Появился некто в гражданском, в шляпе, что-то шепнул немецкому капитану, и мне развязали руки. Обратное вели уже не связанным. Я спросил у переводчика, почему не расстреляли. Он сказал: «Приказано доставить живым».

Возили к генералу в Керчь, допрашивали нас в Симферополе, в гестапо. Спектакль фашистам мы все же испортили. Урезонить нас не удалось, загипнотизировать «нежным» обращением не смогли, не помогли им и пытки...

Так вышло, что, пройдя гестапо, фашистские тюрьмы и лагеря смерти, я остался жив. Может, для того, чтобы рассказать молодым обо всем, что пришлось нам пережить, о зверином облике фашизма, о стойких и смелых своих товарищах, сражавшихся на керченской земле в каменоломнях Аджимушкая».

Я ожидал увидеть человека средних лет, немного моложе пятидесяти (войну он встретил старшим лейтенантом), высокого, сутуловатого, неторопливого, немногословного. Он оказался совсем другим. Поразительно не таким, как ожидалось.

Я вспомнил, что гитлеровцы, державшие его уже безоружного, сами дрожали. А раненым в госпитале (все раненые, как и почти все защитники каменоломен, погибли) он говорил, подавляя сомнения и делая все, чтобы эти сомнения никем не были замечены: «Выйдем, соединимся с нашими, еще сколько водки с друзьями выпьем!..»

Маленький сухонький старичок в кителе из зеленой солдатской диа-

гонали. Он мог бы сшить пиджак, но сшил китель со стоячим воротником из этой недорогой ткани. Ни в чем другом я его тогда не видел — только в этом кителе. Ботинки тридцать восьмого, от силы тридцать девятого размера. Подвижен, даже суетлив и, как мне казалось, неуверен в себе.

Неуверенность эта как раз и проскальзывала в суетливости, в том, как он, рассказывая, вдруг останавливался, будто ждал все время, что его вот-вот перебьют... Несмотря на избыток движений, Поважный, казалось мне, чувствовал себя скованно.

Я не стал спрашивать об Аджимушкае — успеется.

— Неужели семьдесят?

— А вы не смотрите, что я такой. Я, бывало (совсем недавно еще), возьму тачку и айда по поселку — металлолом собирал.

На видных местах в комнате были расставлены подарки, сувениры от пионерских дружин и воинских частей. Значит, приходится выступать с воспоминаниями, подумал я. На детских поделках и символических вещицах, сделанных руками умельцев-солдат (взрывающий в небо самолет или что-нибудь в этом роде), были надписи: «Героическому командиру подземного гарнизона...», «Герою Великой Отечественной войны...», «Нашему замечательному земляку...»

А ведь верно, этому человеку повезло: живет в тех же местах, где пришлось воевать.

Когда мы осмотрели подарки, Поважный положил на стол альбом, и я стал вежливо его листать. Естественно, хозяин собирал только те снимки, которые имели отношение к нему самому. Вот он среди пионеров, вот в группе таких же, как сам, пожилых и печальных людей возлагает венок у одного из входов в эти страшные катакомбы...

...Вот он в обществе увешанных орденами и медалями, надевших в День Победы парадную форму ветеранов...

— Летчик, Герой Советского Союза... — говорит Поважный. (Вижу, что Герой. Какое прекрасное лицо! Чуть сдвинута на затылок и чуть набекрень фуражка, под которой небось уже прячется лысыня!) — Военврач, начальник госпитала... (У женщины орден Красного Знамени, орден Отечественной войны и целая россыпь медалей.) Полковник-артиллерист... Специально прилетел из Свердловска в Керчь на праздник... — Поважный бережно, почти не касаясь, водит пальцем по снимку.

Полковник-артиллерист напоминает мне чем-то дядю. Тот тоже начал войну старшим лейтенантом, закончил майором, благополучно ушел в отставку полковником и тоже вполне мог бы оказаться на этом снимке — достойный среди достойных. Да, мой дядя начал войну старшим лейтенантом, как и Поважный...

На снимке много людей, он сияет лучами, отраженными от лаковых козырьков, кокард, начищенных пуговиц, от эмали, золота и серебра. Я переворачиваю страницу.

Но что это? Следующий снимок поразил меня. На нем был он сам, Поважный. В одиночестве, но не в унынии. Он сидел перед фотоаппаратом прямой сухонький и, как всегда, в своем кителе. Одна рука на колене, другой он вроде бы чуть подбоченился. Левая сторона груди слегка выпячена, и на ней светлым пятном одна-единственная медалька — «XX лет победы над Германией».

У Шурочки, не сражавшейся в керченских катакомбах, медалей было больше: «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Северного Кавказа» и, по-моему, за что-то еще. Глядя на снимок, я вспомнил о Шурочке без тени упре-

ка — она здесь ни при чем. Но мне стало обидно за старика в зеленом кителе, выпятившего грудь, словно молоденький солдат действительно службы, который за отличия в боевой и политической подготовке получил по случаю юбилея первую в своей жизни награду и теперь спешит запечатлеть себя с нею, чтобы послать снимок любимой девушке Фросе в Ахтырский район Сумской области.

Однако еще больше поразило другое — на снимке Поважный был в погонах. Даже плечи его стали казаться шире от новеньких золотых погон с тремя маленькими звездочками старшего лейтенанта. Правда, в его время не было погон, но с тех пор столько воды утекло!

...Я представил себе, как все было. Где-то специально достал погоны. Пришел к фотографу, приладил перед зеркалом к плечам с помощью английских булавок (наверное, и китель — именно китель, а не пиджак — шился для такого случая) и сел перед аппаратом, серьезный, сухонький, сохранивший выправку.

Нет-нет, я был не прав! Не запоздалое желание покрасоваться (перед кем?!) руководило им. Он надел погоны, которые никогда не носил (введены уже после того, как Поважный попал в плен), не из тщеславия, а чтобы хоть как-то прикоснуться к Победе, почувствовать себя хоть на миг не тем, кто обязан, должен не терять надежды и все-таки близок к отчаянию, а человеком великой армии, идущей «вперед, на запад!». Он ведь не испытал этого счастья, знал только отступление и необходимость ногтями, зубами цепляться за край пропасти. Потому, наверное, Поважный с такой гордостью и носит свою юбилейную медаль. Кой для кого она не много значит, а для него эта медаль — символ чуда и запоздалое признание его причастности к этому чуду.

Я рассказываю, а сам думаю: поймет ли он меня, не вздумает ли обидеться? Не нужно! Глубокое уважение и еще какое-то, чуть ли не сыновнее, чувство вызывает у меня этот человек.

Он все еще не вернулся. Он связан войной по рукам и ногам. Я бы попытался рассказать о нем, будь он даже один такой на всем свете. Но он далеко не единственный. Даже в этом маленьком городе, в Керчи.

3. Пенсионеры

Об этом уже столько писали: города теряют свой индивидуальный облик. В самом деле, многим ли отличается поселок Камышбурунского железорудного комбината (он входит в Керчь) от района новостроек в Симферополе или, скажем, в Туле, Луганске, Свердловске, Харькове? Кое-как еще держатся центры городов, но их тоже теснят, рассекают современными безликими большими зданиями. Эти перемены, ясное дело, накладывают отпечаток и на весь жизненный уклад.

В Керчи истинный аромат прибрежного виноградного города сохранили, пожалуй, лишь улочки и переулки, примыкающие к горе Митридат. Здесь быт нетороплив, мясо и рыбу покупают (и торгуются при этом) на рынке, здесь замощенный истершимися каменными плитами двор не просто ничейная территория для развешивания белья, а, черт возьми, форум (тут летом и ранней осенью мужчины допоздна стучат в домино, а женщины на крылечках и скамеечках лузгают семечки, тут знают друг о друге все), здесь, как и сто — двести лет назад, любят блюда из мидий, закусувают оливками и готовят — каждая хозяйка на свой манер — тушенку из хамсы по-гречески.

Растительность небогатая, а все-таки зелено. Виноград и акация

умеют постоять за себя даже на безводье, даже когда под корнями земля, а почти сплошной камень. Не так уж и пышны кроны у корявых акаций, а улица, словно дымкой, подернулась тенью. Чистенько. Один конец улицы выходит к морю, другой упирается в сквер центральной городской площади, которая раскинулась между «стекляшкой» современного универмага и церковью Иоанна Предтечи. Дома на улице старые, с лепными фигурами по фасаду и проржавленными навесами над парадными. Площадь с незапамятных времен была шумна: место народных собраний, потом рынок. Да и на моей памяти здесь шумел, пах рыбой и чебуреками базар. Сейчас шумно только по ночам, когда вытряхивают последних посетителей из заведения под названием «Бригантина». В вестибюле «Бригантины» лежит на боку якорь и прохаживается швейцар с точным, наметанным взглядом (вместо боцманской дудки — милицкий свисток в кармане), на стенах — мозаичные морские чудеса и сваренная из проволочек карта-схема нашей планеты. Расчет на романтиков.

Ох, уж эти романтики! Вот прошел один из них в брюках, неизмеримо зауженных сверху и щедро расклеванных снизу. На концах штанин — цепочки и бубенцы. Да это еще что! Однажды появился чудик с электрическими лампочками внизу штанин. Он идет, а они светятся. Ну где еще, кроме Керчи, до такого могут додуматься? Не человек, а атомоход. С ума сойти. Идет и по сторонам косит: интересно все-таки, как примет эти лампочки общественность. А общественность — ей что. Девчушки перестали в классы играть, хихикают. Дамы постарше забыли на минутку о семечках — остановилась маслобойка. Только мужики как ни в чем не бывало по-прежнему стучат в домино. Вид у мужиков затрапезный, домашний. Так весь день и просидят — пенсионеры. Ну, хотя бы этот вот — щеки обвисли, под глазами мешки, грузен. Он не осуждает и не клеймит. Он все видел и все знает наперед. Он просто считает очки и смеется: топай, мол, топай, петушок. Еще оциплют и матросом сделают. Это проще простого. Знаем, как делается. И мы оципывали, и нас скубли. До лампочек и бубенцов, верно, не доходило, но тут уж влияние электронно-поролонового века...

Сидит дед, подставил солнышку тяжелые плечи. Глаза совсем прикрыл, положил на колени морщинистые руки. Только линия носа по молодому четка да широкий подбородок неизменно выдвинут вперед, будто являет готовность к чему угодно.

Чего греха таить — идешь мимо и смотришь на старика сочувственно, но в то же время и снисходительно. А ведь это несправедливо. В молодые годы он был орел. Судите сами: четыре ордена Боевого Красного Знамени. Это не часто встречается. Званием капитана второго ранга, конечно, никого не удивишь, но он еще капитан де фрегато (так, кажется, именуется этот чин) Испанской республики.

Сейчас, когда старик, кряхтя, поднимается со своей скамьи, кто-нибудь да подумает: песок сыплется... Что поделаешь! Старость — не радость, а молодость задириста и нередко бесцеремонна.

Не такое ли примерно отношение у нас и к старым городам? Шустрые и резвые, только позавчера родившиеся и часто до мелочей похожие друг на друга Светлогорски да Лучегорски поглядывают на них свысока. Керчи еще удивительно повезло, а иные из них, нынешних городков районного подчинения, где автобус останавливается на пять минут, а железной дороги вообще нет, просто полузабыты. А были некогда столицами государств, которые трясли мир, как яблоню. За примерами далеко не ходить, возьмите Старый Крым, он же древний Эски-Керим, он же Солхат — известный в средние века на Востоке и Западе богатый город.

То, что читаешь о нем в книгах и видишь собственными глазами, просто поразительно не совпадает. Здесь была столица крымских ханов. Но еще раньше, оказывается, город был окружен каменными крепостными стенами с огромными башнями. Где они? Был он «одним из главнейших городов Азии, столь великий и пространный, что всадник едва мог на хорошем коне объехать его в половину дня». Слава Солхата разносилась повсюду. До нас дошли только ее отголоски да туманные, не каждому понятные намеки.

Когда едешь из Симферополя в Керчь, на протяжении более ста километров до Феодосии вдоль дороги видишь непривычные для нашего глаза невысокие, изящные металлические столбы. Право, стоит остановить машину, чтобы подойти к одному из них и поудивляться. Столбам этим более ста лет, но между ними и сейчас еще натянута проволока, они служат. Чугунное литье сохранило английские письма. Такие же столбы я видел сваленными в штабель в одном из керченских дворов. Это остатки линии Индийского телеграфа, связывавшего Лондон с Калькуттой. Ее не случайно проложили именно здесь. Максимилиан Волошин, поэт и большой знаток Крыма, как-то писал: «Если мы свернем с теперешнего шоссе, придерживаясь линии Индийского телеграфа, который обходит с севера гору Агармыш по старой почтовой дороге, то мы пересечем сперва одну, потом другую долину, которые носят имя Сухого и Мокрого Индола.

Июл — по-татарски — дорога.

Инд-Июл — «дорога в Индию».

Гора Агармыш — это рядом со Старым Крымом.

Здесь проходил великий караванный путь из Европы в Азию. Здесь делали свой последний привал купцы из дальних стран перед тем, как двинуться с рассветом к великим торжищам, которыми были в средние века сначала Судак, а потом потеснившая его Феодосия-Кафа. И здесь же заканчивался их первый дневной переход после того, как, расторгнувшись и обменяв товары, они отправлялись в свой немислимо протяженный даже по нынешним понятиям обратный путь. Да, если был мир, то по этим дорогам ехали купцы, если же случалась война, то возвращавшиеся после набегов степняки гнали по ним на невольничьи рынки пленников.

Осевшие в Крыму (задолго до нашествия монголов) тюрки, судя по всему, недолюбливали море. Не случайно их столицей стал расположенный среди лесов и невысоких гор почти на границе со степью Солхат. В удобных для строительства гаваней бухтах селились и возводили крепости греки, римляне, венецианцы, генуэзцы. Но не только они. «На море, от Керсоны до устья Танаида, находятся высокие мысы, а между Керсоной и Солдаией существует сорок замков; почти каждый из них имел особый язык». Так писал в середине XIII века Гильом де Рубрук. Пестрота племен и вероисповеданий. Мечети, христианские храмы (и те и другие нередко строились на античных фундаментах), караимские кенасы, синагоги, скиты, монастыри... Со временем этой пестроты поубавилось. А тогда еще уживались рядом, сохраняли до поры свои обычаи и язык и потомки хазар, и потомки готов.

Сколько удивительных тайн и забытых историй хранят маленькие городки!

Они не только принимали выходцев из чужих краев, но и сами направляли в другие страны своих людей. Кипчак Бейбарс стал ни больше ни меньше — султаном Египта, но не забыл отчих мест. По его повелению в Крым направлялись караваны и корабли, а в 1288 году Солхат украсился великолепной мечетью. Ее стены были отделаны мрамором, а верх украшен порфиром.

Словно соперничая друг с другом, строили ханы дворцы, мечети, роскошные бани, купцы возводили караван-сарай и утопавшие в зелени дома, лепили свои хижины и мастерские ремесленники. Чего только в Солхате не видели, не держали в руках! Пшеницу, соль, вино, шерсть, меха, воск, золото; драгоценности и корни из Индии, фарфор из Китая, опий из Бенгалии, шафран и сандал из Малабара, корицу и жемчуг из Цейлона, мускус из Тибета, слоновую кость из Эфиопии, мирру и ладан из Аравии... А как говорится в одной из текерлеме (татарской поговорке): державший мед — оближет пальцы.

Таких городов, чья слава и могущество в прошлом, не так уж и мало на земле. Большинство из них — земля обетованная для туристов, которые рассматривают древние фрески, фотографируются на фоне живописных руин и оставляют на них свои автографы. Кстати, этот скверный обычай расписываться на камнях и стенах отнюдь не нов, с ним боролись, наверное, и в древности, а сейчас историки и археологи с интересом изучают граффити — такие надписи, дошедшие до нас с давно прошедших времен. Но Старому Крыму и в этом не повезло: подлинной старины мало осталось.

И все-таки год от года все больше парней и девчат седлают мотоциклы или идут пешком, останавливают попутные машины или покупают билеты на рейсовые автобусы, чтобы побывать в этом городке. Что нужно здесь им, молодым и веселым? Они едут на могилу Александра Грина.

Древний и некогда великий город становится снова известен, потому что в нем умер и похоронен писатель.

Можно по-разному относиться к написанному «беллетристом» (так он называл себя) Грином, но раз едут сюда со всех концов эти парни и девушки — значит, его книги им нужны.

Удивительная и в то же время знакомая судьба. Родился на севере, а мечтал о теплых морях и дальних странах. Так и не увидел их. Трудно сказать, что помешало — участие ли в революции, тюрьма и рано открывшаяся болезнь или нехватка жизненной силы, которая только и может помочь осуществить мечту. Однако он осуществил ее, хотя и очень по-своему. Смертельно больной, далеко не всегда сытый, Грин создал в себе самом тот ослепительный мир, о котором мечтал. И рассказал о нем.

Грин давно стал частью той крымской земли, на которой жил несколько лет и умер, когда неожиданно его книги заставили переиздать себя. Бывает и такое. Это похоже на жизнь родника, загнанного потрясениями земной коры или чьей-то недоброй волей под землю: рано или поздно, не здесь, так в другом месте он все равно пробьется на поверхность.

В старинном городке немало могил. Но мало кто помнит сегодня, что недалеко отсюда похоронен хан Мамай — тот самый, которого разгромили воины Дмитрия Донского на Куликовом поле. Могила его почти забыта, а ведь куда как был известен грозный Мамай при жизни. После поражения и усобиц бежал он в Крым, чтобы отдаться под покровительство генуэзцев в Кафе. Но одно дело победитель, а другое — беглец. Люди, которые еще недавно припадали к его стопам, теперь вели себя совсем иначе. Мамай был предательски убит, а тело его вывезли за городские стены.

Где-то здесь, говорят, покоится под шестисотлетней шелковицей прах мусульманского святого — азиса. Когда-то каждый правоверный считал своим долгом повесить пеструю ленточку на шелковицу — сотни их трепетали на ветру. Некому сейчас вешать ленточки, забыта, утеряна могила, но множество пестрых лоскутков развеивается на дереве, что растет над могилой Грина.

В Старом же Крыме закончила свой путь знаменитая авантюристка Жанна Сен-Реми де Валуа, графиня де ля Мотт, отпрыск некогда царствовавшего во Франции рода. Это она вместе с кардиналом Луи де Роганом и «великим магом и чародеем» графом Калиостро была главной героиней прогремевшей на весь тогдашний мир истории с похищением драгоценного ожерелья королевы Марии-Антуанетты. Клейменная железом и битая батогами, она была заключена в тюрьму, бежала оттуда и, как сообщалось, умерла в Лондоне.

А через несколько лет Жанна под именем графини де Гоше объявилась в России. Жила сперва в Петербурге. Поначалу ее принимали ласково, как бежавшую от революции аристократку. Что случилось потом — никто, по-видимому, не знает (наверное, начало всплывать прошлое), но она уехала на Юг, поселилась в Корейзе, затем в Артеке и наконец в Старом Крыме. Здесь и закончились дни авантюристки, о похождении которой Александр Дюма написал свой роман — «Ожерелье королевы».

Сколько таких историй в прошлом Крыма! Люди, вокруг которых при жизни было столько шума, забыты и никому не нужны. Тиран и авантюристка оказались рядом. А могила нищего автора «Алых парусов», «Золотой цепи» и «Бегущей по волнам» сделала местом паломничества. В ней никто никогда не рылся, ища драгоценности, потому что Александр Грин все, что имел, сам еще при жизни отдал людям. Своеобразный и назидательный урок музы истории — госпожи Клио.

Думал ли Грин, что его смерть снимет печать забвения и заурядности с древнего города!

А в одном дневном переходе отсюда поеживается, грустит под зимними дождями или, наоборот, изнывает от летнего солнца, которое раскаляет камни и прибрежный песок догоряча, другой городок-пенсйонер — Судак, еще более древний и тоже некогда знаменитый. Правда, ему история уготовила несколько иную судьбу. Сейчас здесь курорт. Не так чтобы очень модный и фешенебельный, но все-таки.

В разгар купального сезона пляж, гостиница, санатории и вообще все мало-мальски пригодное для того, чтобы человек там жил, пил, ел, развлекался, — переполнено. Люди предаются обычным заботам. Россыпь маленьких домиков на кривых улицах, и рядом четырехэтажные стандартные коробки из крупных блоков, широкоэкранный кинотеатр, ресторан, построенный по типовому проекту, залитая асфальтом центральная магистраль — место прогулок, а в двух шагах от нее пыльные заросли диких каперсов, колючей заманихи и ломоноса. Сравнительно недавно выстроенная набережная с огромной, отделанной разноцветным пластиком открытой столовой и полудесятком других харчевен воспринимается как вызов заскорузлой провинциальщине, хотя сама она — эта набережная — тоже, как говорится, не ай-яй-яй. Однако не будем придираться, чтобы кто-нибудь не сказал: чего вы, дескать, хотите от п. г. т. — поселка городского типа, каковым теперь является Судак?

Но чуть поодаль от п. г. т., на обрывающейся к морю скале немислимой крутизны и высоты, словно венчает эту скалу могучая крепость — каменное чудо с зубчатыми стенами и высокими башнями. Она вторгается в размеренную жизнь нынешнего поселка с его обычными курортными приливами и отливами как неожиданно ставшая реальностью сказка.

Наверное, у каждого есть свои любимые места, побывать в которых — всегда радость. Для меня это Керчь и Судакская крепость. К таким местам относишься не просто с любовью, но и с ревностью. Хочешь,

чтобы каждый увидел их, и даже ловишь себя на неприязни к человеку, который остался равнодушен к Керчи или был в этой прекрасной крепости, но не захотел подняться к Консульскому замку и еще выше — к Дозорной башне. Ну как не побывать в замке — этой мощной цитадели внутри крепости! Мрачноватый внутренний дворик, бойницы, устроенные так, что под обстрел попадал каждый, кто приближался, остатки перекидных мостиков, ниша в помещении, бывшем молельней, некогда сводчатый зал второго этажа с камином, у которого не раз, наверное, сиживал, предаваясь невеселым размышлениям, последний здешний консул Христофоро ди Негро, зубчатая стена от замка к Георгиевской башне и широко открытая в сторону моря каменистая площадка, защищенная этой стеной...

Непоколебимая стойкость и отчаяние — вот образ цитадели, которая становилась прибежищем горстке избранных, предпочитавших смерть пленению и рабству.

Бывает же такая потребность — снова и снова возвращаться к каким-то местам, вспоминать полутысячелетней давности истории, определять свое отношение к ним, испытывать жалость и сочувствие к тому же ди Негро, например, который, может быть, вовсе не был хорошим человеком, читать и перечитывать расшифровки латинских надписей на этих высеченных из песчаника и украшенных генуэзскими гербами плитах, любоваться тяжеловесным изяществом башен, дивиться смелости и искусству людей, которые возвели их на века у самой кромки обрыва, сожалеть по поводу гибели сделанных темперой росписей...

Да разве сожалеешь только об этом? Ведь здесь перед тобой встает чуть ли не сама вечность. Ведь это о здешней крепости еще в 1312 году летописец меланхолично и просто писал: итак, дескать, со времени ее построения до настоящего времени протекло 1100 лет. Всего лишь! Глупой и неприличной кажется на этом фоне всякая суетливость.

Див кличет на верху древа,
Велит прислушать земле незнаемой:
Волге, Поморию, и Посулию,
И Сурожу...

Это из «Слова о полку Игореве».

«Посоветовались они между собой, да и решили идти в Великое море, за наживой да за прибылью. Накупили всяких драгоценностей да поплыли из Константинополя в С о л д а д и ю...»

Это из «Книги Марко Поло».

«В середине же... Кассария имеет город, именуемый С о л д а и я... и туда пристают все купцы, как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из России и северных стран...»

Это из «Путешествия в Восточные страны» Гильома де Рубрука.

(Что звало их — Марко Поло, Рубрука, Плано Карпини, Афанасия Никитина и многих других — в неведомые, дальние края? Иногда об этом говорилось прямо: любопытство или, если хотите, любознательность, жажда наживы, хитросплетения политики. Земля, где все, казалось бы, открыто и известно, до сих пор не перестает удивлять. Что же говорить о тех давних временах! Из глубин Азии доходили слухи о правителе некоего могущественного христианского государства, разгромившем мусульман, царе-священнике Иоанне. Где-то в Монголии и Китае проповедовали христианство и пользовались влиянием проникшие туда из Сирии несториане. По дорогам Индии странствовали последователи апостола

Фомы. На Волге жили хазары и буртасы. Степняки, кочевники, а исповедовали, однако же, иудейство... Было чему удивляться.

Что касается Рубрука, то он направлялся далеко на восток — через Кипчакские степи, севернее Каспийского и Аральского морей, через верховья Иртыша и Енисея — к Каракоруму, столице могущественных монгольских ханов, с миссией от французского короля Людовика IX Святого.)

«Сурож», «Солдадия», «Солдаия», «Сугдея», «Сугдак», «Сурдак», «Судак» — разные названия одного и того же — вот этого — города-крепости.

Сейчас даже не верится, что было время, когда само Черное море («Великое» — называл его Марко Поло) именовалось морем С у р о ж с к и м, что за обладание городом и портом Судак насмерть бились аланы, хазары, половцы, греки, русские, итальянцы, татары и турки. Еще в IX веке «прииде рать велика роусскаа из Новаграда князь Бравлин силен зело... С мною силою прииде к Соурожу. За 10 дньий вниде Бравлин, силою изломив железнаа врата и вниде в град...». Вот так же силою сюда вламывались и многие другие.

Город, бывший «смесью всех народов и всех вер», поставлял миру куниц (торговая контора старшего из братьев Поло находилась в Солдадии), воинов (в русском эпосе известны былины о богатырях сурожских), земледельцев (славились «прекрасные сурожские вина»), путешественников, строителей и даже святых. Он наливался богатством и силой («Державший мед — оближет пальцы»). Когда в мае 1253 года босоногий монах-минорит Гильом де Рубрук сошел с корабля на судакский берег, его принял епископ. Прошло не так много времени, и во главе здешней епархии был уже митрополит.

Отблеск этого расцвета был так силен, что еще в XVIII веке, после присоединения Крыма к России, Судак был переименован в Кирилловскую крепость, и первоначально Екатерина II намеревалась перенести в Судак столицу Тавриды. Однако вскоре об этом забыли, камни тысячелетних стен, храмов и фонтанов пошли на строительство казарм для потемкинских солдат. Весь край пришел в упадок. Заморская торговля прекратилась. Греков выселили в придонецкие степи, а татары оказались перед необходимостью массовой эмиграции за море, в Турцию.

Но вернемся к Судаку. На нем, как и на многих других древних городах, лежит трагическая печать. Если провести некую окружность с радиусом, скажем, в триста лет и центром в году 1475-м (мы еще вспомним об этом годе), то на концах диаметра окажутся точки, как бы символизирующие расцвет и полный упадок. Небольшая, уютная бухта стала тесной для новейших мореплавателей, горы, которые были слабой защитой против нашествий степняков, мешали теперь при прокладке дорог, заменявших караванные тропы. К тому же положение Судака было подточено долгим соперничеством с «прекрасной милетячкой», как некогда называли Феодосию-Кафу.

Судя по всему, она и на самом деле была хороша. И укреплена превосходно. Остатки дешней крепости тоже производят впечатление, и, чтобы осмотреть их, не нужно, как в Судаке, карабкаться по раскаленному крутому склону: одна из башен оказалась в самом центре нынешнего города. Это о ней некогда писалось: «Постановляем и узаконяем, что для стражи башни св. Константина нужно держать одного надзирателя, который должен иметь при себе одного солдата, ловкого и верного. Оба они обязаны иметь в упомянутой башне свое оружие и баллисты в порядке, и один из них не может никогда отлучиться из башни». Сейчас эта башня воспринимается как экзотическая деталь городского пейзажа

(о Судаке или Керчи такого не скажешь), рядом с нею детский уголок: карусель с лошадками, оленями и верблюдами, качели.

Конечно, город был хорош. Недаром ему и название дали со значением: «Феодосия», что значит — «дар божий», «богом данная». Да, но долгие столетия он назывался по-другому — Кафа, и вот Кафу, должен признаться, я не люблю. Объяснить это нелегко. Может быть, одно из объяснений — в том документе, кусочек из которого я только что привел. Там еще говорится:

«...Консул (Кафы) должен и сим обязывается во все время своего правления кормить и поить своего викария, двух трубачей и одного рассыльного...

Также постановляем, чтобы машина для пытки поставлена была и стояла в большой зале консульского дворца...

Сверх того постановляем и предписываем, что помянутый г. Консул сим обязывается иметь постоянно огонь в камине в зимнее время в большой зале консульского дворца на свой собственный счет, не за счет казначейства...

При сенате г. Консула должны быть три музыканта, играющие один на литаврах, другой на гитаре, а третий на рожке, которые обязаны приходить во дворец и играть при г. Консуле в определенные дни, как это издревле водится...

...На праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа — 4 восковые свечи ценою в 80 аспров...

Расходы на сочельник: купить бревно для иллюминации... на вино трубачам — 12 аспров, за пряники и яблоки — 12 аспров...

... за каждого высеченного — 25 аспров;

за каждого казненного — 50 аспров;

за каждого заклеянного — 30 аспров;

за отрезание какого-либо члена — 35 аспров...»

Боже мой, что за подлые торгаши! Подличали, тряслись над медяками, скопидомничали, рассчитывали все наперед! И ведь глупо, бездарно рассчитывали. Экономии гроши, сквалыжничали, обижали соседей, которые могли бы стать союзниками, играли в политику в то время, когда игра была проиграна, когда над ними уже висела огромная, как туча во все небо, беда.

...Лет двадцать назад, вскоре после войны, движение на крымских дорогах было не то, что теперь. А прибрежная дорога от Алушты до Судака была и вовсе пустыня. Я пробирался по ней и на попутных и пешком. Иногда бросал дорогу и уходил в сторону, чтобы посмотреть на запущенные виноградники и чаиры, осыпавшиеся подпорные стены и поспешно брошенные, начавшие разрушаться сакли, на водопад Джур-Джур или Туакскую пещеру, но всегда возвращался к морю. Где-то здесь недолго жил и работал скромным служащим филлоксерной комиссии М. М. Коцюбинский. Я отыскал домишко, на стене которого косо висела на ржавых крючьях мраморная мемориальная доска. Какие добрые, полные сочувствия к бедноте рассказы написаны Коцюбинским об этих местах...

Я на полдня застрял на мысе Башенном, который назван так в лощинах из-за руин, хорошо видных с моря. Единственное, что я знал в то время об этих руинах, — их название: «Чобан-кале» — «Пастушья башня». Только позже узнал, что это, возможно, развалины замка генуэзцев братьев ди Гуаско. А потом (по книге С. Секиринского «Очерки истории Сурожа») познакомился с «делом» этих братьев.

«Во имя Христа. 1474 года 27 августа, утром в доме консульства. По приказу достопочтенного господина Христофоро ди Негро, достойно:

консула Солдаи, идите вы, Микаеле ди Сазели, кавалерий нашего города, и вы: Константино ди Франгисса, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо. Даниели, аргузии нашего города, ступайте все до единого и направляйтесь в деревню Скути.

Повалите, порубите, сожгите и бесследно уничтожьте виселицы и позорные столбы, которые велели поставить в том месте Андреоло, Теодоро, Деметрио, братья ди Гуаско...

Сказанное повелел сделать достопочтенный господин консул по долгу службы своей и ради пользы и чести светлейшего совета св. Георгия, ибо те Андреоло, Теодоро и Деметрио посягнули и продолжают посягать на права, которые им не принадлежат, нарушая честь и выгоды светлейшего совета св. Георгия и общины Генуэзской».

Далее из «дела» явствовало, что «того же дня после вечернего звона вышеупомянутые Микаеле кавалерий, Константино, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо, Даниели — семь аргузиев, доложили все вместе и каждый отдельно», что ди Гуаско чихать хотели на достопочтенного, они вышли навстречу со своими воинами и заявили: буде он сам придет, и его прогонит.

Заварилась каша. Ди Негро не хотел отступить и выдвинул новые обвинения, а ди Гуаско и в мыслях не держали подчиниться. «Светлейший и вельможный господин консул Кафы и консул-наместник по всему Черному морю и Хазарии» взял сторону братьев. Удивляться этому не приходилось. С давних пор между Солдаией и Кафой была вражда, она отражала ту борьбу не на жизнь, а на смерть, которая шла между Венецией и Генуей. Расцвет Сурожа-Солдаи связан с господством на Черном море венецианцев, «прекрасная милетянка» Феодосия воскресла под именем Кафы, когда здесь стали хозяйничать дненовезе-генуэзцы. Даже подчинив себе Сурож, они продолжали его ненавидеть и притеснять — сперва из страха (а вдруг опять окрепнет и встанет на ноги?), а потом, наверно, по привычке.

Само по себе дело о том, кому творить суд в деревне Скути или собирать подати в деревне Карагай, нам сегодня не очень интересно, но оно свидетельствует о распаде, в который впала Кафа. Рушились устои, все было продано и куплено. О какой чести можно тут говорить. Шла грызня. Невозможно было договориться ни о чем. Где взять каменщиков и какую крепость ремонтировать в первую очередь? Где брать солдат? Чем их кормить в случае осады? Где искать союзников?

До чего же тревожной была осень 1474 года в Крыму! На чью-либо помощь надеяться не приходилось. Могущество Турции было в зените — как раз настал ее черед, как яблоню, трясти мир. Это спустя несколько столетий она станет «больным человеком» и империя развалится на куски, а тогда турки уже перехватили проливы, сжали их так, что хрустнули позвонки и свершилось невероятное: второй Рим, великий Константинополь, был раздавлен. Ясно было, что следующий удар султан нанесет сюда, как только развяжет себе руки. И вот он их развязал.

Достопочтенный Христофоро ди Негро собирался вернуться в Геную в марте 1475 года, по истечении срока консульства. Не знаю, удалось ли ему это. 31 мая у крымского побережья появился турецкий флот. 1 июня был высажен десант. (Десанты, десанты... Сколько их было с тех пор, как у берегов Киммерии крейсировал — употребим это современное слово — хитроумный Одиссей!) Все дальнейшее грустно. Вот что пишет о нем историк А. Л. Бертъе-Делагард:

«Появление турок под Кафой, высадивших 1 июня 1475 года войска с орудиями, вызвало в городе предательство и измену: все потеряло голову, и огромный, укрепленный город в 8000 домов, с 70-тысячным на-

селением, обуянный страхом и подлой трусостью, на третий день открытия огня, почти без боя, выслал к туркам своих представителей, умолявших принять сдачу города на волю победителей. Турецкому вождю, велижкому визирию Кедук-Ахмет-паше, храброму и умелому воину, показалось все это столь омерзительным, что он с негодованием говорил посланным: «Защищайтесь! Защищайтесь!»

...Судак оборонялся до конца, и его население в значительной части погибло, запершись в церкви...»

Что-то далековато меня занесло. А может занести еще дальше, потому что Судак, Феодосия, Керчь как тема — неисчерпаемы. Рассказав о захвате Кафы турками, я, чего доброго, не удержусь от рассказов о том, как ее захватывали во время своих морских походов запорожские казаки, а заговорив о Судаке, захочу вспомнить о Новом Свете — этом редкостном по красоте уголке, который генуэзцы называли раем.

4. На Караби-яйле

До чего же это нудно — ждать. Сначала не давали машину. Потом сгинул кассир, а без него кто же выдаст командировочные? Затем взбунтовался шофер. Ему не хотелось ехать на чужой машине черт знает куда, да еще и надолго, но он почему-то не говорил об этом прямо, а только мрачно задавал завгару вопросы:

— Ты со своей женой спишь? Ну, скажи. А с моей кто будет спать? Ты — будешь?

Маленький завгар ежился, его эта демагогия пробирала до костей, и неизвестно, чем бы все кончилось, не появился наш самый главный — Костя, который бодро гаркнул:

— Будет! Пиши доверенность. Поехали, братцы!

Шофер неожиданно безропотно сел за руль, дернул ручку стартера, и мы поехали.

Все остальное было сделано со строжайшим соблюдением правил. У ворот дали протяжный и пронзительный гудок, от которого испуганно взмыли в небо все окрестные голуби и вороны. На выезде из города дружно покинули автобус и рысцой ринулись в «гадючник» дяди Васи:

— За Киммерию!

Словно принося жертву, каждый отплеснул какую-то малость из своего стакана на пол. Вообще-то все эти «жертвоприношения» — пизонство, ну, да ладно уж.

Нет ничего лучше сухого вина с нарезанной крупными ломтями брынзой.

— Будем!

Шофер Митя мрачно пил томатный сок, и мы чувствовали себя перед ним виноватыми. Но древние киммерийские боги теперь должны были горой стоять за нас.

А несколько минут спустя наш микроавтобусик бодро устремился на восток.

Конечная цель — Керчь, где со дня на день должна начаться осенняя хамсовая путина, но по дороге следовало побывать на строительстве Северо-Крымского канала, хотя бы ненадолго заскочить к дяде Мигуэлю Мартынову на Караби-яйлу и наконец заехать к буровикам, которые ищут нефть и газ в степи за Акмонайским перешейком. Шоферу Мите и машине предстояло показать, на что они способны.

И вот первое распутье в райгородке на скрещении четырех или пяти дорог.

Мы пытаемся узнать, где овцы — отогнаны в долины или все еще пасутся в горах? (Дядя Мигуэль должен быть с отарой.) Ответа не добьешься. С метеостанцией — единственным местом, где на яйле постоянно живут люди, — можно связаться только по радио. Говорят, правда, что там, наверху, уже выпадал снег. Просто не верится. Здесь, в долинах, совсем недавно кончили убирать виноград, а поздние яблоки и айва не сняты с деревьев. Лозы еще не начали терять лист, он пожух и побагровел; огромные тополя чуть тронулись желтизной. Обильные ночные росы вызвали привычное и все-таки не перестающее удивлять чудо: озимые поля, накануне вечером мертво черневшие, утром вдруг дружно зазеленели.

Застанем ли мы дядю Мигуэля в его кошаре на западном краю яйлы у границы букового леса или он уже откочевал со своими овцами на теплые склоны, поближе к морю?

Была не была! Чем мы рискуем?

Наш самый главный — Костя — бежит в раймаг. Мигуэль Мартынов — трезвенник, но стаканчик выдержанного сухого (с виноградников Солнечной долины) пригубить, сидя вечером у костра, и он не откажется. Если б вы знали, что за человек дядя Мигуэль! Кстати, как эта долина называлась раньше? Кажется, деревня Козы, но кому теперь какое дело!

Дорога известна: сначала одно маленькое сельцо, знаменитое на всю округу больницей, в которой лечат алкоголиков, затем другое, ничем не знаменитое селеньице, а дальше — все вверх и вверх, пока не закипит вода в радиаторе и не заложит уши от высоты.

Вряд ли в природе есть что-нибудь удивительнее и неожиданнее крымской яйлы. Когда смотришь с юга, со стороны моря, на каменные осыпи и отвесные обрывы гор, то кажется, что и там, за видимой тобою кромкой, громоздятся скалы и остроконечные пики. Но поднимаешься наверх, выходишь из-за последнего поворота и вместо ожидаемого нагромождения утесов видишь тихую, раскинувшуюся до самого горизонта, слегка всхолмленную степь. Типчак, таволга, чабрец, клевер, зверобой, нежно-лиловые звездочки цветущих и весной и осенью крокусов...

Затерянный мир с табуном полуодичавших лошадей, с пахнущими сыростью провалами карстовых пещер (в их подземных залах, галереях, узких лабиринтах текут бесшумные ручьи, голубеет под лучом фонарика лед, неслышно растут диковинные заросли гипсовых сталактитов и сталагмитов); с островками букового леса, самого, наверное, жестокого из всех лесов — здесь нет молодой поросли, подлеска, столетние старики дружно сомкнули кроны, закрыли небо — земля и солнце только для них; с изломами и обнажениями древних известняков, которым так и не посчастливилось стать мрамором, — их вылезшие на поверхность вздыбленные пласты тянутся на много километров, напминают, когда на них смотришь сверху, борозды от исполинского плуга; с тысячами, десятками тысяч птиц, которые дважды в году собираются здесь — весной перед броском на север и осенью перед прыжком через море и дальше на далекий юг.

На яйле рано ложится и поздно задерживается снег, часты туманы и нередки ураганные ветры. Отсюда время от времени на побережье и море срывается бора, которая ломает деревья и уносит крыши; ее предвестник — неподвижная, плотная гряда облаков, висящая над самым горным обрывом.

Яйла — это емкий, многообразный и противоречивый мир. Сначала удивит, а потом в чем-то покажется близким. Невмоготу, скажем, стали

человеку южнобережные райские кущи: пыльные лавры и тощие смоковницы, магнолии и мушмула,— поднимись в горы, выйди на открытые северным ветрам склоны и отдохнешь душой среди рябин, дубов, кленов да изредка встречающихся берез.

Яйла поразит первозданным покоем и непременно настроит на тревожный лад. В чем причина этой тревожности? Кто ее знает. Непонятное беспокойство и ожидание чего-то необычного. От них не уйти. Здесь чувствуешь себя невероятно далеко от всего остального шумного мира, хотя в то же время знаешь, что он рядом.

А для нас олицетворением этого мира был жалобно воющий на второй, а то и на первой скорости автомобиль. Как трудно ему, бедняге, давался подъем! Он использовал каждую возможность взять разгон, запастись движением и отчаянно кидался в петли щебенистой дороги. Все время казалось: если запалится, станет — дальше не пойдет. Хотелось помочь ему, невольно напрягались мускулы, а тело подавалось вперед. Но автобусик пока со всем справлялся сам. Наконец он выскочил на яйлу.

Овец не оказалось. Правда, снега тоже не было. Да он, наверное, еще и не выпадал. Просто накануне на все окрест легла густая и тяжелая изморозь. А когда пригрело солнце, она, стеклянно звеня (я представил себе, как это было), осыпалась и изошла, растаяла. Потом, поднявшись еще выше, мы увидели покрытый инеем лес.

Но овец не было, и, значит, дядю Мигуэля нам в этот раз не видать. А я уже настроился на встречу с ним, ждал, как к нам кинется, как весело нас облает Джулька, а барашки будут звенеть своими разноголосыми колокольцами. Ни у кого на всей Караби (а может, и не только на ней) нет такой отары. Овечки чистые, беленькие, и десятки разноголосых колокольчиков. Каждую овцу Мигуэль Мартынов знает, холит, и, наверное, поэтому противоестественной кажется сама мысль о том, что вот он сейчас встанет, ласково поманит одну из них, а потом зарежет, чтобы приготовить шашлык к вину, которое привезли гости...

Но так бывало и будет. А затем — разговор о воде, об овцах, об умнице Джуле, которая и без чабана пригонит овец к кошаре и собьет в кучу, о холодных туманах, когда в шаге ничего не видно и бьют в рельс на метеостанции, чтобы ты мог сообразить, где находишься и куда идти (нет ничего тоскливее этого лязга), о яйле, о детях, о жизни. И я скажу, глядя с завистью на черную с густой проседью голову Мартынова: «Ну и шевелюра у вас, дядя Мигуэль», а он помолчит, а потом сдержанно улыбнется, тряхнет головой, отбросит волосы на лоб, откроет лысину на макушке и, четко выговаривая каждый слог, бросит: «Моабит». Что говорить — старик крепок, но был бы еще крепче, не доведись пройти через тюрьмы (Моабит был только одной из них) и лагеря. «Моабит», — повторит он, откинёт волосы назад и быстро заговорит, мешая русские слова с испанскими. Жаль, что мы не все поймем, но эта быстрая речь придаст нечто новое вечеру у костра, и уж во всяком случае, станет ясно, почему Мигуэль Мартинес, республиканец и участник французского Сопротивления, сейчас здесь, на этой яйле: она хоть чем-то — цветом, пейзажем, жесткостью — приближает к дому, который он, старик, покинул еще сравнительно молодым человеком,— она напоминает родные сьерры.

Жаль, но на этот раз мы не посидим вечером у костра с дядей Мигуэлем.

— Мартынов? — переспросил паренек с метеостанции, лихой мотоциклист. — Это который нерусский? Угнал. Уже угнал...

На стоянке Мигуэля Мартынова темнело обложенное камнями кюстрище. Из родника рядом бесшумно сочилась вода.

— Ну и что дальше? — спросил я: вот, мол, проваландались бог знает сколько, а теперь попали в пустой след.

— Ничего, — бодро отозвался самый главный. — Раз мы здесь, надо осмотреться. Чтоб не приезжать на разведку второй раз. А может, кое-что и сегодня сделаем. — Потом он глянул на нас, все-таки помрачневших, и внушительно добавил: — В группе должен быть смех.

— Гы-гы-гы, — изобразил веселье шофер Митя и стал разворачивать машину.

Как ни упирался автобусик, как ни взбрыкивал колесами, разбрасывая грязь, Митя загнал его задом на бугорок, чтобы потом можно было завести мотор с разгона.

Мы полезли пешком на гору. Подниматься было нелегко, но вид открылся великолепный. Глянешь на юг — отвесной стеной вздымается море; горизонта нет, вода сливается с голубовато-серым осенним небом. На запад, к склонам Демерджи, несколькими застывшими волнами уходит лесной массив, смягчая и облагораживая, как это может сделать только лес, неровности земли. На севере яйла переходит в мощный, широкий увал, который словно бы низвергается в таврическую степь. На восток до самой Феодосии неровными грядами протянулись горы. И все это подернуто дымкой, сдержанно высвечено солнцем — мир не кажется плоским, определенно, но ненавязчиво выделяется каждый план.

А милые подробности ближайших окрестностей! Повернешься и нарочком вдруг увидишь среди древних голубых камней недавно родившийся шампиньон. Какая нелегкая вывела его в этот мир в канун снегопадов и морозов? Ведь пропадет, если уже не пропал. А рядом, на юру, ветровой бук — корявый, изломанный, кряжистый. Ничего в нем нет эт спокойной мощи и степенности буков — лесных великанов, которые, однако, и растут такими дебелыми да гладкими, потому что прячутся за спины гор или просто селятся чуть пониже. И вот что любопытно. Если тот могучий лес по существу мертв, на земле стелются только мох или опавшие листья, то к корням этого расхристанного и, казалось бы, несчастного бука, глядишь, лепятся и солнцезвезд, и молочай, а то и знаменитый эдельвейс-ясколка. Для всех хватает места, солнца, ветра.

Смотреть было на что. И смотрели бы. И каждый, наверное, видел бы свое, думал о своем. Но, опоздав однажды, следовало помнить, что через несколько дней в Керчи начнется осенняя путина, а нам еще нужно побывать на канале, заглянуть на буровые к нефтеразведчикам и, может быть, заехать на Казантип... Поплелись вниз, скользя на толстой подстилке из темно-бронзовых плотных листьев.

Шофер отпустил тормоза, и автобус покатился. Потом Митя «воткнул» скорость, чтобы завести мотор, но не тут-то было. Мотор несколько раз чихнул, а заводиться не спешил. Бугорок между тем кончился. Мы стали. Сначала на это никто не обратил внимания, галдеж в машине продолжался. Митя, шепотом выругавшись, выпрыгнул из кабины, откинул сиденье и сорвал клеммы аккумулятора.

— Замыкает, зараза, — сказал он, и это было понято как сигнал тревоги.

Крутили ручку. Не помогло. Толкали, стараясь разогнать, машину. Тоже впустую. Загнали под конец автобусик туда, откуда сами уже не могли вытащить снова на дорогу. Опять начали крутить ручку...

Чтобы прибодрить общественность, наш Костя несколько раз повторил:

— Для физкультурника главное — пропотеть.

Поскольку эта цель была давно достигнута, кто-то не выдержал и попросил его заткнуться.

На небе появилась первая с острыми краями звездочка. Воздух сделался заметно жестче. Похолодало.

Яйла стала сосредоточенно, угрожающе тихой. Далеко на гребне холма возник и тут же пропал небольшой табун лошадей.

То ли для того, чтобы показать эрудицию, то ли чтобы скрыть растерянность, Костя говорил об аккумуляторе, который, по-видимому, «сел», о свечах, которые, наверное, «забросало», о карбюраторе — он, кажется, «засосался». Митя угрюмо отмалчивался.

Я в технике ничего не смыслю и потому был уверен в другом: наш похожий на ишачка автобус попросту заупрямился и сегодня мы, судя по всему, с места его не сдвинем. А раз так, то, пока еще окончательно не стемнело, самое время позаботиться о сушняке для костра. Главное — не терять чувство юмора и помнить, что утро вечера мудренее.

Костер всегда прекрасен. А я давным-давно не сидел возле него так вот по-настоящему, когда огонь разведен не ради баловства или туристской экзотики, а потому, что в нем есть истинная нужда, и теперь наслаждался. Остальные, видимо, испытывали то же.

Алюминиевая кружка обошла два круга, от буханки хлеба остались на газете одни крошки, опустели жестянки из-под баклажанной икры и бычков в томате — настало самое время перекурить. Мой сосед Саня, милый белобрый паренек (он разок передернул, и кружка, сделав зигзаг, направилась прямо ко мне), не стал даже доставать свою цацку — зажигалку в форме пистолета, — а прикурил от головешки. Я в этом увидел признак хорошего настроения.

Чудный парень. Когда вертели ручку и толкали машину, ему досталось больше всех. Костя подначивал:

— А ну, боксер, покажи себя!

Я сперва не понял, что «боксер» — это и есть Саня. Бывают же такие ребята: в одежде кажется худым и хрупким, как сухарь, а разденется — ну и ну... Широкая, мощная грудь, бугры мышц на плечах, крепкая шея. Таким был и этот мальчик, без пяти минут солдат: он знал, что еще в нынешнем году пойдет служить.

Поиски хвороста в темноте — занятие не из самых увлекательных, чем-то оно напоминает ловлю последней, ускользающей фасолины в полхлебке. Однако прошло немного времени, и у нас опять были дрова. Снова загрузили костер, и он притих, засопел, помрачнел, будто собираясь с силами. В ту ночь наш костер был единственным на Караби-яйле, и его, должно быть, хорошо видели с пролетавших мимо самолетов.

Разобрали спальные мешки, но ложиться никому не хотелось. Последний раз пустили по рукам кружку.

— За аса крымских дорог, неутомимого рационализатора и общественного автоинспектора товарища Митю, — предложил Костя.

— Я, выходит, и виноват, — пробурчал Митя. — Что я — напрашивался? Заставили ехать на чужой машине...

— Полез в пузырь, — прервал его Костя. — Никто к тебе ничего не имеет... Слушайте, граждане, — вдруг оживился он, — московское время — двадцать часов, светает не раньше половины седьмого. Времени впереди навалом. Что будем делать?

Мы молчали.

— Задаю наводящий вопрос, — сказал Костя. — Что делают сейчас цивилизованные люди?

— Смотрят телевизор.

— Еще рано.

(Точно. Сейчас спешат домой после занятий.)

— А я бы уже был в пивной, — сказал Митя.

(Тоже верно. Своеобразный шоферский рефлекс. Целый день милиция нюхает шофера, как розу, разглядывает, как призовую красавицу, подозревает в разных грехах, как ревнивая жена мужа, зато вечером шофер сам себе хозяин. Группки сосредоточенных людей возле бочек и ларьков. Ручных насосов нет — все механизировано. Застоявшийся кислый запах перемешался в подвальчиках и винных магазинах с запахом сырых опилок. Сиплый голос продавщицы: «Кто там опять курит?» — и сигарка втягивается в рукав.)

— Теперь подобьем дебет-кредит, пока Митя не заговорил про любовь. Телевизора мы не захватили, даже транзистора нет. Так пускай каждый выложит одну киммерийскую историю. — Костя повернулся ко мне. — Как ты писал? «Мы вам расскажем о молодости этого древнего края...» Валяйте, рассказывайте.

— Декамерон? — спросил Алик.

Я до сих пор ничего не сказал об Алике, а ведь это он по сути был у нас самым главным. Костю только называли так — он все шумел по административно-хозяйственной части, а удача или неуспех дела, ради которого мы ехали, зависели от Алика. Это понимали все и потому даже перестали острие по поводу эспаньолки, которую Алик отрастил, как я думаю, не из простого пижонства, а для солидности. Бородка, обручальное кольцо, тихий и неторопливый говор, который, однако, привлекает внимание, — в этом была какая-то законченность.

— Давайте по кругу, — сказал Костя. — Начнем с Алика.

Алик не стал упираться. Только подергал бородку и спросил:

— А что значит «киммерийская» история? Об этих местах?

Костя кивнул.

— Тогда я о своем знакомом. Есть у меня в Феодосии знакомый таксист — назовем его дядей Федей. По-моему, грек, но пишется, наверное, русским. Город знает, что называется, от и до...

Митя фыркнул:

— Тоже мне город — две улицы и полтора переулка.

— Это ты оставь, — мягко возразил Алик. Есть у него такая обезоруживающая манера говорить — как с малым дитем. — Прекрасный город. Запустили его, застраивают неумно, а сам по себе — чудо. Дядя Федя, между прочим, тоже иногда шпильки пускает о городе и земляках. Вот, дескать, чудаки: до сих пор спорят, где похоронен Айвазовский: в церкви святого Сергия или в монастыре святого Геворга. Нечего им, мол, делать. А самому, вижу, до невозможности это нравится: не о чем-нибудь, а о знаменитом маринисте спорим... Я как-то сказал, что не считаю Айвазовского великим художником, и сразу увидел: расстроился. Сначала перевел разговор на другое, а потом и совсем замолчал. А дядя Федя не любитель молчать...

— Трепач, одним словом, — опять всунулся Митя, но Алик не обратил внимания.

— У них, в Феодосии, Айвазовский — кумир. Культ личности Айвазовского. Так вот о дяде Феде. Милый человек. Развлекается, как может. Подрядили его раз киношники ездить выбирать натуру для съемок. Целую неделю из-за баранки не вылезал. С утра до вечера. Киношники что ни посмотрят: нет, не то. А он безропотно — опять за руль и поехал дальше. А однажды глянул на счетчик и говорит: «Теперь поехали, куда я вас повезу». Прикатили. Вылезли из машины и ахнули: как раз то, что нужно. «Чего же ты нас сразу сюда не повез?» А дядя Федя смеется:

«Зачем спешить? Я с вами за неделю месячный план выполнил». Он с самого начала это место имел в виду...

— Жулик,— снова не выдержал Митя.

Алик рассмеялся.

— А однажды был такой случай. Едет он с этими киношниками, режиссер и говорит: «Пивка бы...» А очередь у бочки на полквартала. Не спешат, повторяют, вяленых бычков грызут. Дядя Федя подмигнул: «Сейчас сделаем». Вышел из машины, полез в багажник, достал штатив для кинокамеры и начал устанавливать возле очереди. Потом оборачивается к режиссеру: «Так годится?» Тот, хоть и не понимает ничего, кивает: да, мол, вполне. Из очереди спрашивают: в чем дело, что случилось? А Федя: «Ничего. Тунейдцев для «Фигиля» будем снимать...» Через полминуты очередь как ветром сдуло, ни души у бочки не осталось.

Дядя Федя вызывал определенную симпатию и мысль: нам бы такого шофера.

— Был с ним и такой случай,— продолжал Алик.— Тогда он в Сибири работал. Возвращается из рейса, видит — бронетранспортер у въезда в город стоит. «Что случилось, солдат?» — «С мотором что-то...» — «Помочь?» — «Давай, если можешь». Солдат — водитель молоденький, а дядя Федя всю войну на танках и самоходках прошел. «Ладно, говорит. Только ты меня потом на своем бронетранспортере в гараж подбрось. Так, чтоб я сверху за пулеметом стоял. Хочу молодость вспомнить». — «Давай,— соглашается солдат.— Лишь бы выручил». А чего ему не соглашаться — пулемет-то все равно не заряжен. И вот минут через сорок во двор гаража вваливается бронетранспортер, а сверху на нем дядя Федя. Все, конечно, высыпали, окружили, загалдели. А дядя Федя вдруг крутанул пулемет, щелкнул затвором и мрачно говорит: «Всех стрелять не буду, говорит, все отойдите, а ты, механик, ни с места. Прощайся с жизнью». И опять щелкнул затвором. Тут механик как рванет. Запетлял, как заяц, упал, опять вскочил... А дядя Федя хохочет: «Теперь вы видите, что это за человек? Может он в нашем передовом коллективе быть председателем профсоюза?..»

Мы тоже смеялись, а я подумал, что не худо бы познакомиться с этим дядей Федей. У нас с Аликом уже не раз так бывало: он меня знакомил с одними интересными людьми, я его — с другими.

История шофера Мити с первых слов поразила нас. Он начал так:

— Когда я вернулся из сумасшедшего дома...— Потом спохватился: — Да вы не думайте чего. Просто начальника габуреткой стукнул. А он не понимал, как это его можно стукнуть. Другой бы под суд упек, а этот сунул в психбольницу...

— Подожди,— строго остановил Костя.— Стукнул за что?

— Зараза был,— просто ответил Митя.— А я этого не переношу. Чуть что — начинает права качать. «У вас, говорит, в голове полторы извилины». И, главное, все на «вы», на «вы»... Ну, пока он с другими, я молчал, а когда меня тронул, не выдержал. «Хватит тебе, говорю, гвозди заколачивать. Надо мной ты погоду строить не будешь». Ну, и слово за слово... Я ж контуженный на войне. Да я не об этом собирался. Вот вы все хахоньки: рационализатор, общественный автоинспектор, а машина поломалась и стоит. Какого-то афериста дядю Федю вспомнили. Я ж все понимаю. Так я, во-первых, никакой не автоинспектор. Еще чего не хватало! И машина тут ни при чем. Для меня дело, чтоб вы знали, всегда на первом месте...

— Ну! — не удержался, съязвил Костя. Его физиономия начала расплываться улыбкой, он бы еще что-нибудь сказал, но напоролся на

Митин взгляд — терпеливый, спокойный и, пожалуй, сочувственный. Так смотрят на убогих. И наш самый главный стухевался.

— Вышел я, значит, из этого дома, — продолжал Митя, — вернулся в Керчь. Начальник как увидел — чуть в обморок не упал. Змея очковая. Головастик. Его коброй ребята из-за очков называли. И я ему с ходу рубаю: «Когда приступить?»

— А что за контора была? — спросил Костя, и это было как извинение за недавнюю бестактность.

— Дорогу строили. Я на «студебеккере» щебенку возил. Для отсыпки полотна. «Так когда, спрашиваю, приступить?» А у него глаза в разные стороны вертятся. «Ладно, говорю, сегодня в ночь заступаю». Потом нашел своего дружка и пошли с ним к Маруське. Она, конечно, обрадовалась, побежала самогон доставать. А я сел на лавке, задумался. Зачем, думаю, сразу в ночь напросился? Можно было и с утра начать. Ну, а раз сказал, значит все. «Об чем мозги сушишь?» — спрашивает дружок. «Да вот, говорю, закуски нет». — «А это что?» По комнате поросенок бегаёт. Махонький, как собачка. Я разозлился, поймал его, зарезал, смолить стал, выпрошил и в казан. Пришла Маруська, видит, что поросенка нет, заплакала. «Не реви, говорю, дура. Он мне всю плешь визгом проел. Кто тебе дорожке — я или поросенок?» Замолчала, ставит самогон на стол. Выпили, закусили. Маруська юлой вертится, даже подпевать стала. Глянул я на часы — пора. Дружок тоже встает. «Пошли», говорю. А она скисла сразу: «Вы что же, мальчики, оба уходите?» — И чуть не плачет. Кому что, а куре просо. «Некогда, говорю. Служба есть служба. Понимаешь? Дело превыше всего». И мы пошли. Несмотря ни на что. Ясно?

Митя уже подкладывал дрова в костер. Делал он это спокойно, неторопливо, заранее прикидывая, где какая палка удобнее, лучше ляжет.

— Когда это было? — спросил Алик.

— В сорок седьмом — когда же еще...

Следующей была моя очередь, а что я расскажу? Как-то подспудно я думал об этом, слушая и Алика и Митю. Что же я могу рассказать о Киммерии? Как вообще получилось, что мы сидим здесь? И время от времени потрескивает костер, а чуть поодаль в темноте какой-то зверек острожно шуршит опавшей листвой и всякий раз испуганно замирает, чтобы минуту спустя опять нечаянно зашуршать.

Во всем в конце концов виноват я. Это я их растормошил, заявив однажды, что пришла пора сдуть пыль забвения с памяти о Киммерии. Так прямо и сказал. Но когда впервые мелькнула эта мысль? Уже и не вспомнить...

Нужно разобраться, имеет ли это отношение к сегодняшнему вечеру. Сначала мы, два лоботряса, невероятно томились на скучнейших университетских лекциях. Было это в том же 47-м, когда Митя вышел из сумасшедшего дома. Нам, лоботрясам, было по двадцать два, и у обоих позади оставалась война и военная служба. Самим себе мы казались ребятами что надо. На переменах мы собирались покурить вместе с другими такими же, донашивавшими сапоги и гимнастерки, и кто-нибудь, разглядывая бахрому на обшлагах кителя, случалось, говорил: «Что-то мы пообносились, мальчики...» Единственные, кто нам завидовал, так это пацаны, в том числе и те вчерашние пацаны, которые недавно получили аттестаты зрелости и теперь сидели в аудиториях рядом с нами. Еще бы им не завидовать: сокурсники отдавали предпочтение нам — всерьез курившим, всерьез брившимся и бедствовавшим от безденежья. Девочки —

вот кто действительно страдал, сострадал и вообще относился к нам серьезно.

Однако я не об этом. На лекциях мы томились до тех пор, пока моему другу и соседу не пришла в голову счастливая мысль. Однажды он достал из кармана спичечную коробку. «Угадай, что тут?» Я пожал плечами. Тогда он сказал: «А ну открой».

В коробке сидел таракан. Лапки у него были каким-то хитрым способом связаны, так что таракан мог бегать, но не очень быстро.

Поигрывая шельмовскими желто-зелеными глазами, растекаясь улыбкой до ушей и ерзая от нетерпения на стуле, Юрочка объявил, что мы с помощью этого таракана проведем футбольный матч. На столе, за которым сидели, мелом нанесли двое ворот, среднюю линию и центральный круг. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это был скорее хоккей, нежели футбол: таракана нужно было загнать в ворота карандашом — своеобразной клюшкой. Но в то время телевизоров почти не было и о хоккее мы имели довольно смутное представление. Футбол так футбол. Своеобразие игры заключалось в том, что таракана нужно было загнать в собственные ворота.

С первых же секунд начались сложности и споры. Требовался судья, появились болельщики. Сдержанно повизгивали девочки. Мы тяжело дышали, оттирали друг друга локтями, жили напряженной жизнью. Время от времени я воспринимал подсознанием сигналы тревоги, но отгонял их. Главным из них, как я теперь понимаю, была наступившая вдруг глубокая тишина. И словно во сне послышались слова декана (читал лекцию он): «Так кто нам повторит эти бессмертные строки?» Я поднял голову и замер: декан был рядом, он смотрел на нас. И все смотрели на нас. Хотел толкнуть Юрочку, но не успел. Послышалось: «Может быть, вы, товарищ Бойко?» Юрочка вылез из-под стола, где ловил таракана, и теперь стоял стройный, как телеграфный столб, глупо улыбаясь и одергивая гимнастерку. «Или вы?» — декан указал перстом на меня...

— Ну, как история? — спросил я своих сидевших у костра ребят.

Они улыбались. Алик осторожно усомнился:

— Кажется, не по теме...

— Вы думаете? — сказал я, потому что только этого и ждал. И снова перенесся в то далекое время, когда я, повинувшись персту, тоже поднялся и стал рядом с Юрочкой Бойко. Так мы и стояли, два юных, небрежно ошкуренных и пропитанных едкой, убивающей все живое смолой телеграфных столба, и внутренне гудели от пустоты, от презрения к себе, как после самого тяжелого похмелья. В аудитории уже хихикали. «Может быть, вы повторите то, что я просил?» — еще раз сказал декан, которого я в тот момент ненавидел, хотя и понимал, что он по всем статьям прав. «Да,— неожиданно для самого себя ответил я хрипло,— повторю».

Не знаю, откуда они вылезли и где во мне прятались, эти строчки. Я откашлялся и сказал: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Тьма беспросветная там искони окружает живущих...»

Вот при каких обстоятельствах мне впервые пришлось вспомнить об этом крае. А сейчас я здесь.

Костер набирал силу, а разговор, наоборот, почти угас, только изредка потрескивал и вспыхивал. Разговор стал обрывочным и пошел о чем попало, как это нередко бывает, когда собеседники устали, томятся, но никто почему-то не решается сказать первым: «Ну, я пошел спать».

Я вдруг вспомнил о Богдане Хмельницком, и это ненадолго пробудило интерес — история в самом деле была занятная и не так уж известная. Сейчас редко кто вспоминает, что гетман Богдан, между прочим, был и моряком, участвовал в морских походах запорожцев к Турции и берегам Крыма. Правда, тогда он еще не был гетманом. Эти морские походы стали для низовых запорожских казаков целой эпохой, а для казацкой молодежи участие хотя бы в одном из них превращалось в экзамен на мужественность и зрелость. Шутка сказать, в утлых лодчонках пересечь Черное море, напасть на великолепно укрепленные Стамбул или Синоп, принять бой с эскадрой и береговыми батареями. И это в то время, когда Оттоманская империя нагоняла страх на всю Европу. Отчаянная гольтьба были эти запорожцы!

А их поход на Кафу в 1616 году. Тогда командовал Петро Конашевич Сагайдачный. Об этом походе были даже написаны вирши:

...взял в турцех место Кафу,
аж и сам цесар турский был в великом страху,
бо му четырнадцать тысяч там людей збил,
катарги едины палил, другий потопил,
много тагды з неволе християн свободил...

Кафа к тому времени упрочила свое положение центра работорговли.

Но это еще что — Кафа или даже Стамбул! Забирались и подальше. Ведь не исключено, что легендарный шевалье д'Артаньян встречался с запорожцами. Это могло случиться в 1646 году, когда украинские казаки оказались во Франции и участвовали с отменной храбростью в осаде Дюнкерка во время франко-испанской войны за Фландрию. Непосредственное отношение к этому делу имел все тот же Богдан Хмельницкий.

Как я уже сказал, история вызвала интерес (я сам люблю такие истории), и разговор продолжал скакать. Алик спросил, правда ли, что Лукоморье — то самое, где дуб зеленый, и золотая цепь, и кот ученый, правда ли, что это сказочное Лукоморье — не что иное, как наша крымская Арабатская стрелка? Вообще-то почему бы и нет?.. Само слово «лукоморье» удивительно подходит к песчаной косе, изящно изогнутой наподобие лука в Азовском море. Где-то я даже читал об этом.

Проснулись рано, когда небо только начало по-осеннему сдержанно, без пышности и многоцветья, светлеть. Автобусик, как я и ожидал, завелся сразу: ему тоже захотелось на бойкую дорогу и в теплый гараж.

Костер погас, но мы тщательно залили угли. Можно было ехать, но Алик сказал:

— Пойдите.

Он взял лопату и чуть в сторонке начал рыть яму. Потом мы сгребли туда оставшийся после ночевки мусор — все эти склянки, банки, бутылки — и снова засыпали землей. Пусть все будет, как было.

5. О кладоискателях

Во всяком, наверное, деле нужны талант, удачливость и особое чутье. Древние кладоискатели обладали этими качествами сполна, поэтому сейчас почти невозможно найти курган, не ограбленный ими. Но Дима Карелин, судя по всему, парень тоже что надо. Ведь вот же

все считали этот курган давным-давно выпотрошенным, пустым, а он вертелся вокруг него и так и сяк, только что не приплясывал. А о том, что этот курган — «выеденное яйцо», говорило многое. Даже поверхностный осмотр показывал: здесь уже рыли. Правда, у иного яйца золотая скорлупа, как, скажем, у Царского кургана, который сам по себе, даже без всяких сокровищ, прекрасен. Но Царский — феномен, уникал, памятник архитектуры, у него мировая известность. Это в связи с ним не без выпренности стали говорить о курганах: «этих пирамидах скифских степей». Царский курган (IV век до н. э.) огромен. Ведущий в усыпальницу каменный коридор — дромос — прост и величествен. Стрельчатый свод теряется в высоте. И свод и стены сложены из прекрасно обработанных, рустованных каменных блоков с нарочито рваной поверхностью. Сама же усыпальница, куда нужно подняться по нескольким ступеням (и в этом тоже, наверное, был свой смысл), увенчана куполом, который словно символизирует успокоение.

Но о Царском уже достаточно написано, а Диму Карелина занимал другой курган. Какую тайну откроет он и откроет ли что-нибудь вообще? Здесь пока было ясно одно: уже рыли, искали золото, пытались пробиться внутрь. Наверное, это происходило давно, и сейчас самым волнующим оставался вопрос, удалось ли «им» это?

Возможно, те парни-кладоискатели, орудовавшие давным-давно по ночам мотыгами и лопатами, не были все сплошь сукиными сынами, почти наверняка среди них встречались и неплохие люди, но их интересовало только золото, а все остальное безжалостно растаптывалось и отmetalось. Их занимало то, что происходит сейчас и произойдет после восхода солнца, — далеко они не загадывали. Главное — найти сокровища, не попасться с ними на глаза стражникам, а потом сбыть добычу. Им чихать было на музу истории Клио и на проблемы преемственности человеческой культуры. Это современные историки и археолог тоненькой кисточкой обметают пыль с каждого черепка. Бронзовая монетка, ручка амфоры с клеймом древнего гончара, терракотовая статуэтка, случайно не раздавленная чьим-то сапогом, оказываются иногда драгоценными свидетельствами, рушат устоявшиеся концепции и, наоборот, вызывают к жизни новые гипотезы.

Курган, пещера, заросший, осыпавшийся окоп, брошенный дом — всегда воспринимаются как тайна. Когда-то что-то здесь происходило и для кого-то закончилось, может быть, катастрофой.

Иногда трагическую тайну преподносит даже ограбленный курган. Представьте себе, например, такое. Было это давненько — тысячу, полторы тысячи, а может, и больше лет назад, когда еще развевались флаги над высокими крепостными башнями, когда шел, звеня доспехами и сверкая щитом, всин по узеньким улочкам степного укрепления Илурата (сейчас оно лежит в развалинах, а расколотый, как орех, череп этого воина я увидел прошлой осенью на размытом после дождей рыжем склоне оврага), когда селения здесь были так редки, а нераспаханных просторов оставалось так много, что птицы-великаны дрофы ходили непугаными стаями (сейчас дроф почти не стало, а ведь — подумать только! — еще менее ста лет назад один автор писал: «Тяжелые дрохвы сидят бесчисленными стадами в нескольких саженях от дороги, точно отары баранов», а другой ему вторил: «Дрофы, кроме того, что стреляются согнями охотников во время перелета через города, их поражают просто дубинками в гололедицу, когда они лишаются возможности летать»), когда верблюд, вол и ослик были в Крыму не экзотическими животными, а опорой крестьянского хозяйства... Одним словом, давно это было.

Собралась как-то компания — душ пять молодых. А может, они издавна промышляли вместе. Наметили курган, вроде бы до них никем не тронутый. Выбрали план действий: решили не копать по склону, а добираться к захоронению сверху. Так казалось быстрее и легче. Склеп, думали они, венчается куполом, который обычно замыкает круглая плита. Значит, нужно пробиться к плите, затем отодвинуть ее и по веревке опуститься в усыпальницу к массивному каменному саркофагу. Наверное, были и споры и грызня из-за еще не добытых сокровищ, а может, и раньше в этой компании были нелады: ведь, как ни дели добычу, все равно кому-то будет казаться, что он сделал больше других, а при дележке был обойден. Я так живо представляю себе это, что даже испытываю соблазн отбросить предположительную (и потому как бы извиняющуюся) интонацию, заговорить обо всем с совершенной определенностью: люди-то спорили и грызлись всегда одинаково и взгляды, которые они при этом бросают друг на друга, — почти одни и те же взгляды. Но в таком случае мне пришлось бы стать на опасный путь еще больших домыслов, обрядить людей в какие-то одежды, дать им вымышленные имена, а это, чего доброго, потребовало бы вдруг им и стилизации... Нет уж, обойдемся лучше чистым и откровенным предположением.

Конечно, они грызлись между собой, и дело едва не доходило до открытой стычки: в стае всегда оказывается достаточно подросший волчонок, который огрызается и всем показывает клыки, так что вожаку приходится давать ему трепку. Сначала старику это не стоит труда, но рано или поздно дело начинает пахнуть кровью. Правда, именно этим стая, может быть, и оказывается сильна. Такие одно- или двухгодовалые волчата не знают осторожности, действуют отчаянно, бросаются первыми — им нужно утверждать себя.

Как это ни трудно было (тяжелую глину строители курганов перемешивали с бутом, с валунами), молодые добрались наконец до верхней плиты. Сдвинуть ее оказалось тоже нелегко, однако сдвинули. Открылась темная круглая дыра — из нее едва ощутимо пахло благовониями (а может, это только почудилось?) и затхлостью. Наверху тоже было темно, но здесь хоть светили звезды над головой, шелестела трава, звенели цикады, и было слышно, как печально вскрикнул заяц, наступивший лисой. Там же, внизу, сгущалась абсолютная темень и почти ощутимо начинала клубиться, ворочаться в поисках выхода слежавшаяся за несколько веков тишина.

Была минута смятения — ее нетрудно понять. Живым всегда неудобно рядом с мертвецами. А курган, кроме того, таил и угрозу. Внутри могла быть ловушка, западня, он мог быть заколдован. Не раз прежде случалось, что после такого ограбления вся шайка вдруг погибала от какой-нибудь страшной болезни: покойники мстили.

Вот тут-то понадобились многоопытность и цинизм старого человека. Вожак сплюнул в круглую дыру и вслед за этим бросил туда конец веревки: «Мне, что ли, опять лезть?»

И тогда тот, второй, задиристый и настырный, оттолкнул вожака: хватит, мол, покуражиться, а теперь отойди в сторонку. А может, совсем и не так это было, но только что на вершине кургана стояли пятеро, а теперь остались четвером — один уже скользит вниз по веревке навстречу растревоженной тишине.

И вот под ногами массивная крышка саркофага, высеченная из глыбы известняка. Нет, самому острому взгляду не пробиться сквозь такую темень. Наконец выкрешен огонь и можно оглядеться. Что это? Черепки и стекляшки? К черту их, чтобы не мешали... А сверху слышится: «Ну как — живой еще?» Живой. Уж тебя-то, старая собака, навсрянка переживу...

Одному крышку саркофага не сдвинуть, а звать на помощь не годится: подумают — испугался. А что, если накинуть петлю на этот выступ? «Тяните!»

Веревка напряглась и зазвенела, как тетива. Выдержит ли? Плита шевельнулась и чуть подалась вверх. Так. Теперь нужно в щель подложить камень и основательней затянуть петлю.

Когда крышка саркофага достаточно приподнялась, а веревка была надежно закреплена наверху, человек со светильником полез в каменный гроб. Мешок для добычи, привязанный к другой веревке, он взял с собой. Что значит опыт! Все предусмотрено. Когда урожай будет собран, с ним не придется возиться в темноте. Крикни—и мешок тут же уплывет наверх...

Те, остальные, еще раздумывали и гадали, что их ждет, а этот, молодой и настырный, видел: не так уж и густо, однако есть кое-что. Сам покойник превратился в прах; странно легкими и ломкими стали его кости. Не то что разглядывать, а даже просто замечать эти останки не хотелось. Диадема, золотая цепь, браслеты, рукоять меча... Массивный перстень с камнем сунул не в мешок, а за пазуху. При дележке нужно, само собой, выторговать большую, чем обычно, долю, а это — сверх всего. Никто и знать не будет. А что, если старая собака велит обыскать? Нет уж, теперь у него это не выйдет.

А наверху нетерпеливо ждали четверо. Неподалеку в лощине пались стреноженные кони. Следовало послать кого-нибудь к ним — собрать, распутать, подтянуть подпруги — нужно спешить, скоро начнет светать, но старик знал: бесполезно посылать, никто сейчас не уйдет. И он только передвинул наперед висевший на поясе нож. Передвинул так просто, еще ни о чем не думая. Чтоб было удобней.

Скрипела, побряхтывала старая груша под навалившейся на нее тяжестью. К ее корявому комлю привязана веревка, которой приподняли плиту саркофага. Этот сопляк там, внизу, конечно, не догадался поставить для надежности подпорку под плиту. Привыкли, что всегда о них кто-то заботится. А может, и нечего было подставить.

Однако долго он возится. Старик вглядывался в темноту склепа, лишь чуть-чуть тронутую тусклым светом, пробивавшимся из-под крышки саркофага.

Веревка, к которой был привязан мешок, несколько раз дернулась: тяните, мол, дело сделано. Сейчас этот сукин сын вылезет из каменного гроба, потом поднимется наверх и начнет доказывать свои права... Чтоб тебе навеки там остаться!

Скрипнула старая груша. Зашевелился огонек далеко внизу, под тяжелой каменной плитой. И тут старик, безотчетно повинувшись внезапному порыву, ударил ножом по веревке, и без того до предела напряженной. Она щелкнула, как бич, взметнулась, как змея, отбивающаяся от собаки, и юркнула в подземелье.

Удара от падения плиты почти не было слышно. Земля не содрогнулась от предательства. А на вопль заживо погребенного умели, когда нужно, просто не обратить внимания. Тем более что нож старик держал в руке крепко, до рассвета оставалось совсем немного, а доля каждого в добыче увеличивалась на одну пятую часть.

А может, и не так все это было. Может быть. Но когда много веков спустя опять проникли в курган люди, они нашли в ограбленном саркофаге останки двоих, причем один — это было ясно — попал туда много позже другого.

А может, вообще ничего похожего не было? Однако для нас не так уж и важно, если эту историю Дима даже выдумал, ведь он думал боль-

ше всего о том, что ему сулит его курган? Здесь ведь тоже рыли. Кто-то, а Дима это понимал, видел и, наверное, готовил себя к худшему. Подкоп был старый, давно обрушился, но сделан был расчетливо, шел точно по центру...

Ну что ж, бегай вокруг, ничего тебе больше не остается. Торопи рабочих и в то же время удерживай их от каждого неосторожного движения, пей отдающую железом и солью тепловатую воду, днюй и ночуй среди степных колючек, порывайся убежать и все-таки оставайся на месте. Бывают же такие сверх всякой меры подвижные и непоседливые толстяки. Окончательным толстяком Дима пока не стал, но перспектива ясно угадывалась. Этот верткий человек одержим идеей найти нечто свое, значительное.

А мы проводили дни на Эльтигенском пляже. Нельзя сказать, что бездельничали (работа была), но когда в разгар жары особенно хотелось выкупаться, то свободная минутка находилась. Между прочим, здесь тоже велись раскопки, и мы ими сразу заинтересовались. Моряки вытаскивали на берег затонувшие почти четверть века назад десантные мотоботы.

Дело оказалось нелегким. Разбитые орудийным огнем и опрокинутые волнами — десант высаживался в штормовую погоду — суденышки занесло песком, засосало. Морякам пришлось рыть на берегу широкие траншеи, освобождать суда от песка водометом, а потом, накинув трос на кнехты, продев его в клюзы («зацепив за ноздрю») или застропив каким-нибудь иным способом, вытаскивать с помощью трактора копрабль волоком на сушу.

Работали моряки дружно. Командовал молоденький лейтенант, который, впрочем, сам охотнее всего сбрасывал офицерский китель и, оставшись в полосатой тельняшке, брался за любое дело. И тогда особенно очевидно становилось, что подлинный хозяин здесь — годившийся этим ребятам в отцы, неторопливый и степенный мичман сверхсрочной службы.

Уже почти вытасенный на берег мотобот лежал как раз на кромке прибоа. Небольшое, когда видишь его на плаву, суденышко оказалось сейчас неудобным в обращении с ним и тяжелым. Маленький портовый буксирчик в обычных условиях ворочал бы этот мотобот и так и эдак, а теперь могучий трактор задыхался от напряжения и гусеницы его скользили, чуть ли не разъезжались, как копыта смертельно уставшей на трудном подъеме лошади. Но и это нас мало занимало (ведь вытасят в конце концов; раз взялись, то обязательно вытасят), мы во все глаза смотрели на сам мотобот. Он был прекрасен. Не обводами бортов, лишенными изящной протяженности, не общим абрисом (он казался грубоватым и даже топорным), а всем своим обликом, который и сегодня являл готовность к чему угодно. Особенно запомнилась пушчонка на носу — она по-прежнему отчаянно грозила токенским жалом берегу, который (тоже по-прежнему) хмурился железобетонными мордами дотов, врытых в гребень берегового обрыва.

Мачта сломана, надстройка разбита, обшивка помята и посечена осколками, можно было заметить и следы пожара. Но даже не это погубило суденышко. Оно пропало по другой причине. В тот момент, когда волна вздыбила мотобот, немецкий снаряд прямым попаданием ударил его в скулу ниже ватерлинии. Случалось, и после таких ран выживали, но здесь было другое. Десантники — кто уцелел — уже бежали, если можно бежать, находясь по горло в воде, вперед, чтобы зацепиться за кромку берега, а от команды почти никого не осталось. Их невозможность было ранить — только убить. Любая рана становилась здесь смертельной — это относилось и к судну.

Оно было величественно-ржавое, столько раз продырявленное железное корыто. И люди, которые пересекли на нем в штормовую ночь пролив, чтобы броситься потом под снаряды, мины и пули, были герои. И когда трактор, взревев, рванул стальной трос особенно резко, так что заскрипел остов мотобота, дрогнула пушка и показалось, что вот-вот сейчас с мясом, с болтами и кусками обшивки будет вырван кнехт на носу,— мы все испуганно закричали: «Осторожно!»

Потому что корабль — это стало ясно всем — должен был уцелеть, сохраниться, подняться на постамент, чтобы многие поколения спустя удивлять людей, заставляя их задумываться о нашем времени. На постамент — рядом с братской могилой безымянных десантников. Можно ли придумать памятник величественнее и проще! И не трогать, не разрушать вражеские доты на берегу, чтобы каждый мог видеть, какая сила противостояла этим корабликам и людям. Иначе что же останется от нашего времени, когда станут стариками и уйдут последние из тех, кто некогда чудом уцелел?

Удивительное дело — эта мысль захватила и матросов, и мичмана, и лейтенанта, и чумазого тракториста, и нас. Отношение к катеру сразу стало другим — ласковым, бережным. Его теперь не просто выволакивали на берег, чтобы очистить на пляже морское дно, а бережно, стараясь не повредить и не разрушить еще больше, извлекали на свет, чтобы показать людям. И откуда-то появилась старуха — свидетельница ночного десанта, и случайно оказавшиеся рядом туристы взялись таскать бревна-катки, подсовывать их под брюхо судна, и начали вспоминаться истории, связанные с этим десантом... Тяжелая и нудная работа стала вдруг праздником для всех.

Это светлое настроение мы захватили с собой, возвращаясь вечером в Керчь, оно было с нами и в последующие дни, хотя работали мы на других точках, в степи, страдали от жары и пыли. Оно еще долго незаметно сопутствовало нам и приносило удачи. И когда какое-то время спустя мы опять вернулись в город и встретили ликующего Диму, ничего не нужно было объяснять: конечно же, удачливость, чутье не подвели и нашего толстяка.

Нашел что-нибудь? «Что-нибудь»! Он откопал клад, который и в Лувре, и в Британском музее, и в Эрмитаже вызвал бы если не сенсацию, то уж во всяком случае почтительное внимание. Золотая чеканная диадема скифской царицы, нагрудные бляшки и, кажется, серьги, дутые золотые браслеты, драгоценный массивный перстень с секретом... Вес всего этого не превышал полукилограмма, но художественную, историческую ценность находки, ясное дело, трудно измерить. Каждый предмет был верхом изящества и совершенства, на многих варьировалось изображение жука скарабея. и это ставило новые вопросы: скарабей — один из атрибутов египетской священной символики, какие ветры занесли его сюда, случайно ли это?

Не нужно удивляться. В Крыму такое может быть, что только руками разведешь. (Дима и в самом деле развел руки.) Казалось бы, какое отношение имеет Крым к Троянской, например, войне? Оказывается, и к ней Крым хоть косвенное отношение, но имеет. Об этом напоминают существующие или уже забытые названия разных мест нашего солнечного, как любят выражаться журналисты, полуострова: «Партенит», «Партениум», «Парфенион». В основе всех этих слов лежит греческое «парфенос» — дева. Парфениями жители древнего Херсонеса называли праздника в честь главной своей богини Девы. Ее культ как бы достался грекам в наследство от тавров, которые приносили в жертву Деве потерявших у их берегов кораблекрушение мореплавателей.

Но при чем тут Троянская война? Началась она, как известно, из-за того, что легкомысленный троянский царевич Парис похитил у спартанского царя Менелая его жену, прекрасную Елену. На помощь оскорбленному пришли великие герои Греции во главе с его братом Агамемноном. Собрались в Авлиде, чтобы плыть к Трое, и здесь открылось пророчество: они достигнут цели, если только принесут в жертву Артемиде дочь Агамемнона Ифигению. Ифигения сама пошла под жертвенный нож. Но в последнее мгновение произошло чудо — вместо девушки на алтаре билась, обливаясь кровью, лань. Греки увидели в этом добрый знак и двинулись на Трою. А что же Ифигения? Артемида ее спасла, перенесла в далекую Тавриду и сделала жрицей своего храма. Ну и т. д. Суть истории в том, что таврская Дева превратилась на каком-то этапе в греческую Артемиду или наоборот. Изображалась Дева как Артемида-охотница, преследующая с собакою оленя.

Так чьей же жрицей была Ифигения? И была ли она вообще?

— Ну, знаешь... — рассердился Дима. — Пушкин в это верил:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждающим богам
Дымилась жертвоприношенья...

А ты воображаешь черт знает что...

Я по привычке смирился. Главное ведь в том, что волнения остались позади, курган оказался целым, неограбленным, а со скарабеем как-нибудь разберутся.

Те древние сукнины сыны рыли по центру, по оси и промахнулись. Стандартное мышление! Хоронивший свою возлюбленную или жену царь поместил усыпальницу чуть-чуть сбоку, и правильно сделал. Молодец был царь! Он не хотел, чтобы его сокровища попали какому-нибудь лишенному воображения балбесу. Вот Дима — это другое дело...

Да, но даже не это самое важное. Все золото мира меркнет перед другой Диминной находкой. В кургане оказалась каменная плита с барельефом, изображающим квадригу, запряженную в колесницу... Да что говорить! Это непременно нужно видеть.

Мы ахали и воздевали руки, поздравляли Диму и отечественную археологию.

Нас больше всего интересовало, кто была эта маленькая женщина, чей покой так грубо пришлось потревожить?..

Золото? Ладно. Шут в конце концов с ним. Его, наверно, увезут отсюда. Но Понт Эвксинский, и запах полыни, и тепло нагретых солнцем камней остаются с нами. И хмурые доты, и ржавое, множество раз продырявленное осколками железное корыто мотобота, который мы поднимем на пьедестал. И звуки волшебных слов: Киммерион, Киммерик, Киммерия — как звон от удара мечом по медному щиту. Все это остается здесь.

На следующий день мы решили съездить в Эльтиген, отдохнуть после трудов праведных душой и телом. Солнце в сочетании с легким ветерком, загодя приготовленная канистра сухого вина и ворох снеди обещали хороший, долгий день. Однако вернулись скоро. Нас поразила пустота берега. Вообще-то это было хорошо, но сейчас удивило отсутствие матросов и особенно — вытасченного ими мотобота. А без него берег был для нас сиротливым. Все выяснилось очень скоро. Шустрые и обычно все знающие пацаны были тут как тут, валялись в песке и бегали голышом друг за другом.

— Катер? — сказали они. — А его увезли.

— Как? — поразились мы, потому что это было невысказано. Десантный мотобот можно фамильярно называть корытом и суденышком, и это недалеко от истины, но увезти его отсюда не так просто, а то и невозможно.

— А его порезали и увезли, — объяснили эти дети стремительного и скорого на решения века.

Ах, вот оно что! Металлолом. Конечно! Значит, не стоять старику на пьедестале. Ну, ладно, переживем. Однако же стало грустно.

Поковырявшись носком в песке, я нашел ржавый осколок снаряда, поднял и сунул в карман. Потом спросил ребят:

— Ну так что — все-таки окунемся?

А почему бы и нет? Молча стали раздеваться.

6. Выбор природы

Где ни окажешься в нашей великой стране, всюду начинаются разговоры на одни и те же общенациональные, так сказать, темы. Одна из них (не самая, разумеется, главная) — дороги. До поры я думал, что уж в Крыму-то, на маленьком, обласканном вниманием полуострове, эта проблема не стоит. Ошибался. Однажды она встала и передо мной. Да еще как встала!

Обвинить нас в легкомыслии нельзя было: машину заполучили отличную — «газик»-вездеход с двумя ведущими осями, с желтой противотуманной лампофарой на бампере, с залитым под самую пробку баком и двумя канистрами бензина в багажнике. Шофер Леша был отменно лихой, «битый», как у нас говорят, парень, и очень скоро это доказал.

Дело происходило в январе, в самую глухую для Юга пору. Перед Новым годом началась оттепель с туманами, дождями, слякотью и никак не могла закончиться. Мне лично такая погода даже нравится, но для водителей она — нож острый: видимости никакой, встречные машины превращаются в огнедышащих, рыкающих драконов и возникают совершенно неожиданно, дорога скользкая. Добавьте к этому психологический фактор. Спросите любого шофера-профессионала, кого он больше всего боится, и непременно услышите: собратьев по работе. Машина если и выходит из повиновения, то чаще всего оставляет все-таки человеку возможность для каких-то разумных решений, человек же (опять-таки чаще всего) поступает почему-то безрассудно и нелогично. В крови это у нас, что ли? А тут еще скользкий асфальт (мы пока ехали по асфальту) и туман.

Приходилось осторожничать. Леша даже забыл свои прибаутки и, словно нехотя, перенес правую руку на рулевое колесо. Обычно он слегка поддерживал баранку левой рукой, а правая небрежно лежала на подрагивающем рычаге переключения скоростей. Такая непринужденная поза в сочетании с большой скоростью и легкомысленным трепом производила впечатление. Но сегодня эти номера не проходили. Особенно утомительным был гористый участок между Грушевкой и Старым Крымом — здесь Леша вел машину чуть ли не ощупью. Зато, выскочив на равнину, мы приободрились. Стало веселее. Туман пошел полосами, причем промежутки между ними становились все больше. Это был не туман даже, а какое-то огромное, издыхающее, рваное облако, которое уже рухнуло безнадежно на землю, но все еще ползло куда-то,

оставляя ключья в кронах деревьев и меж щетинистых шпалер мертвых сейчас виноградунок. Дорога оставалась скверной, но все-таки было полегче.

Истосковавшийся по быстрой езде Леша выбрал свободный от тумана участок, улыбнулся и принял свою обычную угрожающе неприужденную позу. Артист! Кокетливо потряхивая как бы затекшей кистью, он перенес правую руку с баранки опять на переключатель скоростей — рычаг переключателя был сейчас в его руке, как хлыст, которым всадник только слегка прикоснулся к боку лошади, напоминая, что он — хлыст — существует. Потом Леша шевельнул ногами, будто дал этой лошади шенкеля, и, наконец, еще каким-то неуловимым движением он решительно отправил ее в посыл. Нужно было видеть при этом игру Лешино лица: если сперва он улыбался, то потом, потряхивая пальцами (какой изысканный жест!), поморщился, а под конец медально затвердел, чуть выпятив покрытый редким рыжим пухом подбородок. Кто знает, может, парень в этот миг представил себя повелителем чего-то необыкновенного и огромного с мотором в сто тысяч лошадиных сил, но я не мог отделаться от своего пусть даже избитого сравнения машины с конем. Казалось, закрой глаза — и услышишь топот копыт, тяжелое дыхание и еканье селезенки.

Вот тут-то встретилось нам первое испытание. Леша увидел нудно мельтешащий впереди «Запорожец». Наверное, и я на его месте пошел бы на обгон — какой шофер станет тащиться за «Запорожцем»! Но вдруг возник огражденный чугунами перилами мостик — здесь дорога сужалась. (Каждый крымский водитель, конечно, знает это место между Старым Крымом и Феодосией.) Не беда, мы успели бы обойти «Запорожца» до моста. Однако уже в тот момент, когда обе машины шли ноздря в ноздю и мы постепенно начали уходить вперед, стало ясно, что послушание нашего «газика» не безгранично — он не спешил возвращаться на свою законную правую сторону дороги, больше того, при малейшем движении руля грозил плюнуть на все и стать поперек полосы асфальта. Нас заносило, и это было опасно. Леша сохранял свою прежнюю свободно-неприужденную позу лишь потому, что не было ни единого свободного мгновения, чтобы переменить ее. Время находилось только на то, что делалось само по себе и не зависело от нас: Леша, скажем, успел все-таки побледнеть. А побледнел он, когда из полосы тумана по ту сторону моста выскочил прямо на нас, урча и сверкая огнями, тяжелый грузовик «МАЗ» с прицепом. Тут уж не оставалось ничего другого — только бледнеть. Мы неотвратно сближались со скоростью 100 км/час — семьдесят наших плюс тридцать «МАЗа», — и бесстрашный «газик», кажется, уже примерялся, куда сильнее боднуть этого здоровилу, но в последний момент передумал. Затормозить на плывущей поверх асфальта жидкой грязи никто не смел, но все это время Леша бережными, почти микроскопическими движениями руля выворачивал вправо. К счастью, он не стал суетиться, а положился на везение и то случайное стечение обстоятельств, которое мы называем судьбой. Одним словом, смерть прошлестела в тот раз совсем рядом, но даже не поцарапала нам борта, только обдала зловонным дыханием дизельного выхлопа.

Мелькнули горящие глаза «МАЗа» (шофер так и не успел включить фары) и расширенные от ужаса глаза самого шофера, прицеп на прощанье плеснул нам в стекла фонтаном грязи, и на этом все закончилось.

Леша приходил в себя постепенно. Сначала вернулся румянец, потом, будто опомнившись, наш «битый» парень сбросил газ, и машина пошла спокойнее. Опять проскочили короткую полосу тумана (она как

бы смысла с нас грехи) и выехали на открытое шоссе. Только здесь Леша, стряхивая оцепенение, потянулся, осторожно глянул на меня и слабо, без всякого актерства, улыбнулся.

Машина как ни в чем не бывало продолжала резво бежать вперед, так что даже подумалось: а не ошибся ли я, принимая ее за одушевленное существо? Ветровое стекло, словно сачок, подхватывало на лету тончайшую морось и сцезнвало на капот. Стекая вниз, дождевые капли робко пытались смыть плевков грязи — прощальный и недружественный привет, посланный нам встречным. Впрочем, мы этот плевков заслужили.

Леша съехал на обочину и остановился.

— Да, чуть не вмазались, — сказал он.

Я протянул ему зажигалку, давая понять, что вполне оценил каламбур. А на заднем сиденье громко, с подвыванием зевнул дрыхнувший до сих пор Алик. «От сна еще никто не умер», — сказал он, садясь в автомобиль, и теперь, видимо, проверял это на опыте. Леша, чтобы ничего не объяснять, вылез из машины, достал из-под сиденья тряпку и начал протирать стекло.

Так началась эта запомнившаяся мне, но, в сущности, самая обычная поездка.

В старом, восьмидесятых годов прошлого века, путеводителе говорится: «От Керчи до Феодосии считается сухим путем 97 верст, почтовым трактом (станции Султановка, Аргин, Агибель и Парпач)... Эта дорога представляет интерес исторический. На Керченском полуострове... некогда расположено было знаменитое Босфорское царство. Тут существовал ряд городов, группировавшихся вокруг Пантикапей, как то: Акра, Парфеннон, Нимфея, Мирмикион, Ахилион, Ираклион и др. Большой город был также на мысе Чауда, которым начинается Феодосийская бухта с востока. Здесь есть развалины укреплений с большим кладбищем. Полуостров кончается станцией Агибель, где была граница Босфорского царства. На 15 версте от станции Аргин дорога идет через древний вал, имеющий около 7 саж. в ширину. Он простирался некогда от моря до моря поперек полуострова и, таким образом, служил преградой на случай вторжения. Сооружен он, по Геродоту, для самозащиты, рабами скифов, завладевшими страной, когда те ушли походом в Мидию; поэтому вал называется иногда Скифским рвом. Он носит также название Ассандрова вала по имени царя Босфорского, укрепившего это место и построившего здесь много башен».

(Не знаю, как на других, а на меня такие вот неторопливые фразы действуют почти завораживающе. Да и вообще что может быть увлекательнее исторических сочинений, мемуаров и старых путеводителей?)

Все это мы видели и знали. Но в конце главки путеводителя упоминается еще одно довольно глухое место, где якобы встречаются «явные следы очень древнего жилья», а «целый ряд скал и утесов представляет следы циклопических построек». Читал я об этом месте и в других книгах, знал, что с ним связаны легенды, предания. Теперь мы решили его посетить. Наверное, это объяснение звучит не очень убедительно, но добавить к нему нечего. Меня никогда не оставляет надежда увидеть, узнать еще что-нибудь необыкновенное. Не раз прежде эта надежда оправдывалась, и я в самом деле повидал немало интересного. Иногда сам удивляюсь: до чего же легко сорвать меня с места — стоит только поманить. Вот и теперь. Никто, конечно, не знал, что поездка будет просто утомительной и трудной. Представилась возможность поехать — как ею не воспользоваться? — и я поехал.

Шоссе мы довольно скоро оставили, еще какое-то время под колесами «газика» стучала насыпная щебенчатая дорога, а потом пошли проселки. Это напоминало путешествие к истокам: сначала река, потом речушка и, наконец, ручеек.

Местность отнюдь не веселила: всхолмленная степь с обнажениями скальной, материковой основы невольно напоминала что-то немислимо древнее; в низинах — озера, но вода в них не радует: она горька, солонa. Селения, естественно, не лепятся друг к другу, от одного к другому приходится порядком пошагать, хотя расстояния не так уж и велики — Крым есть Крым.

На первом же проселке, отъехав километров шесть, мы увидели сползший на пахоту и завалившийся на бок автомобиль-цистерну с надписью «Молоко». Шофер бросился к нам, умоляюще подняв руки. Остановились.

Молоковоз «сидел» прочно. То колесо, что сползло с дороги, утонуло в грязи по самую ось. Без гусеничного трактора не вытащить.

— И давно ты?

— Почти сутки, со вчерашнего дня. Пустите погреться...

Он залез третьим на заднее сиденье и задубевшими пальцами начал разминать предложенную Лешей сигарету.

С невысокого грязно-серого неба продолжала сеяться водяная пыль.

— Неужели и ночевал здесь?

— А куда деться?

Верно. Темнеет в январе рано, светает поздно. Идти по такой грязи в темноте — и сапоги потеряешь; когда рассвело, появилась надежда: авось кто-нибудь будет ехать мимо. Глядя на дрожащего в коротеньком ватнике коллегу, Леша изрек:

— Зима. Крестьянин торжествует, тулуп нашел и в ус не дует...

Больше всего меня удивило то, что парня пришлось еще уговаривать поехать с нами в село. Он хотел остаться, ждать помощи, которую мы пришлем: как же, дескать, бросать без присмотра машину и молоко.

— Да пропади они пропадом,— ласково сказал Леша.— Там уже не молоко, а простокваша.

— Не знаешь ты нашего директора...— тоскливо отозвался парень.

— И знать не хочу,— заверил его Леша.

Шофер молоковоза вяло отмахнулся: в том-то, мол, и дело, что не хочешь знать и можешь себе это позволить. А тут особенно пылить не приходится. Снимет с машины, пошлет слесарить в гараж — много там заработаешь...

И тогда в разговор вмешался Матвей:

— Не переживай. С Петровским я сам поговорю.

Матвей сказал это внушительно и строго. Однако вы ничего не знаете об этом моем старом приятеле. Мы ночевали у него после несостоявшегося столкновения с «МАЗом». Когда приехали, до вечера было еще далеко, но я решил, во-первых, больше не искушать сегодня судьбу, а во-вторых, хорошенько расспросить про дорогу: в той глуши, куда мы теперь собирались, никто из нас не был. Лучшего же консультанта, чем Матвей, желать не приходилось: вот уже лет двадцать после войны он работает в этом районе, а до войны жил по соседству, извездил и исходил всю округу вдоль и поперек.

Останавливаться на ночлег у него я не собирался — гостиница во всех отношениях предпочтительнее,— но Матвей слышать об этом не хотел: оставайтесь, и basta. Дружья мы или не дружья? Конечно, дружья... Но не последнюю роль в этом, я думаю, сыграло и любопытство Матвея. Его заинтересовал мягкий и обходительный молодой человек Алик

с неожиданной эспаньолкой, обручальным кольцом, с серебряными карманными часами на цепочке со старинным брелоком, в умеренно пестрой модной рубашке и современных туфлях-мокасинах. Так или иначе, но Алик выглядел rispetабельно и по-своему был даже элегантен.

Когда бытовые (кто где будет спать) вопросы оказались решенными, мы засуетились: нужно бы сбегать в продмаг. С великолепной простотой, в которой в то же время чувствовалось и превосходство, Матвей спросил:

— Зачем?

Я щелкнул себя по горлу: ну, хотя бы за этим.

— Не надо. Все есть.

— То есть как это?

— Очень просто. Все есть.

И все действительно было. Рубиново-красное сухое великолепно шло под баранину, утоляло жажду, подогревало аппетит и слегка пьянило. Никогда не пивал ничего лучше этого домашнего вина. Матвей клялся, что ничем его не крепил и не сдабривал, что все — и крепость и сладость — от самого винограда, от тех лоз, что растут за окном, и, конечно, от солнца: оно честно поработало прошлым летом. Маринованный перец, моченые яблоки, томаты в собственном соку с чесноком, кореньями и специями, розоватое сало с мягкой шкуркой, осмоленной пшеничной соломой, все это опять-таки свое, домашнее, не покупное, — пробуждали новую жажду, и мы в который раз поднимали стаканы. Мы не просто пили и закусывали, а я бы сказал: мы пировали. И я как-то поновому глянул на обветренное лицо Матвея, на крепкую шею и тяжелые руки, которые совсем не вязались с его положением не то инспектора, не то инструктора, а может, даже и замзавотделом местного исполкома. Матвей — человек, знающий свое дело и любознательный; наверное, в глубине души он считает, что писать стихи, сочинять музыку, играть в театре — не очень серьезное, не очень мужское занятие, но и к этому он относится с доброжелательством и интересом. Однако никогда раньше во всей его повадке, в степенности, в самом характере его гостеприимства и хлебосольства не проступало так явно крестьянское, что ли, начало.

Матвей любит, когда я расспрашиваю его или о чем-либо советуюсь. Наверное, потому, что это дает ему еще одну возможность почувствовать свое превосходство над нами, горожанами. И мне нравится советоваться с ним, доставлять ему это удовольствие. И потом мне кажется, что этим я хоть в небольшой степени воздаю должное его старшинству. На этот раз я расспрашивал дорогу в места, о которых говорилось в старом путеводителе. Как нам увидеть голубые скалы и утесы, до сих пор хранящие следы циклопических построек?

Объяснял Матвей подробно, точно — где ехать, куда повернуть, сомневался, пробьются ли по бездорожью, спросил, есть ли цепи и лопата (ни того, ни другого Леша, конечно, не захватил). Тогда я, кажется, впервые подумал, что этот немолодой уже еврей — прежде всего человек земли, крестьянин и начисто выпадает из прочно укоренившегося представления о евреях. Правда, в Крыму этим особенно не удивишь. Здесь еще до войны существовали еврейские села, еврейские колхозы, и случалось, что русские, татарские, немецкие дети, тоже, естественно, жившие в таких селах, ходили в еврейские школы и писали справа налево..

А потом Матвей вдруг сказал:

— Что у нас сегодня? Суббота? Так-так... А что, если я завтра махну с вами?

И тут я понял, что с самого начала подспудно надеялся именно на это.

Выехали затемно. Наскоро перекусили, выпили горячего чаю и тронулись в путь.

Свернув с магистрального шоссе, мы, по словам Матвея, должны были проехать через три села, а потом еще идти к своим «голубым скалам» несколько километров пешком. Ну что ж, одно село осталось позади. Посмотрим, что будет дальше.

Шофер молоковоза, подавшись вперед, показывал Леше более надежную дорогу. Дело в том, что в нашей степи дорога — понятие довольно относительное. Проселки умирают, зарастают травой, потом вдруг снова воскресают. Размсят в распутицу одну дорогу — прокладывают новую колею, иногда по целине, а то и по озими.

Для нашего коротышки-«газика» с его небольшими колесами главной опасностью была глубокая колея: здесь мы могли просто сесть на брюхо. Но Леша с помощью коллеги удачно проскакивал ненадежные места, иногда даже не понять было, едем мы или плывем.

— Тут осторожнее, — сказал молочар, однако можно было и не предупреждать: дорога шла по краю глубокого обрыва, круто уходящую далеко вниз к соленому озеру.

— Разве нет объезда? — недовольно спросил Матвей, но объезда сейчас, наверное, не было, потому что шофер не ответил на вопрос и только сообщил, что в прошлом году с этого самого обрыва в озеро свалился трактор «Беларусь». Тракторист успел выпрыгнуть.

Вообще мы исподволь обогащались сведениями. То, что сообщал шофер, как правило, звучало мрачновато, но Матвей был тут как тут — истинный патриот родного края, он старался противопоставить мелким досадным фактам нечто более весомое, крупное и даже романтичное, хотя всегда раньше говорил, что «эта ваша романтика — одни слюни». Я так и не понял цели его не то уточнений, не то опровержений. То ли он боялся, что у нас сложится превратное впечатление об этих местах, то ли, выполняя свой нравственный долг, он воспитывал шофера. Матвей не спорил с ним прямо, и то, что они говорили, вроде бы даже не пересекалось, а выстраивалось на разных параллельных линиях, но все-таки это был спор. Стоило шоферу пожаловаться, что вот-де по такому бездорожью калечатся машины, с трудом выдерживают один сезон, а через год их хоть в утиль сдавай, как Матвей находил повод сообщить, что здешняя пшеница, между прочим, одна из сильнейших, итальянцы жить без нее не могут, чуть ли не всю оптом закупают для приготовления макарон.

Шофер говорил, что тракторам сейчас положено стоять на ремонте, а их гоняют в хвост и в гриву, потому что они — единственный надежный транспорт. Зоотехник осматривать фермы и то едет на «Беларуси» (хоть персональную ему выделяй), а если посылают куда-нибудь несколько грузовиков, то и говорить не приходится — впереди идет гусеничный «ДТ», сопровождает колонну, вытаскивает по очереди застрявшие машины.

— Добрые люди занимаются ремонтом, а мы угробим к весне весь тракторный парк, — говорил шофер, и это было тягостно.

Но через несколько минут Матвей хлопал меня по плечу и спрашивал:

— А ты слышал, что Алексей Леонов совершил свой выход в космос как раз над Керченским полуостровом? Здорово, а?

Это было действительно здорово. А еще через несколько минут Матвей, задумчиво глядя в окно, говорил:

— Ничего, нехай дождит — это влага в почве накапливается...

Правда, Леша сейчас же буркнул:

— Вот и накапливайте ее на полях, а на дороге она мне к чему?

Наш «газик» только что с трудом выбрался из очередной лужи. Шофер рассказывал, как его жена учительница месяц назад, когда уже началась распутица, родила мальчишку по дороге в больницу прямо в тракторном прицепе, хорошо еще, что сопровождала фельдшерница и приняла роды в чистом поле; а Матвей, переждав наши ахи и охи, тыкал перстом куда-то вправо и говорил, что там выращен лес («Представляете — лес в засушливой степи!»), настолько великолепный лес, что в нем даже начали разводить фазанов («Видели когда-нибудь? Красавцы! Прямо райские птицы...»).

Только один раз эти линии пересеклись. Когда шофер сказал, что добрую треть молока, которое отсюда с таким мучением возят в Керчь, тамошний завод бракует, возвращает совхозу (да и чему удивляться — пока соберут, сольют, доставят, проходят почти сутки) и его приходится везти обратно, а здесь скормливать свиньям, — Матвей вспылил:

— Разиня, а не директор ваш Петровский.

— А что он может сделать? — попробовал заступиться шофер.

— Хотя бы сепаратор приобрести и перерабатывать на месте. — Матвей достал книжечку и что-то пометил себе.

Я давно заметил в нем одну черту — стремление переломить в себе то, что ему кажется недостатком или слабостью, и вместе с тем спокойное, непоказное упорство в преодолении чьих-то предубеждений, предрассудков. Иногда я даже думал: нелегкая жизнь. Уж не слишком ли тяжелую ношу ты взвалил на себя? Что я имею в виду? Ну вот, скажем, если бы Матвей, не дай бог, был трусом, он, думается мне, замучил бы себя воспитанием «силы воли», но поборол бы собственную слабость. Ему недостаточно было просто попасть на фронт — он попросился в разведку и был дважды тяжело ранен. Этот мужик за все платил сам и полной мерой. Ему ничто не давалось легко и просто. Сейчас это стремление к самовоспитанию проявлялось в показавшейся мне забавной мелочи: он, еле заметно картавя, не то что не избегал, но, казалось, выскивал слова с «р» и произносил их с подчеркнутой твердостью: «Разиня, а не директор ваш Петровский...»

Так добрались до второго села, высадили своего случайного попутчика (он, даже не забегаая домой, помчался договариваться насчет трактора) и поехали разбрызгивать лужи дальше.

В окошке здешней конторы мелькнуло чье-то лицо, потом какая-то фигура в накинутом на плечи пиджаке выбежала на крыльцо и замахала руками, приглашая остановиться, но Матвей сказал:

— Гони. Некогда.

Наверное, нас приняли за какое-нибудь начальство — оно вот так же разъезжает по глубинке в «газиках»-вездеходах.

...Только что я легкомысленно написал: поехали, мол, разбрызгивать лужи дальше. А на самом деле дальше-то как раз все получилось не просто. Сразу же за селом дорога резко ухудшилась, и «газик» начало швырять в колее из стороны в сторону. Как он выдерживал эти швырки, до сих пор не понять. А потом мы лихо влетели в низину и как бы растянулись в грязи. Ни назад, ни вперед. Куковали не меньше часа и дольше просидели бы, но выручил проходивший мимо трактор. Оставив на минутку свой прицеп, он выдернул нас из болотца, потом опять подхватил тележку и двинулся рядом по обочине, шлепая гусеницами по воде, будто пароход плицами.

В третьем селе, где находилась центральная усадьба совхоза, мы подкатили к конторе сами, не дожидаясь приглашения. В конторе, несмотря на воскресенье, былолюдно: здесь шла шумная и, как мне показалось, странная жизнь. Мы тут же были в нее вовлечены. Матвея узнали, радушно приветствовали и вместе с нами потащили в маленькую комнату с табличкой на двери «Рабочком». А в коридоре остались душ десять мужчин. Вспоминая сейчас, я нахожу, что в их облике было нечто библейское: они расположились в полутемном коридоре, как кочевники на привале; некоторые курили, пряча по давней, видимо, привычке папиросы в ладони, словно и здесь дул ветер или моросил дождь; другие сидели на корточках, прислонившись спинами к стене; все было в брезентовых плащах, мокрых, торчавших колом и все-таки чем-то напоминавших бурнусы; под капюшонами сверкали зубы, глаза, а иногда поворот головы открывал небритую щеку; у всех в руках были высокие посохи: я как-то не сразу сообразил, что это обыкновенные пастушьи палки — герлыги. Они чувствовали себя неуютно, слоняясь в коридоре между шеренгами дверей с табличками: «Бухгалтерия», «Директор», «Отдел кадров», «Старший зоотехник»...

В рабочкоме разыгрывалась жанровая сцена типа — «запорожцы пишут письмо турецкому султану». Правда, само письмо отстукивалось на пишущей машинке маленьким, сухоньким блондинчиком с злым лицом и быстрыми, «стреляющими» глазами. При нас обсуждалась редакция заключительной фразы: «В противном случае вся ответственность за срыв социалистических обязательств коллектива и плана поставок мяса государству ляжет целиком и полностью на вас, о чем нами будет доложено вышестоящим органам».

Закончив писать, блондинчик с неожиданной лихостью не вынул даже, а с треском выдернул бумагу из машинки, поднял голову, подмигнул нам всем и крикнул:

— Федя!

В дверь просунулась одна из голов в капюшоне. Протягивая бумагу, блондинчик скомандовал:

— Дуй!

Когда голова скрылась, он повернулся к нам:

— Почтение, Матвеич!

Матвей уже сидел за столом.

— Что тут у вас происходит?

А происходило, как я понял, следующее. Нужно было гнать овец и бычков на мясокомбинат. Это суток трое пути. Чабаны требовали, чтобы им выдали в дорогу по червонцу на брата. Директор Петровский в деньгах отказывал, говоря, что если не здесь, то по дороге чабаны обязательно («Знаю я их!») запьют. Профсоюз принял сторону чабанов, и поскольку директор явиться в контору не пожелал — воскресенье! — начался обмен посланиями.

— Футбол! — весело воскликнул маленький председатель рабочкома: он, видимо, чувствовал себя в гуще борьбы. А замечено было точно: настала очередь директора бить по мячу.

Мы тем временем познакомились с механиком гаража, зоотехником и секретарем партбюро, которые тоже были в комнате. Запомнился механик. Рыжеватый, веснушчатый, в сдвинутой набекрень кепочке блином, он чем-то напоминал добродушного бандита. Таким мужикам трудно найти себе одежду впору: пиджак, рубаха или телогрейка обязательно окажутся узкими в плечах. Тут же была сделана попытка втянуть в игру Матвея — пусть следующим заходом он тоже напишет Петровскому пару слов. Матвей покачал головой:

— Знаете анекдот? Стоят двое пьяных и спорят: луна это или солнце? Никак не договорятся. Остановили прохожего: луна или солнце? А тот думает: что ни скажу, все равно дадут по шее. И говорит: знаете, хлопцы, я нездешний...

Вернулся посланный к директору Федя. На его небритом лице тоже лежала печать спортивного азарта.

— Ну?

— Сказал, что касса все равно опечатана.

— Дуй за кассиршей! Постой, а сам-то что?

— Ходит по кухне в тапочках и жарит картошку.

— Сказал ему, что из района приехали?

— Ага. Звал в гости. И бутылка, говорит, найдется.

— Вот дает! — весело, почти с восторгом воскликнул маленький и повторил команду: — Ладно, дуй!

Федя опять скрылся. Матвей с укоризной обратился к секретарю:

— Собрали бы бюро с повесткой дня: «О стиле хозяйственного руководства», да холку ему хорошенько... А потом самоотчет коммуниста Петровского на собрании да еще разок холку намылить... Не знаешь, как делается?

— Молодой еще, не научился! — подмигнул маленький.

— Научится, — уверенно сказал Матвей.

— С таким боровом и старый не справится. — Зоотехник махнул рукой, это были, кажется, единственные слова, которые он при нас произнес.

Я посмотрел на секретаря: ну, а ты, мол, что? Это был действительно молодой, розсвощекий мужик, который не мог покамест обрести себя, томился. Работал человек бригадиром трактористов в соседнем совхозе, и все было ясно: гони гектары мягкой пахоты, экономь горючее, помни о ремонте, доставай запчасти. А теперь все непривычно — и положение, и то, что с самим директором приходится говорить на басах, и даже то, что на работу нужно ходить не в замасленной спецовке, а в костюме и пальто, которые раньше надевались только по праздникам.

— Сам он, что ли, не понимает? — сказал секретарь обиженно. Именно это чувство испытывал он, наверное, сейчас — обиду. За людей, которым старый хрыч не доверяет и не дает денег (вопрос, вообще-то говоря, тонкий — могут, черти, на самом деле запить, такое бывало; но, с другой стороны, как не дать, если отправляешь в дорогу?!), за себя, униженного директором перед своими, да и перед приезжими...

— Понимает! — весело воскликнул маленький. — И деньги даст.

— Тогда зачем это?

— А чтоб запомнили лучше: не пей! Я его знаю. Да и перед нами козырь. Если случится что, он не виноват. Не он, а председатель рабочего и секретарь бюро заставили дать деньги.

И тут все мы подумали: а этот Петровский не дурак, умеет жить на белом свете. И секретарь приободрился, стал веселее, словно узнал какую-то тайну. Ему ведь чего не хватало? Определенности, понимания причины, по которой директор мудрит. А теперь, когда все ясно, можно и не обижаться. Лишь бы на пользу делу. Может, и впрямь чабаны лучше запомнят это: не пей? Секретарь даже улыбнулся и сказал механику с физиономией добродушного бандита:

— Ну, а ты чего стоишь? Не видишь — гости приехали!

Тот едва заметно кивнул головой: все будет, дескать, сделано. И тут же исчез.

Леша ушел к машине. Алик, скучая, листал подшивку журнала «Советские профсоюзы». Любопытные взгляды — а ему доставалось их больше всех — он просто не замечал.

Секретарь спросил Матвея:

— По делу к нам или так просто?

— А ты у них спроси,— Матвей рассмеялся и кивнул на нас с Аликом,— у работников идеологического фронта... Камни их тут какие-то интересуют...

Однако объяснить подробнее он не успел — появилась кассирша с разрешением: «По пятерке на нос и ни копейки больше». Пришел и механик со свертком, в котором были две бутылки розового марочного муската и четыре бутылки сурожского белого портвейна. Молчаливый зоотехник сразу же откололся от компании (язва желудка) и ушел выпроваживать чабанов. Дверь за ним закрыли на ключ. Я сосчитал оставшихся, пересчитал бутылки и испытал странное чувство. В нем была тоска оттого, что вдруг среди бела дня придется пить, и была растроганность. В том, что этот добряк с бандитской рожей всем напиткам предпочитает водку, сомневаться не приходилось. Но, принимая гостей, он хотел сделать все, как в лучших домах, и на столе появился розовый мускат, а к нему бычки в томате, соленые огурцы и плавленые сырки — «закусь». Когда маленький председатель рабочкома бестактно спросил: «Водки, что ли, не было?» — рыжий механик посмотрел на него удивленно и с упреком: при чем тут, дескать, водка, когда мы принимаем гостей? «Милый ты мой человек»,— подумал я о нем, а он торжественно встал и предложил:

— За знакомство и со свиданьем.

Все мы тоже поднялись.

Портвейн общественности понравился больше.

Вернулись к цели нашей поездки (хозяев разбирало любопытство), хотя, честно говоря, после всего увиденного и услышанного мне особенно не хотелось вспоминать об этом. Несерьезным представлялся весь этот наш интерес к скалам и утесам, хранящим «следы циклопических построек», и я с досадой слушал слегка повеселевшего Матвея.

— ...А что вы думаете — ходим вокруг и ничего не замечаем. А они вот нам покажут... Верно? — Он с улыбкой повернулся ко мне.— Посмотрим и сами себя не узнаем — такие будем хорошие и красивые... Они это умеют — будьте уверены!

Я пожал плечами. Не скажу, чтобы мне понравился комплимент. А секретарь, маленький председатель и механик слушали сочувственно.

— Разрешите мне,— сказал вдруг Алик.

Матвей протянул ему стакан с портвейном.

— Нет, пить я больше не буду. Спасибо. Я хочу сказать...— Я глянул на него с тревогой: тихий и деликатный Алик в таких случаях обычно помалкивал, роль объясняющего выпадала мне.— Мы не хотим ничего приукрашивать — это было бы глупо и неуважительно, а мы уважаем вас и хотим, чтобы нас тоже уважали...— На щеках Алика играл румянец, и я подумал: ну вот, начинается — «Я тебя уважаю, а ты меня?».— У нас нет другой земли. Мы здесь родились и здесь,— Алик показал пальцем в покрытый кумачом стол,— здесь,— повторил он настойчиво,— нас похоронят. Мы покажем всю правду. Нам незачем вас приукрашивать, потому что мы вас любим.

Когда Алик сел, к нему потянулись чокаться. А рыжий механик дружески забубнил:

— Ну, че смотришь? Рожа моя не нравится? — Он, видно, не заблуждался насчет своей физиономии.— А где другую взять? Мы знаешь кто? Мы — чудо-богатыри. наших дедов тут еще Александр Васильевич Суворов поселил. Целый полк. «Живите и размножайтесь». А с кем размножаться? И тогда Александр Васильевич Суворов приказал за казен-

ный счет купить в России и доставить сюда каждому солдату девку или бабу. По два с полтиной за штуку платили. Теперь понял? Че хорошего за два с полтиной купишь? А я, видать, в бабку уродился...

Шел милый общий разговор, однако я понимал и Матвея, который раза два уже поглядывал на часы: мы еще не добрались до цели, а ведь нужно сегодня же возвратиться назад — завтра с утра у Матвея какое-то важное совещание. Неожиданно в дверь постучали, и я подумал: вот и хорошо, будем кончать. Но симпатичный механик успокаивающе сказал:

— Кассирша наша Семеновна. Я просил, чтобы зашла.

— Насилу отправила,— сказала она, заходя в комнату.

Женщине было лет тридцать пять. Приятное лицо, ладная фигура. Видно, хорошая хозяйка, мать семьи. Есть такие спокойные, благополучные и в то же время без особых претензий люди, вид которых говорит о незыблемости каких-то устоев и уверенности в ближайшем по крайней мере будущем. Вовремя, наверное, вышла замуж, с разумным промежутком родила двоих детей (мальчика и девочку), устроилась на чистой работе... То, что она увидела в комнате, нисколько ее, по-видимому, не удивило. Только, заходя в комнату, Семеновна мельком взглянула на стол, а потом будто и не замечала его; она вполголоса говорила с маленьким председателем о каких-то ведомостях, отчетах и квитанциях. Тем временем рыжий механик снова наполнил стаканы и подвинулся:

— Присаживайся, Семеновна.

— Больно много что-то,— сказала она, принимая стакан.

— Да оно как компот... Будем здоровы!

Выпили и заговорили о том, как же добраться к нашим скалам. Это километрах в пяти от села, но дорога шла по заболоченной солончаковой низине и даже по здешним понятиям была очень плоха.

— Пойдем пешком,— с подчеркнутой решимостью сказал Алик.

Секретарь глянул на его модерновые туфельки-мокасины и покачал головой. Сам он и остальные его односельчане были в резиновых сапогах. Матвей был в кирзачах; я, отправляясь в дорогу, предусмотрительно обулся в добротные туристские ботинки, но и эта предусмотрительность оказалась недостаточной.

Судили-рядили, и я даже не заметил, когда произошел перелом. Семеновна вздрогнула, сверкнула глазами и не запела — закричала высоким, пронзительным голосом:

Дура я, дура я,
Дура я проклятая —
У него четыре дуры,
А я дура пятая...

Выкрикнув частушку, она так же неожиданно замолчала и сразу сникла.

— Чего это ты? Ошалела? — сказал маленький председатель строго, но, по-моему, без осуждения — просто призвал к порядку. С такой же строгостью и пониманием человеческих слабостей он на собраниях стучит карандашом по графину, устанавливая тишину.

А рыжий механик осторожно обнял женщину, погладил по плечу и тихо, так, что из посторонних услышал только я, сидевший рядом, пробубнил:

— Будет тебе выставляться... И так все село говорит... — Потом он резко встал, надвинул на правое ухо кепочку-блин и сказал: — Эх, была не была — едем! Я сам вас к этим скалам повезу...

Я видывал разных шоферов. Когда-то меня восхищали южнобережные и кавказские водители — аристократы, асы горных дорог. Старики были особенно великолепны. Они своими машинами сменили конные линейки, шеголяли на первых порах крагами, кожаными фуражками и куртками, работали на безумно трудных дорогах и по праву смотрели на всех свысока.

А водители с карьеров и разрезов, те, кто вывозит грунт из котлованов огромных строек, — эти лихачи поневоле!.. Заработок зависит от количества ездки и кубов — вот и начинается гонка с первых минут смены. Что эти ребята выделывают с тяжелыми дизельными самосвалами!

Совсем другое дело — водители междугородных грузовых автопоездов, шоферы огромных серебристых фургонов, для которых полтыщи километров — не расстояние. Необъятные пространства, а иной раз ночевки в лесочке, на берегу реки настраивают на неторопливый философический лад (тише едешь — больше командировочных). Как утомителен путь по однообразной степи, как тяжело зимой, если случится поломка!

А таксисты — эти флибустьеры городских и районных дорог! А надменные шоферы «чаек», которые признают только зеленый свет и читают на милицейские правила! Со всеми я водил знакомство, со многими ездил, но едва ли не больше всех мне понравился тот рыжий механик в роли шофера.

Он вначале обошел, оглядел машину, огладил ее, будто это была лошадь, которую нужно успокоить и заставить поверить в седока. Потом сел за руль, опробовал все, что нужно было опробовать, и наконец сказал:

— Размещайтесь.

Ехать решили шестером: Леша с механиком сели впереди, а мы четверо — Матвей, Алик, секретарь и я — втиснулись на заднее сиденье.

Рыжий обращался с машиной, как с живым существом, но это не было похоже на Лешино обращение, и казалось, что она доверчиво пофыркивает в ответ. Он не был с нею жесток, просто рука была у него твердая, расчет безошибочный, глаз точный, и это помогало преодолевать препятствия.

Село стояло на взгорке, но отсюда дорога спускалась в низину, поросшую красноватой травой, которая обычно растет на солончаках. Как я понимаю теперь, механик не собирался везти нас до самых скал; он хотел, набрав возможно большую скорость на спуске, воспользоваться этой скоростью, словно тараном, пробиться до кошары, которая тоже стояла на каменном взгорке, но километрах в четырех. От кошары начинался подъем к скалам — его легко преодолеть пешком. А механик тем временем — пока мы будем осматривать, что нам нужно, — собирался выкатить машину повыше, развернуть и приготовить к обратному прыжку.

Все строилось именно на этом. Скорость и еще раз скорость. Зная дорогу, рыжий мог гнать изо всех сил, ему не нужно было осторожничать и глядеть по сторонам, главное — сохранить тот отчаянный порыв, который приобретала машина, не дать ему заглохнуть преждевременно. В сегодняшних моих рассуждениях это выглядит, я вижу, куда как просто, а тогда нас кидало из стороны в сторону, так что временами казалось — перевернемся; летела грязь из-под всех четырех колес, выл мотор, и сплошной стеной вставала вода вдоль обоих бортов. Нам стало жарко. «Газик» сметал препятствия; стоило хоть чуть-чуть забуксовать одному колесу — на помощь ему тут же приходили все остальные. До

сих пор жалею, что ни разу не взглянул тогда на спидометр, было просто не до этого. Скорость представлялась огромной, хотя, конечно же, она не была, просто не могла быть такой уж большой. Все происходящее воспринималось как чудо. Мы хватались друг за друга и за спинки передних сидений. Один рыжий за рулем был невозмутим, только кепочка еще больше съехала ему на правое ухо.

Мы должны были победить и победили бы, если б не собака. Откуда она взялась, в первый момент невозможно было понять (уже потом мы увидели, как из-за кошары вышел парень с охотничьим ружьем), да и не думал никто об этом. Глупый пес, остервенело лая, кинулся прямо под колеса. Чтобы не задавить его, рыжий крутанул влево, дал тормоза, и так хорошо начатый марш-бросок на этом, увы, закончился. Мы застряли почти у цели. До кошары — а она стояла на надежном щебенистом склоне — оставалось не больше сотни метров.

— Чтоб ты сдох, — сказал рыжий.

И хотя каждый видел вопиющее противоречие между этими словами и поступком нашего шофера, никто не стал спорить. Вот уж действительно негодный пес!

Механик пытался расшевелить застрявшую машину — давал передний ход, задний, — она, как могла, подчинялась, но это были лишь судороги. Больше того — с каждым рывком мы застревали все глубже, и теперь «газик» «сидел» на обоих мостах, его колеса почти потеряли надежное сцепление с грунтом.

Я открыл дверцу, высунул ногу, осторожно попробовал стать и тут же провалился выше щиколотки. После этого не оставалось ничего другого, как разозлиться и вести себя так, будто никакой грязи не было. Однако на последнее решимости не хватило. Подобрал полы плаща и сделавшись, очевидно, похожим на курицу, я в три прыжка достиг более или менее твердого места. Секретарь в своих высоких резиновых сапогах вылез из машины неторопливо. Матвей на всякий случай нашу пал грунт и убедился, что кирзачи имеют даже какой-то «запас мощности». С великолепной небрежностью вел себя Алик. Он ступил туфельками в грязь, будто вышел на асфальт — только тросточки не хватало. Между прочим, он со своей небрежностью и я с этими дурацкими прыжками добились одного и того же — выпачкались, промочили ноги, я вымазался даже больше, потому что, прыгая, поднимал брызги.

Решение за всех принял секретарь.

— Вы, — сказал он нам с Аликом, — идите смотреть свои скалы — это недалеко, километр, не больше. А мы будем принимать меры.

Отойдя метров на триста и оглянувшись, мы увидели, что секретарь с Матвеем тащат от кошары толстые жерди, а механик уже работает лопатой (тоже, наверное, нашлась в кошаре), освобождая машину от грязи.

— А где Леша? — подумал я вслух.

— В машине, — сказал Алик. — Он же в ботинках...

Сотни через две метров мы перевалили за гребень скалистого бугра и перестали все это видеть. Поднимаясь дальше вдоль гребня, старались выбирать щебенистые места. Мне было еще ничего: грубые башмаки с рифленой резиновой подошвой вели себя вполне прилично, но на Алика было жалко смотреть — то и дело скользил на склоне.

Открылось море. До него отсюда рукой подать. Впрочем, так повсюду на Керченском полуострове, да и вообще в Крыму — в этом, может быть, одна из его прелестей. Едешь по степи час, два, три — виноградники, пашни, сады, пустоши, привыкаешь, словно ничего другого и не может здесь быть, и вдруг — море.

Скалы были в самом деле серо-голубыми. Они выглядели по-своему хорошо, но для нас, если по совести, не представляли, увы, интереса. Это сделалось ясно сразу. Мы с Аликом переглянулись и даже не стали об этом говорить. Прошли чуть дальше, надеясь увидеть что-нибудь еще, — пейзаж оставался все тот же. В этих скалах было что-то и от зубцов Ай-Петри, и от фигур выветривания долины Привидений на Демерджи, и от каменных столбов Карадага, но там сочетание всяких чудес с бездонными пропастями и неповторимым ощущением простора рождает и восторг и изумление, здесь же мы испытали только вежливое и весьма умеренное любопытство. Что поделаешь...

Спрятавшись от ветра, закурили. Ветер, кстати, усилился. Этому можно было и обрадоваться: авось разгонит тучи, подсушит дорогу — пусть не для нас, мы еще сегодня уедем, но легче станет другим. Однако на душе было паршиво. Наверно, от разочарования, которое сделало бессмысленной, ненужной эту трудную поездку (сколько же людей мы впутали в нее!)

Возвращались к машине несколько иной дорогой и нечаянно наткнулись на заброшенное мусульманское кладбище. Задерживаться не стали, только глянули по сторонам: где-то неподалеку должны быть остатки, развалины деревни. Так и есть. Заросшие бурьяном и колючим кустарником фундаменты, следы улиц, обрушившийся, заваленный камнями колодец... Еще один рубец на теле многотерпеливой земли. Мне почему-то вспомнилось раскопанное археологами на азовском побережье небольшое городище — я туда забрел случайно лет восемь назад. Судя по всему, то была забытая всеми греческими богами торговая фактория на самом краю (по тогдашним понятиям) земли. Всего несколько домов. Следы поспешного бегства. От кого? Куда? А ведь жили себе люди, ловили рыбу, сеяли хлеб, стригли овец, растили детей, с надеждой или тоской смотрели, как и мы сейчас, на небо...

— Ну что? — встретил нас Матвей.

Секретарь с механиком тоже оторвались от работы. Толстой жердью они пытались приподнять машину.

Я растерялся. Сказать правду было невозможно, просто не поворачивался язык.

— Очень интересно, — ответил Алик. — Просто удивительно. Как раз то, что нам нужно. Летом приедем еще раз.

— Порядок, — сказал Матвей. — А теперь подключайтесь сюда, попробуем толкнуть козла. Заводи! — скомандовал он.

Леша сидел на своем месте водителя. Ботинки у него были сухие и чистые. Мы облепили машину. Пятеро здоровых мужиков — неужели ничего не сможем сделать? И-и-и раз, два — взяли! Ничего не смогли.

Скоро все мы были заляпаны, а толку никакого.

И опять решение принял секретарь:

— Нужен трактор. Вы оставайтесь, ждите, а мы пошли.

— Нехорошо, — сказал Алик. — Мы будем прохладиться, а вы — выручать нас?

— Че споришь? — возразил механик. — Через час вернемся с трактором.

Я глянул на приборный щиток машины: часы показывали пять. По зимнему времени уже вечер, однако было еще светло. Правда, ветер усиливался и заметно похолодало. Изо всех щелей (а их в машине с брезентовым верхом хватает) противно дуло. Алик начал постукивать ногой об ногу, но продолжал твердить:

— Нехорошо с ребятами получилось...

— А с Матвеем хорошо? — не выдержал я.

— Бросьте вы ерунду,— вмешался Матвей.— Вы что, за уши кого-нибудь с собой тянули? Все в порядке. Нам еще домой на ужин поспеть нужно.

— Бензин кончается,— сказал Леша.

— Заправят,— успокоил Матвей.

Время тянулось ужасно медленно. Горизонт на юго-западе все еще светлел.

Я повернулся к Алику:

— Твоя речь за столом все решила. Механик сразу растаял.

Матвей хмыкнул, и это, должно быть, означало: лучше бы он не таял.

Алик отозвался:

— Славный человек.

У него, по-моему, все были славные.

Ветер сдержанно гудел, обтекая машину. Похоже, что он только пробует силу, а по-настоящему разойдется позже.

— Я тоже ведь здешний,— сказал Алик.— Не совсем, конечно.

— Откуда?

— Из Феодосии. Помните, Волошин пишет о стариках, которые знали Гарибальди — он приходил в Феодосию юнгой на итальянских парусниках?

— Что-то припоминаю.

— У Гарибальди тетка была в Феодосии — торговала колбасой. Ее еще почему-то называли на немецкий манер — фрау Гарибальди.

— Да-да, читал.

— Так вот эта фрау Гарибальди приходилась кем-то моей бабушке.

— Тоже итальянке?

— По-видимому.

В разговор влез Леша.

— Родственнички за границей? — сказал он с деланной строгостью.

Метель налетела неожиданно. Сначала послышался шорох, будто кто-то гладил брезент шершавой рукой, а вслед за этим ударил снежный заряд. Сразу стало темно, как бывает только ночью во время метели. Снег кажется черным, и ни тебе неба над головой, ни дороги под ногами, ни ясного понимания, что делать и куда идти. Леша включил фары, но их свет пробивался от силы метра на полтора. Не нужно было особенного воображения, чтобы представить себе нашу машину такой же одинокой в огромном мире, как лодка в океане или космический корабль на дальней трассе. Скорее наоборот — нужно было напрячься, чтобы поверить в близость людей и жилья. Буран ошеломил своей внезапностью и силой.

Шесть, половина седьмого — свистопляска не прекращается.

— Жди их теперь,— пробурчал Леша.— Сидят в тепле, водку жрут. Кому охота в такую погоду соваться в степь...

— Буран захватил их на полдороге,— сказал Алик.— Как бы не заблудились.

Меня это тоже тревожило. Ребята как будто крепкие и местность знают, однако мало ли что случается.

— Ждем до семи,— решил Матвей.— Если трактора не будет, свяжемся веревкой и пойдем пешком.

— В гробу мне снились такие прогулки,— заявил Леша.— Идите сами. Я машину не брошу.

— Сколько бензина?

— Четверть бака.

— Оставайся,— согласился Матвей.

Однако без десяти семь послышался рокот мотора. Сперва он еле доносился в мощном гуле бурана, а потом сразу усилился и оказался вдруг рядом. Леша начал сигналить и зажег фары.

Как все сразу переменялось! К рыканью трактора присоединился негромкий, простуженный голос нашего «газика» (он что-то начал чихать). Огней горело столько, что хоть начинай киносъемки. Обрадованный, я выскочил на сверкающую снегом и словно дымящуюся дорогу и опять провалился по щиколотки в грязь. Матвей вылез вместе со мной. От трактора к нам спешила фигура — это был секретарь.

— Может, поехали к нам? Заночуете у меня...

— Какой ночлег! Мне завтра с утра выступать на совещании. Да и время — восьмой час.

— Время детское,— согласился секретарь и крикнул Леше: — Трос есть?

— Цепляйте своим,— ответил Леша, не выходя из машины.

Секретарь замахал руками, и трактор двинулся мимо нас. Сзади у него тоже горела сильная фара.

Секретарь перебрался опять к нам, механик остался на тракторе. Тракторист, раскоряченной черной тенью мелькая в скрещении прожекторов, закрепил трос, дизель угрожающе взревел, и мы, покачиваясь, словно лодка на волнах, двинулись наконец в обратный путь.

— Вам повезло,— сказал секретарь,— трактор со второго отделения.

«Ага! — сообразил я.— Значит, довезет не только до этого села — нам и дальше по пути».

Минут через сорок остановились; секретарь стал прощаться:

— Счастливо вам. Извиняйте, если что не так.

Спрыгнул с трактора и подошел механик.

— Че тоскуешь? — спросил Алика: он его явно отличал.— В такую погоду только песни кукарекать...

Матвей отошел с ними к трактору, из кабины вылез тракторист, о чем-то они недолго совещались, а потом секретарь и механик будто сгнули в метели. Я тревожно вглядывался в ту сторону, куда они пошли,— ничего не видно. Село, однако, было где-то совсем рядом.

И опять мы послушно тащимся на буксире.

— Бензин будет,— сказал Матвей, усаживаясь рядом с Лешей.

— А дорогу сами найдем?

Вопрос резонный. Сюда-то мы ехали днем. И метель. Она, похоже, не собиралась утихать. Правда, заметно подморозило, но не настолько, чтобы дорога стала твердой. Значит, можно где-нибудь и застрять... А от второго села, куда мы теперь тащимся, до насыпного щебенистого шоссе километров двенадцать. В обычных условиях это, конечно, пустык, но сейчас?

Матвей понимал наши сомнения, поэтому и дал возможность помолчать, поразмыслить, а потом сказал:

— Я с трактористом договорился. Он нас и дальше потащит.

Фантастическая, нескончаемая ночь. Метет буран, ревет впереди трактор, незнакомый человек волочит нас на привязи по незнакомой дороге... Я почему-то вспомнил войну. Нет, не что-нибудь конкретное, а войну вообще. Она чаще всего у меня связывается с зимой, ночью и бездорожьем.

Что еще нас ждет сегодня? Я готов, кажется, к чему угодно. Село? Действительно неожиданность. Как это мы умудрились не заблудиться? Какие-то баки. Бензохранилище? Нам ведь нужно еще заправиться. Остановились.

— Ведро есть? — спрашивает тракторист. Даже теперь, когда он подошел вплотную, его лицо нельзя рассмотреть.

— Нет, — отвечает Леша.

Врет, скотина, — ведро в багажнике. Просто не хочет вылезать из машины на ветер. Вылезаем мы с Матвеем. Алика приходится уговаривать, чтобы сидел и не рыпался: он начал кашлять.

Тракторист тащит склеенное из автомобильной шины резиновое ведро. С заправкой возимся минут двадцать. Руки заоченели. Странно — мороз, должно быть, небольшой. Что значит ветер! Земля начала звенеть под ногами. Хорошо! Ветер забивает дыхание, норовит сорвать шапку (не дай бог — тут же унесет, не найдешь), вырывает из рук ведро. Видимости по-прежнему никакой. Уж лучше туман и оттепель, чем такой снегопад. Впрочем, кому что нравится...

Опять едем. Снова остановились.

— Что случилось?

— Забегу домой, переоденусь.

Да, конечно. Его лицо я не смог разглядеть, но то, что телогрейка покрылась коростой льда, было хорошо заметно. Неудивительно: целый день под дождем, а к ночи мороз. Если мы чувствуем себя не очень уютно, то каково же ему?

Кстати, который теперь час? Ого! Начало одиннадцатого. Значит, в пути все было вовсе не так гладко, как думалось. Восемь километров ехали два с половиной часа. Ну что ж, к утру, надо думать, Матвей как раз и поспеет на свое заседание.

Бжит тракторист. Жует, кажется, что-то на ходу. Ах, как засосало в желудке!

— Ты помогай мне! — кричит тракторист. — Быстрее доедем.

Леша поднимает руку: понял, будет сделано.

Поехали.

Наш «газик» не просто тащится на прицепе, а медленно едет вслед за трактором. Трос слегка провисает. Стоит нам чуть-чуть застрянуть, как трактор тут же исправляет дело — легкий рывок, опасное место остается позади, и мы опять катим чуть ли не самостоятельно. Но не зарываться, не хорохориться! Вот Леша прибавил скорость, слабина троса увеличилась, а тут яма — мы застреваем, и немедленно следует жестокий рывок, от которого машина не то что скрипит, а стонет.

— Что ты делаешь? — чуть не плачет Матвей. — Раму порвешь, раму...

Видимости по-прежнему никакой. Качка усиливается. Похоже, что мы едем напрямик через поле, прямо по пахоте. Неужели сблизись с дороги? Не хотел бы я быть сейчас на месте нашего тракториста...

Не могу понять — что меня тревожит? А ведь что-то тревожит уже несколько часов, с самого начала этого бурана... Ага! Вот! Поймал! Обрыв у озера. Может, потому и едем по пахоте, чтобы держаться подальше от него? Но если так, то позади почти половина дороги. Неприятное место этот обрыв. Если случится падать, раза четыре успеем перевернуться.

Да, по времени вполне может быть половина пути, едем мы довольно резко. Предупреждающе мигнула задняя фара трактора. Что-то случилось? Останавливаемся. Обороты дизеля упали до самых малых. А ведь и ветер стал, кажется, чуточку полегче. Так что же случилось? С наветренной стороны послышался лай собак. Напряженно прислушиваемся: затих, затерялся в ветре и опять послышался. Недалеко село.

Неужели это конец самого трудного участка пути и дальше мы поедем своим ходом? Просто не верится и по времени как будто не

выходит. Но в такую ночь все может быть, с этим я уже примирился. Интересно, как встретит нас шоссе? Заносами и гололедом? Новый снежный заряд смазал все звуки. Взревел дизель, и мы снова решительно двинулись вперед.

На этот раз в свете фар возникают какие-то строения. Как мы не натыкаемся на них и находим правильный путь? Наконец остановка. Тракторист соскакивает с машины и бежит к нам:

— Все, ребята, больше не могу...

— Конечно, конечно,— говорю я ему, полный благодарности и радости, потом поворачиваю голову и сначала ничего не понимаю, просто немою: я вижу бак, у которого мы час назад заправлялись бензином. Резиновое ведро, уходя, мы надели на кран, и теперь его раскачивает ветер.

— Не могу, ребята, пропадем...— Тракторист трясет головой, словно отделяваясь от наваждения.— Детишек жалко — не могу... Заночуем у меня, а утро вечера мудренее...

Во всем этом я не пойму одного: зачем он просит нас, вместо того чтобы послать к черту? Конечно, остаемся — какой разговор! Все ясно: трактор и «газик» поставим во дворе. Это совсем недалеко, метрах в трехстах,— тем лучше.

— Тут-то я уже не заблужусь,— находит силы пошутить тракторист.

Вот и прекрасно. Но одна просьба: может, подъедем по дороге к конторе? Тут ведь тоже есть контора? Матвей Матвевичу нужно позвонить, предупредить, что завтра может опоздать на совещание — у него назначено очень важное совещание. Да и жена беспокоится, сами понимаете. Кстати, который час? До полночи осталось совсем немного...

Пока Матвей пытался проникнуть в контору (ничего из этого не получилось), мы с Аликом укрылись от ветра на крыльце соседнего дома — сидеть в машине стало уже невозможно. Изнутри дома доносились странные звуки. Мы насторожились.

— Радио забыли выключить? — предположил Алик.

— А при чем тогда топот?

Алик решительно дернул наружную дверь. Впереди был темный коридор, но сквозь щели пробивался электрический свет. Музыка и топот стали слышнее. Мы открыли вторую дверь и остановились на пороге: в крохотном зале деревенского клуба шли танцы. Гармонист сидел на сцене, а внизу кружились пары в сапогах, ватниках, пальто, платках и шапках. Было накурено и душно. Парней не хватало, и девушки танцевали с девушками.

— Да заходите, чего там...— говорил тракторист, приведя нас к себе, но мы все-таки разулись в прихожей — немисливо было в таком виде идти в жилое помещение. Пальто и плащи тоже оставили здесь.

Мы едва ступили на порог, а хозяйка уже хлопотала. Как я понял потом, в доме были две комнаты, прихожая, маленькая верандочка и кухня. Но зимой отапливалась только одна комната (в ней спали дети) и кухня. Заглянул в эту комнату: занавешенное рядом (чтоб не дуло) окно, две кровати и шкаф. Обстановка спартанская. На кухне тоже стояла двупальная кровать. Хозяйка перенесла сюда полуторагодовалого крепкого и круглого, как камушек, парня. Он не проснулся, только начал смешно морщиться, оказавшись на свету. Сонная девочка лет десяти — одиннадцати перешла на другую кровать сама. Это были самый младший и самая старшая. Для нас освободили их место. Двое других детей оставались на своей кровати.

— Кому-то придется на полу... — полувопросительно сказала хозяйка.

— О чем говорить! Конечно! — воскликнули мы шепотом.

Этой женщине, судя по всему, было года тридцать два — тридцать три, но выглядела она старше. Удивительным было сочетание натруженных рук и нежнейшего, почти бескровного лица. Про такие лица говорят: все насквозь светится. Никаких даже простейших косметических ухищрений она явно не знала, ей было просто не до них, хотя они, наверное, и не помешали бы.

Я все пытался вспомнить, у кого из живописцев встречаются такие простые, некрасивые, но по-своему значительные женские лица. Не такими ли изображали средневековых мадонн? Что-то святое и истовое было в сочетании худобы этой женщины с налитостью, крепостью, румянцем спящего мальчика.

Рассмотрели мы наконец и своего виновато улыбавшегося тракториста. Умылись, сливая друг другу над ведром, перекусили за одним столом и, пожелав хозяевам спокойной ночи (хотя какая у них могла быть спокойная ночь — вчетвером, вместе с детьми, на одной кровати), удалились в отведенную нам комнату. Алик с Лешей легли на что-то постеленное на полу, а мы с Матвеем по-царски устроились на кровати.

Проснувшись утром, я услышал:

— Бо-ро-да...

— А у того усы...

— Фу! Рыжие...

Обсуждали меня с Аликом. Я улыбнулся и открыл глаза. С противоположной кровати смотрели две девчушки.

Тракторист позавтракал и уже натягивал телогрейку. Хозяйка расчесала волосы своей старшенькой и теперь заплетала ей косички. Потом оставила девочку возиться с братом, а сама неслышно зашла в комнату.

— Пора, — сказала она детям. — Пора вставать.

Меньшую девочку она перенесла на кухню, а другая, как испуганный котенок, шмыгнула мимо нас вслед за матерью.

Однако нужно было и нам подниматься. Приятные открытия начались одно за другим. Во-первых, погода стояла изумительная. Ветер совершенно упал, снегопад прекратился, а легкий морозец держался, сушил землю. Солнце еще не взошло, но день обещал быть ясным, солнечным. Во-вторых, наши носки, обувь, одежда были высушены, а обувь и вымыта перед этим.

— Когда же вы встали? — изумленно спросил Алик, имея в виду, когда она успела сделать работу по дому, да еще и позаботиться о нас.

Женщина молча улыбнулась. Только потом я понял смысл этой улыбки. Дело в том, что наша хозяйка по существу и не ложилась больше, так, может, чуть прикорнула в ногах у мужа и детей. Мы легли в первом часу, а в четыре ей уже нужно было бежать на ферму доить совхозных коров; после этого дома нужно подоить собственную буренку, задать ей сена, приготовить теплое пойло и покормить кабанчика. Сейчас, управившись по дому, она опять торопилась на ферму.

Но вернемся к перечню приятных открытий. В-третьих, на плите стояла выварка с горячей водой. Жена механизатора, хозяйка понимала, что значит для шофера в морозное утро ведро горячей воды. Этому лодырю Леше везет — всегда о нем кто-нибудь позаботится. Впрочем, то же самое можно было сказать на сей раз и обо мне...

Мотор нашего «газика» послушно, без всяких уговоров завелся.

Минут через десять мы тронулись. Чтобы не сглазить, о погоде и дороге (ох уж эта дорога!) помалкивали. Только когда выехали на асфальт, Матвей глянул на часы и удовлетворенно сказал:

— Успеваю.

7. Как аргонавты в старину

Почему бы кому-нибудь не сочинить музыку на слова Катулла?

...И торо-о-о-пяты в путь веселый ноги...

Поют же Маяковского (я даже слышал по радио).

А покамест я своим не очень приятным голосом распеваю Катулла как попало. В доме в такие дни воцаряется атмосфера тревожного ожидания: куда теперь нелегкая понесет кормильца и непутевого отца семьи? Хотя каждому ясно, что те несколько дней, пока меня не будет, жизнь станет тише и спокойнее. Все-таки женщины не во всем нас понимают. Им, черт возьми, недоступно наслаждение битвой жизни, гром ударов их пугает. Правда, теперь легче, я не один. Сын (как и я, он лишен вокальных данных) тоже грозитя:

Как аргонавты в старину,
Покинем мы свой дом
За тум-тум-тум,
За тум-тум-тум,
За золотым руном...

Эту песенку он вычитал у Джека Лондона.

Мы собираемся в дорогу вместе. Много ли нам нужно! Палатка-серебрянка готова, топорик, котелок, гречневый концентрат, хлеб, кусок сала, фляга, ножи, алюминиевые кружки... Два рюкзака — большой и маленький.

— Нести будем по очереди, — говорит сын.

— Это точно, — соглашаюсь я. — Сейчас я понесу большой, а года через три поменяемся.

Тут мне приходит в голову, что даже та джеклондоновская песенка имеет отношение к нашим краям — аргонавты для нас совсем не чужаки.

— А ты знаешь, почему руно называется золотым?

Он знает. Да и что, собственно, тут знать? Все было очень просто. С помощью бараньих шкур в старину, говорят, добывали золото. Золотой песок оседал, запутывался в шерсти, и руно становилось золотым...

Перед нами не стоит проблема маршрута. Мы все туда же — по Киммерии. А все-таки? Парня интересуют детали, и тогда я рассказываю с давних пор застрявшую в памяти историю, о которой сам до сих пор толком не знаю, правда это или байка.

...Однорукий чабан заметил под кустом терна что-то блестящее, похожее на отполированный дождями и ветрами бараний череп, и просто так, от нечего делать ударил герлыгой по этому черепу. И вдруг случилось невероятное, произошел как бы бесшумный взрыв: взлетел вырванный с корнями терновый куст, взметнулся клуб пыли, полетели во все стороны куски зачерствевшей земли.

Чабан онемел и оцепенел, перестал понимать, где он и что с ним происходит. Он видел только этот клуб пыли, а в нем своих словно взбесившихся овчарок и что-то громадное, с чудовищной силой и быстротой извивающееся.

Когда чабан пришел в себя, одна собака была убита, а две уцелевшие с остервенением рвали еще конвульсирующее тело какого-то огромного гада.

То, что оказалось однорукому бараньим черепом, было головой громадной змеи.

Вскоре после того чабан, говорят, умер. Было это еще до войны.

Эту историю я слышал от старожилы Казантипа. Не называю размеров гада, потому что сам его не видел, а то, что мне говорили, звучит поистине невероятно. Впрочем, те же старожилы уверяют, что тело змеи было куда-то отправлено. Чуть ли не в Москву...

Я готов развести руками перед возможными сомнениями людей ученых. Легенда? Шут его знает... Правда, я говорил с человеком, который утверждал, что сам видел убитого гада. И потом нужно знать Казантип, это удивительное место, от которого можно ждать всего.

Всхолмленная, покрытая древними курганами каменистая степь, обрывистые берега, поразительной красоты пустынные бухточки, где на скалах греются после охоты ужи-рыболовы.

Сам мыс Казантип, давший название округе, действительно похож на казан. Когда смотришь сверху на эту нежно-зеленую чашу, не можешь отделаться от мысли, будто попал в какой-то затерянный мир, в сказку. А дальше — на восток и на запад — по берегам Меотиды, нынешнего Азовского моря, раскиданы остатки древних селений и греческих факторий, а еще дальше изящной дугой изогнулась Арабатская стрелка...

Наверное, это знакомо каждому: смотришь вокруг и думаешь — где я все это видел? Такое чувство я испытал, оказавшись впервые на мысе Казантип.

Снова и снова спрашивал себя: где? И наконец понял: на картинах Константина Богаевского. Жаль, что мы не можем видеть в оригинале его пейзаж, который называется «Киммерия»... Но есть стихи Максимилиана Волошина «Киммерийские сумерки» и в них такие строки:

Старинным золотом и желчью напитал
 Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
 Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
 В огне кустарники, и воды, как металл.
 А груды валунов и глыбы голых скал
 В размытых впадинах загадочны и хмуры.
 В крылатых сумерках — намеки и фигуры...
 Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,
 Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.
 Чей согнутый хребет порос как шерстью чобром?
 Кто этих мест жилец?..

Удивительно достоверна здесь каждая деталь пейзажа, обстановки. Кто этих мест жилец? Право, подумаешь: а почему бы им не быть и тому громадному гаду, которого разорвали собаки однорукого чабана?

Я стал расспрашивать местных жителей: не приходилось ли им и позже сталкиваться с чем-либо подобным? Приходилось. То на каменных осыпях, то в лесопосадках.

— Гляжу — ползет... Да быстро так. Толщиной с мою ногу, а длиною шагов в пять...

Однако, судя по описаниям, то были просто большие полозы.

— А той змеи, значит, не было? — спросил сын. — А собака — кто же убил собаку? И вырвал куст терна?

Я тоже толком сам ничего не знаю. Был змей или не был? Я так искал подтверждения тому, что он был, что они стали находиться.

Как-то мой приятель рассказал, что несколько лет назад громадный змей был убит на Тарханкуте. О таком же существе, которое вело ночной образ жизни и обитало в большой норе под старой шелковицей неподалеку от горной деревни Ай-Серес, рассказывала почтенная преподавательница, не раз проводившая лето в той деревне.

В какой-то степени перекликалось со всем этим одно место из книги В. Х. Кондараки «В память столетия Крыма», изданной в 1883 году (правда, это не ахти какой авторитетный источник). По народным преданиям, пишет Кондараки, страну эту в былые времена периодически посещали какие-то чудовищные змеи. Сам автор выражает недоверие этим рассказам, но тут же приводит «важный факт, свершившийся в 1828 году». По донесению евпаторийского исправника, говорит он, в уезде появилась огромная змея, которая нападала на овец и высасывала из них кровь. Обстоятельство это подтверждалось и частными заявлениями. Начальник губернии вынужден был командировать чиновника с несколькими казаками, чтобы убить чудовище и, если окажется возможным, снять с него шкуру. После долгих поисков удалось увидеть змею, но она скрылась в громадной расселине возле деревни Зумбрюк.

Далее Кондараки пишет: «Несколько времени после того один молодой татарин, пастух, вооруженный дубиной, возвращался по почтовой дороге в селение, когда вдруг перед ним выползла змея, имевшая приблизительно 5 аршин длины, заячью голову, от которой шла черная полоса по шее, представляющая подобие гривы. Татарин удачным ударом дубинкою размозжил ей голову и изуродовал туловище. Затем пошел дальше, восхищаясь тем, что избавил уезд от страшного врага, но, по показаниям его, не прошел и двух верст, как заметил, что за ним что-то быстро движется по дороге, подымая пыль. Пастух пришел в ужас, заметив змею такой же величины и наружности, какую только что убил. Татарин бросился на нее и положительно разбил на мелкие куски. Уведомленный об этом чиновник отправился на место события снять кожу, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Туземцы, которым пришлось видеть эти трупы самки и самца, пришли к выводу, что змеи эти не могли принадлежать стране и что они появились из жарких стран».

В истории этой немало фантастического (заячья голова, грива...), однако что, если в ней есть и какая-то реальная основа? Легенды о громадных змеях оказались в Крыму настолько распространенными, что авторы некоторых трудов по фауне полуострова считали своим долгом специально их опровергать: никаких, мол, удавов и питонов у нас нет. Просто у страха-де глаза велики, а в действительности встречи происходили с полозами. Так оно, наверное, и есть. Но что, если на Тарханкуте, в Казантипе, в Ай-Сересе людям встречались все-таки не полозы? А?

— Не будем гворить об этом маме, ладно?..— предложил сын.
Я тут же согласился.

Но разве дело только в каких-то змеях? Киммерия может удивить и не этим. Иногда мне кажется, что я готов искать даже перья с крыл легендарного грифона, некогда бывшего символом этих мест.

А что, если нам удастся подружиться с дельфинами? В Керченском проливе, занятые охотой, они подпускают людей к себе совсем близко. Возле мыса Хрони мы как-то купались в одной бухточке с дельфинами. Они плавали рядом и просто не обращали на нас внимания.

Любопытная деталь. Недавно в античном захоронении был, говорят, найден сосуд с изображением Амура, плывущего верхом на дельфине.

А может, нам просто посчастливится найти на берегу выброшенную морем древнюю монету.

Из каждой поездки я что-нибудь привожу. Черепки, камешки, обрывки документов и удивительные, как мне кажется, истории. Как-то подобрал замерзавшую на кромке берегового льда гагару, а то нашел заржавленный штык, однажды мне досталась амфора с клеймом древнего гончара, а в другой раз я привез найденную в заброшенном подzemелье ручную гранату времен минувшей войны.

Так или иначе, но и сейчас нас что-то ждет. В каменоломнях ли Ак-Моная, на Сивашах, в Керчи или в окрестностях разрушенной и почти забытой крепости Арабат. Совсем не обязательно приходить сюда в роли первооткрывателя — открываем-то мы не только для людей, но и для себя. Да и жизнь не стоит на месте (прошу прощения за банальность). Одно исчезает, рассыпается в прах, другое появляется, третье предстает в неожиданном качестве. Примеров — сколько угодно. Вот я только что вспоминал о Сивашах. Древние называли их болотами, топами Меотийскими, наши деды — Гнилым морем, а сейчас люди кружатся вокруг них, как пчелы у меда: Сиваши становятся неисчерпаемым источником сырья для химии. Пример вполне оптимистический.

Похоже, что очнулся от долгого сна Старый Крым — здесь стронтся что-то большое. Значит, тоже будут перемены.

Люди, верно, остаются те же. Разве что года через три мы с сыном поменяемся рюкзаками. Но вот Поважного, как мне сказали, можно поздравить с орденом Красной Звезды. Хотелось бы повидать старика, узнать, что еще у него нового.

Так много хочется успеть, столько еще нужно повидать... Ладно, а дальше что? Все то же. Я, наверное, просто не смогу оторваться от своих поисков Киммерии.

В «Книге Марко Поло» об этом говорится: «И сказал он... нехорошо, если все те великие диковины, что он сам видел или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого, могли научиться из такой книги».

Возможно, кому-нибудь покажется, что слишком самонадеянно и смело для автора относить такие слова к самому себе. Ну что ж, я повинюсь и еще раз попрошу прощения.

Ялта.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

СНЕГОПАД

Ах, как он плещет, снегопад старинный,
Как блещет снег в сиянье фонарей,
Звенит метель Ириной и Мариной
Забывших январей и февралей.

Звенит метель счастливыми слезами,
По-девичьи, несведуще, звенит,
Мальчишескими крепнет голосами,
А те в зенит... Но где у них зенит?!

И вдруг оборвались на верхней ноте,
Пронзительной, тоскливой, горевой...
Смятенно и мятежно, на излете
Звучит она над призрачной Москвой.

А я иду моим седым Арбатом,
Твержу слова чужие невпопад...
По переулкам узким и горбатым
Опять старинный плещет снегопад.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. XVIII ВЕК

Малаша, Груня или Устя,
Простой дворяночкой она
Была небось из захолустья
В Санкт-Петербург привезена.

И, терем девичий покинув,
Свалилась, словно с облаков,
В шум неохватных кринолинов,
В стучанье красных каблучков.

Арапы распахнули двери,
И ей большой открылся свет,
Веселый двор Петровой дщери,
Императрикс Елизавет.

Из тысяч барщин и оброков
Слагался тот предолгий бал,
Тот бал, где пылкий Сумароков
Вручал ей свежий мадригал.

И где чужой и нашей веры,
Пускаясь с юной нимфой в пляс,
Теряли разум кавалеры
От блеска глупых круглых глаз.

Наверно, русское запечье
Дало ей силой колдовской
Нагие руки, грудь и плечи
С их нелюдской голубизной.

Теснился лиф, прямой и узкий,
Розан вздымая на груди,
Когда к ней шел посол французский,
Хромой маркиз де Шетарди.

И тут-то — пьяница из пьяниц,
Игрок, распутник и наглец —
Ну, прямо с балу! — лейб-кампанец
Спроволил деву под венец.

Он с нею жил, как жил в пехоте,
И водку пил, и карты гнул,
Пока с похмелья на охоте
Однажды шею не свернул.

С приданным дочек замуж выдать,
В гвардейцы вывести сынков,
Себя, вдовицу, не обидеть —
Тут сколько нужно медяков!

Таскала за бороды старост,
Лбы забривала у парней,
Сводила лес... И даже старость
Не исхитрялась сладить с ней.

И даже Стикс, и даже Лета,
И даже рек иных разлив
Не смыли черт ее портрета,
Нам навсегда их подарив.



В. ШУКШИН

★

В СЕЛЕ ЧЕБРОВКА

Рассказы

Суд

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщико-вых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила парниковую грядку у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых. Натаскала навоза. А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посуше и оставила на ночь. За ночь он высох и загорелся огнем. И стена загорелась... В общем, банька к утру сгорела. Сгорел еще сарай дровяной, кизяки, плетень... Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал... Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самовозгорание! — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. — Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим, — сказал он. — А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и все!

Муж Гребенщиковой был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню...

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание...

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то...

— Бывает, когда назем годами прет да в куче — слежалый. А у ней — за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд, и, стало быть, чего тут еще говорить.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете...

Шел Ефим на суд и нервничал. «Выходит, иду человека топить, — думал он. — На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента: мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб видно было, что он без ноги.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое! — не желает мамзель с нами здороваться», — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтоб этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека, да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима...

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверно, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка...

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»... Соседи ведь.

— Соседи, — поспешил Ефим. — Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога...

— А подаете.

— Дак она же платить нисколько не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз...

— Подожгли его?

— Да, но он некторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во! — изумился Ефим. — Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я его — как себя помню, так помню, что ворочал его — так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю...

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было... Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, — продолжала Алла Кузьминична.

Ефим затосковал: «Сейчас докажут, что я верблюд».

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок

разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету.— Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть»,— подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична...

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое к дьяволу самовозгорание! Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет... неловко. Договоритесь по-человечески с соседом... Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся... И второпях — от благодарности — крепко занизил цену.

— Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке...

— Ну сколько?

— Рублей двести, двести пятьдесят так... Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора... Что, им откажут, что ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха... Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю...

— Двести пятьдесят рублей,— подытожил судья.— Мой совет, Алла Кузьминична: заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!..

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим. И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну, и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить... Рублей шестьдесят берут, ну и кормежка двадцать — восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет — даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы...

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем,— резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень — не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо.

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подождла — значит, надо платить.

— Гляди-ко.

— Что ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге...— Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал.— Да он, говорит, вот возьмет сейчас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет, и ты станешь худая...

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди.

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова — не совестно? Проть кого пошла?! Да он, грит...

— Хватит локать-то, обрадовался,— сердито заметила Марья.— Ты бы вот пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала...

— Да где?! Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мяском да отнеси. Да скажи «спасибо». А то укустылял и «спасибо» не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал.

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот...»

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного сунуть?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну, взял и взял: гостинец ребятишкам.

Ефим слазал в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него само собой пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, необразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди... Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья был еще в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку, товарищ судья,— позвал Ефим.— Пройдемте-ка в кабинет... Сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают, неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то.

— У меня, что ли?

— Но.

— Есть. А что?

— Натек-ка вот отвезите им — деревенского... С мяском выбирал, городские с мяском любят. Нашему брату — на физической работе — сала давай, посытней, а вам — чего?.. — Ефим распутывал тряпицу, ни-

как не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь.— Вам повкусней надо... такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезете...

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом устался на Ефима...

— Что? — спросил тот.— Я, мол, ребятишкам...

— Не надо,— негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти... А что? Это ж не деньги, деньги я бы...

— Да не надо! Вон отсюда! — Судья повернулся и сам пошел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что — не надо было с салом-то... Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю. Присоветовала! Зараза».

Хахаль

Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву.

Сашка работал на стройке, жил в общежитии, в комнате на двоих... Сашка шумно обрадовался гостю.

Сидели втроем, беседовали о том, о сем, о заработках.

— Сколько в среднем выходит? — спросил Костя.

— Сто пятьдесят самое большое... Больше не дадут заработать.

— Ну, братцы!.. Надо совесть иметь. Я техникум кончил, работаю завгаром и то столько не получаю.

— Сравнил! — только и сказали строители.— Город — это город.

— Как мои там? — поинтересовался Сашка.

— Давно их не видел... Сеструху, правда, видел раза два. Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь?

— Не знаю. Пошли похахалим?

— Как это?

— Ну как?.. У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще. А чего вечер зря пропадать будет. Пошли.

Костя женился лет пять назад и ни разу еще не изменил жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было подходящего.

— Хм...

— Что? Так пойдем?

— Нет, я ничего. Пошли.

Пошли. Это оказалось рядом — тоже общежитие, тоже с комнатами на двоих. «Во житуха-то! — подумал Костя.— И ходить далеко не надо».

Сашкин товарищ отвалил куда-то наособицу, а Сашка и Костя постучались в дверь, обитую дерматином.

— Пообивают двери — все казанки пошибаешь об эти скобки,— недовольно заметил Сашка.— Обили дверь — значит. проведи звонок! Так я понимаю. Нет, звонок стоит денюжку — пусть люди пальцы шибают.

— Хахали. Ходят-то...

— А?

— Не люди, а хахали.

— К ним не одни хахали ходят.— Сашка опять постучал.

За дверью молчание.

— Может, нет дома?

— Дома. Голые ходят.— Сашка еще постучал в железную скобочку.

И поморщился.

— Кто? — тоненько спросили из-за двери.

— Мы-ы! — тоже тоненько, передразнивая голосок, откликнулся

Сашка.

— Сейчас!

— Я ж говорю, голые ходят.

— Почему голые-то?

— Ну, с работы пришли... Переодеются, умываются.

— Также на стройке работают?

— Но.

— Может, мы не вовремя?

— Все в порядке,— успокоил Сашка. И крикнул:— Скоро вы там?

С той стороны двери щелкнула задвижка, хахали вошли. У Кости вдруг взволновалось сердце, когда он переступал запретный в его положении порог.

— Нинон? — удивился Сашка.— Ты приехала?

Нинон — рослая, чернобровая девушка, грудастая. Это она взволновала Костю.

В комнате жили две девушки — Нина и Валя. Костя сообразил: раз для Сашки новость, что Нина приехала, стало быть, его... хахалиха, что ли. Валя. Валя тоже милая девушка, но Нинон... Костя украдкой взглядывал на чернобровую, и ему не верилось, что просто так — ни за что ни про что, даром — судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но похоже, что так: Сашка успел подмигнуть другу и показал глазами на Нину.

Сашка между тем молотил языком, и у него это получалось славно.

— Нина, ну как отдохнула?

— Хорошо. Саша. Очень хорошо.— Нина чуть ударяла на «о», выкругляла слова, подталкивала, и они катились — легко, как колесики.— Покушалась в речке... Ох, хорошо!

— Да где уж там хорошо-то? Скучно небось?

— Господи, а чего мне надо? Сходила в кино, раза три на танцы — не манит... В огороде больше копалась. За ягодами ходила.

Костя слушал девушку... И так бы и слушал, и слушал ее — не надоело бы. «Какое тут к черту хахальство! — подумал.— Тут в пору жениться на такой».

Валя была побойчей, поострей на язык, немножко пустомеля.

— А у нас... Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы седила...

— Но.

— Замуж вышла за Валерку Семенова. Бригадиром...

— Он же женат!

— Бросил. Позарился!.. Доска доской, ничегошеньки нет, и вот — пожалунста.

— А дети были? У Валерки-то?

— Нет, не было. Он ходит теперь, треплется: я, мол, потому и бросил, что рожать не может. Ой!.. Посмотрим, сколь тебе эта жердь наражает! Стыдно — вот и нашел отговорку.

«Да как же это к ним так ходят — к бабам, и все? — все больше удивлялся Костя. — Приврал, видно, Сашка, хвостанул. Не похожи они на таких... Обыкновенные девки, и рассуждения у них нормальные — женские».

Сашка торопил события.

— Давайте — знаете что? — выпьем! — предложил он. Отчаянная головушка. — Ко мне как-никак друг приехал...

К изумлению Кости, девушки легко согласились.

— Валюха, мы — в магазинус, Нинон с Костей — соображают насчет картошки. Быстро! Душа горит.

И Нинон с Костей остались одни.

«Ну и что я должен делать? — растерялся Костя. — Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?»

Перебрал в памяти анекдоты, какие знал — не годятся.

Нина расстелила на полу у двери газету и принялась чистить картошку.

— Вы в командировку, что ли? — спросила она.

— Ага. Надо...

Замолчали.

«Ну и фраер же я! — мучился Костя. — Совсем язык проглотил». Долго молчали.

— Зинка-то! — вдруг сказала Нина. — Надо же... замуж вышла. — И покачала головой. И усмехнулась.

«О-о! — ужаснулся Костя. — Это ж она при мне... сама с собой разговаривает. Понял? За табуретку меня принимает».

— У нас недавно случай был, — заговорил он. — Пошли бабы за малиной на остров... Берут. А с той стороны острова — протока, она летом мелсет здорово. Ну, медведь и перешел ее...

— Медведь?

— Медведь. Перебрел, значит, и тоже — к малинке, они любят ее. А одна баба у нас есть, смешная такая!.. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг слышит: с той стороны кто-то подошел к кусту... А куст-то большой — не видно. А она, баба-то, и говорит: «Это ты, Нюра?» Думала, товарка с той стороны подошла. А медведь-то как рывкнет!.. — Костя засмеялся. Нина слушала. — Как он рывкнул, баба бросила ведро и бежать. Бежит и орет дурным голосом: «Мишенька, у меня дети маленькие!» — Костя опять засмеялся. долго смеялся, представив, как летела по кустам перепуганная баба.

— А он что, он за ней, что ли?

— Медведь? Да нет, он в другую сторону побежал — к протоке. Он сам напугался. А ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей...

— Закричишь. — Нина так и не посмеялась. — Шутка в деле — медведь! — И продолжала чистить картошку. — Нет, у нас их нету. У нас — змеи.

— Гадюки?

— Но. Да большие! Тоже — берешь ягоду-то, а сама думаешь: «Ох, чикнет сейчас, ох, чикнет».

— Надо ежей разводить. Вот где-то, в Болгарии кажется, змей в одном месте было — кишели. А место само по себе очень здоровое — хорошо бы курортов настроить. Так они что сделали: взяли ежей там развели, и все.

— Дак они что, едят змей?

— Еще как! Ежи и свиньи — жрут за милую душу. Кабаны еще дикие — тоже едят. У меня брательник на Кавказе служит, один случай

в письме описывал. С кабанями связано. Значит, один колхоз держал свиней на откорме где-то... подальше от жилья. Ну, и они паслись, ходили одни, а к вечеру сами приходили в загон. А однажды они не пришли к загону. Выяснилось, что они встретились где-то с дикими кабанями и те сманили их с собой. Суток трое их не было... Искали, но без толку: далеко куда-то ушли. Потом пришли, но не все. Из тысячи, кажется, штук пятьсот вернулось только...

— А те остались?

— Те остались. Но эти, которые вернулись, такой приплод принесли, что колхоз даже обрадовался.

Нина засмеялась.

— Вот, говорят: нет худа без добра.

— Да. Еще говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня зять помер с такой поговоркой.

— Как же это?

— Да у него голова что-то болела... Болит и болит голова, ну, а к врачу, знаете, все некогда, да, может, обойдется... А тут — дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, говорит, к нему, а он мне и говорит: «Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь». Рад был, что в больницу попал. Веселый лежал... Потом помер. А жили они за Новосибирском, далеко. Ну что: надо ехать за ним. Он был из нашего села, Сашка его знал. Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда — это уже дня через четыре: реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали — ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевел по доскам, а сам вернулся, нанял подводу и поехал вверх по реке — там, говорят, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место — вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами — в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня... А он сам уж — дай бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...

Эта грустная история рассказана была, как понял сам Костя, совсем некстати. Он замолчал. На какое-то время он забыл и про Нину, и зачем он пришел сюда — вспомнил Дмитрия, зятя... Ребятишек-племяшей вспомнил... И совестно стало. Закурил.

И в это время пришли Сашка с Валея. Пришли веселые. Сашка вовсю дурачился.

— Спорим? — кричал он. — Давай спорить!

— Чего вы? — спросила Нина.

— Она не верит, что я могу выпить бутылку вина, не держась руками.

— Кто спорит, тот...

— Да это мы слышали! Мне только напиться неохота, а то бы я показал.

— А как это?

— Вон чайник, да? Я б сейчас вино вылил в него, носик в зубы и...

— А-а.

— Вот те и «а-а». Ну, как тут у вас?

— Я еще картошку только начистила.

— Ну-у, товарищи!.. Чем вы тут занимались, не знаю. Не знаю. Нинон, чем вы тут занимались?

«Трепач, — с яростью подумал Костя. — Носик в зубы...»

— Долго с этой картошкой, — сказала Валея. — Ну ее к черту! Закусим чем-нибудь...

— Идея! — подхватил Сашка. — Выпьем и пойдем на танцы.

Нина остановилась с тазиком в руках.

— Ну?

— Как, Костя?

— Да мне-то, господи!.. Нужна мне эта картошка.

Так и порешили — не возиться с картошкой. Сели за стол.

После двух стаканов вина Косте стало веселей.

— А где тут у вас танцы? Далеко?

— В парке.

— Пойдем, Нина?

— Мне что-то неохота. Не манит. Можно сходить, только я танцевать не буду.

— Почему?

— Не умею, как они. Совестно.

— Ерунда! — раздухарился Костя. — Я могу не хуже их.

До парка решили идти пешком.

Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади.

Костя начал помаленьку растрчивать веселье из груди. Опять подступали неловкость и стыд, и как он себя ни взбадривал, как ни старался настроиться на беспечность — не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. Зато Сашка впереди строчил, как из пулемета. Валя то и дело смеялась громко. Костя завидовал земляку и понимал, что только так и нужно сейчас — нести околесицу, чтоб уши вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет говорить, то его опять поведет куда-нибудь не туда. Про гроб начал давеча!..

— Расскажи чего-нибудь, — попросил он Нину.

— Чего рассказать?

— Ну... веселое что-нибудь. А то со мной с тоски завянешь.

— А я вот так вот люблю: ходить и смотреть на людей. И отгадывать про них...

— Ты что, ворожейка? — Костя засмеялся насильственно и снова остро почувствовал, что это глупо, что он хихикает.

— Не ворожейка, — серьезно сказала Нина, — просто хожу и отгадываю: вот у этого горе какое-то, а этому — голько до постели добаться, с работы идет. А другому, посмотришь, ничегошеньки не надо: куда-нибудь придет...

«Это она про меня, наверно».

— Знаешь, — сказала вдруг Нина, останавливаясь. — Пойдем на реку. Там хорошо.

— А они?

— А что они?

— Ничего? Оставим-то их...

— Ничего. — Нина посмотрела на своего кавалера, и тому показалось, что она усмехнулась.

«Ну, давай, Костя, — серьезно подумал он, — не будь же уж совсем-то чумичкой: девка сама подсказывает. Совсем, что ли, баран?»

— У меня там скамеечка есть... Сидишь, думаешь... Хорошо. Иной раз дотемна досидишь.

— Одна? — Костя только что не взбрыкнул — так ему хотелось показаться игривым.

— Одна.

— О чем мысли?

— Не знаю.

— Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем — не знаю.

— Не знаю. Сижу — вроде думаю, а спроси вот так — не знаю, о чем. Может, вспоминаю... Я маленькая бойкая была, в школе озоровала...

- А теперь?
- Теперь другая.
- Замуж пора,— брякнул Костя.
- Была,— просто сказала Нина.
- Была? Где. здесь?
- Здесь. Полтора года была замужняя женщина...
- Ну?
- Теперь — нет. Опять на танцы хожу.
- А почему?
- Разошлись.
- Как так?
- Что?
- Почему разошлись-то?
- Не надо об этом,— попросила Нина.— Не бывает, что ли?

Не скажешь, чтобы в голосе ее слышалась грусть или скорбь, но была в ее голосе, глубоко спокойном, усталость. Как будто накричался человек на том берегу реки, долго звал, потом сказал себе тихо, без бсли: «Не слышат».

Некоторое время шли молча.

Шли по набережной Нина смотрела на воду, Костя сбоку разглядывал ее. И досмотрелся до того, что забыл неловкость и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина повернулась к нему...

— Почему разошлись-то? — вылетело у Костя. Он не хотел больше об этом. Он чуть не взвыл от отчаяния. Вовсе ему неинтересно было знать, из-за чего разошлись Нина с мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, ласковое, а... Тьфу!

Нина усмехнулась... И ничего не сказала.

Между тем подошли к той самой скамеечке, где любила сидеть Нина. Сели.

За домами на той стороне садилось солнце. Небо было темное, мутное, река черная... А там, где садилось солнце, обозначился слабый румянец зарю. По обоим берегам зажглись на столбах огни, и по воде, поперек реки, заструились тоненькие светлые вилюшки... Наносило холодом от воды. Костя снял пиджак и накинул на плечи Нины. Когда накидывал, то хотел тут же и приобнять ее... Нина спокойно отстранилась и спокойно сказала:

— Не надо.

С удовольствием устроилась удобней в пиджаке и продолжала смотреть на воду.

Костя закурил.

Долго молчали.

— Домой-то не лучше уехать? — сказал Костя.

— Все равно,— не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала:— Устала я как-то.

— Домой надо,— опять сказал Костя.

— Дома хорошо,— согласилась Нина.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь почему-то не мучился, что молчит.

«Обязательно тискаться, что ли?» — подумал сердито.

Слабый румянец за рекой погас. В той стороне на небе светлела только одна бледная пролысинка. Вода сделалась совсем черной, маслянисто-черной, неслышно текла на середине, а здесь, у берега, сонно покачивалась, лизала жирный гранит.

— Пошли потихоньку к дому,— сказала Нина. И поднялась.— Не холодно без пиджака-то?

— Нет.

— Ну, пойду в нем. Зябко.

— Не простыла?

— Нет, так чего-то.

Тихонько шли до общежития.

Костя и сам сейчас — не то думал, не то вспоминал что-то такое. Вообще грустно было.

— Пришли,— сказала Нина.

— Сашку я уж теперь не дождусь...

— Они долго будут.

— Скажи, что я ушел в гостиницу. А завтра — домой.

— Счастливо.

Костя пожал крепкую ладонь девушки. Задержал ее в своей руке. Нина улыбнулась, отняла руку, еще сказала:

— Счастливо.— И пошла. И ушла в подъезд, не оглянулась.

Костя пошел наугад переулками — потом где-нибудь на большой улице можно спросить, как пройти к гостинице. Думал о Нине... Шевельнулось в груди нечто вроде жалости к ней — или он попробовал пожалеть? — очень захотелось, чтоб у ней в жизни случилась бы какая-нибудь радость.

«Все мы какие-то...» — подумал он и о себе. И не додумал. Стал слушать: где-то во дворе или в переулке молодые девичьи голоса тянули:

...Мою печаль, мою печаль.
А я такой, что за тобою
Могу пойти в любую даль.
А я тако-ой...

— Пойдешь, пойдешь,— сказал Костя вслух. И встряхнулся, точно хотел смахнуть с себя стыд и бестолочь сегодняшнего вечера — вспомнил свои рассказы про медведя, про гроб...— Тьфу!

Макар Жеребцов

Всю неделю Макар ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благородно.

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — нимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает сколько? Много небось.

— Много.— Макар тоже точно не знал сколько.— И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты,— миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихное-то положение...

Старухи обижались. Старики посылали Макара дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакий!..

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?..

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливаешься? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, деньгиаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться! Конинную. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон.

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Ласковым словом, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом березовым по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово терпеливое...

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел — Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был — Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настинной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете,— в концервах, так как климат здесь суровый».

Макар поздравил родителей... И те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Иван-то нынче осталось — ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Сейчас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накопился — почуял добычу.

— Спокойно. Иван,— сказал он Ивану.— Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — «Ванька-дурачок», допустим, а ты ей — «несмышлениш мой» или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрепись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам — твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют, и денег нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали — это бо-ольшое уважение. За уважение люди гоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах, пошуметь бы?.. Ах бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты. Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкурку, подвел к двери и дал пинка:

— За совет!

Макар шагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и бормотал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскази им: Митрий. У него свояк в Магадане — Митрий...

Но Макара не хотели слушать: некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпизал с утра рюмочку—две, не больше, завтрак, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу,— закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил...

— Некогда, лоди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тыфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего — выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий,— бормотала она,— ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подыметя ли рука-то?

— Человека пока не стукнет, до тех пор он не поймет,— говорил сам с собой Макар.— На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Да как ведь возьмут да выгонят.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку? Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать — на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклимается — молодой. Мне самому только-только.

— Жадный.

— Нет,— просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? Чего она у тебя все время хворает?..

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашинских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной?

— Ну как же? Подошло воскресенье — ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... Хозяйство-то?

— Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба еще... Поживешь. Работа не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед.— Неужель не совестно?

— Ни на вот столько.— Макар показывал кончик мизинца.

— А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар сначала думал, глядя на улицу, потом говорил:

— Не для этой я жизни родился, дед...

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота по-

мочь советом каким-нибудь... Потом раздумаешься: да пошли вы все!..

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихние дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять в ихние дела полезу. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, чтоб мне их не видеть, людишек-то, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Дак и учил бы одному чему, а то как... сорока на колу.

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и — по загровку. Ванька вон Соломин... спустил с крыльца, змей.

— Хэх!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы: назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то там, на Севере, тыщи ворочает. А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко бывает.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стерва ты, — говорил беззлобно.

— Что, пошел? Посиди. Еще рубль дам...

— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

— Спасибо, что выручил.

— Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

— Вот ведь сколько домов! — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — оё-ёй сколько!..

— Много, — соглашалась жена.

— Много, — вздыхал Макар. — Много.

Материнское сердце

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Потом вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся.

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну, — тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что, — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем, поправься.— Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко,— кивнула девушка.— Спасибо, легче стало.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое — вильнуло хвостом. Был еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть,— подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем,— решил он.— Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал... Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить.— Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой,— интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?... Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?... Такой, как раньше бывало,— здесь вот кипятком подмывало чего-то такое,— такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля»,— всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Зататорила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом, целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки. — Вот она — зараза кипучая. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту... И понял: опоиلى чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево пересулком и вправо по улице опять прямо. «И упрегись в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно, — бормотал он, — я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до доньшка, запустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька растегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька. — Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто же тут, по-твоему?

— Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голсе, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Вить-

кина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святые! — испугалась мать. — Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, судурел, что ли?

— Батюшка, ангел ты мой господний, — взмолилась мать, — помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то...

— Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускаял.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово — тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще — не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завывала, и запричитала:

— Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин

ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтоб мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном: начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя трюх уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала. — Да нечто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать...

— Один он у меня — при мне-то: и попец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи — жалко...

— Он зачем в город-то приехал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — салца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки святые! — испугалась мать. — А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него!.. Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку.

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — Начальник набрался твердости. — Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да ангелы вы мои, люди добрые, — опять взмолилась мать, — пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работающий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник. — Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит,— посоветовал один из присутствующих,

— Мельников, проводи ее до прокурора,— сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разьясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю — а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему же это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь — сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее. Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издали, тоже как-то мудро:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове. — Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на

один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот — невзлюбил ее сына. «За своего обиделась».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжелее будет...

— Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали...

— Ну, поезжай. Проедешь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И ни-кто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завывать в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно, — сразу согласился прокурор. — У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара... Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать, — слукавила мать. — А вот — на свиданку. — Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же,

внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженные мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать,— спросил один мордастый,— тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры,— предупредил длинный. И вышел. Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка — под землей, а сухо, тепло,— сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали — стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, — ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете — милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет...— Витька посмотрел на мать.— Лет семь заделают.

— Батюшки-святые!..— Сердце у матери упало.— Что же уж так много-то?

— Семь лет!..— Витька вскочил с нар, заходил по камере.— Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором.— Сразу уж — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно...

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была...

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хоте-

ли, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святые! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя характеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму характеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеева хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла,— опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо.— На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

— А ишо вот чего...— Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивятся. Похоронку от отца возьму...

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожат. Ты, главно, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходят. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла.— Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

— Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят.

И временами жутко становится... Но мать — действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка,— твердила она в уме беспрерывно.— Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполюшный — как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, помогут.

Свояк Сергей Сергеич

К Андрею Кочуганову приехали гости — жена с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее — Сергеем; Сергей Сергеич Неверов, так он представился,— смуглый, курносый, с круглыми, бутылочного цвета глазами.

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в горницу и унесли туда чемоданы.

— Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать,— сказал Сергей Сергеич снисходительно, но не без гордости: тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, этот — сорокалетний — гордился со вкусом.

Свояки закурили.

— На сколь? — спросил Андрей.

— У нас отпуск большой, мы же — льготники. На особом положении.

— На каком таком особом?

— В смысле зарплаты и отпуска.

— Что, очень большая зарплата?

Свояк Сергей Сергеич посмеялся неведению Андрея.

— У меня, например, выходит до четырехсот.

Свояк Андрей подзадорил:

— Ого-го!

— Сколько у вас тут профессор получает?

— Где?

— Ну, здесь, на Большой земле.

— А я откуда знаю — сколько.

— Самый высокооплачиваемый профессор получает пятьсот рублей.

Максимум.

— Ну. И что?

— А я пять классов кончил, шестой коридор...— Свояк Сергей Сергеич опять посмеялся.— Вот так и живем. Я уже одной ногой в коммунизме, можно сказать.

— Значит, хорошо. Это хорошо.

— Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно?

Андрей пожал плечами.

— Так... а чего, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно.

— Не скажи. Я говорил своей: поедем в Ялту! Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетерпеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях: в магазине ничего нет... Сейчас по дороге зашел в ваш магазин: «Дайте, говорю, шампанского». Она на меня — как баран на новые ворота: «Какого шаньпанского?» — «Ну, обыкновенного, говорю: сухого, полусухого, сладкого, полусладкого... Какое у вас есть?» Никакого. Вина хорошего и то нет. Одна сивуха.

Андрей поднялся.

— Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, протопить?

— Баню — это хорошо. У вас по-черному?

— По-черному.

— Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь по-черному?

А я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше.

Андрей вышел во двор.

Вскоре вышла жена Соня.

— Ох, и навезли! — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. — Мне два платка вот таких — цветастые, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...

— Ты вот чего... С тистями... Воду надо таскать, — заметил Андрей. — Свояк любит, чтоб воды было навалом.

— Господи, да я для них!.. И ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот... Бурелом какой-то. Подумают, что мы не рады. А я без ума радешенька. Ох, шали!.. Во сне таких сроду не видала. Живут же люди!

Мылись в бане уже затемно.

Свояк Сергей Сергеич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал... Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле.

— Тянул! — весело сообщил Сергей Сергеич, когда Андрей спросил о наколках. — Четыре года... По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку... Ху! Кха!.. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил два тюка крепдешина — попались... Ну-ка поддай ковшичек.

Андрей поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал хлестаться, опять закричал, застонал...

— Ну и как?

— А?

— С крепдешинином-то?

— Я ж говорю: попались. Вломили: мне четыре, брату семь...

— А брата-то за что?

— Так он же научил-то! Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел, пять лет только — под амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два!

— Тебе ничего, плохо не будет?

— Ерунда! Давай.

Каменка зло фыркнула раз и другой, крутой, яростный пар клубом ударил в потолок, оттуда кинулся вниз... Жар сбил дыхание, вцепился в уши. Андрей присел на корточки. Свояк Сергей Сергеич мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выбежал в предбанник отдышаться.

Андрей на минуту влез на полку, постегал маленько ноги, поясницу — не любитель был париться. Тоже слез на пол.

— Иди покурим, — позвал Сергей Сергеич.

Закурили в прохладном предбаннике. Свояк опять за свое:

— Ну, а как, например, можно отдохнуть?

— Ну, елки зеленые! — изумился Андрей. — Ну, лежи, плюй в потолок... Кино привозят. Рыбачь ходи...

— Рыбешка есть в реке?
 — Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше.
 — А лодка есть?
 — Есть. Только без мотора.
 — Почему? Моторов нету?
 — Моторы-то есть — вон, бери в магазине... Грошей нет.
 — А у меня «ИЖ»: в субботу, часика в четыре утра, выеду, как дам по тракту сотенку в час!.. Зверь! Мы на озера ездим рыбачить.

— Добываете?

— Ну, чтоб зря не трепаться, по полмешка привожу. Розка не знает, куда с ней деваться. И жарит, и солит, и уха идет... Но в основном огород удобряем.

— Во?! — удивился Андрей.

— Да. Я лук репчатый уважаю, у меня теплица есть, я туда — толченой рыбы... Знаешь, какой лук растет! Ни у кого в поселке такого лука нет. Вот такой вот!.. Аж сладкий, гад. А сейчас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «Фиат» подождать, но я думаю, они с этим «Фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это время «Волгу» получу. Кха! Нечто еще разок слазить? Пойду...

Потом мылись женщины.

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой» и... поругались. Свояк Сергей Сергенч начал опять хвастаться, как у него славно все складывается в жизни... И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить.

— И телевизора даже нету?

— Нету.

— Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малахольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить?

Андрей обиделся:

— Не всем же профессорское жалованье получать...

— Но телевизор-то можно купить!

— Да на кой он мне... нужен-то?

— Ну как же?

— Так — не нужен. И «Фиат» тоже не нужен. Понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить...

— Как?

— Так. Узнаешь...

— Нет, как?

— Перелобаню разок, и все.

— Да?

— А чего ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышно: это нехорошо, то не нравится!.. Я тебя не звал сюда. А приехал — значит, помалкивай. И будь человеком.

— Значит, ты предлагаешь так: даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо? Да?

— Я виноват, что в лавке нет шампанского? Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас эту мочу сроду никто не пьет...

— Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и «калгановой» выпить.

— А у тебя, например, комбайн есть?

— Какой комбайн?

— Обыкновенный, которым жнут.

— Зачем он мне?

— Вот так же и мне телевизор твой не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечания, что у тебя комбайна нет, а ты...

— Но телевизор-то — это же первая необходимость! У тебя же сын

растет: вместо того, чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть.

Андрей помолчал.

— Вон у меня лук репчатый есть — целые вязанки висят... Хочешь?

— Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно...

Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка.

— Еще раз обзовешь — вот видел? — сразу между глаз закатаю.

— Да? — Сваяк Сергей Сергеич оживился. — А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить? Вот видишь — нос? — Он нажал пальцем на свою кнопку. — Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели... Бывало, подойду, о так от — ррээ!.. — Сергей Сергеич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея — он звякнул свояка Сергея Сергеича в лоб наотмашь. Сваяк слетел со стула и громко заматерился.

— Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу тя, понимаешь!.. — Сваяк Сергей Сергеич сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой рукой махал в воздухе, объяснял: — Я ж те хотел показать, как мы отчима молотили! А ты думали...

— Два молодых оглоеда — на старого человека, — сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился: он в самом деле подумал, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. — И не стыдно?

— Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же...

В это время в сенях стукнула дверь — возвращались из бани Соня с Розой. Сваяк Сергей Сергеич вскочил с пола и быстро-быстро заговорил, так быстро, что Андрей половину не понял, понял только, что свояк очень его просит:

— Андрюха!.. Молчи! Мы сидим, пьем «калгановую»... Ничего не было! Понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых... Понял? Мы сидим, мирно пьем «калгановую». — Сваяк быстренько налил две рюмки, сел за стол. — Только... понял?

Когда сестры вошли в избу, свояки как раз в это время чокались.

— А-а! — закричал свояк Сергей Сергеич. — С легким паром!

— Ты, я смотрю, уже полегчал? — миролюбиво заметила Роза. — Ничего?

— Все в порядке, все в порядке, — поспешил Сергей Сергеич. — Спроси свояка.

— Все в порядке, — тоже сказал Андрей.

— Чего нас-то не ждете, — упрекнула мужиков Соня. Но так — проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное настроение.

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк Сергей Сергеич. Запевал тонким, дрожащим голосом... И при этом закрывал глаза и мелко тряс головой.

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь...

Все подхватывали:

Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.
Ох, встречать ты меня не придешь...

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка Сергея Сергеича в лоб.

А на другой день свояк Сергей Сергеич выкинул штуку, которую Андрей не понял.

Андрей возвращался вечером с работы... Свояк ждал его у ворот: сидел на скамеечке, поглядывал в улицу. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил:

— Ну что, малахольный?.. Отработал?

Андрей ушам своим не поверил. Вчера все хорошо кончилось, мирно отошли ко сну... Что он?

— Ты что? — спросил Андрей.

— Пошли, — велел Сергей Сергеич. — Следуйте за мной, граждане! — И пошел, не оглядываясь, к сараю.

— Чего ты? — опять спросил Андрей.

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно малахольный.

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не общал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая... А там, на плахе, масляно поблескивая смазкой, лежал лодочный мотор. Новенький. Только из сельмага. Сергей Сергеич пнул его носком ботинка.

— Бери, ставь на лодку.

— Как?..

— Говори «спасибо» и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю.

— Как же так? — все не мог понять Андрей.

Сергей Сергеич засмеялся, довольный.

— Вот так... Чего рот разинул? От малахольный-то... Бери — твой!

— Он же дорого стоит, — сказал Андрей. — Куда к черту...

Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно — со злинкой — похлопал его по щеке.

— Бери... Помни Серегу Неверова! Пошли.

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца. Видел кинокартину «Вий»?

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

К счастью, никто не вышел из дома.

Андрей пошел в дом, пинком расхлобыстнул избяную дверь... Но на столе — увидел — стояла опять «калгановая», вкусно пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, сутилась в кути... Да черт с ним, с дураком!

— Ну, как мотор-то? — спросила Соня.

— О так от... Смотри! — выскочил вперед Сергей Сергеич. — О так от уставился на него и смо-отрит. — Свояк и Соня засмеялись, довольные. — Я говорю: бери скорей, пока я не раздумал! А то ведь раздумаю! Умора... Ну, давай по рюмочке «калгановой» — с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще?

Свояк Сергей Сергеич опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера. Станный он все-таки человек... Можно сказать, необычный.



Как жить без нее?.. Повторил я последнюю фразу,
И стало мне грустно, и стало мне холодно сразу.
Нет-нет, не теперь, мы еще поразмыслим над этим...
Наверное, мы никогда никуда не уедем.

Перевела Ирина Снегова.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ САМОМУ СЕБЕ

Я с первым словом к матери своей,
А со вторым — к земле я обратился...
О, сколько я с тех самых первых дней
Давал советов, разумом делился!..

А поглядишь — кто более всего
Нуждается в советах да в ученье?..
И к самому себе я оттого
Намерен обратить свои реченья...

Чем старше мы, тем — перейдя на рысь —
Быстрее годы мчатся с нами вместе.
Пусть годы мчатся — ты не суетись,
Степенным будь, храни терпенье с честью.

Поддакиваний ближних не ищи,
Не гнись по сторонам: ведь ты не ива...
Ты не осина: и не трепещи
От всякого случайного порыва...

Коль будет полон стол различных яств,
Тянись за ложкой в срок,
Не будь всеядным.
Бесплогной мыслью не спеши тотчас
Делиться с целым миром неоглядным.

И знай: противоядие и яд —
Одной породы. Дело только в мере.
Все не хвали, все не хули подряд,
Без чувства меры — только жди потери...

Луны достигнешь — посмотри вокруг:
Повыше есть и посветлей светила...
Из красного угла попросят вдруг —
Не жалуйся, что, мол, свели в могилу,—
Никто еще не поднялся оттуда...
Все остальное — уж не так-то худо!..

А тяжести падут в недобрый миг
Вдруг на плечи —
Я верю: без сомненья,
Ты их снесешь, ты к тяжестим привык...
Терпи — когда легко.
Храни терпенье.

ХОРОШО, ЧТО Я НЕ ГАРМОНИСТ

Дёма с Белой, заливая всходы,
Полою водой встречают май...
Буйство сердца, словно эти воды.
Перехлестывает через край.

Молодость пришла — с грозой вместе,
Молодость пришла в сиянье дня.
За лучи хватаясь, в поднебесье
Я взбираюсь — не достать меня!

А на горке пляшут — свету рады —
Девушки... Ну что за волшебство!
Что за счастье — быть достойным взгляда,
Девичьего взгляда одного!..

На крыле лебяжем, на высоком,
Имя вывожу любви своей...
Я — могущественнее пророка,
Может, только бог меня сильнее!

Голубые звуки в небе чистом
Плавают, пленяя даль дорог...
Почему не стал я гармонистом?!
Я сыграл и спел бы, сколько смог,
Разбудив поля и даль дорог!..

...Воды возвратились в берега.
Отгремели грозы... И по праву
Лист метет осенняя пурга,—
Зеленеют лишь вторые травы...

В сумерках — деревья в серебре.
В очаге дымок струится тонкий...
Внукам сказки шепчут те девчонки,
Что вчера плясали на горе.

И уже привет не долетает
Из страны, что юностью зовем.
Ветер с крыльев лебедей сметает
Перья...

Свой покинув водоем.

Лебеди скрываются за горкой.
«В добрый путь!» — кричу под ветра свист...
Хорошо, что я не гармонист:
Я б сыграл — да и заплакал горько.

ПОВЕЗЛО

Как это на вершине полстолетья
Я так неожиданно оказался вдруг?
И вот с вопросом я гляжу вокруг:
Мне повезло иль нет на белом свете?

Мне с датою рожденья повезло:
Я родился не рано и не поздно...
Гудит октябрь... Двадцатое число...
Березы сыплют на тропу мне звезды.

Мне повезло с землей моей... Ты — чудо,
Башкирия! Ты — свет в моей судьбе!
Ты — колыбель под синью! И — да будет
Моя могила теплая — в тебе...

С людьми мне повезло: они добром
Меня учили, без причин не били.
С друзьями повезло: они в мой дом
Вошли — в ворота постучать забыли.

С любовью повезло: превыше клятв
Высоко веру надо всем держала,
Сомненьями себя не унижала,
Хоть и причины были, говорят...

Везло с боями: в пламени жестоком
Мне виделись победные огни...
Везло с моими ранами: до срока
«Туда» не унесли меня они.

И с именем — не подвело оно! —
Мне повезло — и с сущностью моею:
Вкусив похвал сладчайшее вино,
Я на ногах держался, не хмелея.

Что ж, доброй ночи, прошлое!.. Дорогам
Твоим — поклон,
За все — спасибо им...
Мне повезло Мне повезло во многом.
Не знаю, повезло ль со мной другим...

Перевела Елена Николаевская.



ЛЮБОВЬ КАБО
★
В ТОТ ДЕНЬ

Рассказ

Мы с осени знали, что он не жилец, да разве к этому пригодишься? И вдруг телеграмма: «Умер отец похороны субботу». Кинулись с Сергеем, сыном моим, во Внуково — самолет, слава богу, есть, в Кишиневе друзья помогли, достали машину, а то бы ни за что не успеть.

И вот — едем. Самая распроклятая мартовская погода: на спуске к Оргееву зима, в Оргееве весна, подалее, к Лазовску, — опять зима. С воем летит справа налево молочная мгла, поземка свистящими полотнами перестилает дорогу. А то — тишина: мирно дремлют спокойные округлые холмы с виноградниками, громадные осокори у самой дороги. И снова подъем — или, наоборот, спуск, — снова едва приметный выгиб дороги: внезапный вой, свист, снова летит справа налево белесая мгла...

Шупловатый на вид, малорослый шофер наш Владимир Викторovich прям и строг. Нельзя и на секунду отвлечься: вот один «газик», такой же, как у нас, — только что, наверно, летел в обгон, суетился, сигнализировал, а теперь стоит, сцепившись намертво с какой-то другой машиной, и не очень разберешь, что там, собственно, у них, только люди препираются, машут руками в споре, да ближайший к нам, шофер, рассеянно обращает к проезжающим разбитое в кровь лицо.

А мы — дальше. Третий час в пути, четвертый, пятый. В Бельцах — мокрый асфальт, грязища, за Бельцами, на открытом месте, — опять зима. Время от времени кто-нибудь возникает в сгустившихся сумерках, машет; шофер, не расспрашивая, приоткрывает дверцу: «Гай, репед!»¹ Влезают оживленные женщины в тяжелых шالях, перевязанных поверх, по лбу, косынкой, мужчины с оплетенными бутылками вина — суббота завтра! Сначала пошучивают, потом примолкают. Удивляются, наконец: что за проезжающие такие — ни отклика, ни улыбки, даже между собою не говорят ни о чем.

Под Яблони какой-то паренек метнулся из-под колес, словно замерзший заяц.

— Унде?

— Ла Глодень.

— Репеде!..

Вот они уже, Глодяны: по гребню холма косым крестом лампы дневного света. Темный спуск, заснеженный мост, знакомый подъем меж тускло освещенных окраинных домиков. В центре села выпустили

¹ Репеде — быстро.

опешившего от неожиданной удачи парня («Сколько?» — «Иди давай!»). Круто свернули налево, потом, с сильно забившимся сердцем, направо.

Вот оно. Вот куда мы ехали: стоит слабенькими оконцами на улицу хата, и над распахнутой настезь парадной, узорной дверью, что обычно закрыта наглухо, — белый флаг, то ли полотенце, то ли простыня на палке. Слово знак: сюда, сюда приехали. Не проезжайте мимо!..

А мы — стороной. Обычной дорогой, со двора, калиткой. Нам бы минуту одну постоять...

Не тут-то было! Во дворе зять мой Павлик гремит ведрами. Вгляделся, узнал, ничему не удивился, — откуда, дескать, взялись московские среди этой тьмы и степной завирухи, — кинулся целовать со слезой:

— Нема, Любочка, нашего таты!..

Бесшумно метнулась в темноте от хаты, к сараю, мама. Глянула вблизи сухими, безучастными в сиротстве глазами, судорожно вздохнула, прильнула на миг.

Чистые обычно сенцы истоптаны, как базарная площадь. В сенцах и в левой, так называемой «чистой» половине — стеной люди; колеблется над спинами пламя свечей, и кто-то кричит, кричит страшным голосом, — крик этот, слышный и на улице, и во дворе, теперь отчетлив и близок.

И на правую, жилую половину дверь настезь; начисто выветрен самый дух тихого стариковского жилья. Это и есть смерть: ничего погаенного, скрытого, все вывернуто наизнанку, торопливо обнажено, превращено в стекляшки и бумажки, в грошовый, безликий хлам. Никого не узнаю. Женщины в темном, сидя кружком кто на скамьях, а кто и прямо на полу, что-то делают по хозяйству, смотрят отчужденно и несуетно из-под низко надвинутых на брови платков. И еще одна женщина — она не входит, а почти падает в комнату, изнеможенно прислоняется к стене; по тому, как тихо становится там, можно понять, что это она и кричала. «Ох, тата мой» — только по этому дрожащему вздоху я и узнаю нашу Веру. Смотрит — как и все остальные смотрят — без узнавания в глазах, без привета.

А вот он и тата. Вот кто таков, как всегда! Стриженная, в неровной седине солдатская голова его чуть завалилась набок — не потому ли такой естественной и живой кажется его поза. Кажется, что он устал — и уснул, спокойно и крепко, и руки под грудью сложил утомленным жестом славно поработавшего человека; и губы его под жесткою щеточкой усов всё словно таят непробивающуюся наружу усмешку, — мы по крайней мере его не знаем другим.

Я смотрю — и, наверное, долго стою так и смотрю, и, наверное, есть во всем этом какая-то неловкость, потому что притихшая рядом со мною мама начинает вдруг осторожно причитать, словно извиняясь перед односельчанами за неумелую свою невестку. Ничего я не могу. Нет у меня ни слов, ни слез — только печаль, только нежность. И мама снижает. Мама слабеет, еще и еще раз поправляя что-то одной ей видимое, суеверно оберегая. И старший наш, Вася, обнимает ее за плечи, уводит:

— Ну, будет, мама, будет!..

Их много у наших стариков: Василий да Иван — оба старшие, чем мой, погибший на фронте, да три сестры — Маня, Шура, Вера, — да трое зятьев, да невестки, да внуки — много внуков! — уже и правнуки один за другим посыпались... И все они сейчас в единодушных, бесшумных хлопотах: все надо сделать, как положено, — и отпеть, и похоронить, и помянуть честь по чести. И всех односельчан встретить и уважить — люди, слава богу, идут и идут. А горе-то, горе!.. И время от

времени то один, то другой, наспех обтерев руки, идут к отцу, и кричат, и плачут, и жалуются покойному, пеняют ему, что осиротил он их, что не смотрит на них, не жалеет в трудную для них минуту... И делают это, пока не ослабеют, не зайдутся в слезах, пока кто-то свежий, со стороны, их не оттянет. И снова с печальной сосредоточенностью берутся за дело.

Идут односельчане. Целуют иконку, лежащую у таты на груди, бросают, нашарив по карманам, в ноги покойному гремящую мелочь. Потом обходят всех подряд, здороваясь за руку: «Добрый вечер». Садятся по стенам, тихо переговариваются; одобрительно замолкают, когда чей-нибудь голос взвизывает вдруг над покойным. Пережидают — и снова к своему: что вот-де хороший, «примирительный» был человек Попадюк и что старой нелегко теперь будет. «Все-таки двое — и принести и помочь, а одну так и будут, как веник, с места на место перекладывать...» Кто-то интересуется: «Венки — привез кто или здесь заказывали?» Кто-то из приезжих рассказывает — с невольной улыбкой, с жестикуляцией, — что-то смешное у них произошло дорогой.

А надо всем этим лежит наш тата. Такой, как всегда. Словно пригласили его принять участие в общей беседе, а он и рад бы, рад хорошим людям, да вот заслушался, только усмехается легонько в солдатские свои усы.

Шумно врывается большая, плотно закутанная женщина, плача в голос уже от порога, всплескивая прямыми руками, как несущка крыльями, грудью припадая к покойному: «Да ты ж приезжал, ты советовал, да кто ж теперь, да как же я...» И все опять уважительно замолкают — надолго.

Надо идти ужинать, потому что мы «трудные» с дороги — нам с Сергеем и далекой ломачинской родне, которую мы до сих пор знали только понаслышке. Мы застенчиво переглядываемся за длинным столом, а потом, не чокаясь, выпиваем — за знакомство; и ломачинские радуются, что Сергей мой — вылитый отец, а я удивляюсь и не верю, что помнят они далекого того мальчишку, Семена моего: у меня уж и сын, рожденный в той страшной, последней разлуке, — уже и сын по-старше отца.

И снова к тате, снова сидим: без него сиротливо как-то.

— Ну, будет, будет тебе. — Это Ваня в сенцах уговаривает исплаканную Веру. — Кого завтра нести — тебя или тату? Я сам нервничаю...

Очень это характерно для Вани: и горестно и тоскливо ему, но прежде всего он именно «нервничает». Полная противоположность городскому баловню Василию, добродушно позволяющему ухаживать за собой, — Ваня твердо убежден, что без него все будет не то и не так. Ваня, как и отец когда-то, — весь в этом непритязательном, изо дня в день выламывающем крестьянском труде; словно раз навсегда решил — не искать поворотов судьбы, не выгадывать, где полегче. Весь — в заботе; как всполошенная птица, так и вьется он над раскинувшимся на пол-улицы попадюковским куренем — а вот отец, вот сестра, вот дочь Тамарочка слаба, вот сын Толя, не дай бог, в чем-то там, в институте, нуждается, вот младший, Васек... Ваня и внешне полная противоположность широкому в кости, тяжеловатой запорожской стати брату — суховатый, юношески легкий, с преждевременными морщинами, глубоко изрытыми нестарое лицо, с бурой, морщинистой шеей, с этим своим носом уточкой и полукруглыми, как чердачные оконца, живыми глазами...

Негромкий говор по стенкам:

— Ничего не поделаешь, край пришел!..

— Да уж! Из тюрьмы возвращаются, а оттуда — никогда...

— А снег идет. Снег свое дело знает...

Кто-то приходит, уходит; кто-то кланяется в пояс:

— Ну, прощай, сосед дорогой!..

Поздно уже. Ненужно снует безучастная, тихая мама — одинокая во многолюдстве, самая скромная и сейчас, в единственном своем горе. Притянешь ее, обнимешь,—она неумело сложит тягостно бездельные руки:

— Ох, Люба, так мне скушно что-то...

А я думаю свое — под этот вот уважительный говор по стенкам, под мамин бесцветный голос, под громкие всплески плача.

Двадцать лет езжу я уже в этот дом. Все, даже крошечные перемены здесь — зазубринами в памяти. Когда-то ездила на щебенке, на мешках с зерном, потом — на рейсовом автобусе, позднее — на маршрутном такси. Культура!.. А однажды приехала — и не знаю, куда идти, весь центр перестроен: универмаг, ателье, гостиница — хоть садись и с ходу пиши зауряднейший газетный очерк!

Помню, в первый мой приезд это было,—Маня, потрясая меня тогда всех больше невозможным семейным сходством, тяжеловатым носом, светлой, на пол-лица, особого склада улыбкой,—Маня привела к старикам весь свой босоногий девчачий выводок: рожали ведь и рожали спроста, все мечтали о мальчике. Несла девчоночью обувь в полосатой десаге. И только тогда, когда сельский фотограф установил наконец допотопную свою треногу,—только тогда решилась, обула своих дочерей. Нужда была страшная. И когда через два года я приехала снова, старшенькая ее шепнула мне, помнится, в самое ухо:

— Тетя Люба, вы нам штанов не привезли?

Вот они теперь, Манины дочери,—стройные молодые женщины. и очень современные на этих своих шпильках и со взбитыми волосами, с медленными, загадочными улыбками на чуть подкрашенных губах. Бегают по земле долгожданный Валерка, ровесник Маниным внукам, и постарел, покрылся морщинами родоначальник всей этой романчуковской ветви Федя. Сколько же воды утекло с того знойного июльского дня, когда я приехала сюда впервые, дрожа с перепугу, и неуверенно погремела железной щеколдой. Выглянул из сенцев незнакомый старик:

— Вам кого?

— Никого. Я — Люба.

— О господи, Люба!..

Сразу — без рефлексии, без оглядки: родная, желанная. И поцелуй, и объятия, и откуда-то бегут и бегут еще люди — словно стог сухого сена занимается: наша приехала!.. И вот уже мы сидим все по стенкам и плачем легкими, взволнованными слезами, потому что думаем об одном и том же: о том, что того загаданного, вымечтованного — торжествующий, отвоевавшийся сын привозит в Глодяны знакомиться молодую свою жену,—того загаданного так и не получилось, и не получится уже никогда.

— Сирóжка-то где? Что не привезла?

— Боялась.

— Чего боялась-то? Или мы не люди?

Сижу пристыженная, чокаюсь со всеми по очереди граненою стопкой,— вот и посуды не было, не то что теперь, таскали борщ из единственной миски.

Лучше не вспоминать тот первый день! Потому что большая жизнь и случается многое — и душевная смута, и обиды, и горе. А приедешь сюда — перемены на поверхности, да вот главное-то неизменно: уют, родной дом! Лучистые, как у ребенка, смеющиеся стариковские глаза,

единственный заматерелый зуб, обнажившийся в охотной улыбке: «Вот и ладно, и хорошо, что приехала. Дал бог, увиделись, пока живы...»

Что ты о себе ни расскажешь — то и свято, и на том спасибо; уважение к твоей жизни — полное. А только ничего плохого ты не сделаешь и не подумаешь даже — в этом-то старик наш уверен неизменно. И все уверены. И трудная твоя жизнь для него без расспросов на ладони — все живут нелегко, всех жалко. Да с ребенком-то, да одна!..

Мы друзья с татой. Отоспишься, наутро выйдешь — старики уже ждут, на столе яичница, водка: нельзя без этого, гость в доме. А жара!.. Я хитрю: «Не могу пить, тата, мне еще к секретарю райкома идти...» Чуть несусветная: на что мне тот секретарь райкома!.. Тата ни единого слова не возьмет под сомнение: значит, надо. Маме пояснит — со своей привычкой все объяснять этой женщине: «У нее работа такая...»

Зато уж вечером — не отвертишься. Набегут свои, сядем потеснее в холодке где-нибудь, постелим на колени грубоватый рушник. Пока там суд да дело, пока наливают да накладывают, тата озорювато заводит любимое:

Выпьем чарку, выпьем тут,
На том свете не дадут.
Доки на тот свет придем,
Ще по чарочке шарнем...

Все, конечно, подхватят, в долгу не останутся: любят Попадюки погулять. «Ну, будем здоровы!» Выделяется Ванни тенорок — Ваня поет старательно и серьезно, как все, что делает. Шура, бывшая комсомолочка, расплывшаяся в бабьей жизни, ведет пьяновато и сильно:

Била меня мама с ночи
За Ваньковы черны очи...

Перепоют украинские, молдавские песни. Молдавские — для меня, по моему заказу: молдавские Сема очень любил. Тата вспомнит солдатские — от царской службы, стародавних времен. Тут уж все молчат, все слушают. Павлик Попелянченко, Шурин муж, пошлет сынишку за аккордеоном. Старик наш только того и ждал: подхватит какую-нибудь из своих невесток, лихо притопнет о землю босой ногой. И пойдет, пойдет — чуть согнувшись в поясище, стягивая смеющиеся против воли губы. Ветхие порты его чуть держатся на сухом стариковском теле, крестик, вывалившись из-за пазухи, подпрыгивает на груди. Дети посмеиваются, любуясь стариковской удалью:

— Ото наш тата!..

Мама в его сторону и не глянет. Маленькая, с легкими, девически круглыми босыми ногами, в платке до бровей, в отлетающей на сторону сборчатой юбке, она так и мелькает — от стола на погреб, с погреба к летней, курящейся невидимым дымком печурке. Не посидит ни за что, так, примостится ненадолго с края:

— Кушайте, кушайте! Гай, Сирожка, еще подсыплю борща...

— Красивая мама была? — спрашиваю у таты: он уже снова рядом, ручной, притихший, с неровной своей стрижкой, с мягонькой щетинкой на щеках.

— А что ж я, дурную брал? — тут же откликается он. — Эге!..

Мама только смеется, прикрывая рот уголком платка: расхвастался дед!..

Веселью час, а на жизнь — время. И такая душевная деликатность во всем, такая уважительность к чужому мнению, широчайшая терпимость...

Чего только не было за эти двадцать лет: и дочки смолоду вольничали, и Василий бросил жену с двумя детьми, и, наоборот, Веру оставил с ребятишками ее законный. Старики не судили. Если и судили — помалкивали. Не мучили, не гребовали: «Делай то, не делай этого...» Не напоминали: «Мы, дескать, говорили тебе...» Они — жалели. Они просто помогали — как могли. Считали копейки, делились. Гнали последнюю овечку на базар. Нянчили внуков. Щедрыми ломтями отрезали дорого доставшуюся когда-то землю: это — Шуре на обзаведение, это Вере — чтоб не плакала о своем — что делать! — строила бы жизнь заново, растила детей...

Им всех жалко, обо всех болят душа. Внуки вот учатся, едут в Бельцы, Кишинев, сидят там впроголодь — легко ли? Маня, сарака¹, мучается со своими малыми — кто ей поможет, если не мать с отцом? Ваня упал с велосипеда, убился «в голову», года два не мог ни за что приняться. Это уж особая беда была: кормилец! Жизнь вся в простых категориях, в однажды и навсегда отведенных ей берегах: здоровье — нездоровье, смерть — рождение, несчастье — счастье... Жизнь — вся — в простейших документах, хранящихся на дне сундука: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, акт о продаже земли в Ломачинцах, акт о покупке земли в Глодянах. Аттестат, выданный в 1908 году младшему унтер-офицеру Восточно-Сибирского полка Степану Попадюку в том, что он «ни в чем предосудительном замешан не был, что подписом с приложением казенной печати удостоверяется...».

Тата соберется под вечер, подпоясется, натянет поглубже высокую баранью шапку. Возьмет мамалыжки, луку, пойдет на всю ночь сторожем на колхозные тока.

— Потому что кушать хочу, вот так, — скажет он вразумительно. — Не зробишь — и не покушаешь...

У него и сказки-то все со смыслом. Два брата поспорили, богатый и бедный; богатый говорит: «Нет на свете правды», а бедный возражает: «Есть». Он уже и дома лишился, бедный брат, и земли, и обоих глаз — все проспорил богатому, а все стоит на своем: есть правда на свете!..

Вьется затейливая сказка: и вещи птицы спускаются на заветное дерево, и утренняя роса исцеляет, как живая вода, и спасает бедный брат от смертельной опасности непременно царскую дочь, и золото ему, и людское уважение, а богатому — возмездие, конечно: растерзали его за жадность те самые вещи птицы... «А к чему это все? — допытывается рассказчик. — Есть на свете правда? Вот то-то и оно, Любочка...»

Закрыл, помнится, утомленно глаза, потрепал мою руку сухой рукой: «А у вас в Москве сказки знают? Ну, расскажи-ка...» Приготовился слушать, набираться ума. Впрочем, при первых же словах оживился, засмеялся: «О золотой рыбке? О, то была старуха!.. Мне Галочка читала...» Стал с удовольствием вспоминать подробности. Это — он уже больной был, не поднимался уже.

Тогда же, в последнее это лето, зашел, помню, во двор, тяжело везя ноги, такой же, как он, глубокий старик — темноглазый, горбоносый, с женской шалью на плечах:

— Степана Илиевича можно видеть?

— Заснул он.

Старик присел рядом — подождать, передохнуть. Как это раньше я его не видала? Друзья они. Только двое их и осталось, таких вот, на все село. Не довелось мне послушать их беседу — а жаль! — посмотреть, как сидят они рядом — все понимающие, обо всем перетолковавшие, — старейший на селе украинец и старейший еврей.

¹ С а р а к а — бедняга.

О чем я? Все о том же — о доброте. Как рассказать о ней?..

...И — не утро ли это? Почему с такой свежей силой всплескиваются вокруг меня плачущие женские голоса:

— Ох, таточка, таточка, последний час настает!..

— Ох, не могу, последние-то минуточки...

— Что ты так лежишь? — Это Ваня. Торопился куда-то, вдруг остановился, взгляделся, заплакал как-то сразу. — Спроси что-нибудь. Ну, спроси — чи дождь там, на улице, чи що?..

Суета вокруг страшная. Приносят какие-то лари из пекарни, много ларей — вся кухня завалена круглыми пышными калачами. Оказывается, каждому встречному на пути к церкви надо непременно дать калач. И зачем-то увешивают новенькое ведро конфетами на нитке — это так называемая «помана» — и варят кутью. И свертывают в узел постель — ее надо отдать первому встречному. Всем некогда — и все забегают к отцу, чтоб по привычке поделиться с ним своими заботами.

— Коля уезжает сейчас — с Любой, с Сирожкой. Машина больше не может ждать. — Это Вера. Собирает, связывает сыновние вещи и тихо сморкается, вытирая бегущие по щекам слезы. — А худой он, ох, таточка, ты его так любил, ты бы поглядел на него...

— На маму, на маму посмотри, — почему-то шепотом умоляет Маня. — Она стара, она трудна, куда она без тебя, бедная...

— Ох, таточка, ох, мученый наш, — Шура прижимает руки к груди. — Снег идет, такой снег, как мы сейчас с тобою...

— Могилку сделали — всё, как ты наказывал. — Это опять Ваня. — С полочкой, чтоб не засыпало...

Как они плачут, сестры мои, с новой, неизрасходованной силой! Склонились — все женщины, и только они. Древнее, как мир, запечатленное в тысячах полотен, — снятие с креста, положение во гроб. Остановленное на какой-то миг рыдание знаменитой каргопольской иконы: бессильное движение рук, передающих умершему последнюю нежность, припадание — и протест, и вновь припадание, плеснувшиеся в отчаянье, воздетые к небу ладони.

— Обычай, обычай помни! — яростно кричит Ваня, обращая к мужчинам залитое слезами лицо.

Гроб трижды опускают на землю. По три раза у каждого порога. Тяжело поворачиваются в сенях, с усилием несут по дощатому настилу от парадных дверей, — на досках разложена «помана». С силой ударяет на улице духовой оркестр.

Вот и все. Все, тата. Медленно падает снег. На непокрытые головы, на согнутые плечи.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

ПАССАЖИРСКИЙ 83-й

Из записок корреспондента

Вагон наш плацкартный. Для курящих, но мы договорились курить в тамбуре. Я вышел туда и натолкнулся на Надю. Наружная дверь была распахнута настежь, вагон швыряло и подбрасывало. Швыряло и Надю от стенки к стенке.

— Да вы что? — закричал я на нее и захлопнул дверь.

— Меня тошнит, а в вагоне душно. Вовик обещал лимон принести из ресторана. Ушел давно и что-то не возвращается.

Сказав это, она ушла.

Вовиком она называла своего мужа Володю. Оба они из Совгавани, работают в шахте и теперь едут в Москву в отпуск, к родным Вовика. Три дня назад, когда мы уезжали из Хабаровска, казалось, заботливей супруга не сыщешь. Оставались считанные минуты до отхода поезда, а Вовик носился по платформе, искал чего-нибудь соленького. Каждому встречному он готов был объяснить, что соленькое нужно не ему лично, а его беременной жене, и уточнял, что она на четвертом месяце.

— Представляете, — говорил он мне, — из Москвы уезжал три года назад, ну прямо шкет был, сосунок, а возвращаюсь семейным человеком, главой семьи.

Он каждый день бегал в вагон-ресторан то за лимонадом, то за лимоном. По ночам Вовик поплотней укрывал Надю одеялом. Она плохо спала, ее и по ночам тошнило. Вдвоем они подолгу что-то тихо обсуждали. Словом, это была уже семья, хотя третий человек еще и не родился.

Но вот «глава семьи» разглядел в купированном хорошенькую девушку. С этого все и началось. Вовик стал пропадать в купированном. Скоро уже было известно, что девушку зовут Люсей, что она из геологической партии, едет со своим начальником Петровым и таким же рядовым геологом, как и она, Валентином. Надя, конечно, ни про какую Люсю не знала. Вовик сказал ей, что встретил школьных товарищей. При этом врал вдохновенно, с подробностями, сыпал именами, описывал, кто как выглядит, даже рискнул позвать Надю с собой познакомиться, поразвлечься. Точно рассчитал, черт, что Надя откажется, ей не до развлечений. Мне, как мужчина мужчине, он рассказал, что познакомился с Люсей случайно.

— Шел я в вагон-ресторан за лимонами, она стояла в коридоре. «Сыграем, шахтер, в картишки?» — предложила она. Я аж рот разинул. Откуда, спрашиваю, вы знаете, что я шахтер? Я, говорит, проницательная. С нами ее начальник Петров играл. Потом малость выпили. Другой

их геолог не играл и не пил. О чем-то они все время спорят с Петровым. Только я не вдавался. А она подмигивает мне и хохочет. Петров пошел в ресторан допивать, а мы в коридор. С кем, спрашиваю, у тебя роман из них, а она эдак легонько толкнет меня и говорит: «Ну и дурачок ты, они, говорит, мне осатанели, я их и за мужчин не считаю». Вышли мы с ней в тамбур. Чувствую — голова кругом пошла. Забыл, куда еду, забыл вообще, что женат.

То, что Вовик забыл про свою Надю и вообще что женат, — это факт. С утра не был, не пришел и в обед.

Радио нашего поезда объявило, что мы прибываем на станцию Тюмень и что ввиду опоздания поезда стоянка возможно будет сокращена. В другом конце вагона ехали студенты-практиканты. Мы жили под нескончаемый аккомпанемент их песен. Казалось, им было все равно, что петь, — лишь бы петь. Они и сообщение радио повторили хором: «Стоянка возможно будет сокращена...» Сколько было остановок, столько раз радио не забывало предупредить нас об этом.

Вагон наш отдыхал после обеда. Кто спал, кто читал, кто глядел в окно. Я тоже улегся на свою верхнюю боковую. В Хабаровске мне досталась нижняя и не боковая, но попользоваться ею я не успел. Перед самым отходом носильщик внес четыре роскошных чемодана, перехваченных широченными ремнями. За чемоданами шли не менее роскошные супруги, оба в «болоньях». Одно место у них было верхнее, надо мной, другое — верхнее боковое.

— Я не могу спать на верхней полке! — взволнованно заявила она и прямо ко мне: — Уступите, пожалуйста.

Я забросил свой рюкзак на верхнюю полку.

— Лина, — сказал ее супруг, — давай уберем чемоданы под сиденье.

Она не согласилась:

— Пусть пока здесь постоят.

Чемоданы выстроились на моей бывшей полке, а владелица их, усадив рядом с ними мужа, пошла по вагону, высматривая, нет ли мест получше. А когда поезд тронулся, Лина вернулась и разрешила мужу убрать чемоданы. Потом она сообщила нам, что только по чистой случайности они с мужем попали в этот вагон, что они возвращаются из заграникомандировки и что они должны были лететь самолетом, но из-за нелетной погоды пришлось ехать поездом, хотели достать международный, но даже в мягком и купированном мест не было.

— Последний раз я ехала в таком вагоне девчонкой, — рассказывала Лина. — В эвакуацию.

— А чем здесь плохо? — обиделся усатый гражданин в соломенной шляпе.

Лина любезно поставила усатого гражданина на место.

— Простите, — сказала она. — И успокойтесь.

Усатый гражданин умолк, а Лина снова обратилась ко мне:

— Товарищ, вы ведь один едете?

— Один.

— Поменяйтесь, пожалуйста, с мужем, вам ведь все равно, а нам спокойнее.

Ехать в сторонке или в проходе мне было вовсе не все равно, но и отказать в просьбе столь подкованной дамочки я не решился. Взял свой рюкзак и перелез через проход на боковую верхнюю. Лина даже спасибо не сказала, а супруг сказал:

— Вы уж простите.

Сегодня четвертый день нашего путешествия. В Комсомольске я все до копейки рассчитал, чтоб лететь самолетом. В Хабаровске встретил

институтского приятеля, собкора одной московской газеты. Встречу отметили, и спасибо, что осталось денег на плацкартный вагон. Еще на две буханки хлеба и полтора килограмма полукопченой колбасы.

В Хабаровске на платформе хватали все подряд: пирожки, фруктовую воду, мороженое, куски вареной курицы в целлофане. В газетный киоск выстроилась длинная очередь. Мне же достались на выбор журналы с пожелтевшими от долгого лежания обложками. Одно хорошо: отосплюсь за милую душу, а главное, не надо будет ни у кого брать интервью.

Перезнакомились пассажиры нашего вагона быстро. Усатого гражданина в соломенной шляпе звали Захаром Захаровичем. Ехал он с внучкой Верочкой. Девочка рослая, конечно, школьница, а дед решил сэкономить, взял для нее детский билет. Хорошо, что он был почетным железнодорожником — значок на лацкане носил, — а то бы пришлось доплачивать, потому что на вопрос проводника: «Сколько, миленькая, тебе годков, в какой класс-то ходишь?» — Верочка не без гордости ответила проводнику, что ходит в третий класс.

Дед закричал на нее, чтоб не приучалась с ранних пор обманывать людей, вытащил из корзинки потрепанную куклу и приказал:

— Играй в куклу и помалкивай.

На бедную девочку набросились и другие: дедушка, мол, лучше знает, ходишь ты в школу или нет.

Соседями Захара Захаровича и Верочки были пожилые супруги: Елена Давыдовна и Семен Григорьевич. Ехали они к дочери в Москву. Возможно, насовсем, если пропишут. Елена Давыдовна несколько раз в день раскладывала пасьянс: пропишут или не пропишут. Она и сейчас под тихий храп Семена Григорьевича шуршала картами.

Захар Захарович страдал бессонницей и поэтому днем не спал, сидел и сонными глазами глядел в окно.

— Я думал, вы в гости к дочери едете, — сказал он Елене Давыдовне.

— Может, получится, что и в гости, — ответила она. — Кому интересно возиться со стариками.

— А вы сразу в газету.

— На детей в газету?

— А что? Я, например, знаю, что нас, пенсионеров, терпеть не могут, особенно когда мы в часы «пик» в троллейбусы лезем. Так я нарочно в часы «пик», да еще с передней площадки. Пусть попробуют не уступить место.

— Зачем же нарочно, если нет нужды? — удивилась Елена Давыдовна.

Захар Захарович ухмыльнулся и ответил:

— По-теперешнему это называется: качать права. Есть закон, чтобы нас с передней площадки пускали? Есть. Есть закон стариков не оставлять одних? Есть.

— Я никому и никогда себя не навязывала, — сказала Елена Давыдовна.

— При чем тут навязывала или не навязывала? — возмутился Захар Захарович. — Качай права — и все!

Напротив их отсека на нижней боковой ехал кореец по имени Ким. Он мало говорил. Все дни, что мы ехали, не открывался от каких-то учебников и конспектов, а тут вдруг заговорил.

— Не завидую я вашим детям, — сказал он Захару Захаровичу.

Тот пересел от окна поближе к Киму.

— Вы так думаете? Приедем в Москву, сами посмотрите, как меня встретят. Только что духового оркестра не будет.— Он помолчал, еще ближе пригнулся к Киму и негромко спросил его, как бы извиняясь:— Позволю себе спросить, почему вы так хорошо по-русски говорите?

— А почему бы мне плохо говорить?

Каждый считал нужным отметить, что Ким на редкость здорово, без малейшего акцента говорит по-русски. Уж больно не вязалось это с его нерусской внешностью.

— Я родился в Средней Азии,— продолжал он,— учился в русской школе, потом в университете на отделении русского языка и литературы.

— Не в Ташкенте ли вы учились? — спросил Захар Захарович.

— В Ташкенте.

— Так мы земляки, мать честная. Я в восемнадцатом басмачей бил там. Учился в Ташкенте в политехническом имени товарища Икрамова. Вы молодой и не знаете, кто такой был товарищ Икрамов.

— Очень хорошо знаю,— ответил Ким.— Кто же его не знает в Средней Азии!

— А я так умирать буду и не забуду один случай, можно сказать, связанный с товарищем Икрамовым,— сказал Захар Захарович.— У меня отдел кадров копию диплома потребовал. Я взял да тушью и залил имя товарища Икрамова. Слушайте дальше. Пошел к нотариусу, а он отказывается заверить копию, говорит, испорчен документ. Что делать? Я к самому старшему иду, рассказываю все начистоту: так, мол, и так. Тот ничего мне не сказал и приказал заверить. Ясно?

— Ясно,— ответил Ким и улыбнулся.

— А улыбаетесь зачем? Я к слову о товарище Икрамове вспомнил. Мне другое обидно. Есть у меня под Москвой дачка с небольшим участком. Нужен, допустим, мне навоз, так я, старый железнодорожник, должен изловчиться: когда стемнеет, ловить левую машину, чтобы привезти этот самый навоз. А вот юбилей какой, так за мной присылают: иди, Захар Захарович, расскажи молодежи, как басмачей бил.

Из своего отсека вышел гражданин, которого мы уже окрестили дипломатом: ведь возвращался он из заграникомандировки. Неодобрительно и вместе с тем ласково поглядел он на бывшего красноармейца и сказал:

— Я три года не был на родине. Смотрю в окно и не нарадуюсь.

— То-то оно, что из окна,— проворчал Захар Захарович.

— Верно,— весело подхватил дипломат.— Но мы-то знаем, какие великие дела на Ангаре делались. Вижу Енисей, а перед глазами Дивногорск, а раньше Амур, а там ведь Комсомольск, наша, так сказать, биография. А какой вокзал в Новосибирске! Сам не был, но ведь все знают, какой сказочный городок отстроили себе ученые. А вы, простите,— машина навоза... Разве в ней суть?

Захар Захарович притих было, но, словно спохватившись, возмущился:

— Вы меня не агитируйте. Вы свою жену воспитать не сумели. Подай ей международный. Стыда нет.

Раздался голос Лины:

— Иван Константинович! Нашел с кем разговаривать!

Иван Константинович удалился, а Семен Григорьевич съехидничал:

— Вот так, Захар Захарович, с нами и говорить не желают,— сказал Семен Григорьевич. Он не только проснулся, но и успел войти в курс разговора.

У Захара Захаровича пятнами пошло лицо. На нем была пижамная куртка. Он зачем-то снял ее, надел пиджак со значком почетного железнодорожника. Застегнул пиджак на все пуговицы, сел, застучал пальцами по столу.

— Я разузнаю, где он и что он,— пригрозил Захар Захарович и, наверно, не слыша самого себя, почти закричал: — Я ему покажу!

И снова голос Лины:

— Насмешил.

— Молчи,— сказал Иван Константинович.

Разрядить обстановку решила Елена Давыдовна, она громко сказала:

— Ну вот, скоро большая остановка. Тюмень, кажется. Выходить опасно. Сказали, что мы опять опаздываем и стоять будем недолго.

Семен Григорьевич спросил, который час, и сам же себе ответил:

— Скоро семь. Я, конечно, проспал известия.

У него был с собой транзистор, по нескольку раз в день он слушал последние известия.

— На сколько мы здесь впереди от московского? — спросил Семен Григорьевич.

— На три часа,— ответил Ким.

— Тогда все. Опоздал.

— Небольшая потеря,— заметила Елена Давыдовна,— ты всю жизнь слушаешь радио, читаешь газеты, анализируешь и всегда ошибаешься.

Семен Григорьевич, расстроенный, что проспал известия, с удовольствием сорвал досаду на супруге:

— Тебе вообще ничего не надо! — Он проворчал еще что-то про себя и обратился к Захару Захаровичу: — А вы не слышали наше радио?

— Нет. Мы беседовали тут.

— Сегодня канцлер Кизингер должен был прибыть в Лондон,— продолжал Семен Григорьевич.— На расстоянии чувствую — лиса.

Обычно Елена Давыдовна разговоры на политические темы старалась побыстрее перевести на что-нибудь другое, например на погоду в Москве или на слишком короткие юбки, что нынче стали в моде. Она и сейчас была начеку, но, видно, увлекшись своим пасьянсом, дала промашку и вместо того, чтобы на этот раз поддержать мужа, защитила какого-то канцлера.

— Зачем говорить о человеке плохо, если ты его не знаешь,— сказала она.

— Слышали? — апеллировал Семен Григорьевич к окружающим.

Надя и Лина сидели друг против друга и о чем-то разговаривали, вернее рассказывала Надя, а Лина слушала и не слушала, поглядывала на себя в зеркальце, прислоненное на столе к кружке. Из маникюрного набора она брала то пилку, то щипчики, то ножнички, колдуя над своими пальцами уверенно и сноровисто. Сама она была крупная, но ладная, яркая. Волосы золотистые, и не поймешь, свои они такие золотистые или искусно выкрашенные. Ехала она явно из жарких стран, а лицо, шея и руки оставались белые: берегла себя от загара.

Не в пример ей Надя внешностью не удалась. Круглое в веснушках лицо, волосы редкие, грязно-светлого цвета, прямые, подстриженные по уши, и такие же, неопределенного цвета глаза; короткие и толстые пальцы; ноги тоже толстые и короткие. Да и беременность не украшает.

Вовик тоже ни в какое сравнение с Надей не шел: высокий, представительный, со средним техническим, окончил горный техникум. Надя

воспитывалась в детдоме без родителей, а у Вовика были и папа, и мама, и младшая сестра, и старший брат. Это он мне рассказал в первый день нашего знакомства.

— Я им сюрприз готовлю,— говорил он.— Надю везу.

Теперь Надя рассказывала о себе Лине:

— Я своих родителей и не видела. Меня государство вынянчило, а когда подросла, учить стали. В четвертом два года сидела, до восьмого дотянула, хотели дальше учить, но, видно, я неспособная, поставили в шахту табельщицей. Раньше еще в комсомол приняли. Когда узнали, что с Вовиком сошлась,— комсомольскую свадьбу устроили. Поначалу крохотную комнатку дали при общежитии. Так мы плиткой отапливались. Теперь у нас шикарная огромная комната. Пятнадцать метров в новом доме.

— Тебе повезло,— сказала Лина.— Теперь главное — держать его в руках.

— А чего его держать?

Но Лина знала, что говорит, и настаивала:

— Без этого не проживешь. И ты сама не должна ходить, как деревенская баба. Надо уметь себя преподносить.

Последние слова Надя оставила без внимания или просто не поняла их. Она вздохнула и пожаловалась:

— Опять мутит.— Она как-то напряглась вся и громко выпалила: — Интенсикация.

— Что?

Надя помолчала и с разбегу опять громко выпалила:

— Интенсикация!

Кто-то сонным голосом попросил:

— Нельзя ли потише?

Надя ладонью прихлопнула рот, а Лина, не терпевшая замечаний, громко спросила:

— Это кто там расспался? Ужин проспите.

— Я говорила Вовику: не надо было мне ехать. А он — поедем да поедем, познакомлю с матерью, с отцом. Я своих-то не знаю, зачем мне чужие?

— Хоть ты и беременная, а дура,— сказала Лина.— Семья есть семья.

Подошла бабка Фрося.

— Ты врачей не слушай,— сказала она Наде.— Они тебе наговорят. Все от нервов, они у тебя напружинились. Отпустят, и все пройдет.

Как только Надя куда-нибудь отлучалась, так на голову Вовика сыпались упреки, выражалось сочувствие Наде. Усердствовали женщины, мужчины помалкивали. Правда, кое-кто из женщин не то чтобы оправдывал Вовика, но вставлял словечко в его защиту: женился, мол, с ходу, не подумавши, поглядите, какой он ухоженный, а она неотесанная. И еще говорилось, что Вовик, может, и не собирался жениться.

Потом приходила Надя, разговор продолжался вроде бы на другую тему, но вертелся вокруг да около брачных дел. Так и теперь было: Надя пошла в туалет, но скоро вернулась, так что поговорить, посудачить про нее и Вовика не вышло. Средних лет бойкая черноволосая бабенка с тоненькими полосками вместо бровей простуженным голосом рассказывала о какой-то своей соседке, у которой всего год как умер муж, а она уже за другого вышла.

— Правильно сделала,— сказал Захар Захарович.— Вашего брата при живом-то не удержишь, а тут сам бог велел.

— Я тоже женщина,— сказала черноволосая,— и говорю — неправильно это. Подумаешь, приспичило. Когда покойный еще жив был, так она его от себя ни на шаг. На кладбище кричала: не держите меня, я с ним. А тут — нате вам. Вот как бывает.

Проработка шла и в глаза и за глаза. Мне так прямо было заявлено, что я бесхарактерный, что я не должен был уступать свою нижнюю полку, а тем более переселяться на верхнюю боковую.

— Женщина просила,— оправдывался я.

Захар Захарович о Лине не вспомнил, побаивался лишний раз столкнуться с ней, а в меня вцепился.

— Билет есть? — спрашивал он и сам же отвечал: — Есть. Вагон и место указаны? Указаны. Все. А вы, если хотите знать, не уважаете собственные права. А почему? Никакого характера.

Наш вагон почти весь перебивал в купированном. Всем хотелось видеть, из-за кого Вовик голову потерял. Уходили и считали своим долгом объявить, что идут в вагон-ресторан. Кто за фруктовой водой, кто вафли купить или посмотреть, не выкинули ли яблок, хотя все это — и вафли, и воду, и яблоки — носили в корзинах по вагону. Информация о Люсе шла, как с телетайпа: «скелетина», «на глазах полкило краски», «сразу видать, интересантка», «брюки из эластика», «хохотушка».

Вчера я тоже пошел посмотреть на Люсю и тоже объяснил, что иду за сигаретами, а сам решил попробовать намекнуть Люсе, чтоб не морочила парню голову. Я узнал ее сразу, потому что рядом прилепился Вовик. Она верно была тоненькая, во всяком случае не скелетина, никаких брючек-эластик на ней не было. Обыкновенные тренировочные брюки. Да и полкило краски не было на ее глазах, они сами по себе были большие и черные.

— Привет! — радостно встретил меня Вовик.— Сыграем, товарищ корреспондент, в «дурачка»?

— Сыграем.

Вовик повернулся к открытой двери в купе:

— Сыграем, товарищ Петров?

— Я всегда готов,— отозвался Петров, веселый человек с большой головой и оттопыренными ушами.

Из-под столика он вытащил чемодан, подбросил его на своих громадных ручищах и поставил на попа посередке.

На одной из верхних полок лежал, засунув под голову руки, худющий, небритый человек, должно быть Валентин. На мое приветствие он кивнул мне. На другой верхней было свалено геологическое имущество: рюкзаки, спальные мешки. Вовик сел так, чтобы играть в паре с Люсей. Я понял: если ждали партнера, стало быть, Валентин не игрок, и все-таки спросил его:

— Может, вы хотите сыграть?

— Нет-нет. Я не играю.

Петров, ни на кого не глядя и раздавая карты, сказал:

— Они с нами не играют. Они какой день переживают. Разбились пластинки...

— Какие пластинки? — спросил я.

— Классика. Бетховен. Бах и другие. И разбил их я. Взял да об пол двинул. Понимаете, нарочно.

— Я в этом уверен,— сказал Валентин.

— У кого шестерка? — спросил Петров.

Шестерка была у Вовика.

— Ходи.— Петров глянул на меня.— Слышали, что сказал дурак человек? — И к Валентину — Корреспондента бы постеснялся: что он про нашего брата геолога подумает?

Валентин свесил голову с полки и впился глазами в Петрова.

— Сколько раз я просил не обзывать меня.

— Я ж по-дружески.

— Мы никогда не были и не будем друзьями.

— Видел бог, я не приглашал вас в партию.

— А я всю жизнь делаю не то, что хочу.— И, помолчав, добавил:—

Из больших зол выбирают меньшее.

— На том спасибо.

— Но я ошибся.

В купе заглянул лысый человек в пижаме и с шахматной доской под мышкой.

— Желающих нет? — И, не дождавшись ответа, исчез.

Из коридора доносилась музыка; пели известную в свое время, а теперь, пожалуй, исполняемую только в поездках: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно...»

— Шахтер, сделай погромче,— попросил Петров.

Вовик услужливо метнулся было в коридор, но его остановил Валентин:

— Умоляю, не надо громко!

— Я чуть-чуть,— пообещал Вовик.

— Как мне надоело ваше хамство! — воскликнул Валентин и откинулся на подушку.

— Пожалейте гостей,— попросил я.

— Они меня не жалеют,— сказала Люся.— А я все ж таки женщина. Только и выясняют отношения. Хорошо, Володя с тоски не дал помереть.

Она залиvisto рассмеялась. Она смеялась по всякому поводу — и когда они проигрывали с Вовиком, и когда выигрывали,— смеялась долго и заразительно.

За картами, из-за перебранки, к которой хочешь не хочешь, а прислушиваешься, я забыл, зачем, собственно, пришел сюда, забыл, что хотел «намекнуть» Люсе про Вовика. И хорошо сделал, что забыл и не намекнул. Всего-то и делов здесь, что с тоски не дает помереть...

Проигрывали они с Люсей чаще, чем выигрывали, хотя Люся открыто показывала ему свои карты, чтоб знал, с чего ходить, но Вовик свои-то карты плохо видел. Наверное, с той самой минуты, как случилось им постоять в тамбуре, где, по выражению Вовика, у него голова кругом пошла, с той самой минуты она, голова его, так и не стала на место. Я только подумал об этом, а Петров прямо сказал ему:

— Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.

Валентин встрепенулся и даже двинул кулаком в стену.

— Пушкина хоть не перевирайте. Не больше, а легче нравимся мы ей.

Петров был неуязвим, бубнил себе под нос: «Станный народ куда спешит, странный народ куда спешит, странный народ куда, куда спешит».

Перебранка их то затихала, то с новой силой вспыхивала. И всякий раз упоминались пластинки, хотя, как я понимал, не только в них было дело. Не знаю, сколько времени они пробыли вместе, во всяком случае осточертеть друг другу они успели основательно. И еще: есть же такой термин «несовместимость». Она-то, несовместимость, и была налицо.

— Я верю, что вы их разбили нарочно,— вдруг снова заговорил Валентин о пластинках.— Потому что это ваше мировоззрение. Вы не видите все, что не понимаете.

— Почему? — ответил Петров.— Я очень уважаю Бетховича и Баховича.

Люся прыснула, за ней Вовик. Это не бог весть как было остроумно, но и я не удержался и засмеялся.

— Валентин,— сказала Люся.— Простите, но, честное слово, это смешно.

— Что смешно?

Люся боялась повторить. И сказала Петрову:

— Хватит вам.

— Не останавливайте его! — закричал Валентин.

Тут уж и я не стерпел, сказал им что-то вроде того, что, дорогие товарищи, разрешите откланяться, что мой им совет не ссориться из-за чепухи, а главное, что скоро Москва, а там, мол, жизнь врозь, так нужно ли сейчас трепать нервы.

Валентин накинулся на меня:

— По-вашему, это чепуха?

— Да пошел ты к чертовой матери! — как из пушки, грянул голос Петрова.— Из-за тебя тут игра расстроилась. Приедем в Москву, куплю я тебе твоих гениев.— Он сорвался, шагнул в коридор и уже оттуда позвал: — Идиге сюда, песню Туликова передают.

Я задремал и проспал Тюмень. Еще я проспал превращение Нади. Она сидела, как после бани отмытая, с подкрашенными губами, подведенными глазами. Раньше на ней была какая-то замызганная фуфайка мышинового цвета, а сейчас розовенькая блузка с карманчиком, а из карманчика выглядывал уголок беленького платочка.

— Совсем другое дело,— говорила ей Лина.

А Надя в ответ:

— Не приучена я к туалетам.

— Какой же это туалет? Скромненько, но со вкусом.

— Я и забыла, что у меня есть эта кофтенка.

Конечно, Наде было и теперь еще далеко до Лины, но чем-то она смахивала на нее, а может, наоборот, Лина на Надю. Ни хамства, ни высокомерия. Подвезло в свое время, а ведь не такой родилась, не такой ехала девчонкой в эвакуацию. Это уж потом что-то внушило ей, заставило уверовать в свою исключительность, в свое предназначение. Не так-то просто устоять перед таким соблазном.

Проснулись самые маленькие пассажиры нашего вагона — двухголовые двойняшки Андрюша и Антоша. Ехали они с матерью, отцом и бабушкой Фросей. Мальчишек не отличить было друг от друга, и оба они — точная копия отца. А он, сын бабушки Фроси, Паша, смахивал на нее. Все четверо светлые, с голубыми глазами, плоскими носами. Зато жена Паши, мать двойняшек, в контраст своему семейству черная, как цыганка. Черные, будто отполированные волосы и такие же черные полированные глаза. Паша уже много лет живет на колесах, то есть там, где нужен его экскаватор. Жили в Ангарске, в Дивногорске, когда этого названия-то еще не было. Теперь держат путь в Дагестан. На ночь и на послеобеденный сон семейство занавешивалось простыней. От этого не становилось тише, а так, вроде отдельное купе.

Антоша и Андрюша просыпались одновременно и сразу в дело: один другому давал тумачков. Реветь же начинали оба. И тот, кому доставалось, и тот, кто задирался. Вот и сейчас они голосили.

— Кто кому съездил? — спросила бабушка Фрося.

— Неужели не видите? — отозвалась невестка.— Конечно, Антошка Андрюшке.

И так по нескольку раз в день. Бабушка Фрося, не различая внуков, спрашивала:

— Кто кому съездил?

Послышался стук костяшек. Это отдохнули после обеда и приступили к своим обязанностям солдаты-отпускники Саша и Тюрин. Одного все вокруг звали интимно, по имени, наверно оттого, что он был лихой баянист и вообще весельчак и ухажер. Тюрин же тихий, застенчивый, часто вынимал расческу и приглаживал свой ежик. Утром и днем они забивали «козла», а вечером у них начиналась разная жизнь. Саша присосеживался к дамскому полу и играл на баяне, что закажут. Слух и память у него были отличные. Тюрин, приглаживая расческой ежик, ходил от одного отсека к другому, постоит-постоит и пойдет дальше. Его приглашали сесть, но он смущался, просил не беспокоиться и отходил. Сапоги на нем были кирзовые, а у Саши понежней, похоже, хромовые.

В другом конце вагона послышалась гитара. Это студенты-практиканты подали голос. Их ехало пятеро — две девушки и трое парней. Кого как звать, я так и не разобрал. Девушки были одеты на один манер — в брючки да тельняшки. Мода, что ли, такая пошла? И подстрижены тоже одинаково — челка по самые брови. Два парня носили очки, их тоже не отличишь. Запомнился только белобрысый верзила-гитарист с бесцветными рыскающими, уголовными глазами. Ходил неряшливый. Играл он плохо, зато хорошо закладывал за воротник. Толком не знал ни одной песни, а все больше перебирал струны или аккорды брал. Но гитара есть гитара, и белобрысому прощали пьянство, неумытость, и даже какая-то из девушек вроде бы вздыхала по нем.

Пассажиры готовились к ужину, с полотенцами и мыльницами выстроились в очередь в один и другой туалет. Пошла занять очередь и Лина. Иван Константинович спал. Лина потолкала его, он перевернулся на другой бок, и Лина не стала его будить — пожалела.

Появился наконец и Вовик. Влетел запаренный, плюхнулся рядом с Надей, в руке зажаты два лимона.

— Бог они! — И на ладони преподнес Наде лимоны, будто достал их из-под земли, а не в вагоне-ресторане.

С озабоченным видом Вовик стал рассказывать, что ходил с кем-то советоваться по части Надиной интоксикации и что ему совершенно точно сказали, что ей, Наде, необходимо выходить на остансвах и дышать свежим воздухом. Он и это ценнейшее открытие преподнес Наде, как лимоны, будто добыть его стоило ему, Вовику, немалых усилий. Были и другие мудрые советы: как, например, лежать после еды. Словом, получалось так, что Вовик провел весь день исключительно в заботах о Наде. Под конец, чтобы снова улизнуть, Вовик решил ошеломить Надю, сообщив ей, что попозже сюда придут познакомиться с ней его друзья и что для этого надо кое-что купить в ресторане, так что Наде надо сейчас встать, он вытащит чемодан и достанет денег.

У Нади действительно был ошеломленный вид — то ли оттого, что придут гости, то ли от непредвиденных затрат.

— Сколько надо? — спросила она. — У меня в сумке пятерка есть.

— Да ты что! — возмутился Вовик. — Встань, пожалуйста.

Она встала. Он вытащил чемодан, из брючного потайного карманчика — ключики. Щелкнули замки, распахнулась крышка, Вовик запустил пятерню на дно чемодана, зашуршали бумажки. Вся предварительная подготовочка Вовика пошла насмарку, когда Надя увидела, сколько десятирублевков Вовик прячет в карман.

— Ты что, с ума спятил? — запротестовала она.

Хлопнула крышка, щелкнули замки, Вовик водворил чемодан на место.

— Они меня угощали, а я что — нищий? — И тут Вовик сам решил перейти в наступление: деньги-то в кармане и, главное, надо поскорее

улизнуть, а со скандалом даже проще — обидеться и хлопнуть дверью. — Я что, твои беру? Да? Три года вкалывал и погулять нельзя?

— Бери десятку. Три-то зачем? На такие огромные деньги можно жить и жить.

Вовик облокотился одной рукой на вторую полку, другую сунул в карман, заложил ногу за ногу и громким злым шепотом спросил:

— Где ты слышала, чтобы говорили «а-громадный»?

— Ладно тебе зубы заговаривать. — Она села, отвернулась к окну.

— Нет, не ладно. И еще: я не желаю, чтобы ты называла меня Вовиком. Я Володя, Владимир. Ясно? — И, не выяснив, ясно Наде или нет, он махнул рукой и ушел, не заметив ни Надиных подкрашенных ресниц, ни блузки с карманчиком и платочком в нем.

Разговор этот слышала бабка Фрося и не замедлила подсесть к Наде.

— А деньги зря позволила взять, — сказала она. — Пусть бы попе-тушился. Явился шелковым, обходительным, а как деньги выманил — вон каким гоголем пошел.

Раздался голос ее невестки:

— Мама, зачем вы встреваете? Не маленькие, сами разберутся.

Вернулась Лина, и бабка Фрося убралась.

— Лимоны-то откуда? — спросила Лина.

— Вовик приносил, — ответила Надя и ни слова о том, что повздо-рили. Наоборот, с улыбкой продолжала: — Дружки, сказал, в гости придут. Сердится, что я его Вовиком называю.

— Правильно делает, — сказала Лина. — Когда вдвоем, называй, как хочешь, а на людях не полагается.

Нижние боковые полки превратились в столики. Подо мной ехал Тюрин. Он только спал и отдыхал после обеда до ма, а есть и забивать «козла» ходил к своему другу Саше.

Потрескивала скорлупа крутых яиц, кто-то спрашивал, нет ли соли, из другого конца в порядке самообслуживания уже бегали за чаем. Моя полукопченая колбаса заметно поубавилась. Зато я был спокоен, что дотяну до Москвы. Утром будет Свердловск, а там рукой подать. Заплатив проводникам за новую смену белья, отложив деньги за чай из расчета восемь стаканов в день (два утром, два в обед и четыре за вечер, по четыре копейки за стакан), у меня оставалось целехоньких три рубля. В ресторане не разгуляешься, я и решил дотерпеть до последней станции, до Александрова. А там в станционном буфете, как говорят, «стояком» можно подзаправиться, и дело с концом — отпраздновано возвращение.

Мимо в туалет поспешил экскаваторщик Паша. Высоко на согнутом локте он нес не то Андрюшу, не то Антошу. В другой руке у него горшочек, покрытый зеленой пластмассовой тарелочкой.

Раздался голос Елены Давыдовны:

— Что-то товарища Поняева не видно?

— Сейчас придет, — откликнулся кто-то. — В ресторане засиделся.

Поняев тоже из Совгавани, как Надя и Вовик. Он их начальник. Сначала он забрел к нам случайно, по ошибке из ресторана пошел не в ту сторону, а увидав Надю и Вовика, или, как он их называл, «моих молодоженов», зачастил к нам. Ехал он через Москву на юг с одной сотрудницей шахтоуправления. Сотрудницу эту звали изысканно — Элегией. Он называл ее Элей. С ними ехал еще третий человек, но уже в купированном. Он тоже из шахтоуправления, работал по хозяйственной части. Фамилия его Цыпин. Ехал для отвода глаз как брат Эли. Все это выболтал Вовик. Да и сам Поняев как-то с пьяных глаз прихватул. И чтоб оправдать свое доверие ко мне, добавил:

— Люблю я вашу братию, журналистов.

Узнав, что Вовик загулял, забросил свою беременную Надю, Поняев пожурил его, напомнил про комсомольскую свадьбу, выделенную комнату, погрозил пальцем. А Вовику хоть бы что. Поняев для Вовика большой начальник, а большие начальники куда великодушнее своих маленьких. Это усвоил Вовик и с дурашливым видом даже позволил себе намекнуть Поняеву, что и он не святой. Тот рассердился, но не серьезно, а скорее весело.

— Ты что меня равняешь с собой? Мы как искусственные спутники — каждому своя орбита, то бишь планета.

Он любил поиграть словами. Любил рифмы.

— Элегия, — говорил он, улыбаясь, — моя привилегия.

Сегодня он действительно малость запоздал и явился, как всегда, навеселе. Поглядел на Надю, на пустую полку Вовика, спросил:

— Где молодожен?

Никто не ответил.

— Ясно... — Он сделал паузу и с заговорщицким видом спросил: — Кто мне ответит, какое сегодня число?

Кто-то ответил:

— Девятое.

— И это вам ничего не говорит?

Со своей полки соскочил дипломат Иван Константинович.

— Братцы! День Победы! — воскликнул он.

— Безобразие! — сказал Поняев Киму. — В такой день, а ты со своими учебниками сидишь. Где пир?

— Мне нечем вас угостить, — ответил Ким.

— Угостить я тебя сам могу. Ты мне лицо давай. Где солдат? Сашка где?

Откуда-то отозвался Саша:

— Здесь я.

— Тащи баян.

На нашем с Тюриным столике появилась «столичная» и почему-то тульские пряники. И то и другое вытащил из своих карманов Поняев. Оказывается, у многих была припрятана заветная бутылочка. У одних беленькая, у других красненькая. Бабка Фрося в честь праздника повязала голову белым платком. Из их отсека потянуло самогоном. Андрюшку и Антошку потащили в туалет мыть рожицы. Внучка Захара Захаровича Верочка надела на себя белый школьный фартук, но дед велел снять, чтоб ревизор не заподозрил в ней школьницу. Верочка заплакала, и за нее заступились: откуда, мол, взяться ревизору — и дед уступил, приказав внучке не болтаться по вагону, а сидеть смирно. Ужин прервался, повременили и с чаем, на столики вытаскивались припасенные деликатесы: консервированные грибочки, коробки с исландской селедкой, шпроты. У кого не было спиртного, скидывались и бежали в вагон-ресторан. Вытащил и я остаток своей полукопченой, прикинув, что оставшихся трех рублей, хранимых с самыми ответственными документами (паспортом, командировочным удостоверением, билетом на самолет «туда»), мне за глаза хватит до Москвы. Черт с ним, с буфетом в Александрове, День Победы не каждый день бывает.

Сначала дипломат Иван Константинович поднял тост за победу в сорок пятом, потом Поняев предложил выпить за тех, кто не вернулся. С другого конца вагона студенты-практиканты кричали нам: «За что пьете?» — мы отвечали, и они поддерживали нас, и вагон наш превратился в один праздничный стол. Баянист Саша играл «Если завтра война», «Слушай, товарищ» — это по требованию бывшего красноар-

мейца Захара Захаровича. А когда пропустили по третьей, Саша улизнул к молодежи, и вместо песен пошли разговоры.

Елена Давыдовна, проткнув соленый огурец вилкой, просила кого-то передать огурец Наде.

— Первейшая закуска для пьяниц и беременных,— сказал Захар Захарович.

— Угощайтесь.

— Я, слава богу, не пьяница и не беременный.

— Люблю быть со своим народом,— сказал Поняев.— Не то что в нашем международном.

Захар Захарович рассказывал, что везет внучку к себе, что ее мать (она же младшая его дочь, всего детей у него четверо) перенесла тяжелую полостную операцию, теперь ей нужен покой, и он везет внучку на лето, а может, и на всю зиму к себе.

— Нет нужных лекарств,— говорил Захар Захарович.— Сказали, что в Москве их можно достать только.

— Сходили бы в облздрав,— посоветовал дипломат Иван Константинович.

— Ходил. Главного не застал. Другой был, из заместителей, что ли. Так представляете, даже сесть не предложил. Я, конечно, сам сел и спрашиваю его: из каких мест будете? А вам, говорит, зачем знать это? Личность, отвечаю, мне ваша вроде знакома. Не из деревни ли Хамиловки будете? Намека он моего не понял и отвечает, что с Тамбовщины, из деревни Вербилки. Что же, спрашиваю, у вас все в деревне Вербилки такие невежливые: человек пришел, а вы ему сесть не предложили? А он отвечает, что я, мол, не в гости к нему пришел и не в театр, а на прием. Ну, я чувствую, что если сдержусь — инфаркт со мной будет, и все равно, думаю, лекарства не даст, ну и заплатил ему. Зачем, спрашиваю, тебя учили и сюда прислали, сидел бы в своих Вербилках да скот пас, не срамит бы советскую власть.

— Да-а,— покачал головой Семен Григорьевич.— Не все Ломоносовы.

Ни Елена Давыдовна, ни Иван Константинович не любили подобные темы. Разумеется, по разным причинам. Елене Давыдовне просто спокойней жилось без них, а Иван Константинович считал эти темы мелкими, обывательскими. И хотя и на этот раз тема была сугубо внутренняя, Иван Константинович рассматривал ее с высоты своей дипломатической колокольни, так сказать, с точки зрения мировой политики.

— Товарищи! — начал он, видно, решив произнести речь.— Я не сомневаюсь, что все вы честные советские люди. Я только призываю вас ни на минуту не забывать о той титанической борьбе, которую мы ведем на международной арене. Поэтому мне странно и даже обидно, если из-за какой-то машины с навозом у человека может портиться настроение. Или взять дефицитное лекарство. Сегодня его мало, а завтра будет сколько угодно.

— Завтра оно мне будет не нужно, если моя дочь, а ее мать,— он указал на Верочку,— умрет.

Верочка расплакалась.

— Успокойся, деточка,— сказала Елена Давыдовна.— Дедушка шутит.

— Шутит,— подтвердил Семен Григорьевич.— Хочешь, тебе тетя Лена споет?

— Хочу,— сказала Верочка, всхлипывая.

— Моя супруга неплохо пела,— объявил нам Семен Григорьевич.

— Я знала, что тебе нельзя пить,— сказала Елена Давыдовна.

За дело взялся Поняев, а уж ему отказать было невозможно. Само обаяние. Елена Давыдовна сдалась. Придвинулись в нашу сторону студенты-практиканты во главе с белобрысым гитаристом, подсел поближе Саша с баяном. Не поделили опять что-то Андрюшка с Антошкой, и их унесли в другой конец вагона, чтобы не мешали.

Елена Давыдовна запела: «Спокойно и просто мы встретились с вами...» Она пела негромко, неожиданно молодым голосом. Казалось, он доносился издалека, из прошлого Елены Давыдовны.

Белобрысый старательно и потому громче, чем нужно, брал свои аккорды. Они были не всегда к месту, но и не мешали.

«Была наша близость безбрежна, безгранна»,— пела Елена Давыдовна, чуть покачивая головой и загадочно улыбаясь Верочке.

Баянист Саша вроде и забыл о своем баяне, сидел, сложив на нем руки, опершись на руки подбородком.

«...Но пропасть разрыва легла между нами»,— пела Елена Давыдовна, а Верочка, успокоившись было, опять всхлипнула и попросила: — Не надо больше.

Наверно, ей почему-то стало жалко тетю Лену. Потом были аплодисменты и тост за Елену Давыдовну.

Из другого конца вагона на четвереньках приползли до мой Антошка и Андрюшка. Не углядел за ними отец, за что и получил нагоняй. На щеках у ребят черные потеки, черные руки и даже уши. Они были необыкновенно довольны собой и не пикнули, когда им надавали шлепков.

— Здорсвей будут,— сказал кто-то.

Распахнулась дверь в тамбур, а там шум, возня. Проводники кого-то выпроваживали. Один из них объяснил нам, что поймали «зайца», ехал он без билета из-под самой Тюмени.

— Безобразие,— сказала Лина и поглядела на два своих чемодана, не уместившихся под сиденьем и покоившихся на третьей полке.

— А если человеку надо ехать и нет денег? — спросил кто-то из студентов.— Как тогда быть?

Ему никто не ответил, потому что действительно не знали, как тогда быть.

— Далеко ему?

— До Богдановичей.

Кто-то из студентов сказал, что в честь праздника Дня Победы надо разрешить «зайцу» ехать.

— А куда его денешь, раньше Богдановичей станции не будет,— объяснил проводник.— А там в милицию сдадим.

— Не надо в милицию! — хором попросили студенты.

Да и без их просьбы второй проводник, видно, поладил с безбилетником, и тот прошмыгнул в купе проводников.

Веселье чуть приуныло, и Поняев решил взбодрить его. Из своих бездонных карманов он извлек еще одну поллитровку. Девушка-студентка, бледенькая, хрупкого сложения, с темными кругами под глазами, спросила меня вдруг:

— Вот вы журналист, скажите, как жить?

Где бы я ни был, меня часто спрашивали: «Как надо жить?» Его задавали мне вовсе не хрупкие, бледенькие девушки, а здоровяк водитель двадцатисемитонного самосвала, спортсмен-мотоциклист, инженер с цементного завода, бригадир штукатуров, литературный сотрудник местной многотиражки.

Однажды мы засиделись до утра, я устал, а они дружно призывали меня к ответу.

Вроде бы философский вопрос «как жить?» в конце концов сводился к конкретным претензиям, большим и малым. В ту ночь я сказал ребятам:

— А живите по совести.

Бледнолицей студентке я тоже посоветовал жить по совести.

Она промолчала, сказал Семен Григорьевич:

— Вы хотите по совести? Прекрасно. А другой не хочет. Вы считаете справедливым одно, а другой другое.

— Товарищи,— перебил нас дипломат.— Вы забыли, какой сегодня день. Миллионы наших людей сложили головы за Победу.— Он обратился к девушкой:— За вас, чтобы вы могли спокойно учиться, а вы себя мучаете ненужными вопросами: как жить? Смешно.

Наконец заговорил и Ким, молчавший весь вечер. В руке он держал карандаш с идеально отточенным кончиком. Говорил он, не повышая голоса, назидательно. Сначала его слова и карандашик были обращены в сторону Ивана Константиновича.

— Можно делать вид, что вопроса «как жить?» не существует, но ведь от этого он не будет снят и тем более решен.

Радовался Поняев, лицо его лоснилось от выпитого, он улыбался, покрывался.

— Ей-ей не опровергнешь,— подбадривал он Кима.

— Я заканчиваю,— сказал Ким, и карандашик его задержался на Поняеве, затем стрельнул в меня.— Товарищ прав.

Другая девушка, так же как и первая, затеявшая разговор, как жить, неожиданно воскликнула:

— А я боюсь летающих тарелочек! Вы верите, что они есть?— спросила она Кима.

— Верю.

— А кто на них летает?

— Возможно, марсиане.

— Что ж они с нами не общаются?

— Возможно,— Ким показал карандашиком на окружающих,— считают нас муравьями.

— Это ужасно!— сказала девушка.

— Почему?

— Все-таки.

— Что все-таки?— настаивал Ким, склонив голову и улыбаясь.

— Что нас могут считать муравьями,— ответила девушка.

На это Ким заметил, что в данном случае важно, что человек сам о себе думает.

Вокруг снова и снова шепотом не переставали удивляться, что Ким так хорошо говорит по-русски.

Студенты отвалили к себе. Мы с Поняевым добились поллитровку.

— Сейчас ко мне пойдем,— сказал он.— У меня еще есть что выпить.

— Не много ли?

— Смеешься.

Мы собрались уже с Поняевым уходить, но появилась бледнолицая студентка и потащила меня за рукав.

— На одну минутку. Как вы думаете, он меня любит?

— Спросите его.

— Я спрашивала, говорит — нет.

— Стало быть, нет.

— А я? Люблю его?

— Вам виднее.

— По-моему, тоже нет.

— Ну и прекрасно.

— Еще секундочку!.. Как вы думаете, у меня еще будет что-нибудь настоящее?

— Будет. Идите спать!

— Ура! Иду спать!

Поняев, как бывает с сильно выпившими, стремительно пошел к выходу, того гляди головой дверь в тамбур проломит. Я за ним. Гулять так гулять. День Победы не каждый день.

Я догнал Поняева в купированном. Мы увидели Вовика и Люсю. Они сидели в коридоре на откинутых сиденьцах перед открытым Люсиным купе. Поняев с ходу в крик:

— Ты что ж здесь околачиваешься? Я тебе зря комсомольскую свадьбу отгрохал?

Москва была явно ближе Совгавани, и Вовик наглед с каждым часом.

— Я что-то не видел вас на своей свадьбе,— сказал он.

— Может, у него и дети есть? — улыбаясь, спросила Люся.

— Пять малюток! — закричал Поняев.— Один меньше другого и все с протянутыми ручонками по вагонам ходят.

Люся захохотала и замахала руками.

— Поневоле сбежишь,— сказала она.— А вы кем его малюткам приходитесь? — спросила Люся.— Дедушкой?

— Я — всем — все! — ответил Поняев.

Раздался голос Валентина:

— Когда-нибудь спать дадите?

Он выкрикнул это срывающимся голосом со своей второй полки, с которой он, наверно, только по нужде слезал. Ну, может, поесть еще. Вот и сейчас, не слезая с нее, он перегнулся и с силой задвинул дверь, но она тут же снова раздвинулась. В проеме стоял Петров.

— Вы что хамите? — крикнул ему Валентин.

— Это ты хамишь. Люди в гости пришли, а ты перед их носом дверью хлопаешь.

Я поторопился заверить, что мы не в гости пришли, а просто шли мимо, а перед Валентином так даже извинился за позднее вторжение. Он не удостоил меня ответом. И это еще больше подлило масла в огонь. Теперь уже Петров не преминул сказать:

— Ты мнишь себя жутким интеллигентом, тут человек перед тобой извиняется, а ты к нему задницей, потому что ты и есть самая большая задница.

— Я запрещаю говорить мне «ты»! — закричал Валентин.— А за то, что обзываете, я заставлю вас извиниться!

— Люди добрые,— попытался остановить скандал Поняев.— Сегодня такой день. Целоваться надо, а не лаяться.— Он сделал паузу и, растроганный собственными словами, продолжал: — Чего вы не поделили? Отвоеванную землю? Небо? Женщин? — Он улыбнулся Люсе.

— Я для них не женщина,— сказала Люся и ответила Поняеву улыбкой.

Мы двинулись дальше. Еще только, кажется, одно купе в этом вагоне не спало. В нем горела настольная лампочка, но было тихо и мирно. Там были заняты чтением. Поняев рассердился:

— Наши время читать! День Победы, а они читают. Уж лучше ругались бы.

Мы миновали еще один купированный. Знакомых не обнаружили. Все двери были плотно задвинуты. А вот в мягком Поняев оживился. Увидел знакомого.

— Привет товарищу Егорову.

Товарищ Егоров, полноватый, громоздкий человек, чем-то напоминавший самого Поняева, стоял в коридоре и глядел в темное окно.

— Привет товарищу Поняеву.

— С праздником.

— И тебя.

— Отметил?

— Малость.

— А почему не весел?

— Да так... задумался...

— Все в рыбе работаешь?

— Ты отстал,— с грустью ответил Егоров и покачал головой.— Я там не работаю...

— Давно сняли?

— Ты уж так сразу — сняли. Перевели.

— Где теперь-то?

Егоров не ответил. Разговор не клеился.

Международный встретил нас покоем и комфортом. Ковровая дорожка, кругом все под красное дерево, будто мы попали во внутренность дорогого шкафа.

— Он лет десять ждал, что его снимут,— сказал Поняев про Егорова.— И сняли. Дождался.

В купе нас встретили Элегия и Цыпин. На столике закуска, бутылки, тарелки, рюмки. Я и не заметил, что сервировка была на троих, а Поняев заметил и приказал:

— Прибор для гостя.

Элегия и Цыпин поднялись, но Поняев остановил Элегию:

— Сиди.

Изысканное имя принадлежало молоденькой женщине с весьма заурядной внешностью. Может, она и была чем-то привлекательна, но в таких случаях ищешь соответствия, ждешь чего-то необыкновенного, забывая, что люди дают имена себе не сами.

Поняеву захотелось поиграть в подчиненного Элегии. Уже расположившись рядом с ней, он приподнялся и спросил:

— Разрешаете?

Потом взял бутылку, но, прежде чем разлить по рюмкам, осведомился:

— Можно начинать?

Правда, при всем наигрыше, чувствовалась и некая зависимость: как-никак, а раза в два с лишним Поняев был старше своей возлюбленной.

Еще раз выпили за победу, еще раз за тех, кто не вернулся. Цыпин сказал, что у него погиб старший брат. Выпили в память о брате. У Элегии погиб двоюродный брат. Выпили в память ее двоюродного брата. У меня тоже погибли двоюродные братья и шурин, но мне не хотелось с чужими людьми поминать их. И я один мысленно, про себя, помянул их, когда Поняев и его друзья пили за светлое будущее.

— Я ведь с тобой хотел о деле поговорить,— сказал мне Поняев.— Перед тобой, можно сказать, живая хронология, не человек, а летопись. А главное, мысли... понимаешь, мысли. Оформи их. Бесценный опыт для молодежи будет. Ну, как?

Я сказал, что не занимаюсь оформлением чужих мыслей. С божьей помощью кое-как свои оформляю.

— Жаль. А то подумай. Выгодная же работенка.

Я ответил, что и думать нечего. Не по моей части эта работенка. Поняев посидел, помолчал, затем прошел в туалет. Теперь до меня до-

шло, почему он доверителен со мной, почему говорил, что любит нашего брата журналиста.

— Расширяет товарищ Поняев сферу обслуживания,— сказал Цыпин.

— Вы о чем? — спросил я.

— Неужели непонятно?

— Умолкни,— сказала ему Элегия.

— А что, неправда?

— Я никого не обслуживаю,— сказала Элегия.— Я живу, как хочу.

Цыпин как-то сразу опьянел, видно, до нашего прихода успел пропустить не одну рюмку, и начал шуметь.

Вернулся Поняев, и Цыпин умолк.

— Ты скажи Цыпину, чтобы не цеплялся,— сказала Элегия.

Поняев удивленно взглянул на него. Цыпин глядел в свою пустую рюмку.

— Мне тридцать шесть лет, а чего я достиг? — пожаловался он.— Какой-то замзав. Никакой перспективы...

— Перспективы? — удивился Поняев. Он обнял Элю.— Вот моя перспектива.— И к Цыпину примирительно: — Иди спать, а мы еще посидим. Люблю интеллигенцию. Мы тоже, конечно, интеллигенция. Но я говорю о художниках там, писателях, артистах, журналистах... Во мне тоже есть что-то от них. Ей-богу, я, наверно, могу и стихи писать. Эля, как я тебя называю?

— По-разному.

— Скажи.

— Лебединой песней.

— Еще.

— Песней без слов.

Поняев торжествующе поглядел на меня.

— Слышал? Сам придумал.

Поняев чем больше пьянел, тем становился веселей, а глядя на свою Элю, просто-таки впадал в детство. Затеял сейчас игру с ней, не знаю уж, как она называется: ладони к ладоням. Кто успеет изловчиться, убрать свои и не получить удара — выиграл. Поняев и не желал выигрывать, Эля основательно шлепала его по рукам. И всякий раз он вскрикивал, повизгивал.

Мимо купе пробежали несколько человек, мелькнул белый халат и медицинская сумка. В коридоре проводники о чем-то громко говорили.

Я выглянул туда и спросил, что случилось. Один из проводников подошел и объяснил:

— В купированном мужчину избили. Геолога, говорят.

Люся стояла в коридоре, закрыв ладонями лицо. Вовика рядом не было. Кроме Люси и еще одного пассажира в голубой пижаме, в коридоре вообще никого не было. То из одного, то из другого купе выглядывали заспанные, перепуганные лица. Ни я, ни Поняев ни о чем Люсю не спрашивали, она сама стала рассказывать нам, как все произошло, но захлебывалась слезами и ничего не могла выговорить. Пока ясно было одно: когда мы проходили служебное купе, там в окружении каких-то людей в форменных фуражках сидел Валентин. Значит, досталось Петрову.

Люся немного успокоилась и заговорила:

— Мы с Володей здесь были, вон там, у тамбура. Они поутихли, когда вы ушли. Мы даже голосов не слышали. Потом вдруг крик. Я бросилась в купе, вижу — Петров лежит на своем месте, а по лбу кровь. Я закричала на Валентина: «Ты что сделал?» А он отвечает: «Меньше

хамить будет». — Она опять залилась слезами. — Стукнул чем-то по голове.

— Пили много? — допытывался Поняев.

— Петров выпил, а Валентин не пьет.

— Сумасшедший, значит? Или шизофреник?

— Мы не замечали.

— Сволочь, — сказал Поняев.

— Они всю дорогу ссорились, — сказал пассажир в пижаме.

Почему-то именно сейчас вдруг сказалось выпитое за вечер. Ноги никак не держали, я шел по стенке. Уж как там добрался, как вскарабкался на свою полку, не помню. Разбудили меня голоса. Лежал я, как пришел, в костюме и ботинках. Поезд стоял. В вагоне было утро.

— Где мы? — спросил я.

— Свердловск.

Кругом все прилипли к окнам, противоположным от меня. Там перрон и вокзал.

— Вот они, — сказал кто-то.

— У одного голова перевязана.

— Верочка, уйди от окна!

Только сейчас я вспомнил вчерашнее, понял, у кого перевязана голова.

— В милицейскую машину сажают, — продолжали комментировать.

— А в какую еще!

— И ее туда же.

— А ее за что?

— Как свидетельницу привлекут.

— Разберутся.

— Ревность чего хочешь сделает.

— Говорят, тот, кому досталось, пластинки его разбил.

За окном раздался милицейский свисток и голос:

— Разойдись! Дайте проехать.

Я вспомнил большую, веселую голову Петрова с оттопыренными ушами, его песенку: «Стран народ куда спешит, стран народ куда спешит...»

Вовик лежал на своей полке, свернувшись калачиком. Как и я, он был одет и тоже в башмаках. Тихо плакала Елена Давыдовна. Семен Григорьевич принес ей из туалета смоченный платок.

— Не зря ли мы едем? — спрашивала она сквозь слезы.

— Почему зря? Сколько времени не видели детей, и зря. Зачем думать — пропишут, не пропишут. Повидаемся — и хорошо. Вернуться всегда успеем.

Лина, решив успокоить Елену Давыдовну, сказала:

— Зачем себя так растравлять. Подумаешь, подрались.

— Поехали, — сказал кто-то.

Я повернулся к стенке, вагон наш легко постукивал на стрелках. Я чувствовал, что опять засыпаю. Последнее, что я услышал, как кто-то сказал о каких-то новых пассажирах, поселившихся у нас вместо студентов. И еще не то Антошка, не то Андрюшка съездил один другому по физиономии.

Сколько я проспал, не знаю. Разбудило радио. Оно сообщало, что наш поезд прибывает на станцию Пермь и что «...стоянка возможно будет сокращена...». Я достал свои последние три рубля, нацелился было на туалет, но там была очередь, а поезд уже громыхал мимо станционных построек. Зато на выходе я был первым. Первым оказался и в буфете. Продавали красненькое, пирожки и крутые яйца, куски холод-

ной жареной рыбы. Рубль с копейками стоило мне все удовольствие. В газетном киоске прихватил еще местную газетку.

По платформе гулял Поняев. На дворе май, а он в габардиновом пальто и шляпе. Увидел меня, приподнял шляпу, прошел мимо, даже не подумал остановиться. Потом я увидел его в компании дипломата Ивана Константиновича и Захара Захаровича. Поняев беседовал с дипломатом, а Захар Захарович семенил сбоку. На лацкане пиджака — орден, а дипломат в «болонье».

Скоро поезд тронулся, появились новые пассажиры, но я не успел их еще разглядеть. Да и те, кто давно ехал вместе, казалось, раззнакомились. Больше помалкивали, а если говорили, то вполголоса, не касаясь ночного происшествия.

Ким уткнулся в свои конспекты. Баянист Саша обхаживал новенькую пассажирку гренадерского вида. Саша что-то веселое рассказывал ей, она кокетливо улыбаясь, скашивала на него глаза. Захар Захарович сидел в пиджаке и при ордене, читал газету. Тюрин с расческой в руке прохаживался по вагону. Лина маникюрными ножничками и пилкой подправляла ногти. Зато Надя разговорилась вовсю. Она рассказывала Лине, что у нее тоже был маникюрный наборчик, не такой, конечно, красивый, как у Лины, но тоже хорошенький; наборчик этот пришлось подарить подружке Фаинке на день рождения, а теперь сама без наборчика сидит, потому что в магазине нет таких и вообще с подвозом в Совгавани неважно.

Ее не тошнило и икота отпустила. Бабка Фрося сказала бы, что это нервы отпустили. Впрочем, было с чего отпустить: Вовик целый день никуда не уходил и даже не слезал со своей полки. Надя объявила его прихворнувшим и давала ему наверх бутерброды и чай. Вовик, похоже, в самом деле ослаб: не удержал бутерброд, разлил чай. Однако, подкрепившись, придвинулся к проходу, поманил меня пальцем, но сказал не мне, а Наде:

— Меня в свидетели записали.

— Зачем? — спросила Надя.

— Я несколько дней в карты там играл.

— Мало ли кто с кем в карты играет, так потом отвечаешь? Эх, позвал бы меня, я бы им показала... Плюнь, ерунда.

— А вы как думаете? — спросил меня Вовик.

— Надя права. Я тоже играл там в карты.

Вовик повеселел, вытащил «беломорину», соскочил с полки и — в тамбур покурить.

Воистину браки свершаются на небесах. Пусть говорят, что Вовик с ходу и не подумавши женился, а вот припекло — и прибежал к своей Надюхе.

Наступил вечер.

Наш вагон, казалось, налаживал свою прежнюю жизнь. Полегчало Елене Давыдовне и Семену Григорьевичу перестал носить ей смоченные платки. Захар Захарович сменил пиджак на пижаму. Мимо в туалет проплыла гренадерша. Она загадочно улыбалась, глядя себе под ноги.

Что-то рассмешило Андрюшку и Антошку, и они хохотали, как взрослые. Кто-то вернулся из вагона-ресторана и сообщил, что в купированном на месте геологов новые пассажиры гоняют чай. Никто, конечно, не забыл о геологах, но и не говорили о них, а раз зацепили эту тему, тут уж не удержишься.

— Уму непостижимо, — сказал Захар Захарович. — Вот она, интеллигенция.

— При чем здесь интеллигенция? — возразил я. — Один шизофреник — это еще не интеллигенция.

— Да он сумасшедший, — поддержал меня экскаваторщик Паша. — Невменяемый. Его и судить-то не будут. Таких не судят.

— Эх, — сказал Вовик. — Веселый человек Петров. Любит пошутить. Ким отложил конспекты, повертел в руке карандаш, посмотрел на Вовика и сказал:

— Бывают хамские шутки.

— Петров не такой, — сказал я. — Вы его не видели.

Ким неотрывно смотрел на меня, подождал тишины и сказал:

— Несчастный случай в купированном имеет прямое отношение к нашим спорам.

— Что вы такое все говорите? — возмутился Иван Константинович. — Если вы хотите знать, несчастье в купированном произошло именно из-за подобных разговоров. Нельзя же себя так распускать!

Он замолчал.

Умолкли и остальные.

Этой минуты только и ждал новенький пассажир — парень в запыленных сапогах, в накинутой на плечи телогрейке. Он давно присоседился к нашей компании.

— Товарищи, — начал он, — у меня к вам просьба. Помогите из багажного вагона один ящичек вытащить. С трудом уговорил взять: сдавай, говорили, малой скоростью, у нас багажный, а не товарный. А у меня посевная, сами понимаете.

— Что за ящик? — спросил экскаваторщик Паша.

— Мотор с полуторки. На капитальный ставил.

— Поможем, — за всех нас согласился Паша.

— Поможем, — подтвердил солдат Тюрин.

— Где выходишь-то? — спросил Паша.

— Я скажу. Главное, там поезд всего пять минут стоит. — И, как бы извиняясь, добавил: — В два тридцать прибудем... ночи.

Тюрин расчесочкой почесал себе затылок, а Паша сказал:

— Разбуди, поможем.

— Спасибо.

Иван Константинович поинтересовался, почему так далеко пришлось везти мотор на ремонт, неужели в собственном районе нельзя отремонтировать? Парень вздохнул, поморгал усталыми глазами и ответил:

— Наш район еще не догнал Америку по запчастям.

Дружный хохот заставил Ивана Константиновича ретироваться. Да он и сам не удержался и рассмеялся. А парень, продолжая добродушно улыбаться, развел руками и сказал:

— Надо ж как-то жить. Вот и курсируешь.

Я спал весь день, и поэтому меня не надо было будить вытаскивать мотор из багажного. Не спал и Вовик. Набралось народу больше чем достаточно. И Паша, и Тюрин, и Иван Константинович — все были на ногах. Не спал и баянист Саша, но он не в счет. В полутемном отсеке под храп соседей он целовался с гренадершей.

Наша бригада обсуждала план вылазки и взятия багажного: ведь надо было успеть за пять минут добежать до него, сделать дело и вернуться. После почти недельного безделья мужички были рады хоть какому-нибудь делу. Проснулся и пошел по нужде Захар Захарович, походя обозвав нас лунатиками. Проснулся и Ким. Командовал операцией Тюрин. Как-никак ефрейтор, а мы даже не рядовые, а так себе, штатские.

— На выход! — скомандовал Тюрин, когда поезд стал замедлять ход.

Не успел наш поезд остановиться, как раздался удар в колокол, что означало первый звонок. Но мы успели добежать до багажного — двери его уже были распахнуты, — стащить на землю ящик с мотором, даже поднести его к станционному заборчику и вернуться домой. Надя сидела перед раскрытым чемоданом, из которого Вовик брал деньги. Стало быть, у нее свой ключик был от этого чемодана.

— Ты чего делаешь? — спросил Вовик.

— Сам говорил, что в Москве запросто можно потеряться. Решила, пусть мои деньги со мной будут.

— Потеряться ты не потеряешься, а вот свистнуть из сумки деньги могут, — сказал Вовик.

— Не свистнут, — стояла на своем Надя и, щелкнув сумочкой, засунула ее под подушку.

Похоже, Надя не потеряться боялась, а кто знает, какой фортель Вовик может еще выкинуть.

Я забрался на свою полку, под одеялом стащил с себя брюки — ведь со вчерашнего дня не раздевался. Ночная пробежка к багажному начисто отбила охоту спать. Сегодня был первый вечер, когда к нам не пришел Поняев. И о нем никто не вспомнил. Обычно о нем вспоминала Елена Давыдовна. «Что-то товарища Поняева не видно», — говорила она. А сегодня не вспомнила. Даже забыла разложить пасьянс — «пропишут или не пропишут?».

Иван Константинович, весело потирая руки, тихо сказал мне:

— Конечно, есть у нас еще недостатки, но веселей, понимаете, веселей надо на них смотреть. Видели сейчас, когда мы у багажного были, какое потрясающее зарево огней на горизонте? А ведь это наверняка новая стройка. Вот и мы подсобили сейчас парнишке с мотором и, честное слово, спать лучше будем. — Сказав это, он прыгнул на свою полку, разделся, залез под одеяло, помахал мне.

А мне не спалось, мне хотелось сказать Ивану Константиновичу, что разделяю его ни с чем не сравнимую радость возвращения на родину, но что и мы все в нашем плацкартном любим родину, и еще, так сказать, изнутри, и хотим, чтобы жилось нам всем лучше. Вы призываете жить соответственно великим свершениям. Но ведь они свершаются не по мановению волшебной палочки. Люди их свершают, человек, тот же геолог Петров. И я не могу теперь не думать о том, что случилось с ним, и это вовсе не означает, что я не замечаю великих свершений. Беда есть беда, и нельзя отмахиваться от беды ближнего.

Все это я хотел сказать Ивану Константиновичу, но не сказал: он уже сладко спал.

Наш поезд прибывал в Москву вечером следующего дня. Уже с утра начались сборы, и уже в Александрове, последней перед Москвой станции, все сидели возле своих чемоданов и узлов. Те, кто ехал в командировку или просто был теперь далеко от дома, озабоченно молчали. Москвичи же толпились у окон, отсчитывали оставшиеся километры. В Александрове подсел охотник с красавицей легавой. И хотя пес был в наморднике и на поводке, при справке от ветеринара и с собственным билетом — друг человека должен был довольствоваться тамбуром. И все из-за Захара Захаровича. Притихший было и уставший от нелегкой дороги, он вдруг вспомнил о каком-то правиле перевозки животных и взбунтовался, потребовал, чтобы собаку убрали: мол, в вагоне едут дети и это негигиенично.

Лина облачилась в свою «болонью» и сидела с неприступным лицом. Надю, кажется, опять поташнивало, она зажала в кулаке носовой платок и то и дело утирала им рот.

Курили, уже не выходя в тамбур. Радио рассказывало об экскурсиях по Москве, и где можно сдать багаж, и о правилах уличного движения. Тем временем поезд громыхал мимо дачных платформ. С другого конца вагона потянулись чемоданы и авоськи. В семействе экскаваторщика Паши вещей была прорва. И всего четыре руки. Бабка Фрося не в счет, на ней Андрюшка и Антошка. Паша подсчитал двенадцать мест. Без носильщика не обойтись. Главное имущество их идет вместе с экскаватором, малой скоростью. Зря я не слез вовремя со своей второй полки. Теперь некуда ногой ступить. Все запрожжено, загорожено. Кто-то даже сострил и помахал мне:

— Счастливо оставаться.

Хоть и вечер наступил, а радио грянуло: «Утро красит нежным светом...» Поезд причаливал к платформе. А еще раньше радио торжественно объявило, что пассажирский восемьдесят третий прибывает и т. д.

Наш вагон находился почти в конце состава, а носильщиков разбирали раньше. Вовик уже стоял на платформе в окружении целой толпы родственников. Я мельком увидел его в окно. Надя тоже смотрела на них из окна. То ли она замешкалась и не успела с Вовиком выйти, то ли намеренно оттягивала встречу с новыми родственниками. Я предложил Паше свои услуги. Вытащим имущество на перрон, а там носильщика легче поймать. Так и сделали. Бабка Фрося шла с братиками впереди, а мы за ней.

Вовик кричал с платформы:

— Надя! Чего ты там?

Как раз я двигался с Пашиным имуществом мимо нее. Я пожелал ей всего наилучшего, но она не отозвалась. Смотрела на меня невидящими глазами.

В вагоне уже никого не оставалось, а радио продолжало петь: «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней, с добрым утром...» — и умолкло, оборвалось. Приехали.



ЛЕВ ГИНЗБУРГ



ПОТУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

(Из мюнхенской тетради)

Итак, я снова в Мюнхене, второй раз в этом году. Приглашен я издателем и книготорговцем Максом собирать тексты старинных немецких стихов, читать свои переводы. Но и Макс и я знаем, что есть у меня еще одна цель. После Краснодарского процесса (1963 года) над военными преступниками я написал книгу «Бездна» — о предателях и убийцах из эсэсовской зондеркоманды. И вот уже несколько лет преследует меня странная идея — добраться до их начальников, до их непосредственных шефов, быть может, даже до самых главных персон фашистского рейха, которые еще остались в живых. Увидеть их, поговорить с ними. Когда я излагал свою идею в Москве моим друзьям, то мало кто верил, что это получится. А ведь получилось, вышло, без особого даже труда, и раз уж вышло, надо бы об этом рассказать. Но я все никак не решаюсь, топчусь на месте, знаю, какая меня подстерегает опасность — как бы в моем рассказе не проявился элемент сенсационности. Потому что даже представить себе почти невозможно, как это из небытия предстает перед тобой во плоти та или иная фигура, давно уже отданная истории, — призрак не призрак, но все-таки нечто потустороннее, чувствуешь себя так, словно это спиритический сеанс.

Главная же опасность — в психологическом сдвиге. Если бы они меня преследовали, стреляли в меня, если бы я в бою с ними встретился, писать о них было бы легче. А вот когда за чаем, за кофейком, в мягком креслице сидя, разговариваешь и никто тебе дурного слова не говорит, а, напротив, проявляет к тебе вежливость, внимание, и собеседник твой, к которому ты приглядываешься, обладает всеми человеческими признаками, и ты, чтобы поддержать беседу, умышленно настраиваешь себя на дружелюбный лад, — вот где опасность «размягчения», утраты самоконтроля! Вот где моральное испытание!.. Ведь сколько раз я ловил себя на мысли, что еще чуть-чуть — и забудешь, кто перед тобой сидит, и отодвинется от тебя все, ради чего ты, собственно, приехал, провалится неизвестно куда, и все сведется к беседе двух людей, которые просто хотят понять друг друга.

Нет, я пока рассказывать об этих встречах повременю. Лучше задержу читателя в мюнхенском предместье, в доме у моего друга и ровесника — Макса. С Максом я познакомился три года назад, когда выступал у него в издательстве с лекциями, и он ко мне проявил тогда очень большое уважение, полюбил даже, я думал — из-за моего интереса к немецкой поэзии и оттого, что я на русский язык переводил Шиллера, немецкие народные баллады и поэтов барокко. Но, как потом выяснилось, для возникшей между нами дружбы у Макса были иные побудительные причины. Он, оказывается, уже лет двадцать искал случая подружиться с человеком из России, где он некогда побывал не в туристском путешествии, а в суровом плену, за Уралом. Ему русский человек спас жизнь...

Едва приехав к Максy, я сразу же окупнулся в тишину его дома с книгами, мягкими коврами, мягкими диванами, креслами и многочисленными свечами, кото-

рые стояли в каждой комнате, на каждом столе, и когда сели завтракать, жена Макса зажгла свечу, хотя было совершенно светло, и потом за обедом, за ужином при электрическом свете тоже горели свечи, и свечка горела в спиртовке, на которой подогревался чайник.

Мне отвели комнату в первом этаже, зажгли на круглом столике свечу, поставили вазу с фруктами и тихо, чуть ли не на цыпочках, удалились, чтобы не мешать, и детей увели наверх, чтобы те не мешали.

Макс иногда ко мне заходил справиться, не нужно ли чего, приоткрыв дверь, спрашивал:

— Ну, как? Все хорошо?.. — И добавлял: — Слава богу, слава богу...

А перед сном, в длинной до пят бумазейной голубой рубахе, принесил блюдце с орехами и фарфоровый чайник на спиртовке со свечечкой и, пожав мне руку, тихо желал доброй ночи.

По утрам жена Макса приносила (и когда только она успевала все это сделать?) мою вычищенную и выутюженную за ночь одежду, и все это тихо-тихо, почти без слов. И только однажды она громко ужаснулась, обнаружив, что у меня нет ночной рубахи, тут же убежала куда-то, а к вечеру на моей кровати лежала длинная, из голубой бумазеи, ночная рубаха, такая же, как у Макса...

Каждое утро в восемь часов Макс в своем «мерседесе» возил меня с собой в Мюнхен. Он загонял машину в гараж и вместе со мной отправлялся прежде всего к своей престарелой матери, которая жила в доме при издательстве, пожелать ей доброго утра. Потом мы здоровались с его сестрой, которая ведала расположенной в том же доме издательской книжной лавкой, а потом уже шли к Максиму в контору.

К моей идее Макс отнесся с серьезностью, как отнесся бы к любой деловой просьбе друга. Не совсем ясно представляя себе, что значат для меня намеченные мной встречи в эмоциональном смысле, он сознавал, что тут не праздное любопытство, а дело, предприятие, в данном случае состоящее в написании книги и требующее сбора материала, которое мне едва ли удастся осуществить без его помощи и деловых связей. И он был готов, опять-таки в порядке дружеской услуги, отложив на две недели свои собственные дела, оказать мне содействие, сопряженное для него с определенными неудобствами.

Однако не эти неудобства беспокоили сейчас Макса. Его смущало, не содействует ли он косвенно тому, что через какое-то время в Москве появится книга, направленная против его страны, не упадет ли с ее страниц еще одна тень на его соотечественников, которые в силу известных всем исторических обстоятельств и без того навлекли на себя неприязнь многих людей в разных странах.

Впрочем, рассуждал он, не является ли истина лучшим средством против такой неприязни? Не отпадут ли сами собой многие предубеждения, если человек из России, приехавший в Западную Германию, встретит здесь как можно больше людей, готовых оказать ему не только гостеприимство, но способных, ничего не утаивая и ни в чем не хитря, рассказать правду о том, что они переживали в прошлом и что их заботит сегодня? Не служит ли обнажение теневых сторон жизни раскрытию ее привлекательных черт?

И все же, наталкивая меня и наталкиваясь сам на эти «теневые стороны», Макс каждый раз испытывал чувство стыда и неловкости, словно и он был причастен к тому, чему я, не без его помощи, оказывался свидетелем...

I

В десятых числах ноября 1968 года редакция антинацистского бюллетеня «Гестерн унд хойте» («Вчера и сегодня»), издаваемого в Мюнхене организацией «Демократише акцион» («Демократическое действие»), получила одно за другим два письма. Первое письмо называлось: «Молитва», и текст его был такой:

«Адольф Гитлер! Мы преданы только тебе. В этот час мы хотим возобновить нашу клятву: на этой земле мы веруем только в Адольфа Гитлера! Мы веруем, что национал-социализм, и только он, является спасительной идеей для нашего народа. Мы веруем, что есть бог в небесах, который ведет нас, наставляет на путь истинный и ниспосылает нам свое благословение. И мы верим, что этот бог послал нам Адольфа Гитлера, чтобы Германия на веки веков стала оплотом всего сущего».

Внизу — вместо подписи — была изображена огромная свастика, составленная из нескольких маленьких свастик.

Второе письмо, написанное тем же почерком, было адресовано непосредственно редактору бюллетеня:

«Ты, трижды... дерьмовая сволочь, я снова напоминаю о себе. За все, что натворила ваша клика, высокомерно именующая себя «Демократическим действием», мы еще с тобой рассчитаемся, и расчет наш не будет бескровным, можешь нам в этом поверить. Для таких, как ты, мы уже точим наши ножи, чтобы они были остры, когда настанет «день икс», и чтобы вся операция прошла без задержки. Ваше миленькое «Демократическое действие» есть сборище карманных воришек, деклассированных субчиков, и мы как-нибудь основательно почистим ваше гнездо.

С наиглубочайшим почтением
Франц К. Майер».

Редакции удалось установить, что автор писем — девятнадцатилетний гимназист. Опрошенный директором гимназии, Майер в присутствии своих родителей пояснил, что на его идейные взгляды повлияло регулярное чтение газеты «Дойче национальцайтунг унд зольддатенцайтунг». Кроме того, как сообщил директор, выяснилось, что Майер принадлежит «к числу яростных сторонников НДП».

Обо всем этом бюллетень немедленно оповестил своих читателей как о факте чрезвычайно тревожном и показательном, добавив, однако, что организация «Демократише акцион» решила воздержаться от судебного преследования девятнадцатилетнего Майера, чтобы не препятствовать завершению им среднего образования...

Я переписывал эти документы, которые в фотокопиях, в виде «мюнхенского сувенира», мне преподнес накануне редактор бюллетеня, и уже мысленно прикидывал, как я использую их в будущих очерках, когда Макс высказал предположение, что письма Майера скорее всего просто идиотская шалость психически неуравновешенного недоросля и что не следует спешить с обобщениями.

— Признаться, — сказал он, — я не совсем уверен, что эти угрозы имеют под собой реальную почву. До этого мы, право же, пока еще не дошли. Сам я ни разу не встречался с кем-либо из этих типов из НДП и не имею к этому ни малейшей охоты. Но из уважения к вам, дорогой друг, я все же намерен пригласить сюда некоего господина Б., о котором мне рассказал один мой приятель. Дело в том, что господин Б., член земельного руководства НДП Баварии и референт по политическому воспитанию, женат на дочери Гиммлера.

На следующий день в пять часов, как было условлено, Макс позвонил дочери Гиммлера, но она весьма холодно попросила позвонить еще через полчаса, поскольку муж ее еще не пришел. В половине шестого господина Б. мы наконец застали, но уговаривать его, объяснять, кто я такой, пришлось долго. Макс все упирал на то, что это «известный переводчик» Гёте, Шиллера, «всей нашей национальной литературы», ставшей «достоинством русских», и что единственное мое желание — «все узнать из первых уст». Потом они долго условливались насчет того, как господин Б. до нас доедет, а я в свой блокнот записывал:

«...Может быть, вы не откажете в любезности... Такси, разумеется, будет оплачено в оба конца... Все транспортные расходы я, естественно, беру на себя...»

Моя сестра приготовила чай и кофе, таким образом, поужинать вы сможете у нас...»

Все, что говорил Макс, было, видимо, очень существенно для господина Б., которого приходилось уламывать и упрашивать, как знаменитого, но капризного профессора, вызываемого к больному. Впрочем, возможно, в своей партии он действительно был крупной фигурой.

Тем временем на другом конце провода господин Б. чрезвычайно дотошно уточнял цель моего визита и не являюсь ли я лицом, подсланным «московскими властями» для того, чтобы его выявить... Мне это было смешно и не совсем понятно: ему-то чего в Мюнхене бояться «московских властей»?..

Наконец господин Б. выразил согласие прибыть в семь часов.

Ждали мы его долго, продумывали вопросы, радуясь своей находчивости и предвкушая интересный разговор. А я думал о том, что значило для людей моего поколения и для миллионов людей во всем мире имя его тестя, хотя, казалось бы, сейчас это уже не имело никакого значения. И все же дух «тестя» не мог здесь не присутствовать хотя бы потому, что это было в Мюнхене и это была НДП, и все это приобретало совсем особый смысл.

В семь он не приехал, мы прождали с полчаса и позвонили к нему. Четкий, холодный, с хрипотцой женский голос ответил:

— Муж только что отбыл.

— Нет, это все-таки некрасиво с его стороны, — обиженно сказал Макс. — Воспитанный человек не должен опаздывать.

Стол был накрыт: чай в глиняном чайнике, печенье, сушеные финики.

На лестнице послышались шаги, Макс вышел в прихожую. Приоткрыв дверь, я увидел, как в коридоре перед зеркалом, стоя спиной ко мне, причесывается высокий, поджарый господин, с плоским стриженным затылком. Потом он повернулся, увидел меня и, шаркнув ногой, с вежливой улыбкой протянул мне под прямым углом руку.

Это был довольно молодой человек, долговязый, какой-то плоский, коротко подстриженный, одетый скромно и аккуратно — в клетчатом твидовом пиджаке и разношенных ботинках. На правой руке у него было тонкое обручальное кольцо, палец с этим кольцом он во время всего нашего разговора то прижимал к виску, то к розовой щеке, изображая глубокомыслие. По лицу его вяло блуждала затаенно-застенчивая улыбка.

В мои намерения входило расположить его к беседе, и поэтому я начал разговор с того, что интересуюсь немецкой литературой и историей, можно сказать, посвятил этому почти всю свою жизнь — а мне уже сорок семь лет... Тут он великодушно заметил, что это не так много и что я всего лишь на пятнадцать лет его старше, и продолжал слушать со всей серьезностью и настроенностью. Однако имена переведенных мною поэтов вызвали в нем уважение, он оказался или показался человеком образованным, а когда я назвал имя поэта XVII века Пауля Гергардта, он тут же стал насвистывать начало баховского хорала на слова Гергардта.

Я сказал, что меня интересуют немецкий национальный дух, национальный характер и что, занимаясь Германией, я, естественно, испытываю желание вникнуть во все особенности немецкой жизни, в которой его партия теперь играет немалую роль.

Он кивнул, однако прервал меня замечанием, что мы, русские, видимо, слишком преувеличиваем роль его партии, у которой пока нет серьезных шансов на победу или хотя бы на участие в правительстве. Это — дело далекого будущего, и хотя он верит, что цель, к которой стремится его партия, когда-нибудь будет достигнута, произойдет это не скоро и уж во всяком случае не при жизни нынешнего поколения. Видимо, удел победителей достанется его детям, если не внукам...

Я забыл упомянуть, что в самом начале разговора он сразу же сказал мне несколько слов на весьма грамотном и четком русском языке, что, если мне угод-

но, разговор можно вести по-русски, русский язык он тщательно изучал еще тогда, когда жил в Средней Германии, семь лет подряд выписывал «Правду», но теперь, загруженный делами партии, а также занятиями в университете, который он заканчивает в этом году, намереваясь стать адвокатом, несколько поотстал...

Мы сидели друг против друга за длинным столом. Он пил чай, с большим достоинством поглощая заранее обусловленный ужин...

Итак, я сказал ему, что интересуюсь немецким духом и немецкой действительностью и хотел бы поэтому понять цели и задачи его партии, не доверяясь газетным сообщениям. Кроме того, в ходе моей литературной работы, связанной с недавним прошлым, я присутствовал на процессе, имевшем место в Советском Союзе, где судили группу эсэсовцев...

Он быстро взглянул на меня и спросил: «Дело Кристмана?» — показывая тем самым свою полнейшую осведомленность в конкретном характере моих интересов. Я ответил утвердительно, пояснив, что меня занимает проблема нацистских преступлений, которые — хотим мы этого или не хотим — не могут быть забыты и до сих пор накладывают известный отпечаток на наши отношения, так что мне и по этому вопросу любопытно узнать точку зрения его партии.

Наконец, я предупредил его, что не собираюсь писать о нем в газетах, а в случае, если наш разговор и найдет свое место в какой-либо моей работе, то я выведу его под другим именем, допустим, назову Вагнером.

— О, Вагнер — это очень хорошо, — сказал он улыбаясь. — Вагнер — это очень хорошая фамилия, я очень люблю Вагнера...

— А имя я вам придумаю — Готлиб! Согласны?

Он покачал головой:

— Нет, Готлиб происходит от слова «Gott» — бог, а я — убежденный противник религии.

— Но не Фридрихом же вас называть! Это будет звучать слишком банально.

— Почему же банально? — удивился он. — Фридрих — очень хорошее немецкое имя. Мне нравится имя Фридрих... Фридрих Вагнер...

Теперь настал его черед говорить, и он быстро, но с достаточной твердостью начал.

Прежде всего он хотел бы подчеркнуть, что затронутые мной вопросы имеют действительно принципиальное значение. Вопрос национального самосознания приобретает сейчас первостепенную важность во всем мире — не только в Германии, но и, допустим, в Америке, где чистокровные американцы, стараясь сохранить в неприкосновенности свою нацию, втянуты в тяжелый конфликт с американскими неграми. То же происходит и в Родезии и в Южно-Африканской Республике... Впрочем, нация — понятие крайне сложное, включающее в себя и этнографические, и психологические, и биологические моменты...

— Расовые?

— Если хотите, и расовые. С этим необходимо считаться. Я не могу, например, назвать немецким писателем человека, который пишет по-немецки, но по причинам своего происхождения и биологической организации не в состоянии выразить самый дух той нации, языком которой он пользуется... Конечно, исключения возможны, но...

— Говоря об исключениях, вы, наверно, подразумеваете Гейне?..

— Видите ли, — сказал он серьезно, — Гейне — явление чрезвычайно противоречивое. Уроженец Рейна, человек восприимчивый, он в большой степени усвоил признаки немецкого духа, подтверждением чего является его «Лорелая», которую немецкий народ принял и включил в свою национальную сокровищницу. Тем не менее Гейне так и не смог — да и не должен был! — преодолеть свое происхождение, и те его произведения, в которых пробивается это его начало, так и остались для нас чужими... Я не слишком искушен в поэзии, поэтому приведу пример мне более близкий — превосходного композитора Мендельсона-Бартольди. — Он просвистел несколько тактов. — Можем ли мы считать его — я под-

церкиваю — превосходную музыку немецкой? Думаю, что ни в коем случае... Стало быть, национальная культура, так же как и сама нация, не терпит никаких примесей... К какой нации человек принадлежит, определяет только состав его крови! Будь вы по своему воспитанию или мировоззрению хоть тысячу раз «немцем», вы все равно не станете им, если в ваших жилах не течет немецкая кровь!..

— Не хотите ли вы этим сказать, — спросил я, — что лозунг вашей партии — «Германия — для немцев»?

— В известной степени да. Но произойдет это, повторяю, очень не скоро...

— Но если произойдет, если ваша партия придет к власти, что вы практически сделаете с людьми не немецкого происхождения?

— Идеальным было бы, если бы они добровольно покинули Германию. У каждой нации должен быть свой дом, своя национальная квартира... Пожалуй-ста, приезжайте в гости, вступайте в деловые отношения, сотрудничайте, но не вторгайтесь в ту сферу, которая вам недоступна и чужда по природе...

— Ну, а если так называемые «не немцы» не захотят добровольно покинуть Германию, вам придется избавляться от них силой? Как Гитлеру?

— Видите ли, — сказал он, подумав, — взаимоотношения Гитлера с негерманскими национальными группами внутри Германии имеют две стадии, две фазы: первая — разрыв (Trennung), вторая — месть (Rache). Первая стадия началась еще задолго до прихода нацистов к власти, вторая — примерно в 1941 году. Причины первой стадии я вам только что изложил. Гитлер, как национально мыслящий немец, не мог примириться с той преувеличенной ролью, которую, например, евреи присвоили себе в немецкой экономике, науке, культуре. И здесь он был по-своему — то есть в теории! — прав. Вторая стадия — месть — была вызвана иными причинами и привела к ужасающим последствиям, зловещим воплощением которых оказался Освенцим. Это была месть за подрывную работу, которую евреи — как коммунисты и социал-демократы (он простодушно повторил расхожую гитлеровскую формулировку) — вели против национал-социализма. Но главное — и это установлено документально! — был нажим американских евреев-капиталистов на Рузвельта, их требование, чтобы Америка выступила против Германии. Вот почему Гитлер прибегал к самым жестоким мерам.

— В том числе и по отношению к невинным детям, к старикам, к женщинам?

— Что ж... Поименное выявление конкретных виновников заняло бы слишком много времени и было бы практически невозможно в условиях войны. Таким образом, ответственной оказалась, к сожалению, вся нация... Впрочем, хотел бы заметить, что наша партия не считает себя ни в какой степени связанной с теми или иными мероприятиями третьего рейха, так что вопрос этот относится скорее к прошлому, чем к настоящему. Однако вы не станете отрицать, поскольку и это доказано документально, что причин для наказания враждебных немцам народов у Гитлера было достаточно. Возьмите поляков. Разве не известно, что перед войной поляки подвергали жесточайшим издевательствам и даже убийствам немецкое меньшинство, проживавшее в Польше? Стало быть, при нарушении этических законов одной стороной другая вправе прибегнуть к ответным мерам...

Он говорил ровно и четко, излагая известную провокационную версию операции в Глейвице¹, как если бы отвечал на «экзамене по нацизму».

Он продолжал:

— Но мы ушли далеко от темы нашего разговора. Ведь вас интересует не прошлое, к которому мы не имеем никакого отношения и которое каждый из нас вправе оценивать по-своему, а настоящее. Так вот, настоящее состоит в том, что наша партия возникла в результате определенной реакции на унижение, которо-

¹ Подготовленное Гитлером и Гиммлером провокационное нападение на немецкую радиостанцию в Силезии, в городе Глейвиц, послужившее одним из формальных предлогов для вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года.

му подвергли немецкую нацию победители второй мировой войны и их фактически прислужники в лице ныне существующего правительства. В эру Аденауэра, благодаря главным образом его личности, немецкое национальное достоинство еще удавалось как-то отстаивать. Теперь же мы по существу оказались совершенно беззащитными. С одной стороны, нас унижают западные союзники, не считая нас равноправными партнерами, с другой стороны — Советский Союз и мировой коммунизм, опять-таки с молчаливого согласия западных держав, пытаются увековечить раскол Германии, создав так называемую «ГДР» — восточную зону. Цель, которую мы преследуем, ближайшая цель состоит в воссоединении Германии, в создании достойного немецкого отечества...

— Разумеется, в пределах законных границ? — с надеждой спросил Макс, огорченный тем, что его гость слишком уж разоткровенничался и переступил «рамки приличий».

Господин Б. посмотрел на Макса и снисходительно, чуть небрежно уточнил:

— Да, да. В границах 1937 года.

— Но какой бы вы хотели установить в этой вашей Германии порядок?

«Будущий министр», а пока студент, ответил:

— Поскольку наши планы едва ли осуществимы в ближайшее время, говорить об этом рано.

Он вошел во вкус и добросовестно, доктринерским тоном принялся излагать мне программу своей партии:

— НДП возникла из активного сопротивления коммунистическим догмам, которые исходят из того, что человек подлежит перевоспитанию путем отчуждения у него частной собственности. Мы же убеждены в том, что человек остается при всех условиях неизменным, с присущими ему врожденными качествами и естественным, то есть врожденным, стремлением к собственности. Это стремление неодолимо, и справиться с ним не удалось никому. Вместе с тем мы решительные противники капиталистической эксплуатации и стоим за разумное распределение доходов внутри национальной семьи...

Он попросил еще чаю и сказал:

— Разрешите перейти ко второй части ваших вопросов, о так называемой личной ответственности... Наша партия целиком отвергает преследование бывших нацистских преступников, хотя мы отдаем себе отчет в том, насколько серьезными были их преступления. Дело здесь не в покровительстве бывшим нацистам, а в судьбе нации. Стоит ли подвергать преследованию массу людей — преступления нацизма носили массовый характер, — которые вынуждены были выполнять свой долг? Есть ли национальный смысл множить число осужденных, вовлекать людей в процесс возмездия по отношению к своим же соотечественникам, усугублять разнь между людьми одной нации? Вообще военные преступления трудно поддаются учету. Кто подсчитает количество жертв дрезденской бомбардировки или территориальный ущерб, причиненный Германии итогами советской победы? Есть ли мера жестокостям чехословаков и югославов в отношении немцев? Мы не считаем, что сейчас нужно копаться в этих преступлениях, и готовы, проявив добрую волю, многое простить нашим врагам. Существует ли реальная возможность устанавливать сейчас конкретную вину конкретных людей, принадлежащих своей эпохе? Только наша слабость заставляет нас в угоду победителям устраивать судилища, которые разлагают нацию и подрывают в молодом поколении веру в своих отцов... Давайте лучше смотреть в будущее и строить его по-новому, с учетом прежних ошибок...

Я решил не вступать с ним в дискуссию, чтобы дать ему возможность выговориться до конца, спросил только, как он относится к проблеме молодежи.

Он ответил, что считает нынешних молодых «левых» психопатами, извращенцами, которые бредят «мировой революцией» опять-таки из-за того, что у них из-под ног выбита национальная почва.

— А каково отношение молодых людей к Гитлеру?

— Скорее всего равнодушное. Отчасти из-за дезинформации, отчасти из-за лениности мысли... Но время Гитлера прошло, и это необратимо.

В конце беседы он стал жаловаться на то, как его партии трудно, каким она подвергается преследованиям, какой травле...

«Референт по вопросам политического воспитания», приглашенный для «чтения лекции на дому», счел свою миссию выполненной и посмотрел на часы.

Мы направились к выходу. Он надел пальто, меховую шапку «пирожком» и пошел — длинный, плоский, будущий член будущего правительства.

Прощаясь, он спросил Макса, не продаст ли тот ему со скидкой несколько нужных учебников.

У него с женой — маленький сын, внук Гимmlера. Я слышал, как перед отъездом домой он по телефону ласково говорил с женой и ворковал с сыном...

Мы решили подвезти его до дома в надежде, что он пригласит нас к себе и мы, таким образом, увидим его жену.

По дороге мы говорили о русской литературе. Достоевского он «не приемлет», Толстого тоже, Гоголя находит занятным, как и Михаила Зощенко. Зато очень любит Чайковского и, сидя в машине, стал насвистывать начало Шестой симфонии, отбивая рукой такт...

Потом он рассказал, что в ранней юности жил в ГДР, был членом Союза свободной немецкой молодежи, «с отвращением пел песни Бехера» и в 1954 году — ушел...

На окраине Мюнхена мы высадили его у длинного четырехэтажного дома. Где-то наверху светилось окно. Б. поднял голову, помахал кому-то рукой, затем поблагодарил нас за приятный вечер и за чудесный китайский чай (назавтра выяснилось, что Макс по рассеянности заварил вместо чая лавровый лист).

Нас он к себе «ввиду позднего времени», конечно, не пригласил.

— До свидания, господин Вагнер!..

На другой день он пришел снова — после того, как Макс по телефону сообщил, что нужные ему учебники к его услугам, и, конечно, бесплатно, и что мы можем завезти эти книги по пути. Б. довольно-таки надменно отказался от этой любезности и сказал, что заедет за книгами в пять часов сам: видно, узнал себе цену, а главное — не хотел, чтобы мы встретились с его женой.

Он пришел, как вчера, с опозданием. Я рассмотрел его внимательней. На этот раз он показался мне не таким уж худым: с крупным носом, нависшим над небольшим ртом, розовощекий, бритый, в меру упитанный. И его башмаки, которые мне вчера показались разношенными, были просто очень большого размера черными полуботинками. В нем было что-то и от чиновника, и от «иллегального» фашиста, и от вечного студента.

Наш разговор должен был длиться недолго, но занял более часа.

Конечно же, Б. попросил «китайского чаю», и опять был принесен глиняный чайник. Б. наполнил чашку, отхлебнул и нашел, что вчерашний чай был вкуснее (на этот раз чай был действительно китайский). Затем он поинтересовался, есть ли у меня дополнительные вопросы. Сегодня он не был так любезен и словоохотлив, как вчера.

Я начал с того, что спросил, как он себя чувствовал, когда жил в ГДР и состоял в Союзе свободной немецкой молодежи: не приходилось ли ему жить двойной жизнью?

— Видите ли, — ответил он холодно, — двойной жизнью на м — и мне в том числе — жить не приходилось, так как с самого начала, с детских лет, я был убежденным антикоммунистом, как и мои родители. Мы происходим из Померании, и только вторжение русских заставило нас искать прибежище в Тюрингии, в нынешнем округе Эрфурт. Отец мой был крупным торговцем, все наше имущество было, естественно, конфисковано. Западногерманское правительство выплачивает мне сейчас крохотную компенсацию — около семи процентов. Однако эта скромная сумма дает мне возможность совмещать мою партийную работу с уче-

нием в университете... Итак, будучи убежденным антикоммунистом, я не испытывал тем не менее ни малейшего раздвоения личности, так как такими же антикоммунистами были все близко окружавшие меня люди. Мы жили одним — ожиданием прихода американцев, которые нас освободят: в конце сороковых годов это еще казалось реальным... — Он саркастически усмехнулся. — Мы были уверены, что наше пребывание в условиях коммунизма будет недолгим и следует лишь внешне примениться к этим условиям, чтобы не навлечь на себя неприятности. В то время наша семья оказалась перед альтернативой: воспользоваться ли открытой в Берлине границей, чтобы перебраться окончательно на Запад, или ждать прихода американцев. Мы выбрали второе, исходя из того, что я должен получить среднее образование, воспользовавшись теми преимуществами, которые мне в этом смысле давал коммунистический режим с его более совершенной системой школьного обучения, а затем, уже имея на руках свидетельство об окончании средней школы, выбрать свободу.

Я считался примерным учеником, преуспевал в русском языке и даже привлекался в качестве переводчика во время так называемых «встреч дружбы» с солдатами советского гарнизона. Это давало мне возможность лучше узнать противника. Я изучил «Краткий курс истории партии», в котором в сжатом виде изложена вся коммунистическая доктрина, регулярно выписывал «Правду» и «Комсомольскую правду» и настолько овладел коммунистической лексикой, что изъяснялся с советскими военнослужащими без всякого труда.

В 1951 году, если вы помните, в Берлине проводился Всемирный фестиваль молодежи, и я, как активист, был делегирован туда. Днем мы демонстрировали мимо трибун с синими флагами, в синих блузах. Как только наступал вечер, я срывал с себя ненавистную форму и отправлялся в Западный Берлин. К нашим услугам были кинотеатры, в которых показывали западные фильмы, танцевальные клубы, кроме того, нас снабжали специальной антикоммунистической литературой, напечатанной на папиросной бумаге. Все это проносилось в Восточный Берлин и раздавалось делегатам фестиваля...

В 1954 году я наконец очутился на Западе... Хотел бы заметить, что, выражая свое неприятие коммунизма, я ни в коей мере не отождествляю его с русским народом. Здесь, в Мюнхене, я тесно связан с русскими людьми из НТС¹ и выступаю против тех членов моей партии, которые отказываются от сотрудничества с этими людьми из националистических соображений. Догматизм мог бы нам только повредить...

Полузакрыв глаза, он отхлебнул чаю, глотнул и снова посмотрел на меня.

Я наблюдал за ним с большим интересом.

Макс, молчавший до сих пор, основательно приуныл. Видимо, он сам был не рад, что организовал эту встречу, не оставлявшую никаких возможностей для «человеческого взаимопонимания», и поэтому слабо и, надо сказать, беспомощно пытался внести «некоторые уточнения». Вообще же разговор, происходивший сейчас в его кабинете, в высшей степени его огорчал. Привыкший к тому, что у него собираются только близкие ему по духу люди, посвятивший себя благородному делу издания книг, лишенных, как он полагал, какой бы то ни было партийной окраски, он невольно оказался «устроителем» неприятного ему политического диспута.

— Господин Б., — сказал он с досадой, — осуждая коммунизм, вы пока что не нашли ни одного слова для осуждения национал-социализма, который был для нас — немцев — национальной бедой и позором...

Зять Гиммлера, обращаясь не столько к Макс, сколько ко мне, спокойно ответил:

— Это — вредная теория, которую наша партия решительно отвергает. Национал-социализм, несмотря на ошибки и недостатки, имел ряд положительных

¹ НТС — Народно-трудовой союз — антисоветская эмигрантская организация.

сторон. Гитлер обеспечил немецкий народ работой, дисциплинировал молодежь, поднял немецкую экономику, наконец, вступил в кровопролитную, жертвенную войну для избавления человечества от коммунизма...

Я спросил, как так могло получиться, что, если в гитлеризме содержалось определенное рациональное зерно и он действительно мог принести какую-то пользу, лучшие люди страны покинули Германию или отказались от сотрудничества с национал-социалистами. Фактически с Гитлером не сотрудничал ни один из выдающихся немцев...

Он тоскливо посмотрел на меня:

— Кого вы называете «выдающимися немцами»?

— Ну, Томаса Манна, Эйнштейна, Осецкого, Стефана Цвейга, Фейхтвангера, Рикарду Гух, Брехта, Гауптмана...

Он рассмеялся.

— Никого из названных вами людей я бы не причислил к выдающимся немцам. Томас Манн по существу скучнейший писатель, признайтесь, что вы и сами его не читали... Гауптман выжил из ума. Остальные вообще не были немцами. Раз-ве можно сравнить Томаса Манна с Двингером, с Кольбенхейером, с Гансом Гриммом¹? Ваши представления о немецкой литературе, к моему удивлению, крайне ограничены. К тому времени, когда Томас Манн покинул Германию, тиражи его книг катастрофически падали, а Двингер расходился в миллионах экземпляров. Осецкий² же был просто журналистом, газетным писакой, которому из антигерманских соображений дали Нобелевскую премию, тем самым окончательно ее обесценив...

Спорить с господином Б. было бессмысленно. Здесь не могли повлиять никакие авторитеты, никакие аргументы, никакие самые очевидные факты, ничего, кроме силы. И он это понимал и знал, что единственным оружием в любом, даже литературном, споре является сила.

Устная речь немецкого интеллигента вообще мало отличается от письменной, а у Б. это различие и вовсе отсутствовало. Он говорил, почти не меняя ни интонации, ни выражения лица. Только однажды он, то ли усмехнувшись, то ли скрипнув зубами, резко заметил, что антикоммунисты имеют точно такое же право на «физическое устранение» идейного противника, что и другие.

Я спросил, способен ли он осуществить такое «устранение» лично. Он покачал ногой в огромном ботинке, сухо улыбнулся, сказал:

— По природе я не злой человек, но такие понятия, как добро, человечность, для меня сами по себе, абстрактно не существуют. Я прежде всего борец, и когда я вступаю в полемику с противником... — Он помолчал и добавил: — Нет, я никогда не стану либералом. Это мне ясно...

Погибли миллионы людей, а здесь, в Мюнхене, в ноябре 1968 года сидел передо мной зять Гиммлера, продолжатель его рода, его дела. Он был холоден, бесстрастен, подтянут. Он излагал доктрину. Пожалуй, самым характерным для него была сухая, бесчеловечная убежденность, с которой он мог говорить о самых страшных вещах...

Макс решил разрядить обстановку и, обращаясь к Б., не очень уместно и очень неудачно пошутил:

¹ Эдвин Эрх Двингер — писатель-эсэсовец, оберштурмфюрер СС, которому Гиммлер присвоил личный эсэсовский номер 277082; Эрвин Гвидо Кольбенхейер — австрийский романист, идеолог нацизма; Ганс Гримм — один из популярнейших нацистских авторов, внедривший в немецкий литературный обиход такие формулы, как «фюрер и народ», «расовая чистота», «сверхчеловек» и т. д. Гримм умер в 1959 году, Кольбенхейер — в 1962-м, Двингер жив, после войны он выпустил в ФРГ фашистские книги: «Генерал Власов» (1951), «Двенадцать бесед» (1965) и другие.

² Карлу Осецкому (1889—1938), издателю журнала «Вельбюне», была присуждена Нобелевская премия мира в 1936 году, когда он находился в нацистском концлагере Папенбург-Эстервеген в нечеловеческих условиях, подвергаемый нравственным и физическим пыткам, Осецкий вынужден был публично отказаться от полученной премии.

— Нет, хорошо, что вы узнали друг друга. Если когда-нибудь вспыхнет война и немцы захватят Москву, то у Гинзбурга будет в верхах влиятельный знакомый. И наоборот, если русские возьмут Мюнхен, у вас найдется заступник...

Б. серьезно ответил:

— Если русские возьмут Мюнхен, меня уже не будет в живых.

Мне очень хотелось узнать, что представляет собой дочь Гиммлера. Отчего Б. женился именно на ней: по любви, случайно, из принципа или из какого-то психологического мазохизма? И я спросил, считает ли он своего покойного тестя преступником.

Он слегка мотнул головой:

— Ни в коем случае... У него была своя трагедия... Это вопрос слишком сложный.

Неожиданно он встревожился:

— Надеюсь, вы сдержите обещание и не станете раскрывать мое настоящее имя. В частной жизни мы не поддерживаем никаких контактов с людьми чуждых нам взглядов. Германия предназначила нас для серьезного дела. Ради этого дела мы порой должны опираться на временных союзников, например, на американцев, с которыми мы все же надеемся справиться. Но в частной жизни, в быту, мы общаемся только с нашими...

Мы расстались холодно, почти враждебно.

II

В воскресенье утром вся семья Макса отправилась на богослужение.

Жена Макса, встав, как всегда, раньше всех, подошла к пианино, проверила голос — у нее было звонкое, сильное колоратурное сопрано — и пропела начало воскресной молитвы.

Я подумал, что они собираются в церковь, но оказалось, что — в соседний дом, к старому профессору Вернеру Цильху, который жил вместе со своей племянницей Мартой, одинокой, болезненной девушкой. Меня они пригласили с собой, сказали, что профессор Цильх — очень известный ученый, теолог, автор многих книг — хотел бы со мной познакомиться.

Семидесятипятилетний профессор Цильх встретил нас на пороге своего дома, поздоровавшись с Максом и его семьей дружелюбно, однако без всякой соседской фамильярности, как бы подчеркивая, что пришли они не просто в гости к соседу, а для участия в некоем таинстве, в торжественном и серьезном обряде. Действительно, Макс и его жена, которые в другое время запросто заглядывали к профессору Цильху то обменяться местными новостями, то одолжить какую-нибудь хозяйственную мелочь, так же как запросто заглядывал к ним со своей племянницей Цильх, чтобы посмотреть цветной телевизор, — теперь с почтительной торжественностью вступали в гостиную, где перед домашним алтарем, вделанным в раздвижной шкаф, были расставлены стулья. Жена Макса с детьми и Марта заняли свои места, положив на колени молитвенники. Макс же помог профессору надеть облачение, а затем прислуживал ему во время обряда.

Все это — вместе с проповедью и пением специально выбранных для сегодняшнего воскресенья молитв — продолжалось около часа, после чего Цильх с помощью Макса и Марты снял с себя облачение. Медленно, с большим достоинством он аккуратно сложил его, убрал утварь и, задвинув створки алтаря, преобразился из священнослужителя в подвижного, можно даже сказать юркого, старичка профессора. Он тут же затащил нас с Максом в свой уставленный книгами просторный кабинет, указал на коробку с сигарами и, предлагая курить, заметил, что уже давно оставил эту привычку.

Он задал мне несколько вопросов, связанных с немецкой поэзией, словно желая проверить глубину моих знаний, а потом заговорил о нацизме, пытаясь

понять, почему и с какой стороны меня интересует эта столь далекая от поэзии проблема.

— В свое время, — сказал он, — я тоже задавался вопросом, откуда в двадцатом веке взялось обожествление вождя, фюрера, то есть своеобразное возвращение к языческому идолопоклонству. Философски обожествление человека обосновал еще Фейербах: он утверждал, что все свойства, приписываемые богу, есть свойства самого человека. Конечно, я отнюдь не склонен считать Фейербаха предшественником нацизма, но в самой этой мысли уже содержалось нечто опасное. Упраздняя божественный авторитет, люди невольно начинают искать ему замену или подмену и выдвигают «бога» из своей же среды... Неверно, когда говорят, что нацисты были безбожниками. Они не были христианами, это другое дело, но в бога они верили, и этим богом был для них фюрер, который сам объявлял, что его ниспослало нам провидение... В обожествлении Гитлера многое заимствовано у религии, — вдумайтесь в самую суть подобных явлений. Ничего нового в этом нет... Люди удовлетворяют естественную потребность в вере, подставляя на место абстрактного, невидимого и неосязаемого бога конкретного человека, который время от времени «является» народу, толпе, издает постановления, действует, произносит речи и обленен в живую, человеческую плоть. Такой «земной бог» гораздо реальнее и доступнее, чем «бог небесный»: человек толпы живет в сознании, что до «земного бога» ему рукой подать, но этот «земной бог» столь же далек от верующего, как и тот, другой, абстрактный, якобы несуществующий бог... Ах, еще никому не удалось устроить рай на земле, но ад на земле люди все-таки создали. Вы, наверно, читали последнее слово Ганса Франка на Нюрнбергском процессе?.. — Цильх подошел к стеллажу и достал какую-то книгу. — Вот! — Подняв вверх палец, он прочел: — «Мы... огреклись от бога, и мы должны были пасть... Гитлеровский путь был проклят — это путь без бога, путь отречения от христианства...»

Вечером Цильх, поддерживаемый под руку Мартой, пришел к Максу спросить, сменил ли он на своем «мерседесе» шины: на улице гололед, без шипов ездить опасно.

Макс предложил посмотреть снятый им этим летом в Москве видовой любительский фильм, принес аппарат, усадил всех в кресла, и под звуки Первого концерта Чайковского на домашнем экране возникли Красная площадь, золото куполов кремлевских храмов, ВДНХ, университет, набережная Москвы-реки — все это в густых, сочных красках, и я вдруг поразился, до чего красива и величественна Москва: сидел замороженный, впервые здесь, в Мюнхене, как иностранец, открывая для себя эти места, мимо которых в будничной спешке запросто проходил и проезжал множество раз...

Я вспомнил, как встречал Макса и его жену в Шереметьеве. Мы ехали с аэродрома мимо березовых рощ, мимо подмосковных полей, мои гости уже пьянели от русского воздуха, уже схватывала их русская ширь, и они, поддавшись новому для них чувству, просветленно смотрели по сторонам, когда около Химок перед нами возник памятник защитникам Москвы — вознесенные на постамент противотанковые ежи.

Я пояснил, что здесь в 1941 году остановили немецкие войска, и Макс промолчал, а жена Макса сказала:

— Господи! Какой же далекий пришлось проделать им путь!..

III

Кризмана я впервые увидел на фотографии -- в черной эсэсовской форме, в фуражке с кокардой-черепом. У него было узкое, вытянутое лицо и холодный, совершенно непроницаемый взгляд. Такой взгляд дается человеку не от рождения: он его отработывает путем долгой и тщательной тренировки, так что взгляд становится как бы частью снаряжения, вроде портупей или кокарды-черепа...

Можно было подумать, что это киноактер, изображающий «классического» эсэсовца, настолько лицо его было типичным, виденным во множестве фильмов. Фотография, однако, хранилась в следственном деле, пронумерованная, скрепленная гербовой прокурорской печатью. В 1963 году в Краснодаре ее предъявляли для опознания обвиняемым.

Скрипкин, бывший помощник командира взвода карателей, вспоминая, сказал:

— Кристман — это фигура! Его все боялись...

Даже тогда, сидя в тюрьме, они все еще испытывали трепет, который охватил их, когда они впервые встретились с Кристманом. Это было на краю рва: они подталкивали голых людей к бровке, а Кристман кричал: «Шнелль, шнелль!» — быстро, быстро!..

Кристман был начальником зондеркоманды СС «10-а». Он принял команду в Краснодаре и прошел с ней до Мозыря, откуда его отозвали в Германию на должность начальника гестапо города Кобленца...

Все это я описал в моей книге «Бездна»: и зондеркоманду, и Кристмана, и наложницу его Томку, которую он бросил в Мозыре.

В материалах Краснодарского процесса Кристман был «искомой величиной». От него шли нити ко всем преступлениям, совершенным зондеркомандой, и каждая установленная следствием акция упиралась в него.

Тень Кристмана лежала на могильных рвах на Кубани, в Крыму, в Белоруссии и тянулась дальше, в Германию. Говорили, что он скрывается под чужим именем в Гамбурге, но потом вдруг выяснилось, что он открыто живет в Мюнхене, где у него посредническое бюро по продаже домов и земельных участков. В центре Мюнхена, на Шютценштрассе, 1, можно увидеть вывеску с его именем, исполненным в виде факсимиле...

Когда «Бездну» опубликовали в Западной Германии, Кристман купил журнал «Нюрбискерн» с главой о себе и узнал о моем существовании.

Его посадили в тюрьму, но вскоре выпустили под высокий, «шестизначный», залог до окончания следствия. Журналисты обыгрывали его имя: в переводе на русский язык Кристман означает «христианин», «Христов человек», что для людей верующих само по себе звучало кощунством.

Директор мюнхенской школы — доктор Ганс Ламм — еще в 1966 году обратился в прокуратуру, требуя разъяснений: его беспокоила проволочка со следствием, которую в Советском Союзе могли истолковать (ведь уже годы прошли!) как попытку избавить Кристмана от наказания. Доктору Ламму ответили, что ввиду исключительной сложности дело может затянуться на неопределенный срок. Раз в месяц доктор Ламм посылает в прокуратуру очередной запрос и получает один и тот же ответ: «Ввиду исключительной сложности...» Копии этих ответов доктор Ламм аккуратно пересылает мне, в последний раз он прислал с припиской: «Я не отступлю!..»

* * *

Макс прочел главу о Кристмане как раз накануне первого моего в этом году приезда в Мюнхен.

Номер журнала «Нюрбискерн» вышел одновременно с номером журнала «Эпока», который обратился с анкетой к выдающимся деловым людям Мюнхена: «Копить или тратить?» Посредник по продаже недвижимого имущества, д-р юр. Курт Кристман, отвечая на анкету, писал:

«Вот уже шесть месяцев в моем секторе царит застой, который продлится еще шесть месяцев. Между тем покупка земельного участка является наиболее рациональным размещением капитала. Таким образом, как опытный маклер, я отвечаю: не стоит копить — покупайте!»

Макс взял оба журнала и направился к Кристману. Его томило чувство недоверия, боязь разочароваться во мне, если все, что я написал о Кристмане,

окажется вымыслом, потому что он привык уважать печатное слово и столкнулся теперь с неуязвой — «недвижимое имущество» и... краснодарские рвы!

Попасть к Кристману было не просто. Он принимает не каждого, но Макс обладал репутацией состоятельного человека, который не станет беспокоить солидного маклера по пустякам: он намерен приобрести несколько домов, прилегающих к его книготорговой фирме.

Кристман развернул перед ним проекты, чертежи, обсудил условия сделки. Неожиданно Макс вынул оба журнала и спросил: как понимать, что в одном из журналов д-р Кристман изображен величайшим военным преступником, а в другом — достойным уважением деловым человеком?

Кристман подскочил в своем кресле, замахал руками, закричал:

— Все это ложь! В этом очерке нет ни слова правды! — Он вытащил из кармана толстую пачку, несколько сот марок, лихорадочно ища купюру поменьше. — Продайте мне ваш экземпляр! Я уже скупил сколько мог и всю эту дрянь уничтожил... Ради бога, не беспокойтесь о сдаче...

Макс выполнил его просьбу, отдал ему журнал, отсчитав сдачу до единого пфеннига.

Они разговорились. Оказалось, что в молодости они состояли в одних и тех же спортивных клубах... Макс подбирал к нему ключик, в нем сказала авантюрная жилка, и он стал вспоминать, как во время войны тоже пытался спастись от русских, но не смог: попал в плен.

Кристман чуть потеплел, успокоился.

Вначале темой разговора был спорт. Кристман когда-то был рекордсменом по лыжам, по конькам, по теннису, по легкой атлетике. Он и на войну пошел как спортсмен: хотел возглавить лыжный батальон войск СС на Кавказе.

Он рассказал о своих послевоенных мытарствах. В 1945 году на него обрушилась беда: его схватили американцы, поместили в Дахау, где в ожидании суда сидело в те дни много эзэсовцев. На это нестерпимо было смотреть: сотни товарищей, лучшие люди страны, сидели за колючей проволокой... Все же ему удалось бежать, с помощью надежных людей окольными путями пробраться через Австрию в Италию и там вступить в контакт с епископом Гудалом. Гудал снабдил его документами на чужое имя, и с этими бумагами он в том же сорок пятом году попал в Аргентину...

Нет, он не считает это удачей. Это позор, позор для Германии, что человек, который отдал своей стране лучшие годы, вынужден был скрываться, прятаться от суда, как преступник.

Западный мир обанкротился. Заигрывая с большевиками, он разучился ценить людей, способных спасти человечество от коммунизма. Нюрнбергский процесс был не чем иным, как уступкой большевикам, за которую еще долго придется расплачиваться... Преступления против человечности?! Существует ли большая глупость, чем эта пустая фраза? Разве преступления против человечности не совершались ежедневно, ежечасно на протяжении всей истории? Разве не совершаются они и сегодня? Да и что значит «человечность»? Кто о ней всерьез думает?...

Правда, одно время ему казалось, что мир поумнел. В 1952 году, когда холодная война между Востоком и Западом достигла высшей точки, он счел, что пора вернуться в Германию. Пришло время для развернутой и всесторонней антибольшевистской борьбы. Он был готов предоставить себя в распоряжение правительства. Напрасно! Единственное, что ему разрешили, — это открыть маклерскую контору: его де м о б и л и з о в а л и, он оказался ненужным этим безвольным, бездарным людям, которые сами себе роют могилу. Что ж, он не возражает, он даже доволен, что так получилось: немецкий народ не достоин его услуг и сам определил свою участь. Нет более отвратительного народа, чем немцы: вместо того, чтобы сплотиться в антибольшевизме, они грызутся друг с другом. Для этих ослов он не намерен больше рисковать собой. Он не требует ни наград, ни почестей. Пусть только его оставят в покое.

— Подумайте! Эти несколько месяцев — что они в сравнении с последующими двадцатью пятью годами! — эти крохотные несколько месяцев, в течение которых я спасал немецких солдат от русских партизан, мне теперь хотят поставить в вину как уголовное преступление!

Он вспомнил зондеркоманду: Краснодар, Новороссийск, Мозырь. Разве его пребывание там не было подвигом? В чужой стране, под градом партизанских пуль...

— Конечно, в зондеркоманде творились неприятные вещи, но я действовал корректно, по законам моей страны, как юрист. Скажите, какая из воюющих армий стала бы терпеть в своем тылу агентуру противника?..

Макс осторожно заметил, что все же надо признать, что Гитлер первым начал войну. Кристман оборвал его резко:

— Неужели вы не понимаете, что нас в эту войну втянули? Рано или поздно русские напали бы на Германию. Гитлер только опередил их...

Впрочем, он готов допустить, что Гитлер совершил единственную грубую ошибку, а именно — все, что он делал, он делал слишком поспешно. Он был одержим манией, ему, Гитлеру, казалось, что он должен все сделать сам, так как у него нет добросовестных и умных преемников.

За окном, на противоположной стороне улицы, темнело здание прокуратуры. Кристман кивнул на окно, усмехнулся:

— Думаю, что до процесса дело вообще не дойдет. Они копаются уже несколько лет: не могут найти доказательств, хотя русские, очевидно, послали им кучу материалов...

Своих прокуроров он, по всей видимости, не очень боялся и именно поэтому глубоко их презирал. Но сегодня ему угрожал другой враг: писателишки, интеллигенция, издерганная, развинченная молодежь из левых клубов, газеток, журнальчиков, которые расплодилось по всей стране. Эта шваль будоражила общественное мнение, сеяла смуту, составляла какие-то петиции. Неужели их не оставляют? Долго ли придется с ними считаться?

Он взял в руки журнал и раскрыл его на том месте, где была напечатана глава «Кристман».

— Я уже совещался по этому поводу с моим адвокатом. Он не советует поднимать шум, да и сам я считаю, что лучше всего промолчать. На всякий случай я переслал этот очерк в ведомство по охране конституции... Знаете, что меня больше всего огорчает из того, что насочинял этот Гинзбург? Это всевозможные истории с бабами! (Он имел в виду Томку.— Л. Г.) Зачем нужно было ворошить всю эту грязь?..

Придя домой, Макс записал:

«Я вынес впечатление, что речь идет не о простом, а о гениальном преступнике, в сравнении с которым бледнеет все, что я когда-либо читал о военных преступниках. В нем соединились такие качества, как редкая физическая выносливость, невероятная, прямо-таки взрывная энергия, дьявольская духовная изощренность, удивительная хитрость и, если так можно выразиться, лисий нюх...»

Его разговор с Кристманом воспроизведен здесь по записи, сделанной им самим для меня, «на всякий случай». Но именно с этого случая начались мои встречи¹.

* * *

Кристмана навестил и корреспондент газеты «Мюнхнер абендцайтунг» Клаус Антес.

Ссылаясь на мою «Бездну», он, по собственному выражению, «осторожно сформулировал» несколько вопросов:

¹ Отрывки из первоначального варианта этой главы были опубликованы летом 1968 года в Москве и в Берлине.

— «Верно ли то, что русская, которая называет имена служащих команды и описывает здание, где вы были расквартированы вместе с вашими подчиненными, верно ли, что она, так сказать, находилась полностью в вашем личном распоряжении? То есть что она, чтобы избежать смерти, должна была подчиниться вашим желаниям?»

Кристан с видимым возмущением:

— Это ложь! Коммунистическая пропаганда, вот что это! Честь эсэсовца никогда бы не позволила мне этого! Я не имел вообще никаких интимных связей с русскими женщинами. Меня от них тошнило!

— Верно ли, что вы однажды отправились на операцию в сельскую местность и захватили двух женщин, а затем изнасиловали их и расстреляли?

— Нет. Это просто смешно.

Акции в связи с так называемым «окончательным решением еврейского вопроса» в оккупированных областях также относились к сфере деятельности его команды. Кристан этого не отрицает, но тут же добавляет: «Я ведь прибыл в Краснодар только в 1943 году, мы уже не застали там ни одного еврея...» Он заканчивает разговор просьбой ничего не публиковать в газете, «потому что среди моих клиентов много евреев»...

Примечание Клауса Антеса:

«Это интервью было опубликовано¹, и г-н Кристан... реагировал так, как я и ожидал: длинным письмом на целые две страницы. Содержание: я порядочный человек. Обоснование: я даже ни разу не нарушил правила уличного движения...»

* * *

19 января 1968 года в Мюнхене на вечер советской поэзии пришел молодой прокурор.

Я стоял за кулисами, слушал, как читает свои стихи Винокуров и поэт Окуджава, когда ко мне подошел человек лет тридцати пяти и с вежливой прокурорской настойчивостью попросил ответить на несколько вопросов.

Прокурор вел дело Кристана, и ему хотелось узнать подробности, которые, возможно, остались за пределами книги.

Я рассказал прокурору все, что слышал о Кристане, сухо, без эмоций — одни факты.

Прокурор производил приятное впечатление: бледное, грустное лицо, озабоченное, озадаченное выражение.

— Знаете ли, — сказал он, — когда я впервые столкнулся с этим делом, у меня волосы встали дыбом... Невозможно представить себе, что человек способен на такие злодеяния.

— Но этот человек живет в Мюнхене, и окна его конторы выходят прямо на здание прокуратуры...

— Совершенно верно... И тем не менее мы столкнулись с исключительными трудностями. Юрист не может руководствоваться чувствами или просто схватить Кристана за руку. Нужны конкретные доказательства, живые свидетели. Где их взять?

Я спросил, о каких свидетелях идет речь: о жертвах Кристана или о его сообщниках.

— С жертвами действительно встретиться уже невозможно, зато сообщники... Сообщники находятся у вас под рукой, в Западной Германии: доктор Гёрц, Тримборн... Тот самый Тримборн, который по приказу Кристана задушил газом детей в Ейске...

— Да, да. Я знаю... Но где найти этот приказ?

— Разве самый факт, что Кристан был начальником зондеркоманды, которая занималась исключительно физическим истреблением людей, не является дока-

¹ «Мюнхнер абендцйтунг», 10 октября 1967 года.

зательством его вины? А его пребывание на должности начальника гестапо в Кобленце?

— К сожалению, всего этого недостаточно. Единственное звено, за которое я мог бы уцепиться, — это его непосредственное участие в убийствах, личное участие. Мы многое узнали из вашей книги, но книга не юридический документ, вы понимаете...

— Прокуратура СССР послала вам достаточно юридических документов...

— Мы долго провозились с переводом: из Москвы пришла вот такая гора!... Он улыбнулся. — Но что значат бумаги? Хотелось бы выехать на место, поговорить с людьми...

— В чем же дело?

— Ах... Тут-то и начинается бюрократия. Мы сами не имеем формального права даже вступать в переписку с советской прокуратурой. Это делается по правительственным каналам.

Он снова заговорил о деле Кристмана: называл знакомые мне по Краснодарскому процессу имена офицеров команды, переводчиков, перечислял отдельные акции.

Я спросил:

— Какого вы сами мнения о Кристмане?

— Я убежден, что это — злодей. Но от меня не все зависит. Так называемых «убийц за письменным столом» закон не привлекает к ответственности. Остается попробовать «оторвать» Кристмана от письменного стола... Посмотрим, что из этого выйдет...

— А в каком он сейчас состоянии?

— Думаю, он очень напуган.

...С эстрады мне махали рукой, звали. Я сказал прокурору, что хотел бы навестить Кристмана.

— Стоит ли?

— А что, могут быть «осложнения»?

— Едва ли... Но... Впрочем, на самоубийственный шаг он не решится. Желаю успеха!..

* * *

Винокуров не хотел отпускать меня одного: «Все-таки мы имеем дело с преступником». Договорились, что на встречу с Кристманом нас будут сопровождать корреспонденты «Мюнхнер абендцайтунг» — два молодых человека, один из которых — Клаус Антес. Придем к Кристману без всякого предупреждения, скажем, кто такие; примет — хорошо, не примет — что поделаешь?

Здание, в котором находилась контора Кристмана, чем-то напоминало угловой дом в Краснодаре, где размещалась зондеркоманда.

Мы потоптались у входа, затем поднялись на третий этаж в длинный, безмолвный, военно-полицейского типа коридор со множеством дверей, с укрепленными на кронштейнах металлическими табличками. Возле кабинета Кристмана мы остановились: Клаус Антес пошел «выяснить обстановку».

Я пытался мысленно сформулировать вопросы, которые хотел задать Кристману, но все рассыпалось, я от волнения почти перестал соображать.

Дверь отворилась, показался Клаус Антес, кивнул.

Мы очутились в приемной. За деревянным барьером две завитые дамы-секретарши с веселым любопытством смотрели то на нас, то в ту сторону, где на пороге своего кабинета стоял человек в темно-синем костюме, в синем галстуке, с тем же, что на той фотографии, вытянутым, узким лицом, только постаревший, потемневший чуть-чуть, с зачесанными назад редкими седоватыми волосами. Я узнал его в ту же секунду, как узнаешь актера, которого привык видеть на экране кино и вдруг встретил в жизни, вне роли.

Вошли в кабинет. Большое окно, стол, покрытый зеленым сукном, два-три кресла и полированный столик для посетителей.

Кристан быстро пододвинул кресла, быстрым, коротким жестом пригласил сесть Винокурова, обоих корреспондентов, мне же указал место у столика, прямо перед собой.

Мы помолчали.

Все же это было как наваждение: Кристан, я, Винокуров — в одном кабинете! Двадцать пять лет назад в Краснодаре мы могли оказаться точно в таком же кабинете, в том же составе, те же самые люди, только в совсем иной ситуации.

Кристан посмотрел на меня. В его взгляде не было ни угрозы, ни страха, ни высокомерия. Взгляд выражал деловитость.

Я не знал, с чего начать разговор, сказал то, что чувствовал:

— Вот, господин Кристан, судьбе было угодно, чтобы мы все же встретились...

Он слегка поклонился.

— Случилось так, что вы стали персонажем моей книги. Я не прокурор, не судья, юридические вопросы меня не интересуют...

Он пропустил эти слова мимо ушей: какое ему дело до того, что интересует меня? Его интересует другое.

— Господин Гинзбург! Ваша книга написана на основании свидетельств лиц, стоявших перед судом!.. — Он говорил очень быстро, пулеметными очередями: нажимал на словесную гашетку и, выпустив «очередь», обрывал речь, мгновенно смолкал, потом вновь нажимал на гашетку. — Психологически понятно, что человек, которому грозит смертная казнь, способен очернить кого угодно, чтобы выйти сухим из воды! Оговаривая меня, эти лица пытались спасти свою жизнь!..

Мне вспомнились эти лица: Скрипкин, Еськов, Сухов... Сломленные, погашшие, уже отрешенные от жизни, они меньше всего думали о Кристане и говорили о нем постольку, поскольку констатировали факты, никак не связывая его с собственной участью.

Я сказал об этом Кристану:

— Им все равно уже ничего не могло помочь. И они это знали. Заталкивание в душегубки детей, участие в массовых казнях, измена родине — во всем этом они были избалованы. Зачем же им нужно было наговаривать на вас лишнее?

Он не стал спорить, принял это замечание к сведению и пояснил:

— Господин Гинзбург! Я обращался с этими людьми чрезвычайно корректно! Я не знал никаких национальных различий! Русские добровольцы (так он именовал карателей) получали тот же паек, тот же оклад и обмундирование, что и немцы. Они носили оружие, могли меня каждую минуту убить и стать Героями Советского Союза. Логично?.. Но они не сделали этого потому, что я забился о них, как отец...

Можно было подумать, что его обвиняют в плохом обращении с карателями.

— Вы помните этих людей? — Я назвал несколько фамилий.

— Нет. По фамилиям их никогда не называли, только по именам... К тому же прошло столько лет...

— А... (я назвал подлинное имя Томки) вы помните?

На его лице отразилось нечто вроде смущения.

— Помню...

Это был его «фронтной роман», противозаконная, не предусмотренная служебной инструкцией связь, единственное — для него самого — пятнышко на безупречной его биографии.

Он нажал на гашетку:

— Господин Гинзбург! У меня не было другой возможности сохранить этой женщине жизнь!.. Их взяли двоих: ее и еще одну учительницу. По всем законам я должен был их расстрелять. Но я нашел выход: предложил им вступить со мной

в сотрудничество, стать моими агентами. Учительница отказалась, ее расстреляли. Другая дала подписку и осталась жива.

Он умолял, на секунду предавшись воспоминаниям.

— Объективность требует признать, что с точки зрения советских законов особой вины за ней не было: она вела себя крайне пассивно...

— Состояла при вас?

Он сделал вид, что не понял вопроса.

— Господин Гинзбург! Я выходец из мирного Зальцбурга, города, в котором родился Моцарт...

Сейчас ему предстояло разрушить созданный мной «образ Кристмана», и он старался вовсю.

— Я зальцбуржец, господин Гинзбург, и это кое-что значит! Я жил в мирном Зальцбурге, работал начальником гестапо...

(Передо мной возник тихий, идиллический городок и его обитатели: почтальон, парикмахер, кондитер, начальник гестапо...)

— Когда началась война, все мои товарищи оказались на фронте. Что было делать? Отсиживаться в тылу? Я обратился к Гейдриху с просьбой направить меня в действующую армию. Охотней всего я возглавил бы батальон горнолыжных стрелков для борьбы против партизан на Кавказе. С детства я увлекался лыжами. Но до Кавказа мы не дошли. Так я попал в Краснодар. Я принял команду от Зецеца в чрезвычайно запущенном состоянии: не хватало людей, оборудования, транспортных средств. Фактически мне пришлось формировать команду заново. Я объезжал лагеря для военнопленных, беседовал с полицейскими, со старостами — лично набирал добровольцев...

Он отчитывался, искренне не видя в своих действиях ничего дурного, а напротив, нечто заслуживающее если не похвалы, то понимания во всяком случае.

— Господин Гинзбург! Я полюбил этих людей, этих русских. Они вели такую фольклорную жизнь... Некоторые имели при себе жен... Иногда я приходил к ним, слушал их песни...

Корреспондент хмыкнул. Кристман взглянул на него с нескрываемым отвращением: «Предатель!..»

— Господин Гинзбург! В одном вы должны мне поверить: я люблю Россию, люблю русский народ! Это, — он говорил со всей убедительностью, — здоровый, сильный, свежий народ, полная противоположность... — он снова посмотрел на корреспондента, — декантскому Западу!

Я сказал:

— Откуда вы знаете русский народ? Вы имели дело не столько с русским народом, сколько с его предателями, с кучкой отщепенцев. Русский народ сражался против вас на фронтах, в партизанских отрядах...

— Все равно... Если бы мы были вместе... — сжав кулаки, он приставил их вплотную друг к другу, — если бы мы были вместе, мы могли бы завоевать весь мир. В том числе и Америку!..

— Итак, любя русский народ, вы уничтожали русских людей в душегубках? Детей, женщин...

Он огорчился. Опять ему докучали этими душегубками, о которых он уже неоднократно давал устные и письменные показания.

— Детей я там ни разу не видел... Женщины? Женщины иногда попадались: партизанки, подпольщицы. Но лично я не имел к газовому автомобилю никакого касательства, этим занимались мои подчиненные. Как только затевалась подобная акция, я тут же отправлялся на вылазку против партизан, в лыжный поход...

— Следовательно, вы были плохим шефом зондеркоманды?

— Важно было остаться человеком...

Все, что он мог сказать, было известно заранее. Сколько приходилось читать о комендантах лагерей, которые «никогда не бывали» на территории лагеря, о палачах, которые «не убили» ни одного человека, о доносчиках, которые писали

доносы, полагая, что «служат отечеству»! В этом отношении он был настолько банален, что я уже начал утрачивать к нему интерес...

Кристан между тем продолжал:

— Машина — я имею в виду всю систему — была пущена в ход до меня. — Руками он изобразил вращение колес. — Остановить ее было не в моих силах. Единственное, что я мог, — спасти отдельных людей. И я это делал...

Он уже не заботился хотя бы о видимости правдоподобия. Я сказал:

— На Краснодарском процессе одного из ваших подчиненных спросили, что он может сказать о вас как о человеке. Помню его дословный ответ: «Что я могу сказать о его внутренних качествах, если он имел высокое звание доктора юридических наук, а занимался такими делами и не избегал хотя бы того, чтобы самому не расстреливать?»

Кристан моргнул, движением ресниц как бы смахнул это слово «расстреливать» и сказал:

— Да, я стрелял... На то и война, господин Гинзбург! На войне стреляют... Но я стрелял только в бою. Там не видно, в кого стреляешь. В затылок, в упор я никого не расстреливал. И потом это нелепое обвинение, будто я взорвал здание зондеркоманды, где находились арестованные! Здание зондеркоманды не было взорвано, клянусь вам!

Клаус Антес спросил:

— Может быть, это сделали солдаты вермахта?

Кристан тут же ухватился за эту версию:

— Да, да... Очень возможно... После того, как мы покинули город. Эти сапёры всегда занимались бессмысленными разрушениями. Знаете, однажды...

Хватит. Все было ясно. Я встал.

Кристан подошел ко мне вплотную и, глядя прямо в лицо, выпустил последнюю очередь:

— Господин Гинзбург! Я семь лет скрывался в Аргентине. Я был простым рабочим (он устанавливал со мной «классовый контакт»)... Я вернулся в Германию без гроша в кармане, с двадцатью тысячами марок долгов... (Кто мог одолжить ему эти двадцать тысяч?..) Своими руками (он показал свои руки), я... создал эту контору, буквально из ничего, на голом месте... Мое предприятие знает весь город... У меня лучшая клиентура... И вот меня таскают по прокурорам, допрашивают, я внес огромный залог... Я нахожусь под надзором полиции... Думаете, мне легко?! Сколько это может длиться, господин Гинзбург? Война давно уже кончилась, пора научиться жить в мире. Людям, наконец, нужен покой... Я был очень рад познакомиться с вами. Искренне рад... Прошу мне поверить.

На лестничной площадке, около лифта, он догнал нас (тут я впервые обратил внимание на его семенящую походку и несоразмерные с удлиненным туловищем и вытянутым лицом пружинистые, короткие ноги, которые делали его маленьким, низкорослым) и, взяв меня за отворот пальто, быстро, как-то радостно зашептал:

— И эта история с двумя школьницами, которых якобы я изнасиловал и расстрелял, тоже не соответствует истине! Неужели я стал бы это делать на глазах у моих подчиненных? Это абсурд!

Он заискивающе смотрел мне в лицо. Нужно было что-то сказать. Неожиданно для себя самого я спросил:

— А как вы находите, господин Кристан, правильно ли я описал вашу зондеркоманду?

Он призадумался:

— Как вам сказать?.. Много, конечно, раздуто, преувеличено... Но в целом написано очень живо... Читается с большим интересом.

...Мы вышли на запруженную людьми улицу. Шел снег. На противоположной стороне чернело громоздкое, куполообразное, похожее на храм, здание прокуратуры.

Потом мы увидели плакат: «1917—1967. 50 лет Октябрьской революции. Советская фотовыставка». Было 24 января 1968 года.

Возле плаката толпилась группа молодых людей из «Мюнхенского союза школьников»: озябшие, с посиневшими лицами, в дешевеньких стандартных пальтишках. В руках они держали фанерные щиты: «Долой мини-юбки!», «Долой мини-мысли!» Девочка-школьница с сигаретой в зубах совала прохожим листовки. Бородатый юноша кричал в микрофон:

— Требуйте отмены цензуры на школьные газеты!..

IV

В ноябре 1968 года я прочитал предыдущую главу Максу, и он обрадовался, найдя в ней себя, хотя, как он сказал, после опубликования отрывка в Восточном Берлине у него мало шансов на то, что Кристман его оставит в покое: наверняка подговорит кого-нибудь начать против него кампанию, пустит слух, что он «красный», тем более что Макс, вернувшись из Москвы, напечатал в одной из газет дружественную нам заметку. Ничего особенно «красного» в этой заметке, конечно, не было: просто Макс описывал, с каким радушием его принимали в Москве, где он посетил несколько школ, в которых изучают немецкий язык, побывал в двух издательствах и убедился, что при наличии доброй воли существуют реальные возможности для взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом, «странами восточного блока» и ФРГ хотя бы в области культуры...

Кое-какие тучи над ним все же сгущались. В один из дней из Ганновера Максу возвратили партию учебников географии за то, что на карте Европы граница между ГДР и Польшей была обозначена по линии Одер—Нейссе. В письме, приложенном к посылке, учитель гимназии д-р Фабингер писал:

«Настоящим имеем честь возвратить Вам выпущенные Вами учебники... Разумеется, не может быть даже речи о каком-либо их использовании, особенно теперь, когда мы прочитали Вашу заметку, в которой Вы, среди прочего, осмелились нагло потребовать от немецкого народа признания границы по Одере—Нейссе.

Советуем Вам в дальнейшем поискать себе заказчиков среди польских и советских коммунистов, чьи разбойничьи претензии для Вас, очевидно, существеннее, чем жизненные интересы Вашего собственного народа...»

Однако и в данном случае Макс попросил меня не придавать этому письму слишком большого значения, так как в любой стране, в любом обществе существует несколько слепых, одержимых своей идеей, безмозглых фанатиков.

— Меня, — сказал он, — гораздо больше интересует, как обстоят дела у нашего Кристмана. Я не думаю, что прокуратура о нем забыла, и пока вы тут переписывали это дурацкое письмо, я уже успел связаться по телефону с господином главным прокурором, который с удовольствием вас примет и даст вам все необходимые разъяснения. Вы не находите, что это благоприятный симптом?..

* * *

Здание мюнхенской прокуратуры с его черным в прозелени куполом снаружи напоминало храм — дворец юстиции, типичный для старых немецких городов. Я уже составлял в голове роскошную очерковую фразу: «...чем-то сумрачным, средневековым веяло от этих стен, за которыми обитала угрюмая старогерманская Фемида...», — когда вдруг очутился в светлом современном помещении, похожем скорее на редакцию газеты: длинные просторные коридоры, освещенные круглыми лампами-иллюминаторами; полураспахнутые двери кабинетов, где за телефонами, за пишущими машинками — молоденькие в модных свитерах сотрудницы; молодой бородач в красном джемпере, склонившийся над заваленным бумагами письменным столом... Правда, два-три посетителя, уныло, как в зубной поликлинике, сидевшие перед той или иной дверью, несколько нарушали этот жизнерадостный стиль...

Главный прокурор — крупный лысоватый мужчина лет пятидесяти с небольшим — принял меня со сдержанной любезностью, по-деловому, но без малейшего проявления какой бы то ни было враждебности, хотя я ему, наверно, немало досадил своими статьями. Он сказал, что дело Кристмана связано с серьезными трудностями и что всякая помощь со стороны Москвы была бы крайне желательной.

Он вызвал своего помощника — тщательно причесанного и столь же тщательно одетого рыжего господина с белоснежным платочком, торчащим из нагрудного кармана пиджака, с дорогим перстнем на рыжем, прокуренном пальце (главный прокурор был одет скорее небрежно — большой мешковатый пиджак, мятые брюки), — и помощник, закулив (главный прокурор не курит) и пуская колечками дым, не без апломба, тоном, которым он привык разговаривать с потерпевшими, домогающимися справедливости и «возмещения ущерба», извещил меня о том, что прокуратура предприняла все необходимые меры для установления истины, однако сам Кристман продолжает отрицать какое-либо личное участие в зверствах, признавая лишь общее руководство зондеркомандой и участие в боевых операциях против партизан...

Я задал тот же вопрос, что в январе: не служит ли уликой сама должность, которую занимал Кристман? Ведь доподлинно известно, чем занимались зондеркоманды, и СС «10-а» ни в коем случае не была исключением. Я рассказал о бесчисленных черепах и скелетах, которые видел при эксгумациях в районе Краснорада, Новороссийска, Анапы...

— Это все курортные места, — сказал я. — Представьте себе картину: подходит экскаватор и вдруг из-под земли, покрытой виноградниками, цветами, зеленью, начинают возникать простреленные черепа, скелеты. Где ни копнешь — черепа и скелеты, как если бы там было огромное, в сотни километров, кладбище... Это ли не «вещественные доказательства» вины Кристмана! Но самое страшное, что эти «вещественные доказательства» когда-то были лю д м и...

— Совершенно верно, — ответил главный прокурор, — они были людьми, и все это ужасно. Никто так не ненавидит эсэсовцев, как мы, немцы, за то, что они опозорили всю нашу нацию. Многие послевоенные проблемы, очевидно, удалось бы решить с меньшими трудностями, если бы не эти преступления, которые потрясли сознание всего мира. Но суд есть суд, и сами по себе черепа, о которых вы говорите, еще ничего не значат. Важно установить, к о м у принадлежали эти черепа и какое отношение к ним имел Кристман. Если он даже и убивал этих людей лично или отдавал приказы об их уничтожении, мы должны установить, к е м были эти люди...

Я не совсем понимал, о чем идет речь, и помощник главного прокурора пояснил:

— Закон различает два вида убийства: «Totschlag» и «Mord». Так называемый «Totschlag» — уничтожение партизан, членов подпольных групп, диверсантов, саботажников — погашен сроком давности. Здесь все конечно, и разговор в этом случае вообще отпадает. — Он сделал резкое движение рукой. — Другое дело — «Mord». На него давность не распространяется. — Он мягко улыбнулся и округлым движением погладил воздух, как бы лаская этот самый «Mord», еще не отнятый у него законами и еще «принадлежащий» ему.

— Что значит «Mord»? — спросил я, поскольку в словаре и «Totschlag» и «Mord» означают одно и то же: убийство.

— «Mord», — попытался растолковать главный прокурор, — есть тот же «Totschlag», то же убийство, но совершенное из низменных или корыстных побуждений, из страсти к убийству, а также особо жестоким способом...

— Тогда выходит, что повешение партизан не есть убийство, совершенное «особо жестоким способом», «из низменных побуждений»? Но из каких побуждений — из низменных или «высоких» — нацисты замучили и казнили тысячи патриотов, борцов Сопротивления, в том числе детей, участвовавших в борьбе против оккупантов?

Помощник вновь закурил и после долгой паузы ответил:

— Вы говорите о юных подпольщиках... Но проблема эта имеет две стороны. Так называемые «юные патриоты» занимались диверсиями, поджогами, иногда шпионажем. Можно понять, что для вас эти дети — национальные герои. И мы тоже готовы склонить головы перед их памятью. Но для какого-нибудь Кристмана эти дети были врагами, и он поступал с ними, как ему полагалось поступать в отношении врагов в районе военных действий. Представьте себя на минуту адвокатом Кристмана, и вы тут же обратите на это внимание. Теперь вы понимаете, как сложно квалифицировать вину того или иного преступника...

— Я все же хочу, чтобы вы усвоили разницу, — сказал главный прокурор. — Когда убивают человека только за то, что он, допустим, еврей или цыган, тогда это «Mord». Когда же убивают коммуниста, уличенного в антигерманской деятельности (не важно, кто он — пусть даже немец), тогда это типичный «Totschlag». В этом отношении квалификация убийства тех же цыган, которые, бродяжничая в прифронтовой полосе, нередко занимались шпионажем в пользу противника, представляет особую юридическую трудность. Короче говоря, «Mord» означает убийство по религиозным, расовым или другим подобным мотивам, не связанным с какими-либо осознанными антигерманскими действиями со стороны убиваемых. Например, уничтожение людей по типу геноцида или убийство умалишенных, признанных неполноценными детей, стариков и так далее.

— Хорошо. Но вот на Краснодарском процессе всплыл эпизод расстрела военнопленных. Что это: «Mord» или «Totschlag»?

— Смотря из каких соображений их расстреляли.

— Да просто потому, что эти люди были крайне истощены и не могли больше работать в лагере...

— Ах, — устало сказал главный прокурор, — но как вы докажете, что это были не саботажники?..

Я сказал, что для десятков тысяч вдов, сирот, матерей, которые знают историю Кристмана, непостижимо, что его дело тянется столько лет... В конце концов Кристман так и умрет, не дождавшись окончания следствия.

— Вы считаете, что это так плохо? — спросил рыжий помощник, едва заметно мне подмигнув. — Если он в один прекрасный день умрет, неужели вы станете огорчаться? Одним мертвым фашистом больше — это, по-моему, для нас с вами не так уж плохо...

— Дело не в мести. Люди хотят справедливости...

— Ах! (Оба прокурора уже начали терять терпение.) Мы же объяснили вам, что справедливость — а на юридическом языке установление истины — и составляет самую главную трудность в этом деле. Где люди, которые могут подтвердить, что Кристман лично расстреливал детей? Таких людей я не знаю. Где приказы, под которыми стоит его подпись? Их нет в нашем распоряжении. (Этот прокурор мог бы стать превосходным адвокатом.) Я не могу выйти в суд, не имея достаточных доказательств: защита меня просто сомнет...

Снова начался разговор о материалах, поступивших из Москвы, и о необходимости провести дополнительное расследование на месте.

— Если вы сможете передать нашу просьбу господину Генеральному прокурору СССР, мы будем вам крайне признательны... Мы вручим вам письмо... Хотя, впрочем, это лучше сделать в официальном порядке...

— Когда же вы все-таки рассчитываете закончить следствие?

— Не раньше чем через год. Но не думайте, что мы сидим сложа руки... Вы помните ликвидацию детского дома в Ейске? Ну да, вы же сами об этом писали! Вот здесь никаких неясностей нет: дети есть дети... Можем вас обрадовать: один из ваших персонажей — сотрудник Кристмана — уже сидит у нас под замком... Личность, кстати, преотвратительная... К концу будущего года состоится процесс...

* * *

Я вдруг представил себе этот процесс. Наверно, на скамье подсудимых окажутся Кристман, Тримборн («личность, кстати, преотвратительная») и доктор Гёрц, который в зондеркоманде ведал душегубкой, возглавлял расстрел таганрогских евреев и уничтожение больных туберкулезом ейских детей. Этот последний эпизод, как наиболее впечатляющий, будет на процессе центральным. Заранее знаю, о чем будет говорить прокурор: о невинных жертвах, о совести, о достоинстве нации, которую эти люди преступно запятнали. Он будет говорить о человечности и о той акции в осенний день 1942 года в Ейске (который он на немецкий лад назовет «Яйском» и до которого ему нет никакого дела) и об абстрактных «яйских» детях...

Я представляю себе этот многомесячный процесс и как старик Тримборн (который не был тогда стариком), как этот старик будет «тянуть», как станут откладывать заседания из-за его болезни, как он начнет демонстрировать провалы памяти и наконец расскажет, что действительно дал приказ загружать душегубки, которые он «честно» принимал за автобусы, но что приказ о подключении шланга к выхлопной трубе им отдан не был, и ни в одном архиве нет такого приказа, и что если дети погибли, то произошло это оттого, что шланг к выхлопной трубе подсоединили другие, возможно шоферы, но только не он...

И если даже найдут шоферов, то они скажут, что не они подсоединяли шланг, это сделал кто-то из конвоиров: шоферы шлангов не подключают, шоферы водят машину по назначенному маршруту, а кого они везут и что происходит внутри кузова — это их не касается. А потом выступит адвокат, и он будет говорить об исторической вине человечества и о бомбардировке Дрездена, о Хиросиме и Нагасаки, назовет цифры погибших в двух мировых войнах, и среди этих цифр затеряются двести сорок маленьких детей из города Ейска...

Гёрц в последнем слове будет рассказывать о том, как он жил и что делал после войны, как служил представителем торговой аптекарской фирмы, а что касается Ейска, то этого не могло быть, так как он по профессии врач, медик, и как врач не должен был руководить акцией.

Кристман же скажет, что к тому времени, когда он прибыл в Краснодар, все акции против гражданского населения уже закончились и он воевал только с партизанами.

И когда вынесут обвинительный приговор (если только он не будет оправдательным), трех стариков отправят на несколько лет в тюрьму, и служитель очистит помещение от публики, и всем будет скучно, так как все это ужасно надоело. И будет казаться абсурдом, что доктор Кристман, доктор Гёрц — интеллигентные, в сущности, люди — почему-то, по чьей-то прихоти, занимались такими непотребными делами. И все скажут: вот что значит война, слепая дисциплина, необходимость подчиняться приказам. И кто-то спросит кого-то: «А как бы вы поступили, если бы вам приказали?..» И кто-то скажет: «Не знаю». И все разойдутся с чувством легкого удовлетворения оттого, что им ничего такого не приказывали... И если бы в этом зале собрались все те, с которыми я встречался, и те, с которыми мне еще предстоит встретиться, — все, все считали бы, что уж они-то, слава богу, в данном случае ни при чем, уж они-то этого не хотели и что, наверно, виноват во всем Гитлер.

Но если бы удалось воскресить Гитлера и привести его в этот зал, то он мог бы сказать, что он не то что не отдавал приказ о ейском детдоме, он даже такого названия «Ейск» не слышал никогда в жизни и что, возможно, об этом знал Кальтенбруннер. И все подумают: ах, чего там разбираться, столько лет прошло, все это уже не имеет практического смысла. И только мой «Фридрих Вагнер» скажет, что этот суд выгоден врагам Германии и что судьи и правительство идут на поводу у врагов своей родины. И если воскресить ейских детей, то они растерянно оглянутся по сторонам и никого не узнают в лицо, потому что за двадцать шесть лет все ужасно постарели и только они как были детьми, так детьми и остались...

V

Про Еву Браун почему-то одно время говорили, что она артистка, кинозвезда, и когда у нас на экран вышел без титров трофейный фильм «Девушка моей мечты», многие были уверены, что главная героиня и есть Ева Браун. Но это была не она, а известная австрийская актриса Марика Рёкк. Другие рассказывали, что Ева Браун была натурщицей в фотоателье, что также не соответствует истине, хотя она действительно долгие годы, почти до самого конца, служила в мюнхенском фотоателье Генриха Гофмана, правда, не натурщицей, а коммерческой сотрудницей, чем-то вроде экономиста: ведала оптовой продажей открыток.

В этом ателье Ева и познакомилась с Гитлером еще в 1929 году; ей было семнадцать лет, ему — сорок, и кто такой Гитлер, а главное — кем он станет, она, конечно, тогда не знала и не могла знать. Гитлера ей впервые представили как «господина Вольфа», по его подпольной кличке, он приезжал к Гофману по каким-то ей непонятным и неизвестным делам (Гофман тайно состоял в нацистской партии), и этот господин Вольф играл на рояле Верди и Вагнера... Он приходил в кожаном пальто, в широкополой фетровой шляпе, с плеткой в руке: плетка была его талисманом. И все это вместе взятое: Верди, рояль, плетка, кожаное пальто, а главное «мерседес» с шофером, который ждал его у подъезда, — производило на молодую девушку сильное впечатление.

Еще не так давно она воспитывалась в монастырском пансионе: была недурна собой, но своенравна, капризна и училась неровно, скорее плохо, чем средне, предпочитая наукам и церковной службе — увлечение джазовой музыкой и американскими боевиками... Словом, воспитанница Браун никак не была гордостью своего пансиона, и когда она окончила выпускной класс, директриса рассталась с ней без всякого сожаления.

Так фрейлейн Браун вышла в жизнь, и первым, кто встретился на ее пути, был «господин Вольф» — энергичный, галантный и немного загадочный, как в кино... Эта ее малопристойная и бесперспективная связь весьма опечалила учителя профессиональной школы господина Фрица Брауна. Отец трех дочерей (Ильзы, Евы и Гретль), он желал для своих детей лучшей участи. Не говоря уже о разнице в возрасте, Гитлер был отнюдь не самым подходящим человеком, который мог бы составить счастье его дочери. Вечно занятый политикой, он был часто невнимателен к Еве, надолго исчезал, заставляя ее тяжело страдать и мучиться ревностью. Видимо, в его намерения вообще не входило когда-либо жениться на Еве. Он утверждал, что политик не имеет права связывать себя узами брака, а однажды не без торжественности объявил, что уже женат на... Германии!

Фриц Браун не считал эти отговорки и объяснения сколько-нибудь удовлетворительными, полагая, что порядочный человек не должен злоупотреблять чувствами несмышленной, лишенной жизненного опыта молодой девушки. Таким образом, господин Браун (правда, в личном плане) мог бы назвать себя «противником Гитлера». И когда Гитлер, сделавшись фюрером, так и не оставил свои ухаживания, а, напротив, даже снял для Евы и ее сестры Гретль отдельную квартиру, куда он навещался, приезжая из Берлина в Мюнхен, папаша Браун обратился к нему со следующим письмом:

«Мюнхен, 7 сентября 1935 г.

Глубокоуважаемый господин рейхсканцлер!

Мне крайне неприятно затруднять Вас делами личного характера, а именно теми огорчениями, которые я испытываю в качестве отца семейства.

У Вас, как у вождя немецкого народа, совсем иные заботы, разумеется, куда более важные, чем мои. Но поскольку семья является самой маленькой, однако самой надежной ячейкой, из которой произрастает здоровое и достойное уважение государство, я чувствую себя вправе просить Вас о помощи.

Моя семья в настоящее время расколота на части ввиду того, что обе мои дочери — Ева и Гретль — переселились на предоставленную Вами в их распоряжение квартиру, и я, как глава семьи, оказался поставленным перед фактом.

Конечно, я и в прошлом неоднократно упрекал Еву, когда она возвращалась домой значительно позже конца рабочего дня, ибо я считал, что молодая особа, интенсивно проработав восемь часов, не может обойтись без разрядки в семейном кругу для того, чтобы сохранить здоровье!

Кроме того, я, может быть, несколько старомоден в своем воззрении на мораль: только после вступления в брак дети уходят из родного дома, из-под контроля родителей. Таковы мои представления о чести. Я уже не говорю о том, что очень тоскую без моих девочек.

Я был бы Вам в высшей степени признателен, господин рейхсканцлер, за благосклонное участие к моему делу и заключаю просьбой не поощрять в дальнейшем тягу моей хотя и совершеннолетней дочери Евы к самостоятельной жизни и склонить ее к возвращению в лоно семьи.

С величайшим уважением

Фриц Браун».

Это письмо, как и некоторые другие сведения, я почерпнул у американского журналиста Нерина Гана, книгу которого «Ева Браун-Гитлер» в Западной Германии достать почти невозможно: то ли ее раскупили мгновенно в отличие от других, более серьезных книг, то ли продают ее из-под полы, как в «дрожернях» продают некие предметы интимного пользования. Не каждый книготорговец решится открыто выложить эту книгу на прилавок: кто — боясь прослыть в глазах общества нацистом, кто — антинацистом, не каждый покупатель отважится эту книгу спросить, хотя наряду с сенсационными пикантностями в ней содержится целый ряд заслуживающих доверия документов.

Сам Нерин Ган был когда-то узником Дахау, вышел из лагеря 29 апреля 1945 года и, узнав, что именно в этот день состоялось бракосочетание Евы Браун с Гитлером, увидел в этом таинственную взаимосвязь событий и «перст судьбы».

Я с трудом раздобыл его книгу в библиотеке института современной истории, где мне в «порядке исключения» и «под честное слово» выдали ее на один вечер, вернее на одну ночь, имея в виду, что мне предстоит встретиться с живущими в Мюнхене сестрами Евы.

Меня эти встречи интересовали главным образом с психологической точки зрения: что это были за люди, которые составляли ближайшее интимное окружение Гитлера, какими глазами они на него смотрели тогда и как они оценивают прошлое сейчас?

* * *

Младшая сестра Евы Браун — Гретль — жила на Агнесс-Бернауэрштрассе, в доме без лифта, на четвертом этаже.

Макс позвонил, дверь приоткрыла женщина лет пятидесяти, но еще молодая и поразительно похожая на Еву: только черты лица — позлее, порезче, с хищноватым носиком и возбужденным взглядом хищноватых, расширенных глаз. Можно было подумать, что это и есть Ева, постаревшая на двадцать пять лет.

Из квартиры тянуло теплом и духами.

Макс робко стал объяснять, что поэт из России, переводчик, хотел бы...

Бывшая фрейлейн Браун, а теперь фрау Белугхоф пронзительно закричала, что ничего не хочет об этом слышать, «ну вас всех к черту, пусть этим занимается Ильза», а она плевать хотела на поэтов, переводчиков, журналистов и «на всю эту историю».

— Курт! — позвала она. — Курт! Иди объясняйся!..

Она была в брюках, с сигаретой; нервно затянувшись, она быстро ушла, потом вновь появилась, потом снова убежала куда-то...

Курт — мирный, лысый, пожилой человек в подтяжках, затравленный своей нервной супругой, — не впуская нас в квартиру и преграждая нам вход, стал чуть ли не умолять нас оставить их наконец в покое.

— Поверьте, — сказал он, проведя пальцем около подбородка, — мы сыты этим Гитлером вот так!.. Мы не имеем ничего общего с политикой, честное слово! Обратитесь, пожалуйста, к Ильзе, она вам охотно поможет...

— Курт! — вновь закричала из глубины квартиры бывшая фрейлейн Браун. — Ильза у телефона. Она примет их в воскресенье в одиннадцать...

— Да, да, она примет вас, — попытался утешить нас Курт. — Она ведаёт всем этим хозяйством...

— Да уберётесь ли вы отсюда ко всем чертям? — крикнула Гретль, снова показываясь в дверях...

Никогда я не думал, что увижу эту женщину, судьба которой так тесно переплелась с судьбой Гитлера.

* * *

В 1936 году Ева и Гретль жили в Мюнхене в особняке, который купил для них Гитлер, на Вассербургштрассе, 12 (теперь эта улица называется Дельфтштрассе). Ещё жив старик почтальон, который помнит двух молодых девушек: «Они получали множество писем из Берлина...»

Иногда тайком, стараясь быть никем не замеченным, сюда приезжал Гитлер, но его «замечали», и в дом 12 в прорезь почтового ящика неизвестные люди время от времени подбрасывали прошения, жалобы, просьбы об амнистии или помиловании. Сестры относились к этому с большим неодобрением: они считали, что государственные дела их не касаются, хотя во всех этих прошениях речь вовсе не шла о государственных делах, а о человеческом горе, нужде и несправедливости. Но они уже отгородили себя психологическим барьером от страданий людей, тщетно взывавших к их помощи. Гитлер и без них должен знать, что происходит, и разве не было бы с их стороны бесстыдством и бестактностью злоупотреблять своей близостью к фюреру, обременяя его мелкими просьбами неведомых людей, которые думают только о себе и не в состоянии охватить своим умом высшие государственные интересы?..

Дом, подаренный Гитлером, примирил Еву с родителями.

Вскоре последовал ещё один подарок — овчарка Баско, а затем и три пуделя: Негус, Катушка и Штази.

В доме все время визжали пудели, выла овчарка...

Девять лет спустя Негус погиб в Берлине от осколка советской гранаты, а Штази, подобно многим гитлеровским главарям, кинулся на юг, в американскую зону, проник в Мюнхен и оказался в доме на Вассербургштрассе: там уже не было никого, кроме двух-трех подвыпивших американских солдат. Кто-то из соседей узнал пуделя фрейлейн Браун, кинул ему кость, но в ту же ночь Штази бесследно исчез.

Портрет этого Штази, писанный маслом и помещённый в золоченую раму, я увидел в квартире у старшей сестры Евы Браун — Ильзы, когда пришел к ней в назначенный срок, в воскресенье в одиннадцать.

* * *

Это была очень тесная, уютная двухкомнатная квартира, вся увешанная картинами, в основном натюрмортами и уже упомянутым изображением Штази.

В углублении шкафа, словно в алькове, стояла фотография Евы с прикрепленной к верхнему углу красной розочкой...

Как и следовало ожидать, разговор поначалу налаживался с трудом, несмотря на все предпринятые Максом усилия: он и коробку конфет захватил, и цветы преподнес, и, конечно же, упомянул, что «русский поэт-переводчик — ни в коем случае не журналист — крайне интересуется...».

Хозяйка резко отодвинула коробку с конфетами, сунула в вазу цветы и предложила нам выпить. Мы отказались. Она поставила перед собой большую бутылку коньяка «пико» и уже пила непрерывно из большого стакана светлого стекла, извинившись, что без этого «пико» ей трудно говорить: привычка. Кроме того, она непрерывно курила, щелкая своей латунной зажигалкой.

Она была в голубом вязаном платье, в белых босоножках, густо напозаженная, с крашеными светлыми волосами... Впрочем, все эти «детали», к которым я

приглядывался, не имели особого значения. Просто перед нами сидела немолодая одинокая женщина, сильно потрепанная жизнью, к тому же, как последовало из дальнейшего разговора, находящаяся в стесненных материальных обстоятельствах.

Говорила она очень нервно: видно, привыкла за долгие годы объясняться, доказывать, биться за свою жизнь. Сейчас она раздобыла себе место секретарши, хотя когда-то была журналисткой.

— Но какая газета возьмет на работу свояченицу Гитлера и сестру Евы Браун? Кто станет печатать мои статьи? Свобода слова существует у нас только на бумаге!.. Попробуй что-нибудь написать или выпустить правдивую книгу: ее сейчас же запретят. Почему нет на прилавках книги Гана?!— Она зло посмотрела на Макса, который уже начал ее жалеть и смущаться, прикидывая, нет ли тут действительно какой-либо несправедливости.— Если бы вы знали,— сказала она, обращаясь ко мне,— какой поднимается шум, как только выходит серьезная книга, объективные воспоминания о прошлом, мемуары...

Я хотел было приступить к вопросам, заверив ее, что меня не интересуют пикантные подробности, а только правда, но она, взглянув на меня с недоверием и неприязнью, безнадежно махнула рукой:

— Да, да, все это я слышала десятки раз. Кто только у меня не бывал! И англичане, и американцы, и французы — и все обещают писать только правду, говорят, что хотят знать лишь объективную истину, а потом фабрикуют грязные, оскорбительные статьи, порочащие нашу семью, память моей сестры, меня лично... Да и этот Ган тоже хорош!.. Речь идет о большой человеческой трагедии, о чем-то, не имеющем ничего общего с политикой, о слепой любви, которая кончилась так печально.. Но я счастлива, что моя сестра покончила с собой, ушла из жизни вместе с ним: страшно подумать, что бы ее ожидало, если бы она осталась жива! Госпожа Геринг, госпожа Риббентроп до сих пор подвергаются бессовестной травле: вот вам — двадцатый век!.. Но в чем мы виноваты? Была молодость, была жизнь, кто мог предположить, что все так обернется?.. Да, да, я знаю, сейчас вы начнете говорить о лагерях смерти, о Дахау, об уничтожении невинных людей. Но если все это и на самом деле имело место в действительности в таких размерах, как об этом пишут, неужели вы думаете, что мы имели об этом хоть малейшее представление?! Я восемь лет проработала у еврейского врача, вела у него прием и относилась к нему с огромным почтением, с преклонением даже. В чем дело?.. Конечно, я могла понять националистические предрассудки Гитлера, которые исходили из его убеждений. В Мюнхене не было ни одного крупного профессора-немца! Это был клан, замкнутый круг, в который немцу трудно было проникнуть... Но дело не в этом... Это не имеет никакого отношения к моей сестре. Поймите: она просто любила этого человека, любила, вот и все...

— Вы сами когда-нибудь видели Гитлера? — начал я осторожно.

— Конечно Много раз. Бывала у него...

— Какое он производил впечатление?

— Пожалуй, благоприятное. Это был корректный и мягкий человек, во всяком случае в частной жизни. Политика меня не интересовала, кстати, я никогда не состояла в НСДАП, так же как и Ева. В отличие от нашего канцлера Кизингера...

— Но приходилось вам хотя бы раз говорить с Гитлером о том, что творится в Германии? Ведь вы жили не в изолированном мире, а среди обычных людей... И не могли не видеть, не слышать...

— Да, было два случая, когда я с ним пыталась говорить на эти темы, не думайте, что я все время молчала, как рыба... Но вообще Гитлер не допускал, чтобы мы, женщины, вмешивались в его дела, он этого терпеть не мог и не прощал никому, даже близким. Помню, как Генни Гофман, жена Шираха, — это было уже во время войны — сказала Гитлеру, что видела эшелон с депортированными: эти люди выглядят ужасно, они, видимо, находятся в жутком

положении, это просто недостойно нас, немцев, что творятся такие вещи... Гитлер ничего не ответил, резко повернулся и вышел из комнаты. На следующее утро Генриэтту под каким-то предлогом выпроводили из Берхтесгадена. Это был урок для всех нас... В другой раз я спросила Гитлера, что происходит с католиками, отчего такие гонения на церковь? Он подвел меня к глобусу и сказал: «Смотри, дитя мое. Видишь, это — Европа, крохотный кусочек: Германия, Италия, Франция... А это — весь остальной мир: буддизм, ислам, которые не имеют ничего общего с христианством. Стоит ли обращать внимание на мелочи?..» Моя сестра была резко настроена против таких разговоров и вопросов, она меня однажды предупредила: «Имей в виду: ни слова о политике. Мы здесь не для того, чтобы руководить государством. Если фюрер отправит тебя когда-нибудь в концлагерь за твой длинный язык, не надейся, что я стану тебя выручать»...

Это было примечательно: в доме Гитлера, в центре политической жизни, частные разговоры о политике считались чем-то запретным, так как даже там частное восприятие политики неизбежно должно было носить критический оттенок, способный омрачить настроение хозяина, вывести его из душевного равновесия и, пусть в малой степени, поколебать ту стену лжи, которой эти люди сознательно себя окружали.

Я спросил:

— Значит, такое понятие — «концлагерь» — все же фигурировало?

— Иногда. Но знаете, тогда просто невозможно было себе представить, что этот человек — то есть Гитлер — хочет кому-нибудь зла. У него были какие-то на редкость выразительные, теплые, большие глаза и проникновенный, глубокий голос. Ведь мы были женщины, дурочки и многого не понимали. Я и сейчас, признаться, не верю, что он во всех подробностях знал об этих преступлениях и зверствах. Все мы думали, что концлагеря — просто исправительные колонии, где перевоспитывают инакомыслящих... И Гиммлер, возможно, не знал... Скорее всего это дело рук Бормана! Вот это был дьявол, и я была бы счастлива, если б его повесили.

— Да, да, это был дьявол, — подтвердил Макс. — Но и Гитлер не был святым, не правда ли?

— Ну, святых среди нынешних мужчин вообще не бывает! — живо отозвалась Ильза. — Мужчины гораздо коварнее женщин... Так вот, помню случай, когда арестовали близкого мне человека, нашего общего с Евой знакомого: обвинили в антигерманской деятельности. Это было слишком! Я пошла к Еве и потребовала, чтобы она вмешалась немедленно. Ева предоставила мне возможность поговорить с фюрером, все чудесно устроила, и я изложила Гитлеру свою просьбу. Он меня внимательно слушал, кивал головой и сказал, что этому человеку нужно помочь: мне следует обратиться к партийгеноссе Борману. Я тут же пошла к Борману, он сделал очень озабоченное лицо и любезно ответил: «Конечно, само собой разумеется, фрейлейн Браун. Если вы ручаетесь за этого человека, то нам этого вполне достаточно. Через несколько дней он будет свободен»... Но через несколько дней, когда я зашла к Борману справиться, как обстоит дело, он сказал: «К глубочайшему сожалению, фрейлейн Браун, мы с вами опоздали. Неделию назад ваш знакомый был расстрелян при попытке к бегству...» Больше я уже не обращалась к этому зверю...

На Макса эта история произвела впечатление. Доведись ему в те времена встретиться с Ильзой — сестрой Евы Браун, он считал бы ее всесильной хозяйкой жизни, приближенной того божества, которому все тогда поклонялись. Это божество обладало неограниченными возможностями, что, по тогдашним представлениям, было не так уж плохо, потому что должна же быть такая инстанция, к «стопам» которой можно припасть и которая имеет законное право не только казнить, но и миловать. Да, именно миловать, так как карать и казнить могли на всех ступенях государственной лестницы вплоть до самых низших, а миловать — только на самом верху. Теперь же Макс убеждался, что возможность миловать была ограничена даже там.

Может быть, Макс, высказавший это Ильзе, был не так уж далек от истины потому, что сама система, созданная Гитлером и его окружением, исключала всякую возможность «творить добро».

Впрочем, Ильза отнеслась к этой мысли по-своему.

— Близость к сильным мира сего, — сказала она, — очерствляет человека, делает его эгоистом. Временами я с трудом узнавала мою сестру. Она становилась все более заносчивой и деспотичной. С Евой мы без конца ссорились, ее Альф, например, не разрешал мне приезжать к ним со вторым моим мужем, хотя первого допускал. Он говорил: «Я не намерен принимать у себя каждого нового мужа твоей Ильзы. Пусть она меняет своих мужей хоть каждый год, но я здесь при чем?..» Нет, нет, не думайте, что жизнь с Гитлером была уж таким раем! Очень много было пролито слез. И в семье — прежде всего отец — были недовольны их связью. — Она всхлинула: — Бедный папа!..

* * *

В 1939 году папаша Браун, который до этого ходил в беспартийных и считал себя чуть ли не оппозиционером, наконец оформился в нацистскую партию. 1 мая ему был вручен партийный билет № 5021670. Окружное руководство НСДАП удостоило его титула «Geheimnisträger», то есть члена партии, допущенного к партийным секретам, так как внутри правящей партии существовала и такая градация... Ведь миллионы немцев во избежание неприятностей и в ожидании кое-каких льгот механически вступали в партию, платили членские взносы, носили партийные значки, но к политической жизни никакого отношения не имели.

Нацистская партия как таковая сама была фикцией, так как не партия и даже не ее активисты, а лишь кучка «верхушечных» руководителей правила страной, да и то не в полном объеме. Фюрер один воплощал в себе «партию», и эти миллионы мужчин и женщин с партийными значками только потому были членами партии, что считались единомышленниками верховного вождя, хотя тот вовсе не интересовался их мыслями. Ведь даже внутри самой нацистской партии могли у отдельных ее членов возникнуть различные взгляды на те или иные вопросы, но этими оттенками взглядов нельзя было делиться, нельзя было выносить их на открытое обсуждение хотя бы в своем узком кругу: это само по себе уже считалось бы нарушением нацистской «этики», если не государственной изменой. Словом, это было собрание говорящих молчалиников, именно говорящих их, потому что каждый из молчалиников обязан был говорить, выступать на собраниях, демонстрируя свою безусловную солидарность с фюрером.

«Cum tacent clamant» — «молчит, но кричит», — гласит латинское изречение, принадлежащее Цицерону. Здесь же было все наоборот: «кричит, но молчит»...

Итак, Фриц Браун стал молодым членом партии, но вскоре, не без содействия Евы, ему заменили билет № 5021670 на № 1488 и зачислили в разряд «старых борцов» — «alte Kämpfer».

Позднее, уже после «трагедии 1945 года», папаша Браун объяснял свое вступление в партию тем, что хотел сохранить мир и единство внутри собственной семьи, а также тем, что в «величии Гитлера» его убедили «освобождение Судет, Мемеля, взятие Варшавы, Парижа и Осло».

И хотя Фриц Браун был не просто Фрицем Брауном, но еще и отцом Евы Браун, его поступок ничем не отличался от поведения множества других немцев, которые искренне воспринимали эти захваты как победы, а не как преступления и национальный позор.

* * *

— Вы спрашиваете, имела ли я какие-либо выгоды от того, что была близка к Гитлеру? — Ильза тряхнула головой. — Никаких! Одни неприятности. И тогда. И после, когда начались все эти допросы, расспросы, следствие... Но в чем я

виновата? В чем виновата Ева? Гитлера признавал весь мир, к нему на поклон ездили и Чемберлен, и Даладье, и принцесса Виндзорская, и черт знает кто там еще, на трибунах торчали дипломаты всех стран, государственные деятели искали его поддержки, ни одно из правительств не отказывалось иметь с ним дела, ему посылали поздравительные телеграммы, ноты, вели с ним переговоры. Почему Ева должна была быть умнее их всех? Почему, если он был таким уж разбойником, от него не отвернулись ни ведущие политики, ни писатели, например, Гауптман?

— Гауптман? — удивился Макс. — Но я читал его антифашистские стихи, гайком написанные в Германии.

— Ерунда! — Она скорчила презрительную гримасу. — Какое мне дело до того, что он там строчил втихомолку? Нет, нет, все достойны осуждения, но все достойны и жалости... В 1945 году, в январе, я бежала в Берлин из Бреслау, куда уже вступали русские. Своими глазами я видела страшную картину бегства. Кто жалел этих людей? Кто пожалел мать Шираха, которая в страшных мучениях сгорела во время американской бомбежки?! Мучения и страдания выпали на долю миллионов людей, не так ли? А что творится сейчас во Вьетнаме?.. Но Ева, Ева... Вы, мужчины, имеете ли вы представление, что может сделать слепая любовь?..

* * *

Когда 20 июля 1944 года на Гитлера было совершено покушение, Ева, узнав об этом, едва не лишилась рассудка, она чуть не умерла, пока не дозвонилась до ставки и не услышала наконец его голос. Он успокоил ее и сказал, что все обошлось благополучно. И Ева прокричала в трубку: «Я люблю тебя, да хранит тебя бог!..» Она прыгала, плясала от радости и плакала. А через несколько дней Гитлер прислал ей свой разорванный, пострадавший при покушении китель...

Да, в то самое время, когда Штауффенберг совершил свой отчаянный подвиг, когда заговорщики, затаив дыхание, ждали вести, что диктатор мертв, или потом, когда они в ужасе узнали, что все их усилия оказались напрасными и все они обречены на гибель, — в эти самые дни двое влюбленных обменялись письмами.

В его напечатанном на машинке письме было сказано:

«Дорогая, у меня все в порядке, не волнуйся. Я просто немного устал. Надеюсь скоро вернуться домой и отдохнуть в твоих объятиях. Мне необходим отдых, но мой долг перед немецким народом превышает всего... Я послал тебе тужурку, которая была на мне в тот роковой день. Она — доказательство того, что меня хранит провидение и что нам нечего больше бояться наших врагов...»

И она отвечала:

«Любимый, я вне себя. Я умираю от страха, зная, какая опасность тебе угрожает. Возвращайся скорее, я чувствую, что близка к помешательству. Здесь у нас чудесная погода, все выглядит таким мирным, что мне даже как-то неловко перед тобой... Ты знаешь, я это тебе всегда говорила, что, если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу. С первой нашей встречи я дала себе клятву никогда не разлучаться с тобой, даже в смерти. Ты знаешь, что я жива только твоей любовью. Твоя Ева»...

Так, среди сотен тысяч писем, которые писались в те дни из фронтовых окопов, из лазаретов, из лагерей, из нетопленных, затемненных квартир, среди похоронных извещений, призывных повесток, во Всемирную Почту затесались и эти два письма...

Иногда Гитлера охватывали приступы меланхолии. И как миллионы других людей, он все чаще задумывался над тем, что он станет делать после войны. Он говорил, что подаст в отставку, займется живописью, будет писать мемуары. Они поженятся с Евой и купят себе дом в Линце, и — «я клянусь, что сниму военную форму, ничто в моем доме не будет напоминать о войне». И он считал это вра-

жеской проагандой, злобной клеветой, когда читал выдержки из иностранных газет и переводы статей Эренбурга, и досадовал на то, что никто, ни один человек, не может его понять.

— Я уйду,— говорил он,— уйду со всех постов, я стану частным лицом, но прежде, чем я это сделаю, я издам приказ, чтобы на каждой пачке сигарет, продаваемых в Европе, крупными буквами было написано: «Табак — яд! Курение — причина рака!..»

И Ева говорила, что поедет в Голливуд и снимется в фильме, в котором будет рассказана история их любви...

А где-то дымились печи крематориев, на полях сражений корчились в муках и умирали миллионы людей, и эшелоны все везли и везли: новобранцев — на фронт, раненых — с фронта, узников — в лагеря смерти.

* * *

Ильза спросила, не собираюсь ли я переводить на русский язык книгу Гана и не причитается ли ей в этом случае какой-нибудь гонорар.

— Этот американец,— сказала она,— высосал из меня все что мог, я надала ему кучу документов. После смерти Евы у меня остались двадцать три альбома — все ее фотографии, у Гретль — письма... Жаль, я не знала, что вас это может заинтересовать. Мы бы договорились...

В 1944 году Ева Браун на всякий случай составила завещание, в котором распорядилась своим личным имуществом вплоть до нижнего белья, вплоть до туфель.

Уже тогда, несмотря на официальные разговоры о «близкой победе», не исключалась возможность поражения, бегства или самоубийства, потому что, как говорил Гитлер, «если мы попадем в плен, нас выставят в клетке в московском зоопарке». И в самом деле, сколько в мире людей одобрило бы этот «вариант»!¹

Ева расплакалась, но в тот же вечер, будучи женщиной хозяйственной, отправила в Берхтесгаден и в свой мюнхенский дом большие запасы консервов, шоколада, вина и кофе. Все это меньше чем через год досталось вступившим в Мюнхен американским солдатам, которые с удовольствием пили вино и ели шоколад и консервы, не подозревая, для кого это, в сущности, предназначалось.

Впрочем, и слова Гитлера насчет «зоопарка», и предусмотренная заранее «заготовка продуктов», и слезы Евы Браун, и ее завещание были не чем иным, как проявлением «пораженческих настроений», за которые в гестапо запросто отрубали головы: никто не имел права сомневаться в конечной победе, даже мысли такой допускать, что русские могут войти в Берлин.

Таким образом, длинное, на восьми страницах, завещание Евы представляло собой в высшей степени опасный «антигерманский» документ, который, однако, следует здесь привести хотя бы в отрывках...

Сестре Гретль завещались: «Кольцо изумрудное с брильянтами, большое — 1; кольцо изумрудное с брильянтами, малое — 1; браслет изумрудный с брильянтами, малый — 1; брошь «бабочка» — изумрудная, с брильянтами — 1; серьги изумрудные, с брильянтами — 1; букет маргариток рубиновый — 1; все письма фюрера ко мне и черновики моих писем к фюреру; половина моих платьев, пальто, туфель, белья и пр., кроме шуб, с передачей пяти платьев, одного пальто и трех пар туфель (на выбор) г-же Кашингер... Съёмочная камера «симменс» с проекционным аппаратом и киноэкраном; следующие картины: акварель работы Адольфа Гитлера: Боненбергер — «Портрет фюрера», Боненбергер — «Севернотальянский пейзаж» и «Голова девушки» (подарок рейхслейтера Бормана)».

¹ Впоследствии один из обвинителей на Нюрнбергском процессе рассказывал мне, что в Нюрнберг со всех концов света приходили тысячи писем с предложением, как поступить с главными нацистскими преступниками. Среди этих предложений было и такое: поместить их всех в клетку и возить по городам мира в назидание человечеству.

Сестре Ильзе: «Ожерелье брильянтовое с солитером — 1; брошь — она же кулон — платиновая — 1; кольцо брильянтовое — 1; часы платиновые (с монограммой фюрера) — 1; букет маргариток брильянтовый — 1; дом на Вассербургштрассе, 12, с полной мебелировкой, коврами, столовым серебром и фарфором; автомобиль «фольксваген» — 1; половина моих платьев, пальто, шуб, белья и туфель, с передачей пяти платьев, одного пальто и трех пар туфель (на выбор) г-же Герте Остермайр. Картины: Боненбергер — «Каштаны, цветы и плоды», Памини — «Римский пейзаж», Боненбергер — «Портрет Евы Браун»...

Господину Фрицу Брауну: кабриолет «мерседес» — 1, с гаражом в Оберзальцберге; бинокль — 1...»

Госпоже Франциске Браун (матери): «Половина моих шуб, туфли (на выбор), чемоданы, следующие картины: школа Тициана — «Венера, эрос и фавн», Кирр — «Портрет фюрера»... ковры, гобелены... наличные деньги, за вычетом...»

Ряд более мелких вещей предназначался подругам Евы и ее сослуживицам...

Вот неполный перечень того, чем к 1944 году располагала любовница «фюрера немецкой нации».

Ева тогда же возвратилась к Гофману: она числилась «мобилизованной» — Гитлер был очень щепетилен в этом вопросе, считая, что во время войны каждый человек, кем бы он ни был, должен работать на своем «участке фронта», и этим «участком фронта» для Евы должно было стать фотоателье Гофмана, где в миллионах экземпляров изготовлялись открытки с портретами Гитлера.

Между тем в резиденции фюрера обслуживающий персонал уже именовал ее не иначе как «Sheip» — хозяйка, — а в Берлине и в Берхтесгадене среди Бормана, Геббельса, Шпеера, среди министров и генералов генштаба все чаще открыто появлялась в обществе Гитлера подтянутая, спортивного типа, изящно и вместе с тем просто одетая молодая женщина — фрейлейн Браун, что звучало как некий титул: это — рейхслейтер, это — рейхсмаршал, это — рейхсминистр, а это вот — фрейлейн Браун. Не «фрау», а именно «фрейлейн», что предполагало молоджавость, скромность, подтянутость и очарование юности.

* * *

Гретль вышла замуж за генерала СС Фегелейна, тридцатисемилетнего красавца, офицера связи при Гитлере и Гиммлере, обладателя рыцарского креста с дубовыми листьями за операцию против словацких партизан, которых он подавил с необычайной жестокостью.

Бракосочетание состоялось 3 июля 1944 года в зальцбургской ратуше, свидетелями были Гиммлер и Борман, и я видел фотографию, где они сняты все четвером. И еще одну фотографию я видел: Гретль в подвенечном платье, с огромным букетом цветов, слева от нее — Фегелейн, а справа — Гитлер... На все это было страшно смотреть от сознания фантазмагории жизни, которой было угодно, чтобы я однажды смог, пусть мимолетно, соприкоснуться с этой женщиной и ее сестрой, и от несопоставимости явлений: Гитлер, Фегелейн, Гретль в зальцбургской ратуше, — и та же Гретль, Макс и я, Гинзбург, на лестничной площадке в доме на Агнесс-Бернауерштрассе.

...В апрельские дни 1945 года Гитлер приказал расстрелять Фегелейна во дворе имперской канцелярии в Берлине. Тогда все уже было ясно, и Фегелейн, перебравшись из имперского бункера на частную квартиру в Шарлоттенбург, опрометчиво позвонил по городскому телефону Еве Браун в бункер, предложив ей немедленно покинуть фюрера и бежать в Мюнхен. Ева отказалась, но их разговор «засекла» служба подслушивания, и через несколько минут на квартиру к Фегелейну явились гестаповцы.

Вот кого замещал теперь мирный, лысый господин в подтяжках — Курт Белугхоф, который там, на лестничной площадке на Агнесс-Бернауерштрассе, говорил нам, что «сыт этим Гитлером по горло»...

Времена изменились: он не хотел быть исторической личностью.

Последние дни Евы Браун Ильза назвала «погружением в ад».

— Для Евы все было кончено... Она не хотела, не могла с ним расстаться и выполнила свое обещание... Вы, наверно, знаете подробности их ужасной свадьбы... Но хватит! Двадцать пять лет, двадцать пять лет — одни и те же вопросы, ни минуты душевного отдыха. Вы бы лучше пригласили нас на свой вечер, говорят, вы будете читать стихи? Интересно послушать. Ведь мы — Брауны — все немного равнодушны к искусству...

Когда мы уходили, она спросила, известно ли что-нибудь в Москве об останках Евы, не хранится ли где-нибудь в сейфах ее прах?

— Ах, как хорошо было бы, если бы вы смогли мне привезти ее пепел... Или, если есть ее могила, не можете ли вы возложить букетик цветов? Я, разумеется, оплачу все расходы. Ведь пепел куда-то девался? Пепел ведь был? Ведь какие-то останки сохранились или — фьють! — все так и развеяли по ветру?..

* * *

Мы вернулись к Максиму поздно вечером, чуть ли не ночью, к большому неудовольствию его жены, которую уже начало раздражать, что Макс все время пропадает по каким-то странным делам: тоже нашел себе занятие — мотаться по следам Гитлера!

После ужина я еще долго записывал впечатления дня, разговор с Ильзой, и всю ночь сквозь полусон мне мерещился Гитлер...

На следующее утро за завтраком я спросил Габриэлла, двенадцатилетнюю дочь Макса:

— Ты про Гитлера слышала?

— Да...

— Ну, и кто же он такой был?

— Не знаю, — густо покраснев, сказала Габриэлла.

— Это был очень злой человек... Разбойник.

Жена Макса, усталая и раздраженная оттого, что вчера от них ушла прислуга, строго взглянула на меня и сказала:

— На свете хватало плохих людей и без нашего Гитлера.

— Повсюду есть злые люди... Повсюду... Не надо говорить об этом... Поговорим лучше о добрых... — успокаивая ее, сказал Макс.

VI

Тройдель (Гертруда) Юнге и сейчас еще, в свои сорок восемь лет, похожа на молодую секретаршу: подтянутая, в белой блузке, волосы собраны в пучок... Кажется, она готова вот-вот достать карандаш, записывать, стенографировать.

На собеседника она смотрит чуть вопросительно, внимательно выслушивая задаваемый ей вопрос, чтобы ответить как можно быстрее, точнее и четче...

Да, совершенно верно, она была секретаршей Гитлера, да, ее взяли к нему по мобилизации как лучшую машинистку, она прежде служила в редакции, так точно...

— Из Берлина я попала в его ставку «Волчье логово», в Восточную Пруссию... Нас было там десять девушек, его секретарш. Общение с Гитлером? Ежедневное... Мы жили в отдельном блоке для технического персонала, но обедали всегда вместе, за одним столом, только ему приносили особую пищу — вегетарианскую... Тех, кто ел мясо, Гитлер называл «вурдалаками». «Знаете, что вы едите? — говорил он. — В Польше я однажды посетил скотобойню, страшно было смотреть, как волокли несчастных коров, как мычали телята, как текла кровь...»

Я прочитал ей строки Маршак о Гитлере:

Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья...

Она сдержанно усмехнулась, не стала комментировать, сказала только, что он действительно любил животных, правда не всех: лошадей считал глупыми, бульдогов — несимпатичными, недолюбливал черепах, совсем уж терпеть не мог кошек и плохо относился к цыплятам.

— А к людям?

— Смотря к каким. Со своими ближайшими сотрудницами он был неизменно любезен, ни разу не повышал голоса и называл нас не иначе, как «дитя мое», «моя прелесть» и так далее. У него был неповторимый австрийский шарм. Не было случая, чтобы он не поцеловал мне руку. Он мог подойти к любой из нас, погладить по голове или потрепать за ухо.

Она взяла себя за ухо и, подражая голосу Гитлера, произнесла:

— Ах, какие у вас прелестные ушки!..

...Прошло столько лет, столько ужасающих фактов стало известно. Неужели ничего этого для нее не существовало и она все еще дышала атмосферой «Wolfschanze» — «Волчьего логова» — с его фальшивой внешней благопристойностью и пошловатой идиллией?..

Впрочем, возможно, я торопился с выводами.

Юнге продолжала:

— По правде говоря, реальной жизни он по-настоящему не знал. Он ни разу не видел ни одного разрушенного немецкого города: не хотел портить себе настроение, боялся посмотреть правде в глаза. Он жил в мире иллюзий, в мире своих идей и не хотел отвлекаться...

— Но ведь не может быть, чтобы в ставке Гитлера ни разу не заходила речь о положении в Германии или о лагерях смерти, об акциях по уничтожению людей? — спросил я. — Уж там-то, наверно, говорилось обо всем откровенно?

— Ничуть. — Она удивилась моей наивности. — Положение внутри страны изображалось крайне оптимистически: и в сводках, поступавших к фюреру снизу, и в его собственных приказах и выступлениях. Это было какое-то неписаное правило, чуть ли не уговор: все хорошо, все правильно, а то, что «нехорошо» — допустим, уничтожение американцами с воздуха целых промышленных районов или продвижение русских, — будет непременно устранено. Это же правило — избегать неприятных моментов — касалось и лагерей. Отчетливо помню, как Гиммлер в моем присутствии докладывал Гитлеру о положении в лагерях, кажется в Освенциме: сколько калорий получает заключенный, как поставлена система «трудового перевоспитания». Ни о каких газовых камерах, конечно, не упоминалось. Гиммлер тогда рассказывал, что какой-то узник пытался поджечь барак и — «что бы вы думали, мой фюрер, как мы поступили с этим несчастным? Мы назначили его ответственным за противопожарную охрану всего блока! С тех пор благодаря оказанному ему доверию он стал совершенно иным человеком и близок к исправлению...»

Если такой разговор действительно происходил, то что же это было? Ханжество, притворство, попытка произвести благоприятное впечатление на секретаршу? Едва ли. Ведь и Гитлер и Гиммлер (а может быть, и сама Юнге) прекрасно знали, что такое Освенцим и для чего они его предназначали. Нет, это был инстинктивный самообман двух заговорщиков, организаторов преступления, которые в самих себе должны были поддерживать уверенность, что они не только не совершают ничего преступного, а, напротив, действуют в полном соответствии с обиходной, общепринятой нравственностью. Так человек, обладающий тайным пороком, скрывает его от других и самому себе не хочет в этом признаться.

У нацистов существовало множество различных «табу»: они почти никогда не употребляли даже в строго секретных служебных инструкциях таких слов, как «расстрел», «удушение», «повешение», заменяя их другими терминами: «переселение», «особое обращение», «окончательное решение вопроса», и не только в целях секретности, а опять-таки из моральных соображений. Психологически про-

ще подписать приказ, допустить, об уничтожении больных и престарелых жителей целого города, назвав это уничтожение эвакуацией в тыловые районы. Лицо, подписавшее такой приказ, всегда может сказать себе, что оно имело в виду только эвакуацию, и сохранить в чистоте свою совесть, выполнив вместе с тем поставленную перед ним оперативную задачу.

В нацистском неправовом государстве, где любое действие государственных органов не подлежало никакому общественному контролю и возможность огласки или разоблачения полностью отпадала, тем не менее строго следили за фиктивным соблюдением законодательных норм. Казалось бы, не было никакой нужды изобретать предлог в виде «расстрела при попытке к бегству» для того, чтобы устранить бесправного и заранее обреченного на смерть узника, однако «инерция приличия» и внутренний самообман требовали, чтобы это устранение было соответствующим образом юридически оформлено.

И этот самообман действовал снизу доверху, во всех инстанциях...

Я спросил Юнге, как мог нормальный человек, находившийся в непосредственном контакте с Гитлером и допущенный к самым секретным документам нацистского государства, не понимать всей преступности того, что делается в стране. Она ответила, что именно «наверху» человек меньше всего это может заметить.

— Мы были избавлены, — объяснила она, — от тысяч мелких, повседневных забот и неприятностей, которым подвергалось все остальное население. Мы не знали карточек, очередей, слезки со стороны гнусных блоквартов, страха перед бомбежками, мы жили в идеальном мире, в условиях фиктивной, но ощутимой свободы и довольства.

Это было похоже на правду. Находясь в «Волчьем логове», оторванная от реальной жизни своего народа, Тройдель Юнге, возможно вполне искренне, считала, что все хорошо, все справедливо и дело идет так, как должно идти, несмотря на все трудности. Ее не то чтобы умиляла или поражала демократичность фюрера, его доброта и мягкосердечие, когда он, как уже говорилось, мог по-настоящему плакать, видя страдания своей больной овчарки Блонди, — она просто считала все это совершенно естественным. В «Волчьем логове» царили радушие и товарищество. Это была «национал-социалистская семья», и десять скромных секретарш, которые обедали за одним столом со своим фюрером, как бы олицетворяли «единение вождя и народа».

Гитлер же, обедавший со своими секретаршами и приглашавший двух-трех из них к ужину, чтобы поболтать о жизни, в свою очередь считал, что он, несмотря на свою историческую миссию, на то, что избран провидением, продолжает оставаться простым человеком, а не заносчивым, высокомерным диктатором...

— Впервые я в какой-то степени разочаровалась в нем, когда русские, прогнав фронт, вступили на территорию Германии. Я сказала фюреру, что хотела бы научиться стрелять, но он шуточно ответил, что не может подвергать себя такому риску, доверие оружие всем своим секретаршам. В этом недоверии ко мне, к нам, было уже что-то неприятное, мелкое...

В роковые апрельские дни 1945 года Юнге находилась в Берлине, в бункере имперской канцелярии. Она видела свадьбу Евы Браун и Гитлера, печатала — под диктовку Гитлера — оба его завещания и получила от фюрера последний сувенир: ампулу с ядом.

— Простите, фрейлейн Юнге, это единственное, что я вам могу преподнести. Больше у меня ничего не осталось... — произнесла она голосом Гитлера.

Потом она тем же голосом повторила фразу, которой уже, очевидно, не раз снабжала журналистов, историков и писателей, друзей и соседей:

— Немецкий народ оказался недостойным своего фюрера, меня предали мои генералы, и я уйду из жизни... Но идея национал-социализма все равно возродится в Германии лет через пятьдесят или сто, возможно в форме новой религии...

Между прочим, он выразил тогда сожаление, что не провел чистку своего генералитета за несколько лет до войны...

* * *

Подробности самоубийства Гитлера и того, что происходило тогда в имперской канцелярии, сейчас настолько широко известны, что Тройдель Юнге ограничилась всего лишь одним замечанием:

— В бункере царил мир призраков...

Об этих днях Юнге написала воспоминания, но рукопись отказались издать: все уже было разбазарено, растаскано по десяткам и сотням других книг, и отдельные детали, составлявшие «собственность» Гертруды Юнге, не представляли больше никакой ценности.

Двадцать три года назад за этими «детальями» охотились начальники штабов, руководители разведок и контрразведок, командующие армий, штурмовавших Берлин, — теперь же все это стало исторической трухой.

Двадцать три года назад, уходя из жизни вместе со своими детьми, жена Геббельса Магда писала:

«Наша великолепная идея гибнет, мир, который придет после падения фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы в нем жить, поэтому я забираю с собой детей...»

Им действительно казалось, что с крушением их власти рухнет Германия, настанет всемирная ночь, и они не подозревали, что все, что произошло 30 апреля 1945 года в гитлеровском бункере, останется пусть примечательным и поучительным, но всего лишь эпизодом в непрерывающейся, противоречивой, порой трагичной и все же прекрасной истории человечества. Не подозревали они и о том, что немецкий народ обойдется без них.

— Со смертью Гитлера, — сказала Юнге, — я внезапно обнаружила в себе неодолимое желание жить. Я разбила об пол ампулу с цианистым калием и выбежала на улицу. Рядом рвались снаряды, кругом все горело, раздавались автоматные очереди. Гитлер не интересовал меня больше. Надо было думать о самой себе...

Каждый раз, когда я бываю в Берлине, я подхожу к поросшему зеленой травой пустырю, на котором возвышается холм, — все, что осталось от имперской канцелярии. В мае 1968 года мы стояли здесь с товарищем, пытаюсь представить себе, что происходило на этом месте двадцать три года назад.

Ощущалась граница... Сзади была Тельманплац с красными транспарантами на фасадах домов, впереди за линией границы виднелось здание газетного концерна Акселя Шпрингера. Два мира, две системы смотрели друг на друга. И здесь и там шла своя жизнь, кипела своя борьба, свои страсти. И только на зеленой поляне было тихо, мертво, и одинокий холм возвышался над ней, как гигантская могила. Потом мы увидели, как по этому холму вверх побежал дикий кролик, взобрался на верхушку и скрылся уже на той стороне.

Мой разговор с Юнге продолжался недолго: она торопилась в театр.

VII

Среди основателей нацистской партии Герман Эссер был обладателем партийного билета № 2. Билет № 7 был у Гитлера¹... После войны Герман Эссер сорок пять месяцев провел в заключении, его, как он сказал мне, «сорок пять месяцев мотали по лагерям»; теперь он на отдыхе, ему шестьдесят девять лет.

¹ Впоследствии Гитлеру все же заменили этот билет на билет № 1.

Встретиться с господином Эссером было исключительно трудно: он очень осторожен, к тому же все время занят. Макс дозванивался до него, как до министра, через личных его секретарш и величал его не иначе, как «господин статс-секретарь», потому что в мюнхенской телефонной книге против фамилии Эссера значится: «статс-секретарь в отставке». Все же и на него, очевидно, подействовали магические слова Макса: «Переводчик Шиллера, поэзии немецкого барокко» и т. д., в особенности же лирики вагантов, так как сборник средневековых студенческих песен «*Carmina Burana*» был обнаружен в монастыре Бенедиктбейерн в Баварии, а господин Эссер — баварский патриот...

Он пришел к Макс в 15 часов — высокий, осанистый старик с продолговатой головой и орлиным носом, внешне очень похожий на генерала де Голля. Он снял свое черное пальто с каракулевым воротником шалью, черную шляпу и, потирая руки, как это делает выходящий на эстраду актер, вступил в кабинет.

Говорил он мягко, певуче, приветливо, то потирая руки, то закрывая лицо правой рукой с перстнем и обручальным кольцом. Это обручальное кольцо связано с тем днем, когда на его свадьбе в качестве шафера и старого друга присутствовал Гитлер. С Гитлером он был на «ты» и, когда они оставались вдвоем, называл его просто «Адольф», а никак не «мой фюрер». И Гитлеру это нравилось, Гитлер это допускал потому, что в сложной театральной мистерии фашизма было и такое амплу: «старый друг фюрера».

Они познакомились в начале двадцатых годов. Тогда их было семеро. Встречи происходили в мюнхенских пивнушках, и...

— Гитлер не был самым выдающимся, он был, пожалуй, самым бедным из нас, чуть ли не нищим, совсем уж обездоленным «сыном великого народа», и это давало ему некоторые преимущества, так как умиляло национально настроенную интеллигенцию, шовинистически настроенных профессоров... Нет, мы, вернее я, не были «нацистами» в том смысле, как это понимают сейчас. Что, собственно, значит «нацист», ставшее в наши дни бранным словом?.. Я был не нацистом, а национальным социалистом! — Он чуть ли не обиженно посмотрел на меня. — Происхожу я из баварских чиновников, из семьи лесничего, и здесь, на кладбище, в Мюнхене, есть фамильный склеп Эссеров, где похоронены мой отец — лесничий, мой дед — лесничий, мой прадед — лесничий, мой прапрадед — лесничий... — Он призакрыл глаза. — Я хочу, чтобы вы поняли, что я был не нацистом, а национальным социалистом, и если это понятие так ужасно опозорено и искажено, то виноваты в этом не мы, старые борцы партии, а превратности судьбы и кое-какие исторические закономерности, которые со времен Иисуса Христа и до наших дней обращают в свою противоположность самые возвышенные идеи и сводят на нет благороднейшие устремления... Дело в том, что, становясь достоянием масс, идея вовлекает в свою орбиту огромное количество самых различных людей, среди которых все меньше становится идеалистов, а все больше своекорыстных карьеристов, которые примазываются к идее и используют ее для своей выгоды. В нашем узком кругу тогда, в двадцатых годах, мы были преисполнены самых честных намерений и желали своему отечеству только добра...

— В том числе и Гитлер?

— Конечно, само собой разумеется. В том числе и он. Гитлер двадцатых годов и Гитлер тридцатых и сороковых — совершенно различные люди. Тот диктатор, который стал ненавистен всему миру, и тот молодой идеалист, который мечтал о счастье своей отчизны, абсолютно не похожи друг на друга... Придя к власти, Гитлер стал очень быстро меняться в худшую сторону, и в частных беседах я нередко ему на это указывал...

Вкратце я знал историю Эссера, знал, что он оставался верен Гитлеру до конца и 24 февраля 1945 года, когда всем уже было понятно, что война безнадежно проиграна и страну все больше охватывала паника и отчаяние, был командирован Гитлером в Мюнхен, чтобы огласить прокламацию фюрера к молодежи.

«Когда эта война придет к концу, — говорилось в прокламации, — мы вручим нашу победу молодому поколению, которое представляет собой лучшее из всего, чем когда-либо обладала Германия. И это тоже результат национал-социалистского воспитания и подтверждение того пророчества, которое прозвучало четверть века назад в Мюнхене. Двадцать пять лет назад я предсказал победу движения, а сегодня, как всегда, проникнутый верой в наш народ, я предсказываю конечную победу германского рейха».

В том, что эту льстивую и лживую прокламацию оглашал именно Эссер, а не кто-либо другой — не Геринг, не Борман, не Гиммлер, — содержался тогда свой смысл. В глазах многих немцев начальный период нацизма был еще окутан романтическим флером, многие, стоя на краю пропасти, еще верили, что вначале было «что-то хорошее», и не понимали, что именно тогда, в двадцатые годы, уже закладывался фундамент того, что потом обернулось войной, кровью, смертями и голодом. Полузабытый «старый друг фюрера» одним фактом своего появления должен был намекнуть на возможность возврата к минувшим «идиллическим временам», а заодно подогреть в молодежи, которую гнали на фронт прямо со школьной скамьи, веру в победу...

Я сказал:

— Вы говорите, что в двадцатые годы Гитлер еще не был злодеем. Но в «Майн кампф» национал-социалистская программа изложена достаточно открыто. Идея мирового господства, преследование евреев, славян — все это отражено в его книге без всякой маскировки.

— Да... Преследование евреев... — Он прикрыл ладонью глаза, потом резко провел ею по лицу до самого подбородка. — Видите ли, наш детский антисемитизм двадцатых годов не содержал в себе ничего порочного. Это был — позвольте мне так выразиться — идеалистический, хороший антисемитизм, не имевший ничего общего с теми ужасающими фактами, которые всем нам достаточно известны... Вы меня, разумеется, поняли?

Он доверительно хмыкнул, ничуть не смущаясь тем «разоблачительным» материалом, каким он меня сейчас невольно снабжал. Я даже подумал, что он просто забыл об этом обстоятельстве: ведь его пригласили на встречу с московским «германофилом», переводчиком Шиллера, и он поначалу несколько удивился, почему я свел разговор на тему о фашизме, а не вообще о Германии и немецком духе.

— Что же касается «Майн кампф», — продолжал он, — то в этой книге, кстати сказать, весьма неровной, содержались и здоровые мысли. Например, о пагубности войны на два фронта... Я до сих пор не могу понять, почему Гитлер решился на этот шаг в 1941 году, то есть через два года после того, как он заключил пакт с Советским Союзом, воспринятый нами как величайшая дипломатическая победа. Но военщина делала свое дело. Она знала, что этот человек доверчив и легко поддается влияниям. Генералы мечтали о фельдмаршальских жезлах и толкали Гитлера на Восток. Этим он погубил себя. Если бы не война на два фронта, трагедии бы не было, могу вас заверить!

...Да, так я вам говорил, что после тридцать четвертого года идея стала быстро искажаться, особенно после убийства Рема, человека, которого я хорошо знал, крестного отца моего сына. Рем был настоящий национальный социалист! Я уверен, что, встань он во главе государства, он опирался бы на людей убежденных, на старых борцов, а не на выскочек и карьеристов...

Мне представилась виденная на многих фотографиях плотная фигура Эрнста Рема с его широким, в рубцах и шрамах солдатским лицом и аполлексическим затылком. Начальник штаба СА, кумир штурмовых отрядов, гомосексуалист и убийца, организатор первых нацистских погромов, он производил самое отталкивающее впечатление даже на своих окружающих...

— Ну, — возразил Макс, — я не думаю, чтобы Рем многим отличался от Гитлера. Про него рассказывали страшные вещи...

— Ах, — огорчился Эссер, — что значит «страшные вещи»? Если человек обладает твердым характером, это еще не так страшно. Страшное началось потом, когда после убийства Рема нас — стариков — все больше стали оттирать мелко-гравчатые карьеристы вроде Гиммлера или выходцы из немецких земель, такие, как «прибалт» Розенберг. Нет, оппортунистами были не мы, кто в двадцатых годах в прокуренных, тесных пивнушках до хрипоты спорил о судьбе Германии — Гитлер называл нас «оппортунистами», дорого ему это обошлось! — оппортунистами были те, кто примазался к руководству после тридцать четвертого года!.. — Эссер говорил приворковывая, пощелкивая языком. — Вот в чем состояла подлинная трагедия Германии!..

— Но Нюрнбергский процесс установил, что нацистская партия с самого начала была группой заговорщиков...

Эссер всплеснул руками:

— Нюрнбергский процесс! Это был акт юридической мести, в какой-то мере понятный, но если вы любите Германию, не доверяйтесь нюрнбергским материалам, не считайте их абсолютной истиной, не фетишизируйте их! Я, разумеется, вполне солидарен с приговором, вынесенным таким прохвостам, как Штрейхер, Розенберг, ну... Риббентроп. Но как можно было осудить такого кристально честного человека, как мой ближайший друг Функ, как Зейсс-Инкварт, как господин Заукель! Господин Заукель, нанимавший на работу в Германию иностранных рабочих, избавил от ужасов войны, от голодной смерти миллионы людей! Многие были счастливы, что попали в Германию!..

Почему не слышали этих слов, которые произносил в 1968 году в Мюнхене член нацистской партии № 2, миллионы наших парней и девушек, которых по разнарядкам «господина Заукеля» угоняли на немецкую каторгу, на подземные заводы, в рудники, в проклятое фашистское рабство?

...Отправляют, отправляют!
Конопот родной, прощай!
Меня в Германию угоняют.
Пропадаю! Выручай!

Где, в каких рвах и могилах лежали те, чьи «личные вещи» — кольца, сорванные с выломанных пальцев, сережки, вырванные из ушей, деньги, золотая оправа от очков, золотые зубы и пломбы — хранились когда-то в сейфах рейхсбанка, которым руководил «кристально честный человек» Вальтер Функ?..

Отчего не могла явиться сюда девочка из Амстердама — Анна Франк, одна из бесчисленных жертв господина Зейсс-Инкварта, имперского уполномоченного по оккупированным Нидерландам?..

— Господин Эссер, но все-таки, все-таки, кто же повинен в гибели миллионов людей? Кто создал Освенцим, Треблинку, газовые камеры?

Он опустил голову и снова поворковал.

— Вы знаете, — сказал он наконец, — все эти двадцать пять лет я пытаюсь обнаружить то звено, на котором лежит ответственность за эти зверства, и... не могу! Гитлер? Не думаю. Он был слишком занят общим руководством, чтобы вникать в частности, хотя и он должен нести моральную ответственность за свою доверчивость и легкомыслие. Мы — старики — еще в тридцать четвертом году высказывали беспокойство, что дело идет не так, как мы задумали. Нельзя было так доверяться военщине, окружать себя сомнительными людьми.

— Хорошо. Но возьмите Ванзейскую конференцию, на которой было принято решение о ликвидации одиннадцати миллионов человек, целого народа...

Он перебил меня:

— В Ванзейской конференции участвовало всего десять второстепенных чиновников, их имена известны. могу вам назвать: Мейер, Штуккарт, Нейман, Фрейслер, Клопфер, Гофман, Мюллер, Эйхман... Кто там еще?

— Но ведь не может быть, чтобы такое важнейшее решение приняли второстепенные люди без ведома правительства и самого фюрера?

— Что значит «правительство»? Всюду, в любой стране, существуют два правительства: официальное и неофициальное — «Nebenregierung», которое все решает. В «Nebenregierung» входили Гиммлер, Борман, Гейдрих, люди, оказывавшие на Гитлера самое дурное влияние. Человек экспансивный, он мог в припадке гнева высказать ту или иную парадоксальную мысль, о которой бы тут же забыл, если бы не подхалимы, которые подхватывали эту мысль, раздували ее до колоссальных размеров. Это была настоящая трагедия...

Иногда он смеялся над нами: «Вы, старики, отстали от жизни, вы всегда каркаете, осторожничаете, а меня признает весь мир!..» И ведь действительно признавали! Разве Франсуа Понсе или американский посол Додд не выражали ему своего восхищения? Разве французский президент Лебрен, принимая в Париже, во дворце Рамбулье, делегацию фюреров «гитлерюгенда», не воскликнул: «Вы самая счастливая молодежь в мире!» Разве не ползали перед ним на брюхе Чемберлен и Галифакс?.. Известно ли вам, что уже в 1932 году американские корреспонденты, бравшие у Гитлера интервью, платили ему по доллару за слово?! Эти господа испортили его, совратили, сбили с толку. Они разжигали в нем манию величия, а не мы — его старые товарищи... Вообще личность Гитлера ни в коем случае нельзя упрощать, низводить ее до карикатуры, как это сделал Чаплин в своем мерзком «Диктаторе». Гитлер — грызущий ковры!..

* * *

О том, что «личность Гитлера нельзя упрощать», я в Западной Германии читал и слышал множество раз.

Собственно, все, что рассказывали мне Ильза Браун, Юнге, а теперь Эссер, сводилось к тому, чтобы Гитлера не «оглупляли», не потешались над ним по пустякам и не изображали в гротескном виде, как Чаплин в «Диктаторе» или — в документальном варианте — наш Ромм («Обыкновенный фашизм»), а постарались понять его во всей «человеческой сложности».

Но какое нам дело до «человеческой сложности» Гитлера, который обрек себя на то, чтобы остаться в сознании многих поколений «бесноватым фюрером», кровавым маньяком с шутовскими замашками? И не заложено ли нечто фарсовое в самом фюрерстве?

Надо, однако, сказать, что причины вновь возникшего в Западной Германии интереса к личности Гитлера весьма различны. Существуют серьезные попытки исследовать феномен «диктатора», доказать несостоятельность теории, которая сводит всю немецкую трагедию к личным качествам Гитлера. Есть и просто обывательское любопытство, стремление благодаря архивам, ставшим общедоступными, узнать интимные подробности из жизни этого «загадочного» человека, стремление, в котором уже таятся элементы преклонения и затаенная тоска по «крупной фигуре», особенно теперь, когда в ФРГ и вообще на Западе политические лидеры кажутся личностями тусклыми, с мелкими, незначительными биографиями и т. д.

Впрочем, когда впереди нет будущего, начинают гальванизировать прошлое.

* * *

Эссер сказал, что заканчивает книгу воспоминаний.

— Надеюсь, из нее вы узнаете правду... Я не был противником Гитлера, нет, но поверьте, я не хотел никакого зла людям, не хотел войны... Зачем он полез воевать с Россией? Это была бесспорная трагедия, величайшая ошибка. В наше время, тем более в атомный век, нет такого вопроса, который можно было бы решить военным путем. У нас тысячи других возможностей для борьбы с нашими противниками...

Я спросил, существуют ли шансы на возрождение национал-социалистской идеи. Он покачал головой:

— Историю повернуть вспять невозможно. Ход истории необратим. Только глупец может рассчитывать на то, что в России возродится монархический строй или в Германию вновь придут Гогенцоллерны. Но национальная идея, безусловно, не умерла в немецком народе, и в той или иной форме она должна восторжествовать, хотя я и не сторонник партии Таддена. Одно только мы не должны повторить — и в этом я на сто процентов убежден — антисемитизма!.. Но смотрите, что делается! Эти сидящие у нас наверху прямо-таки провоцируют антисемитизм...

Из плоского плексигласового бумажника он извлек маленькую газетную вырезку.

— Разрешите, я вам прочту, что здесь написано, я захватил это специально для вас! — сказал он торжествуя.

В заметке сообщалось о заседании по подготовке к мюнхенским Олимпийским играм 1972 года, проходившем под председательством канцлера Кизингера. На этом заседании наряду с министрами и другими официальными лицами присутствовал Вернер Нахман — председатель «центра немецких евреев».

Он воздел руки к потолку:

— Разве это не идиотизм? В Германии, где насчитываются миллионы католиков, миллионы протестантов, единственным представителем общественных организаций на таком совещании выступает почему-то председатель еврейского центра! Нет, эти господа поистине обижены богом — он лишил их рассудка. — Он взглянул на часы. — Разрешите и мне задать вам несколько вопросов. Наблюдается ли в России интерес к немецкой культуре, к немецкому национальному духу? Из газет я узнал, что вы делаете очень полезное для нас дело, открывая русским наши культурные ценности... Говорят, что немецкие книги выходят в России миллионными тиражами? Это хорошо... Это очень хорошо... Это очень и очень полезно...

* * *

По дороге домой мы с Максом говорили об Эссере. Макс легко верит словам, легко поддается первому внешнему впечатлению:

— По-моему, он говорил правду. Вначале они, возможно, действительно были идеалистами. И — помните? — он ведь поклялся, что ничего не слышал о зверствах.

(Эссер рассказывал, что, будучи государственным министром в Баварии и обязанный посещать Дахау, ни разу не бывал в лагере, так как «не хотел иметь с этим ничего общего».)

Я возразил, что все это — чушь, просто Эссер воспитанный человек, умеет себя держать, к тому же за двадцать пять лет хорошо продумал свою версию, ответы на все вопросы, и это сбивает доверчивого собеседника с толку.

— Как так он ничего не знал?! — возмутился я. — В 1939 году, после «Кристалл-нахт», после аншлюса, после захвата Чехословакии, после нападения на Польшу, Эссер все еще был вице-президентом германского рейхстага! Ежедневно в Германии и в Европе исчезали сотни тысяч людей — неужели Эссер об этом так ничего и не слышал?! Если он честный человек, как он вообще мог иметь дело с этими негодьями, которых ненавидел весь мир? Перед нами — самый явный соучастник гитлеровских преступлений, только очень хитрый и неглупый... А вспомните, как он защищал не кого-нибудь, а Заукеля, в точности повторяя то, что говорил на Нюрнбергском процессе сам Заукель!.. Представляю себе, что он напишет в своих мемуарах...

Макс искренне огорчился: его заставляют разочаровываться в человеке, которому он поверил.

— Да, — сказал он, — все так ужасно противоречиво, и противоречие — в нас самих. В нас самих происходит борьба между ложью и истиной. Кто победит?..

* * *

...На следующий день я был в гостях у редактора антинацистского бюллетеня. Он снимает дом на окраине Мюнхена. В верхнем этаже — рабочий кабинет, архив, библиотека, внизу — жилые комнаты. Жена редактора — преподавательница английского языка, днем в школе, вечером до глубокой ночи вместе с мужем готовит материалы, редактирует статьи, составляет сводки, списки. Неонацистов знают всех по фамилиям, «моего» господина Б.— Фридриха Вагнера — тоже, конечно. Главная форма агитации — сопоставление и обнародование того, что говорили и писали гитлеровцы в 1933—1945 годах и что содержится в программах и речах неонацистов сегодня. Совпадения почти текстуальные...

Рассказывал им о своих встречах. Оба уверены, что и Ильза Браун, и Юнге, и, конечно, Эссер знали все, не могли не знать, так же как жители Мюнхена знали о Дахау, а жители Веймара — о Бухенвальде. Американцы не зря пригнали население Веймара к бухенвальдским рвам, где еще громоздились трупы. Американский солдат-парикмахер сказал: «Вы жили здесь и ничего не знали? А мы, находясь за тысячи километров, знали все...»

Может быть, иногда их и коробил неприглядный вид отправляемых на смерть узников, это задевало их «эстетически», мы допускаем. Но они знали все и обслуживали всю машину, каждый на своем участке. Ее обслуживали эсэсовцы и ученые-профессора, судьи и журналисты. «Собственно обыватели» в третьем рейхе не испытывали страха перед гитлеровским террором. Не надо искажать картину: тех, кто молчал, Гитлер не трогал, он давал им «жить», и они сражались за него в безвыходной ситуации не только из страха, но и из преданности, из веры в его мудрость, дальновидность, в то, что он спасет их с помощью «фау-2», «сверхсекретного» оружия или политических комбинаций... Боялись ли они? Да, боялись. Но кого, чего? Американских бомбардировок, русского наступления, разгрома, но только не Гитлера... В армии Гитлер опирался не на одних генералов, но и на фельдфебелей, может быть, на фельдфебелей больше... Конечно, Ильзу Браун или Юнге нельзя причислять к нацистским преступникам, но они олицетворяли соучастие, расчетливое соучастие...

Наверху, в библиотеке, я обнаружил книгу профессора Вернера Цильха — того старика теолога, который в воскресенье после утренней молитвы рассуждал со мной о безбожии нацизма. Книга называлась — «О божественном происхождении третьего рейха». Год издания — 1933-й...

VIII

Из всех мюнхенских улиц Шеллингштрассе, может быть, больше других связана с историей фашизма: в доме 50 до захвата власти помещалось имперское управление нацистской партии, в доме 39 — редакция газеты «Фёлькишер беобахтер», а в доме 32 — ресторан «Остерна Бавариа», в котором любил бывать Гитлер. Теперь этот ресторан переименован в «Остерна итальяна», и никакая он ни для кого не достопримечательность, разве что итальянская кухня привлекает сюда посетителей... Вот в этом-то ресторане и состоялся мой разговор с Анжеликой Пробст — сестрой казненного в 1943 году студента-медика из группы «Белая роза».

О «Белой розе» слышали, наверное, многие. Это была подпольная студенческая организация в Мюнхене, распространявшая антифашистские листовки.

Возглавляли группу Софья и Ганс Шолль, брат и сестра, именами которых названа площадь перед Мюнхенским университетом. Каждый раз, проходя по площади Шоллей, я не мог отделаться от мысли, что именно здесь, на этом самом месте, в феврале 1943 года состоялся многотысячный молодежный митинг и все, абсолютно все, кто запрудил эту площадь, громко требовали смертной казни для арестованных студентов и в первую очередь для брата и сестры Шолль, и фюрер

национал-социалистского студенчества говорил об их глубочайшей испорченности. Но «испорченными», конечно, были не они, а те, кто кричал тогда и требовал смерти, пусть и не все искренне, а некоторые, возможно, даже с тайным сочувствием к заговорщикам или с недоумением, смешанным с жалостью: чего, мол, им нужно было соваться в политику? Учились бы себе, да и ладно...

Сами гестаповские следователи не совсем понимали, что здесь такое. Ну, будь они, эти молодые подпольщики, кем-то подкуплены, завербованы за крупную сумму денег или будь у них какие-то личные причины обижаться на власть, допустим, арест кого-то из родственников или что-нибудь еще в этом духе, все было бы вполне объяснимо. Так нет же, ничего этого не было, и происходили они вроде бы из вполне обеспеченных, культурных немецких семей, не ущемленных ни по какой линии, а у Шоллей отец вообще был бургомистром. В голове у гестаповцев просто не укладывалось, что на такое дело, как составление антиправительственных листовок, человек способен пойти лишь на основании своих убеждений, из нравственного долга. По их мнению, тут обязательно должно было быть «что-то еще», какая-то червоточина, патология, какой-нибудь гнусный порок, который заставляет людей выступать против существующего режима, причем без всякой реальной перспективы на захват власти, без претензий на то, чтобы самим сесть в правительственное кресло и т. д. Единственное, чем оставалось объяснить их поступок, была «глубочайшая испорченность», то есть что это — попросту выродки, отщепенцы, люди с извращенной психикой и болезненными комплексами. И в гестапо за два-три дня, отпущенных на следствие, упорно искали эти комплексы и даже допытывались, не является ли один из обвиняемых гомосексуалистом.

Особенно же недоумевал оберфюрер СС доктор Вюст, ректор Мюнхенского университета, на который отныне ложилось несмыслимое пятно...

Жизнь немецкого студенчества в третьем рейхе имела свои неповторимые особенности. Стародавние студенческие свободы были полностью упразднены, из университетов выхолащивался самый дух молодости, дух студенческой вольницы, прославленные храмы наук превращались в унылые «учебные заведения», где и учебной-то занимались постольку поскольку, так что люди, обучавшиеся в немецких университетах в 1933—1945 годах, и сейчас еще ощущают значительные пробелы в своем образовании. При огромном количестве ненужных дисциплин, политической, «производственной» и спортивной перегрузке, студентам зачастую просто не хватало времени на изучение необходимых предметов.

Перестройка высшей школы началась сразу же, в 1933 году, с вовлечения студентов во всевозможные гитлеровские мероприятия вроде сожжения книг, очищения библиотек от «марксистского хлама», участия в погромах и политических оргиях. Из университетов были изгнаны самые талантливые, независимо мыслящие профессора. Неожиданно на глазах у студентов ректорами, руководителями кафедр стали преподаватели, считавшиеся прежде наиболее заурядными, если не бездарными: для них открывался самый широкий простор. Чтобы сделать научную карьеру, требовались не столько знания, сколько «верность», не столько научная добросовестность, сколько умелое манипулирование нацистской лексикой.

«Преподаватель высшей школы,— заявил один из сподвижников Бальдура фон Шираха, Герд Рюле,— должен стать чем-то большим, чем кабинетным ученым: руководителем и воспитателем, который, не щадя себя, способен вырастить настоящих немцев».

Эта цитата может вызвать сейчас разве что улыбку, но сколько ничтожных субъектов, подвизавшихся в области науки, воспряло тогда духом, слушая эти слова, поскольку «кабинетным ученым» все же стать гораздо труднее, чем фельдфебелем.

В 1934 году было создано имперское министерство по делам науки, воспитания и народного просвещения. Комиссию по делам высшей школы возглавляли Рудольф Гесс, Альфред Розенберг и будущий генерал-губернатор Польши — Ганс Франк. Этой комиссии, два члена которой были впоследствии повешены за пре-

ступления против человечности, а третий — приговорен к пожизненному заключению, предстояло осуществить «невиданный в истории» процесс — «создание университетов нового типа».

Заглохли дискуссии, утихли научные споры, все было мертво, и только на одном «участке» царило необычайное оживление — в кабинете, где с подлинно научной дотошностью исследовались, изучались, анализировались личные дела и «досье» профессоров и студентов...

В 1938 году в Берлинском университете перед ученым советом выступил издатель газеты «Штюрмер» Юлиус Штрейхер.

«Если на одну чашу весов,— сказал он,— положить мозги всей профессуры наших университетов, а на другую — мозг фюрера, что, по вашему мнению, перевесит?»

И вся блистательная профессура закивала головами, все оживленно заулыбались, желая показать, насколько удачна эта метафора и какое счастье жить и работать в стране, где имеется та кой мозг!

Комиссия по делам высшей школы разработала «Десять заповедей немецкого студенчества»:

«...Немецкий студент! Выше самой жизни — исполнение долга перед своим народом! Кем бы ты ни стал, стань прежде всего немцем!

Высшим законом и высшим достоинством немца является честь! Оскорбление чести искупается кровью. Твоя честь — в верности твоему народу и самому себе!

Быть немцем — значит обладать характером. Ты призван завоевать свободу для немецкого духа! Ищи истину в своем народе!..

Распушенность и разнузданность — не есть свобода. В служении больше свободы, чем в самовольничании!..

Национал-социалистом рождаются, но еще в большей мере им становятся путем воспитания, самовоспитания прежде всего!

Учись подчиняться порядку! Порядок и дисциплина — это краеугольные камни всякого общественного организма и основа всякого воспитания!..

Будь отзывчив и добр, не будь мелочен в оценке человеческих слабостей, будь великодушен, когда дело идет о жизненных потребностях других людей!..

Будь хорошим товарищем! Будь по-рыцарски скромн и мужествен! Будь образцом в личной жизни! По тому, как ты обходишься с другими людьми, можно судить о твоей нравственной зрелости! Пусть слово твое не расходится с делом! Живи так, как живет твой фюрер!..»

Все эти слова о дисциплине, порядке, товариществе, которые в иных условиях содержали бы здравый смысл, были здесь всего лишь лицемерной, ханжеской риторикой. Все это жевалось и пережевывалось изо дня в день бездумно, бессодержательно, равнодушно.

В стихотворении немецкого поэта Вернера Бергенгрюна сказано: «Год за годом единственной нашей пищей была ложь».

Мы говорили о мире, священной охвачены дрожью,
Слагали высокие гимны, но все это было лишь ложью.
Мы возводили соборы, и поклонялись тиранам,
И строили, строили счастье. И все это было обманом...

Фашистское государство беззастенчиво похищало у молодых людей самое драгоценное — время, лучшие годы жизни.

Под видом «трудового воспитания» внедрялась «Lagerideologie» — «идеология лагеря». По настоянию Бальдура фон Шираха студентов отправляли на различные работы. Что, казалось бы, плохого в том, что студентов приобщают к физическому труду? Но они и эту идею исказили самым издевательским образом. Один из проповедников «лагерной идеологии» — Дюннинг — похвалялся, что национал-социализм «извлек немецкого студента из его изолированности, дал ему в руки

заступ и включил его в политический фронт трудового лагеря, в эту маленькую ячейку суровой действительности его народа». Другой энтузиаст «трудового воспитания», Фейкарт, с восторгом докладывал, что полторы тысячи первокурсников «направились в рабочие лагеря, чтобы в течение полугода быть не чем иным, как рабочими, только рабочими, и лишь после этого продолжить свое образование». Это называлось «революционизацией высшей школы», а студенчество получило наименование «akademischer Proletariat». Но «все это было обманом», так как особое внимание уделялось тому, чтобы «пролетарии духа» не вступали в какие-либо контакты с настоящими рабочими и ни в коем случае не прониклись чувством пролетарской солидарности...

Средством нацистского воспитания служили и так называемые «Kameradschaftshäuser» — общежития-казармы, в которых поначалу должны были в обязательном порядке пребывать студенты в течение трех первых семестров. Но этот нацистский «коллективизм» носил явно казарменный характер с побудками в 6.30, заправкой коек, строевыми упражнениями и «политическими беседами»...

Таким образом, не было ни одного участка жизни, ни одной клеточки общественного организма, куда не сунулся, не проник бы нацизм, и человечество будет еще долго интересоваться этой механикой превращения цивилизованного государства в тюрьму, в казарму и разбойничий притон...

В университетских дворах маршировали, на университетских полигонах учились стрелять, а с началом войны гитлеровцы, которые всегда увлекались военной терминологией, вообще объявили высшую школу «участком фронта».

Некоторые студенты носили военную форму и, оставаясь на студенческой скамье, считались военными служащими. Других отправляли в действующую армию в составе «студенческих рот».

Заметно ухудшилось положение студенток. К ним и раньше относились весьма отрицательно, утверждая, что учение — не женское дело (для девушек существовала процентная норма: в университетах они составляли всего полтора процента учащихся). Вскоре после сталинградского разгрома гаулейтер Гислер заявил в Мюнхене, что «девушкам следовало бы лучше подарить фюреру по ребенку, чем торчать в университетских аудиториях»...

Вот так они жили, так росли, так учились: одни — охваченные бездумным энтузиазмом, другие — погруженные в эгоизм и равнодушие, третьи — исполненные тайного отвращения к тому, что происходит вокруг.

* * *

В вестибюле Мюнхенского университета я стоял, обтекаемый потоком студентов, которые поднимались по широкой лестнице мимо фигур Платона и Гумбольдта в свои аудитории.

Этот вестибюль настолько широк и просторен и настолько запружен молодой, пестрой толпой, что напоминает большой двор или площадь. Его так и называют «Lichthof», то есть световой двор, с куском настоящего неба в застекленном потолке.

18 февраля 1943 года на этот световой двор в толпу с балюстрады посыпались листовки, брошенные рукой Софьи Шолль. И хотя это были всего лишь листовки, а не бомбы, начиненные взрывчаткой, в толпе началось ужасное замешательство, паника, все кинулись врассыпную: кто — на улицу, кто — в аудитории, кто — пряча эти листовки, кто — прячась от них.

В листовках же говорилось:

Сестры и братья! Студентки и студенты!

Наш народ глубоко потрясен гибелью людей под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора первой мировой войны бессмысленно и безответственно обрекла на погибель 330 тысяч немецких мужчин. Фюрер, спасибо тебе за это!

В немецком народе зреет мысль: неужели мы и впредь будем доверять судьбу наших армий дилетанту? Неужели мы принесем в жертву неизменно властолюбиво нацистской клики остаток немецкой молодежи? Ни за что! Настал день расчета, расчета немецкой молодежи с гнуснейшей тиранией, которую когда-либо знал наш народ. Именем немецкой молодежи мы требуем от государства Адольфа Гитлера вернуть нам личную свободу — драгоценнейшее достояние немцев, которую он подло похитил у нас.

Мы выросли в государстве, где беспощадно подавляется попытка свободно высказать свое мнение. В непереносимые для нас годы учения «гитлерюгенд», СА, СС пытались нас обезличить, искусственно возбудить, одурманить. «Политическое воспитание» — так назывался этот презренный метод, с помощью которого попытки самостоятельного мышления обволакивались ужасающим туманом пустых фраз... Мы — «труженики духа» — как раз годились для того, чтобы стать дубинкой в руках нового класса господ...

Для нас существует только один лозунг: борьба против нацистской партии! Уход из нацистских организаций, в которых мы по-прежнему будем обречены на политическую нищету. Уход из аудитории, где властвуют эсэсовские унтер- и оберфюреры и партийные карьеристы. Нам нужна подлинная наука и настоящая духовная свобода. Нас не запугать никакими угрозами, даже закрытием высших школ.

Дело идет о борьбе каждого из нас за свое будущее, за свою честь и свободу, за свое гражданское самосознание.

«Честь и свобода!» — за десять долгих лет Гитлер и его приспешники до отвращения затаскали, исказили, лишили смысла эти великие слова так, как способны сделать лишь дилетанты, которые попирают величайшие ценности нации. Что значит для них честь и свобода, они достаточно показали за десять лет непрерывного разрушения всяческой материальной и духовной свободы, всех нравственных установлений немецкого народа. Даже у самых глупых немцев открылись глаза после ужасной бойни, которую они учинили и продолжают ежедневно учинять по всей Европе якобы во имя чести и свободы немецкой нации. Слово «немец» навсегда покроется позором, если не восстанет наконец немецкая молодежь, не отмстит и тем не искупит грехи, не сметет своих мучителей и не построит новую Европу духа.

Студентки, студенты! На нас смотрит немецкий народ. От нас он ждет, что мы в 1943 году исторгнем национал-социалистский террор из сферы духа, как в 1813 году был исторгнут террор наполеоновский. Огненные знаки Березины и Сталинграда пылают на Востоке, мертвые Сталинграда заклиняют нас: «Восстань, народ мой!..»

Наш народ поднимается против закабаления Европы национал-социализмом, охваченный новой верой в честь и свободу!

ПРИЗЫВ КО ВСЕМ НЕМЦАМ

Война неуклонно приближается к концу. С математической точностью Гитлер ведет немецкий народ к катастрофе. Гитлер уже не может выиграть войну, он может ее только затянуть. Вина его и его сообщников превзошла всякую меру. Справедливое возмездие близится с каждым часом.

А что делает немецкий народ? Он ничего не видит и не слышит, он слепо идет за своими совратителями к собственной гибели. Немцы, неужели вы хотите, чтобы вас судили тем же судом, что и ваших лжевождей? Неужели вы хотите навечно остаться народом, ненавистным всему миру? Нет! По-

этому отрекитесь от национал-социалистского бесчеловечья, делом докажете, что вы мыслите иначе!..

Поддерживайте движение Сопротивления, распространяйте листовки!..

Вот что лежало в те февральские дни на письменных столах следователей, прокуроров, судей, перед гаулейтером Мюнхена и ректором Мюнхенского университета, перед высокими чинами гестапо в Берлине и — в изложении, в виде «оперативной сводки» — перед Гитлером.

Тех, кто читал тогда эти материалы, прежде всего возмущала «наглая самоуверенность», с которой были написаны листовки. Правда, как можно было надеяться, воздействие этих листовок окажется в достаточной мере локальным. Эти предатели, эти изнеженные в родительских гнездышках юнцы смели поучать немецкий народ, что ему следует делать в решающий момент своей истории! Миллионы их сверстников героически выносили тяготы фронтовой жизни или умирали на полях сражений, эти же сидели в тылу и строчили свои злобные, убогие по мысли пасквили! — так или примерно так рассуждали тогда те, кто по долгу службы занимался делом мюнхенских студентов, и, вызывая их на допрос, следователи говорили:

— Значит, вы решили противопоставить себя отечеству, государству, народу? Что ж. Именем народа вы будете уничтожены, и никто не услышит ваших призывов, ваши листовки навсегда будут погребены в судебных архивах, а народ, о котором вы так печетесь, с отвращением проклянет ваши имена.

И через несколько дней, после того как Гитлер и Кейтель собственноручно подписали резолюцию, утверждавшую смертный приговор, и казнь состоялась, 3 марта 1943 года в газете «Мюнхнер нейсте нахрихтен» было напечатано объявление:

НЕ СОСТОИМ В РОДСТВЕ

Вилли Шолль, коммерческий директор южногерманской компании по освоению земельных участков и жилищному строительству, настойчиво подчеркивает, что он и его семья не состоят ни в каком родстве и даже незнакомы с осужденными чрезвычайным судебным присутствием братом и сестрой Шолль. Обувная фирма «Шолль» присоединяется к этому заявлению...

В те же дни сведения о «Белой розе» были зафиксированы за границей, в соответствующих центрах, как признаки начавшегося разложения немецкого тыла, а спустя еще некоторое время живший в эмиграции в Москве Иоганнес Бехер написал поэму «Трое», где Ганс Шолль по ошибке был назван Гергартом, а Кристоф Пробст — Альвином: романтический юноша, охваченный первым робким чувством к Софье Шолль, хотя в действительности Пробст был уже отцом двоих детей и его жена Герта Дорн ждала третьего ребенка, который родился вскоре после его казни.

Бехер тогда многого еще не знал, но главное он понял: влияние, которое оказали на деятельность мюнхенских студентов события на Восточном фронте, разгром немецких войск под Сталинградом — прежде всего... В поэме в Мюнхен вступают тени павших под Сталинградом немецких солдат...

Когда-то, очень давно, я перевел эту поэму на русский язык:

.. Придет учиться в университет
Свободное людское поколение,
И память о героях наших лет
Навски сохранит в благоговенье

И вот теперь, в 1968 году, я стоял в вестибюле Мюнхенского университета, где на гранитной стене рядом с белой мраморной розой и символическим изображением неясных фигур в терновых венцах мучеников были выбиты римские цифры MCMXLIII и семь имен: Вилли Граф, профессор Курт Хубер, Ганс Лейпельт, Кристоф Пробст, Александр Шморелль, Ганс Шолль, Софья Шолль. Чего-то мне в этих изображениях не доставало: слишком уж они были символическими, абстрактными, хотя, конечно, глупо было бы требовать, чтобы изобразили их в «натуральном виде», как в жизни: угловатых, длинноногих, очкастых, и Софью Шолль — в белой блузке.

Но когда я встретился с Анжеликой Пробст, то все всматривался в ее лицо, надеясь найти в нем черты ее брата.

* * *

Она вышла из дома — прямая, высокая, с худым большеглазым лицом, в бежевом пальто, в черной вязаной шапочке, из-под которой выглядывала седая челка. — протянула мне руку в черной перчатке и сразу же предупредила, что может уделить мне время только до трех часов дня, так как она врач-психиатр, а в три у нее прием.

Производила она впечатление женщины несколько строгой, внутренне собранной и вместе с тем очень участливой, что подчеркивалось тем сосредоточенным, сердечным вниманием, с которым она слушала собеседника. Обычно женщины такого типа отличаются редкостной добротой, самоотверженностью и готовностью бросив все, прийти человеку на помощь. Но они же могут замкнуться, оттолкнуть от себя человека и прервать с ним всякие отношения, если заподозрят в нем хоть долю нечестности и нечистоплотности...

Был чудесный золотой день, весь Мюнхен был залит солнцем, и она сказала, что хорошо бы немного пройтись по улице, а потом можно где-нибудь пообедать. Так мы и забрели с ней на Шеллингштрассе, в «Остерия итальяна», где, по странному совпадению, одним из завсегдатаев, кроме Гитлера, был и ее брат — Кристоф.

Мы пришли в обеденное время, ресторан был полон, и только один столик в первом зале не был занят: на нем стояла табличка — «*geserviert*», то есть это был «дежурный» стол, который хозяин держал наготове для особо экстренных случаев или особо знатных гостей. Этот стол, в самом конце зала, у окна, отгороженный от остальных столов деревянной перегородкой, был тем самым столом, за которым обычно обедал со своими друзьями из «Белой розы» Кристоф Пробст. Впрочем, ни хозяин, ни обслуживающий персонал не имели об этом ни малейшего понятия, и когда я сказал об этом официантке, то это не возымело никакого действия: мало ли кто за каким столом когда-то сидел! Ресторан гордился другими посетителями, и на стене висел портрет бывшего итальянского короля Умберто, который некогда оказал владельцу честь своим посещением.

Наконец нам предложили занять место за свободным столом в другом зале, где обедал во время своих приездов в Мюнхен Адольф Гитлер.

Итак, спустя двадцать пять лет после гибели «Белой розы» и через двадцать три года после войны за персональным столом Гитлера сидела сестра Кристофа Пробста и мы вели нашу беседу.

Я пересказал ей содержание моих разговоров с Ильзой Браун, Юнге и Эссером, и она, горько усмехнувшись, сказала:

— Не надо было быть очень информированным, чтобы знать, что творилось в Германии! Достаточно было прочитать хотя бы «*Майн кампф*». Очень скоро после захвата власти Гитлером стало ясно, что собой представляют нацисты. Имперналистические устремления, подготовка к войне, расовые преследования были настолько очевидны, что «незнавших» просто не могло быть. Все наши друзья и

знакомые думали на этот счет одинаково, и нам казалось, что так думают все. Но люди есть люди, и вели они себя по-разному. Нельзя, конечно, требовать, чтобы каждый был героем и готов был идти на смерть во имя справедливости. Можно понять напуганных, затравленных, не желавших рисковать своей жизнью и жизнью своих семей. Все было тотально поработано, и только один участок не мог быть «оккупирован» нацистами — это мысль. Те, кто, пусть молча, пусть внутренне, не принимал этот режим, уже были людьми. И таких людей было много. Честность и героизм иногда состоят не в том, что ты печатаешь листовку, выступаешь «против», организуешь антинацистский кружок, а в том, что не поддаешься обману, сознательно не пользуешься предложенными тебе удобными шорами: ведь так легко, так удобно, так выгодно и спокойно «ничего не понимать», «ничего не знать»... Были приспособленцы, были жулики, вымогатели, взяточники, но в третьем рейхе хуже всех были слепые фанатики. В нормальном государстве вор или жулик — преступники. В фашистском же государстве в жулике, воре, взяточнике сравнительно с фанатиками есть какие-то человеческие черты, человеческие пороки и слабости, которые предпочтительнее фашистской «непорочности» и «верности делу». Нет, фанатизм хуже шкурничества, хуже подлости. Но некоторые лишь притворялись фанатиками, потому что фанатиками людей делает не только слепота, но и страх.

* * *

Конечно, «фанатизм» в этом разговоре употреблялся условно, как обозначение механистического мышления. Кто упрекнет в «фанатизме» Джордано Бруно или Коперника, Жанну Д'Арк или Робеспьера, революционеров России или немецких подпольщиков, одержимых своей возвышенной, благородной идеей?..

Что же касается того, что многие нацисты лишь притворялись фанатиками, то в этом Анжелика Пробст была совершенно права.

В дневниках писателя Роберта Музиля очень наглядно показано, как после поджога рейхстага некоторые вчерашние ворчуны и «фронтеры» мигом превратились в рьяных приверженцев Гитлера, почувяв в нем с и л у, которая может уничтожить, но может и облагодетельствовать и пригреть, если к этой силе как следует приспособиться. Одно сознание того, что они не оказались в числе казненных и арестованных, как бы наполняло их чувством благодарности и сладострастного раболепия, смешанного с тайным злорадством по отношению к тем, на кого обрушился террор. Каждый из этих новоявленных сторонников нацистской системы находил для такой метаморфозы свои аргументы. Но чем более непрочным и притворным был их «фанатизм», тем неумолимее и яростней они относились к «инакомыслящим», уверив других и в конце концов самих себя в несомненной искренности появившихся у них «убеждений»...

* * *

— Да, страх и расчет портят людей, — сказала Анжелика Пробст, — но расчет — это еще не самое страшное. Ужаснее всего паралич мысли, телячий восторг перед подлостью.

— Из чего же рождается протест?

Она сказала:

— Большую роль в осознании того, где мы живем, играло преследование евреев, католиков, коммунистов. Мы знали об этом подробно, слушая иностранные передачи. В семье очень много говорили о политике, жизни вне политики не было, о чем бы мы ни говорили, все так или иначе сводилось к политике. И это было вполне естественно для нормальных людей в то время. Мы ни в какой мере не были одержимыми, «бесами», охваченными зудом антиправительственной деятельности, но несправедливость, окружавшая нас, была настолько велика, что мы ни о чем другом не могли думать. Боролась оттого, что эта жизнь казалась невыносимой.

У Толстого есть сочинение, которое называется «Не могу молчать!». Вот это — «не могу молчать» — было, пожалуй, девизом «Белой розы». Как есть потребность в еде, в питье, так есть потребность в правде, неудержимое, непобедимое стремление высказать правду. Эта потребность сильнее любого расчета, сильнее инстинкта самосохранения. Есть осознание своей собственной причастности к тому, что творится, желание избавиться от вины, которая лежит и на тебе, если ты живешь в этом государстве, не разделяя страданий, которые выпали на долю лучших людей твоего народа...

(Ильза Браун на мой вопрос, чувствует ли она себя «mitschuldig» — совиновой, не задумываясь, ответила: «Нисколько!» А эта женщина говорила о потребности очиститься от вины.)

Она рассказала о своей семье. Их отец был ученым-энциклопедистом — профессором естествознания, историком живописи, а позднее увлекался еще и историей восточных религий, для чего специально изучил персидский язык и санскрит.

— Литература, музыка, атмосфера искусства, которой мы дышали с детства в родительском доме, не могла не повлиять на сделанный нами выбор и по своему определила судьбу моего брата. Все, что пришло в Германию в 1933 году, было враждебно нам с самого начала, хотя к явлению фашизма мы подходили не столько с социальной, сколько с религиозно-нравственной меркой. В какой-то степени этот подход был характерен для всей «Белой розы», в чем впоследствии многие усмотрели ее слабость, либеральную ограниченность и обреченность на заведомый неуспех. И сейчас еще спорят о том, к какому крылу антинацистского сопротивления надо ее причислять. Но перед гестаповским топором все были равны: и коммунисты, и католики, и либералы, и представители религиозных сект. Но вот что вам важно знать: шла война с Россией, и отношение к вашей стране, к русским, сыграло в деятельности «Белой розы» не последнюю роль. Все мы бредили Достоевским, Лесковым, Толстым, Чеховым, читали стихи Пушкина и Лермонтова, очень любили русские народные песни. Близким другом нашей семьи, разделившим участь моего брата, был Александр Шморелль — «Шурик», как мы его называли, наполовину русский, уроженец города Оренбурга. Он совсем еще мальчиком, в году двадцать первом, переехал с отцом в Мюнхен после того, как там, в Оренбурге, умерла от сыпного тифа его мать — дочь православного священника, и отец женился вторично, на немке: он был немцем, подданным Германии, хотя и прожил полжизни в России, работал на Урале врачом.

Из России они привезли с собой няню, я ее хорошо помню, эту старую русскую нянюшку, ну такую, какая была у Пушкина, и можно сказать, что русскую речь, русские песни, русские сказки, русские обычаи Александр Шморелль впитал если не с молоком матери, то с молоком, которое подавала ему его няня.

Шморелль мечтал когда-нибудь возвратиться в Россию и своим русским происхождением чрезвычайно гордился... Ах, это была славянская душа, душа бродяги: тянуло его к цыганам, к скитальцам каким-нибудь, к опустившимся, нищим актерам. Он мог, бывало, засидеться с ними до глубокой ночи за бутылкой вина... При этом он был отличным пловцом, фехтовальщиком и замечательно талантливым пианистом и скульптором, подававшим большие надежды, так что отец снял для него ателье, где он лепил свои скульптуры. И сейчас еще у кого-то хранится изваянная им «Голова Бетховена».

Нет, я хочу, чтобы вы поняли, что ни Александр Шморелль, ни мой брат, ни Вилли Граф, ни Ганс Шолль, ни Софья — никто из них не был каким-то мрачным заговорщиком, желавшим во что бы то ни стало «принять муку» и умереть на эшафоте. Мой брат был очень жизнерадостным человеком, любил смеяться, шутить, увлекался спортом, вообще все они были натурами крупными, щедро одаренными природой, и, может быть, именно поэтому они так ненавидели эту уродливую, противную самому человеческому естеству гнилую систему. Но

задайтесь вопросом: почему гибнут самые лучшие, самые светлые головы, а подлецы и негодяи живут и ни пуля их не берет, ни болезнь?..

Итак, Александр Шморелль, Шурик... Мы все заразились от него «русофильством», и когда нацисты напали на вашу страну, мы возненавидели Гитлера еще больше. И вот представьте себе: летом 1942 года три мюнхенских студента-медика, три тайных участника «Белой розы» — Александр Шморелль, Вилли Граф и Ганс Шолль — попадают в Россию, в Гжатск, в качестве фронтовых врачей-практикантов. Эта недолгая командировка возымела самые серьезные последствия и подтолкнула их к дальнейшим решительным действиям.

Судя по письмам, по дневниковым записям, они сначала воспринимали Россию не без литературных реминисценций, как некий мистический мир, и в каждом жителе Гжатска наивно искали Митю Карамазова или Федю Протасова, лесковского «очарованного странника» или чеховскую «даму с собачкой». Но, конечно, ничего этого они там не нашли, а увидели народ совсем другой, сплоченный ненавистью к оккупантам. «Удивительно, — писал в своем дневнике Вилли Граф, — насколько здесь велика ярость к немцам: подлинное отвращение...»

Нет, они не нашли в Гжатске ни Грушеньку, ни «даму с собачкой», но в письмах упоминаются имена двух девушек — Зины и Веры, которые, возможно, были советскими партизанками или подпольщицами и вели с Графом, Шмореллем и Шоллем вполне откровенные политические беседы. Но это я так вам, к слову, рассказываю, потому что допускаю, что в русском народе и сегодня еще существует убеждение, что все немцы были тогда палачами. Но, как видите, палачами были не все, многие были жертвами...

Эти слова о палачах и жертвах заставили меня вспомнить об одной вызвавшей большие споры режиссерской трактовке пьесы Петера Вайса «Дознание», где одни и те же актеры играли и палачей и жертв и по ходу спектакля «переходили» из одной роли в другую. Режиссер задумал поставить вопрос о «всеобщей ответственности» и о порочности такого общества, где палачи и жертвы жили в условиях одной и той же системы и «в зависимости от обстоятельств» могли бы легко поменяться местами.

Конечно, ни режиссер, ни актеры сами ни разу не стояли перед таким выбором, поэтому мне хотелось узнать, что думает по этому поводу человек, сделавший однажды свой выбор.

Я спросил Анжелику, как она относится к подобной трактовке, и она решительно ответила, что «неверно, что палачи и жертвы легко могли бы поменяться местами, но верно, что не каждый из палачей хотел быть палачом и не каждый, кто оказался жертвой, стал ею по собственной воле...».

— Своего брата я видела в последний раз в ноябре 1942 года в Даленбурге, где я тогда жила. Конечно, я не знала, что это наша последняя встреча. Мы гуляли по чудесным окрестностям, но все наши разговоры так или иначе сводились к политике, к положению в мире, к тому, что нам делать, как быть, долго ли еще продлится эта война. Брат не посвящал меня в подробности своей подпольной работы, опасаясь, что я формально могу стать соучастницей, он берег меня от обвинения в «недоносительстве», хотя после их провала я сидела в тюрьме четыре месяца и тоже ждала казни... Мой брат, как я вам уже говорила, был очень жизнерадостным человеком, но в это последнее свидание он показался мне таким серьезным, таким грустным. Он словно предчувствовал, что его ждет... Мы шли полем, в небе светилась яркая, крупная звезда, и я вдруг ни с того ни с сего сказала ему: «Знаешь, Кристоф, если бы всю нашу семью арестовали и у меня была бы возможность спасти только одного из всех, я выбрала бы тебя»...

Их казнили 22 февраля 1943 года в Мюнхене, тела казненных выдали родственникам и похоронили на кладбище Перлахер Форст. А судья Фрейслер, подписавший им смертный приговор, погиб во время бомбежки в Берлине.

* * *

После обеда Анжелике непременно захотелось подойти со мной к дому 13 на Франц-Йозефштрассе, где жили Софья и Ганс Шолль и печатались листовки «Белой розы».

Мы постояли около мемориальной доски. Мимо шли люди, не обращавшие на нас никакого внимания, проехал автомобиль с зеленым плакатиком, на котором было написано: «Разрешите компартию, запретите НДП — и единство Германии обеспечено!»

Анжелика сказала:

— Вы, наверно, не поняли. Это должно восприниматься как ирония, как насмешка. Такой плакат выпускает сейчас НДП.

Я спросил:

— Что вы думаете об этой партии?

Она неохотно и сухо ответила:

— НДП пока что еще не очень большая сила. Но взялась эта сила оттуда же, откуда взялся Гитлер — из антикоммунизма. И мы это помним...

Она подняла руку, остановила такси и, прощаясь, сказала:

— Я хочу, чтобы вы знали, что многие немцы были целиком против Гитлера и против войны, но всем правил страх... После того, как моего брата казнили, большинство людей там, в сельской местности, где я жила, отнеслось ко мне очень тактично, с искренним сочувствием, многие люди понимали, что «Белая роза» боролась и погибла за правое дело. Очень, очень многие люди ненавидели нацизм, и это неверно, когда говорят про немцев, что они — «фашистская нация»... Нет, не все немцы были нацистами и не вся немецкая молодежь пела «Дрожат одряхлевшие кости»...

IX

Дрожат одряхлевшие кости
Земли перед боем святым.
Сомнения и робость отбросьте!
На приступ! И мы победим!
Нет цели светлей и желаннее!
Мы вдребезги мир разобьем!
Сегодня мы взяли Германию,
А завтра — всю Землю возьмем!..

Ганс Бауман, написавший строки этого молодежного нацистского гимна, сидит передо мной в вестибюле мюнхенской гостиницы «Леопольд». Ему за пятьдесят. Он лысоват, невысок ростом, утирает платком красное от напряжения лицо и сконфуженно, чуть виновато улыбается: «Да, так вот сложилась судьба...»

Он пришел объясниться: несколько месяцев назад в «Литературной газете» я изругал его переводы Ахматовой. Казалось кощунством, что бывший югенд-фюрер, любимец фон Шираха, автор фашистских песен, ее переводит.

Он достает из портфеля фотокопию моей статьи:

— Видите ли, с человеческой точки зрения вас можно понять, но...

— Что — «но»?

— «Дрожат одряхлевшие кости»... Вот уже два десятилетия я живу под бременем этих строк, которые когда-то пели миллионы людей и которые принесли мне однажды всегерманскую славу. Мне было девятнадцать лет, когда я их написал. Я жил в глуши баварских лесов в страшной бедности, работал учителем. Вы не представляете себе, какая была нищета! Дети ходили в деревянных башмаках, голодали. Разрешите, я прочту вам моего «Безработного»:

Господь, не дай мне умереть,
Господь, пошли мне хлеба...

Меня распирали ненависть к богачам, к сонным обывателям, погрязшим в свинстве. Единственным человеком, которого я уважал, был мой школьный воспитатель — бывший фронтовой офицер, летчик, отличный спортсмен. Он умел организовать молодежь, устраивал лесные походы с песнями у ночного костра. Нет, этот не был похож на обывателя: от него веяло романтикой, духом товарищества, готовностью к самопожертвованию. Однажды я принес ему свою песню — ту самую, об одряхлевших костях. Это было заклинанием, обращением к молодежи: возьмем жизнь в свои руки, мир должен принадлежать нам — то есть юношеству.

... Heute hört uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt!

(«Сегодня нас слышит Германия, а завтра — весь мир».)

Учитель исправил одно только слово: переделал «hört» (слышит) на «gehört» (принадлежит) — всего две буквы, крохотная приставка: не надо было менять даже рифму.

Песню напечатали в молодежном сборнике, я был окрылен, почувствовал себя поэтом... Вы хотите записать текст?

Он взял у меня из рук карандаш и круглым, крупным почерком вписал в мой блокнот:

Так пусть обыватели лают —
Нам слушать их бредни смешно!
Пускай континенты пылают,
А мы победим — все равно!..

Он осторожно, искоса, посмотрел на меня. Я спросил:

— Что вы понимали под «пылающими континентами», как вы себе это конкретно представляли? В виде войны, что ли?

Он вздохнул:

— Как вам сказать... Едва ли... Просто был порыв, пафос, нечто неопределенное... Я упивался потоком собственных слов.

Пусть мир превратится в руины,
Все перевернется вверх дном!
Мы — юной земли властелины —
Свой заново выстроим дом!

— А этот «новый дом» что означал?

— Ну, царство света, справедливости... Так вообще... В тридцать третьем году, когда нацисты уже пришли к власти, меня неожиданно вызвали к самому Шираху — руководителю гитлеровской молодежи. Можете ли вы понять, что значил для меня тогда этот вызов? В то время это казалось неслыханной честью. Подумать только: я, провинциал, парий, самим провидением обреченный жить в нищете и безвестности подобно тому, как жили поколения моих предков, — вдруг удостоился внимания одного из первых лиц в государстве, человека, который ежедневно общается с фюрером! От этого могла закружиться голова, согласитесь!.. К тому же Ширах сам был поэтом. Он разговаривал со мной как с коллегой, с братом по перу. Где, когда, при каком другом режиме в Германии могло случиться такое? Прежде государство нуждалось в полиции, в армии, в деловых людях, искусство же всегда, во все времена, было враждебно ему по самой своей природе. Поэт оказался нужным государству, оно нуждалось в этих написанных моей рукой строчках, брало их под свое покровительство... Первым охватившим меня тогда чувством была благодарность. Истовая, идущая из глубины сердца. Благодарность за признание, за доверие: не только ко мне — к поэзии...

— Да, но ведь именно в это самое время в Германии сжигали стихи Гейне, а Томас и Генрих Манн, Леонгард Франк, Брехт, Бехер уже находились в изгнании. Разве вы не знали об этом?

— Конечно, знал... Гейне! Это мой любимый поэт, я обожал его, знал наизусть, поверьте... Но, видите ли, запрет, наложенный на Гейне, казался мелочью в сравнении с тем грандиозным переустройством, которым жила вся страна. Ах, не я один был ослеплен Гитлером! И при этом — как бы поточней выразиться — чувство инстинктивно сопротивлялось разуму, не хотелось, чтобы разум омрачал певшее во мне чувство подъема, восторга. Иначе я просто не смог бы писать искренне... Больше всего я опасался раздвоения личности: не хотел быть лгуном, приспособленцем, который думает одно, а пишет другое...

Умение не видеть то, что мешает, чего мне, по моему положению, не следует видеть, — нелегкое умение, но я овладел им вполне. И я считал себя честным человеком...

— Может быть, такая «честность» есть высшая, наиболее изощренная форма нечестности?

— Возможно... Но я был бескорыстен, иногда оставлял свои гонорары издателям, деньги не имели для меня никакого значения. Наградой была любовь и признание молодежи. Я уверовал в то, что я и в самом деле пророк. Каждый день по радио, на улицах и площадях я слышал, как поют мои песни. Их пела тогда вся Германия.

— Германия тюрем и концлагерей?

— Я видел ее другой: пробудившейся от спячки, из разгромленной, разоренной страны становившейся великой державой. Я имею в виду тридцать третий — тридцать шестой годы...

— Позвольте, но вы не могли не слышать о Дахау, о Бухенвальде, о процессе над Димитровым, о массовых арестах...

— Конечно, не мог. Мне было известно множество горьких фактов.

— И что же? «Раздвоение личности»?

Он покачал головой.

— Нет, скорее проверка на прочность: достаточно ли я силен в своей вере, может ли поколебать эту веру осознание колоссальных несправедливостей...

Он уже стал уставать от моих вопросов, смотрел на меня с огорчением, теряя надежду на то, что я его наконец пойму. Впрочем, он привык к этому: к тому, что его по-прежнему считают нацистом, третируют в левой прессе, то и дело напоминают об «одряхлевших костях». А он ведь давно отошел от политики: занимается переводами, сочиняет стихи для детей — о солнечном зайчике, о телефоне, о щелкунчике, о Гансике, заблудившемся в дремучем лесу...

Он положил передо мной книгу в коричневой суперобложке: «Русская лирика десяти столетий» — от «Слова о полку Игореве» до Беллы Ахмадулиной — труд, на который другой мог бы потратить целую жизнь. Я просмотрел оглавление: былины, народные песни... Державин... Пушкин... Лермонтов... Тютчев... Некрасов... Фет... Случевский... Владимир Соловьев... Иннокентий Анненский... Поликсена Соловьева... Блок... Хлебников... Маяковский... Эренбург... Мандельштам... Пастернак... Есенин... Асеев... Кирсанов... Шефнер... Татьяничева... Алигер... Баруздин... Вознесенский, Евтушенко... Тамара Жирмунская...

— Почему вы занялись русской поэзией?

Получалось нечто вроде допроса: я со своим блокнотом и он — напротив меня — смущенный, вынужденный объясняться, оправдываться.

— Ах, это долгая история. Она началась еще в годы войны, на фронте, когда я впервые встретился с русскими, услышал русскую речь... Наш полк стоял в маленькой деревушке под Волховом. Меня пленила музыка русской речи, люди, природа... Потом я приехал домой, в отпуск, — жена взяла женщину, вывезенную из России. (Меня резануло: «взяла!» «вывезенную!» — я тут же занес эти слова в блокнот, он же не ощутил никакой неловкости: для него это было просто бытом.) Мы полюбили ее как родную. Она хорошо знала русскую поэзию и часто по вечерам читала нам наизусть басни Крылова, стихи Некрасова, Пушкина,

понемногу учила русскому языку («...чтобы общаться с оккупированным населением», — добавил я про себя). Видите ли, эта женщина — я так и не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба, — впервые заронила в мою душу сомнение: правильно ли я поступаю, что участвую в этой войне? И был еще один повод для разочарований. Он связан с другой женщиной, тоже жившей у нас; с учительницей, обучавшей музыку мою жену. Эта женщина была еврейкой, и тем не менее мы считали ее членом нашей семьи. (Я представил себе эту благополучную, привилегированную семью, где до поры до времени могли позволить себе роскошь «держат» еврейку...) Она не знала никаких притеснений. В сорок втором за ней пришли. Пришли те самые люди, которые выросли на моих стихах и моими словами клялись «обновить» мир... Что было делать? Я засел за пьесу об Александре Македонском, которого изобразил грубым и жестоким завоевателем. Пьеса была слабая, написанная ямбом, подражание Шиллеру — не документ сопротивления, ни в какой мере. Но здесь был намек! Все должны были понять, о ком идет речь. Известный актер Грюндгенс взялся осуществить постановку. Но Геббельс обладал слишком хорошим нюхом: пьесу мою запретили, а сам я вновь отправился на Восточный фронт, в окопы, где с моими солдатами делил все тяготы и лишения. Можно сказать, что я бежал на фронт от этого проклятого мира, хотел в окопах найти убежище от моих заказчиков и покровителей, а газеты между тем писали, что «наш славный поэт» с оружием в руках сражается за фюрера. И я не смел этого опровергнуть: ведь так оно и было фактически.

— А стихи вы по-прежнему продолжали писать?

— Да... Но уже в совершенно ином духе. Не для печати. Были у меня, между прочим, и такие строки: «Если война — отец всех вещей, то пусть милосердие станет всех вещей матерью...»

Он вновь посмотрел на меня — пристально, придирчиво, словно взвешивая мою способность оценить его исповедь.

Ему было душно, лицо его стало совсем уж пунцовым, и говорил он с трудом. А мне хотелось спросить, что было бы с ним, какую бы он занял позицию, если бы Германия не проиграла войну? Но этот вопрос показался мне сейчас слишком жестоким...

Он коротко рассказал о своей послевоенной жизни: в течение первых шести лет исчез из литературы, нигде не печатался, работал в починочной мастерской, хотя его сотрудничества домогались, как он выразился, и «справа» и «слева».

— Правые видели во мне единомышленника, рассчитывали, что я буду служить им в новых условиях. Но с этими людьми у меня уже не было ничего общего. Левые в свою очередь считали чрезвычайно выгодным заполучить меня в свои ряды: публичное раскаяние бывшего нацистского поэта чего-нибудь стоит! Но я не хотел торговать своим раскаянием, своей биографией. Я предпочел молчать. А потом вновь взялся за перо — начал переводить сказки для детей Льва Толстого, русских поэтов, написал несколько детских книжек. Так и живу...

Наша беседа длилась около часа, и за этот час он, который в моем воображении только что был развязным фашистским горлопаном, затянутым в ремни «имперским поэтом», постепенно превращался просто в несчастного человека. Но «стена отчуждения» осталась, только пошатнулась чуть-чуть.

Прощаясь, он несколько высокопарно сказал:

— «Одряхлевшие кости» стали моей судьбой. Я принял ее как должное. Но позвольте надеяться, что вы поняли трагедию человека, который, будучи сам ослепленным, невольно ослеплял других. Прозрение пришло слишком поздно, но оно пришло... Может быть, я об этом еще напишу...

Мы поднялись. Я принял в подарок его книгу и, между прочим, заметил, что однажды перевел несколько строк из его «Одряхлевших костей».

Он оживился:

— Как? Каким образом?

— В одном антифашистском романе эта песня приводится в виде цитаты: ее распевают нацистские молодчики...

Он пробормотал:

— Любопытно... Вы не прочтете?

Он слушал, откинув голову, полузакрыв глаза: все-таки это было его детище.

Потом попросил:

— Запишите мне это на память.

Х

Пока происходили все эти встречи. Макс готовился к главной своей «операции»: искал Шпеера и Шираха, которые два года назад вышли из союзнической тюрьмы Шпандау в Западном Берлине, где по приговору Нюрнбергского суда они провели двадцать лет. Их адреса не значились ни в одном справочнике, и ни одна из редакций, в которые мы обращались, не решалась нам в этом помочь.

Макс совсем уже было отчаялся и спросил, не соглашусь ли я на худой конец «заменить» Шираха Гальдером, а Шпеера — гитлеровской летчицей Ганной Рейч?..

Но меня интересовали все-таки Ширах и Шпеер, и не только оттого, что это были имена-символы: Бальдур фон Ширах — создатель и руководитель «гитлерюгенда», и Альберт Шпеер — министр вооружения, державший в своих руках весь военный потенциал нацистской Германии. Существовала еще одна, «человеческая» сторона вопроса, потому что если разложить биографию того же Шираха по годам, то выглядит она следующим образом: пять лет активной фашистской деятельности до начала гитлеровского господства, двенадцать лет — на вершине власти, двадцать один год — в тюрьме и два года — на отдыхе, не у дел. Чего же в нем больше? Какие из этих лет были для него «определяющими»? Отмирает ли в человеке его прошлое, или он несет его в себе до конца?..

Еще в Москве я прочитал мемуары Шираха «Я верил в Гитлера» — книгу, написанную не без конкетливого изящества, что называется «легко», но воспринятую мной как попытку отшутиться от прошлого, представить трагедию, постигшую человечество, как скверный анекдот. Я откликнулся на эти мемуары статьей в «Журналисте», написал о реваншистских происках и реабилитации Гитлера.

Теперь в Мюнхене накануне возможной встречи с Ширахом я вновь перечитывал его книгу — «семейную хронику» гитлеризма, страницы, овеянные легкой иронией, отголоски давних слухов и сплетен, касающихся главарей третьего рейха, которых Ширах наделил несколькими негативными черточками, скорее смешными, чем зловещими. Куда-то отошел, отодвинулся в сторону тот, известный всему миру рейхсгендфюрер, о котором Хартли Шоукросс, главный обвинитель от Великобритании, в заключительной речи на Нюрнбергском процессе заметил: «Фон Ширах. Что следует сказать о нем? Сказать, что лучше всего было бы повесить ему на шею мельничный жернов? Именно этот подлец совращал миллионы немецких детей, с тем чтобы, когда они вырастут, сделать из них то, чем они стали, — слепое орудие политики убийства...» Но вместо подлеца возник юный мечтатель, охваченный беззаветной любовью к отечеству, втянутый в водоворот событий, в которых он своевременно не смог разобраться.

Некоторые главы напоминали пропагандистские сетования господина Б.— Фрица Вагнера: унижение, которому подверглась Германия, эгоизм победителей, трудности партийной борьбы, когда сам фюрер фланировал по мюнхенским улицам мимо роскошных витрин, в драных ботинках, темные конспиративные квартиры, партийная касса, пополняемая грошовыми взносами...

Я представил себе того гимназиста Майера, который писал угрожающие письма редактору бюллетеня «Гестерн унд хойте», увидел его за книгой Шираха: не ему ли она адресована? Не должны ли вновь учащенно забиться молодые немецкие сердца, охваченные романтикой нацистского подполья?..

И вот вдруг все ожило, пришло в движение, когда в партийные кассы посыпались миллионные субсидии от Гугенберга, от Круппа, от Шахта и Тиссена и кучка затравленных фанатиков превратилась в могущественных руководителей и всемогущих диктаторов третьей империи. Именно в эту «золотую пору» особенно часто звучали погромные речи Шираха, песни Шираха, лозунги Шираха — все, что уже тогда воспринималось как коричневая чума, смертельная угроза для человечества и что переполняло страхом и отвращением Кристофа и Анжелику Пробст, Александра Шморелля, брата и сестру Шолль... На невообразимо далеком расстоянии находились они от Шираха, но сейчас, читая его мемуары, я внутренне сталкивал их лицом к лицу, с тем чтобы Ширах ответил мне, им, как он однажды загубил и похитил их молодость. Однако в книге из тогдашних речей Шираха были приведены лишь самые невинные и наивные цитаты, несколько ничего не значащих фраз, так что просто невозможно было понять, в чем же состояла пагубная суть массовой организации гитлеровской молодежи, которую Ширах «обручил» с вермахтом и СС: в оккупированном Львове члены «гитлерюгенда» упражнялись в стрельбе по живым мишеням, выстраивая трехлетних детей в шеренгу по росту и расстреливая их из винтовок и автоматов...

Об этом эпизоде мне рассказал в Москве старейший работник Прокуратуры СССР Георгий Николаевич Александров, возглавлявший на Нюрнбергском процессе следственную часть советской делегации.

Г. Н. Александров был первым советским юристом, который допрашивал главных немецких военных преступников еще до суда, и из его рассказов передо мной возник довольно отчетливый образ Шираха.

Тогда, на допросе, Бальдур фон Ширах заявил, что в жизни Гитлера следует различать три периода: человеческий, сверхчеловеческий и нечеловеческий.

Из этой же «периодизации» Ширах исходил и в своих мемуарах: «человек» Гитлер его очаровал, «сверхчеловек» — загипнотизировал, а «нечеловек» — ужаснул...

Он описал свои «разногласия» с Гитлером: спор по поводу венских художников-экспрессионистов, о том, целесообразно ли ставить на немецкой сцене пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского. Были вопросы и посущественнее: в конце войны Ширах осмелился посоветовать своему фюреру прибегнуть к нескольким пропагандистским трюкам — «провозгласить» создание «самостоятельной Украины» во главе с гетманом, пообещать большую «свободу действий» предателю Власову.

В этих описаниях можно было при желании усмотреть урок будущим оккупантам, просьбу учесть ошибки и недостатки прошлого. И это было, пожалуй, единственным «серьезным» местом в его легковесных, никчемных записках... Все остальное представляло собой беллетристику — беглый, флегматичный рассказ о Нюрнбергском процессе: обида на «плохое питание» и слишком суровое обращение со стороны американской охраны, эпизоды и сценки из тюремного быта в Шпандау.

Напрасно я искал в этой книге хоть какие-либо признаки раскаяния, и ничего, которой Ширах, как один из крупнейших идеологов и практиков фашизма, связал бы себя с нацистскими преступлениями, — о них он вообще упоминал вскользь, как о чем-то не имеющем к нему никакого отношения. Этого человека, который непосредственно осуществлял депортацию в лагерь смерти сотен тысяч людей и сам инспектировал Маутхаузен, не интересовало ничего, кроме собственной личности, и печалился он только об одном — о своих иллюзиях, утраченных под ударом истории.

Таким представал Бальдур фон Ширах в своих заново прочитанных мной мемуарах, и я не пожалел о том, что обругал их тогда в «Журналисте»...

Между тем Макс разыскал телефон мюнхенского адвоката доктора Роберта фон Шираха, оказавшегося сыном Бальдура фон Шираха, и через секретаршу сообщил, что «русский переводчик» и т. д., «человек, известный в литературных кругах», хотел бы непременно встретиться с его отцом.

На другой день секретарша д-ра Роберта фон Шираха ответила, что д-р Роберт фон Ширах связался с секретаршей господина Бальдура фон Шираха, который находится сейчас на отдыхе в Шварцвальде, при лесопильном заводе в городе Троссинген, и что господин Бальдур фон Ширах готов обсудить возможность такого свидания...

После неоднократных переговоров, в ходе которых секретарша д-ра Роберта фон Шираха, д-р Роберт фон Ширах и секретарша господина Бальдура фон Шираха уточняли, кем являются господин Макс и его русский гость и какова, собственно, цель, которая привела этого русского гостя в Германию, было условлено, что господин Бальдур фон Ширах примет нас между 18 и 19 часами в субботу 23 ноября...

Но тут раздался звонок, Макс подошел к телефону и услышал следующее:

— Добрый день, с вами говорит инженер Альберт Шпеер из Гейдельберга. Мне стало известно о вашем намерении познакомить меня с советским писателем господином Львом Гинзбургом. У него имеются ко мне вопросы?.. Я отвечу на них с большой охотой... Вы не станете возражать, если я позволю пригласить вас обонх к обеду 23 ноября в субботу...

В этот вечер Макс долго сидел над картой, а потом принес мне написанный на листке бумаги маршрут: Мюнхен — Аугсбург — Ульм — Гейдельберг — Баден-Баден — Кель (французская граница) — Оффенбург — Швеннинген — Троссинген — Тюбинген — Мюнхен.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

А. НЕЖНЫЙ

★

ГОРОДА, КОТОРЫЕ МЫ СТРОИМ

Города притягивают к себе все больше и больше людей. В год, когда родился Пушкин, всего два процента населения земного шара жили в городах. Теперь же — треть человечества.

В книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал: «Города растут вдвое быстрее, чем остальное население: с 1863 по 1897 г. все население увеличилось на 53,3%, сельское на 48,5, а городское на 97,0... Число городов, имеющих 50 и более тысяч жителей, более чем утроилось с 1863 по 1897 г. (13 и 44)». Работу над книгой Ленин завершил ровно за год до начала двадцатого века. Прошло семьдесят лет. Больше половины населения страны живет теперь в городах: урбанистический контур нашего будущего вырисовывается с особенной ясностью.

Более девятисот городов заложено у нас после 1926 года — мощь и размах, в истории мирового градостроительства невиданные! А сколько новых городов появилось на карте в последнее время — Братск, Мирный, Дивногорск, Ангарск, Шевченко, Шелихов — всех не перечить.

Социальная сущность наших городов определяется социальными целями общества. И города поэтому представляются мне ступенями нашего движения — с каждым шагом все выше.

Сейчас пересматриваются, меняются генеральные планы многих городов: растет их народнохозяйственный потенциал и старые планы становятся тесны им, как юноше одежда, в которой ходил он подростком. Основываются новые города: Тольятти, Сургут, Нефтеюганск... А это значит: сегодня мы будем строить больше, чем вчера. Но если задуматься над тем, что все построенное должно служить нам не один десяток лет, если задуматься над лично нашим отношением к тому, что и как сооружается в стране, то едва ли не каждый поспешит высказать свое неодобрение однообразию нового строительства... Попадает всем: архитекторов обвиняют в забвении эстетической стороны их искусства, строителей — в плохом качестве их работы... Это, так сказать, критика с первого взгляда. Более же серьезная критика причислит сюда промахи перспективного планирования, узость генпланов, ведомственную неразбериху...

Разве не странно — строим больше всех в мире, но еще не смогли вывести градостроительство на верный путь?

Это факт, сам по себе достойный удивления; удивляет он еще и потому, что у нас все же — и в последнее время особенно — появляются образцы градостроительства — продуманные, четкие, хорошо организованные, со своим выразительным и неповторимым обликом. Я расскажу еще о градостроителях Вильнюса, удостоенных в прошлом году Государственной премии. А сейчас хочу сказать несколько слов о городе Навои, создатели которого выдвинуты сейчас на соискание этой премии.

Навои — город, поднявшийся в пустыне. Строить новый город вообще трудно (на примере Сургута я расскажу об этом более подробно), в пустыне — тем более. Но судьба Навои оказалась счастливой. проблемы тут не только ставились, но и решались.

Например, разработан специальный тип панелей, созданы новые дома, приспособленные к местному климату, на солончаках растут деревья... А все вместе дало нам город, который радует глаз и в котором хочется жить.

1

Города-новостройки возникают в точках приложения государственных средств и сил. Вот история Сургута. Началась она, когда в лесах и болотах Западно-Сибирской низменности были открыты огромные запасы нефти и газа, и север Тюменской области стал называться «пионерным районом». И на одну чашу весов легла тюменская нефть, ее вес в народнохозяйственном балансе страны оказался внушительным: шесть миллионов тонн в позапрошлом году, почти в два раза больше в прошлом и около девятнадцати миллионов намечено на нынешний год! А на другую чашу положено было все, что связано с освоением нового района: тысячи работников, жилье для них, для них же магазины, больницы и клубы, школы, сады и ясли для их детей... Уравновесить обе чаши, сделать так, чтобы миллионам тонн в трудных условиях добытой нефти отвечал устроенный быт тех, кто ее добывает, — вот первый и главный принцип освоения Западной Сибири.

Теоретически все — или почти все — ясно. География и экономика за то, чтобы Сургут становился центром нового нефтяного района. Огромна его роль сегодня, чем менее значительна будет и завтра, когда разработка и добыча пойдут дальше на север.

Перед тем как отправиться в Тюменскую область, я познакомился с Сургутом заочно — в пятой мастерской московского «Гипрогора». В строгих положениях технико-экономического обоснования, схемы районной планировки, заданий к генплану виден был город, развитие которого продумано, размерено и рационально.

«Раскрыть планировку города на реку, создать наиболее благоприятную южную экспозицию, обеспечить четкую и скоростную связь промышленных районов с городом с учетом суровых климатических условий. Город организовать в виде компактного массива, состоящего из планировочных городских районов, связанных между собой и местами приложения труда городскими и районными магистралями вдоль береговой полосы Оби».

«Для жилой застройки применять многоэтажные жилые дома». «Окончательный тип дома, применяемый для многоэтажного строительства в районе Сургута, подлежит уточнению по согласованию с Госстроем СССР».

Во всем этом виделся планомерно, комплексно строящийся город с домами, которые уместны именно здесь, а никак не в средней полосе России. И одно удовольствие было читать постановления, умно вытекающие одно из другого, о том, во-первых, что должен быть в Сургуте завод крупнопанельного домостроения (и мощность немалая — сто сорок тысяч квадратных метров в год), и другие предприятия строительной индустрии с достаточно широкой номенклатурой производства, и, во-вторых, кто и за что отвечает в этом важнейшем деле и к какому сроку его исполнить, и, наконец, чтоб начиная с 1966 года лишь в исключительнейших случаях, с особого на то разрешения облисполкома и Стройбанка, строить в Сургуте деревянные жилые дома.

Что тут сказать? Все до последней запятой правильно: строить — так капитально, удобно и красиво.

Похоже было, что нефтяная столица не повторит горьких ошибок алмазной — города Мирного. Да и пора уже: достаточно дорогой ценой куплен опыт, чтоб, начиная новое, не оглянуться назад. В Мирном же шло наперекокс с самого начала. Где-то вверху, в министерстве, в плановых органах, недалеко видно установили ему число жителей, а очень скоро их оказалось куда больше. Незапланированных мирян ждала неустроенная жизнь: столовые, прачечные, ясли, школы, магазины — весь так называемый «культбыт» трещал по швам... И было не до расчетов и не до всяких там «Строительных норм и правил»... Не говорю о жилье — для Мирного до сих пор эта тема нерадостная. О внешнем облике города говорить тоже не буду...

У Сургута все складывалось по-другому — умнее, счастливее. Как в начале 1964 года выбрана была для него площадка, как в том же году поручили его московскому «Гипрогору» — так прошел Сургут все ступени проектирования и достиг генерального плана, где расчетная численность населения определена была ему в четверть миллиона.

Любой город рождается трудно — тем более этот, в болотах, лесах. Сколько возникало там задач всякого рода, не берусь перечислить. Что же касается научно-исследовательских институтов, организаций и ведомств, в той или иной степени приложивших к новому городу свою руку, — так их насчитал я более пятидесяти. Начал союзным Госпланом и остановился на таллинском институте силикальцита. Что говорить: сложно, очень сложно!

А раз так — тем больше должно было быть согласованности, организованности, ответственности, не правда ли? Как же оказалось на деле?

Первый удар, до самых основ потрясший едва родившийся Сургут, нанесло в 1966 году Министерство нефтедобывающей промышленности. Новому городу придется оно как бы отцом — оно главным образом платит, оно же преимущественно и заселяет. Министерство внесло поправки: жителей будет не двести пятьдесят тысяч, а в два раза меньше. Получилось так, будто из-под дома вышибли фундамент: все рушилось. И готовый генплан был уже не генплан.

Вся первостепенная важность экономически обоснованного генплана известна нам слишком хорошо — через генпланы, экономически близорукие. Оглянемся назад, на опыт прошлого: Магнитогорск проектировали первоначально на сорок тысяч жителей. Поэтому и комбинат, и жилые районы расположились на левом берегу Урала. Сейчас город вынужден переправиться через реку: более трехсот тысяч человек живет в нем. Еще примеры: Ангарск рассчитан был на тридцать тысяч человек. Сейчас тут — около ста пятидесяти тысяч... Салават запроектировали на двадцать пять тысяч жителей, сегодня его потенциал заставляет думать о населении в сто пятьдесят — сто восемьдесят тысяч...

Просчитавшись с генпланом, наплачешься с городом — это истина. Равно нетерпимы тут и скороспелые выводы, и запоздалые прозрения — дорого стоят они.

Стройный план возведения нового города разваливался на глазах. Выяснилось, что и место, выбранное Сургуту, стало теперь предметом жестоких споров, и железная дорога, которую ведут от Тюмени на север, неизвестно, будет ли здесь. Вопросы, будто бы накрепко стянутые обручем комплексного разрешения, начинали являться каждый сам по себе, и вопрос о городе был среди них едва ли не самым наболевшим. Обруч оказался непрочным...

Вот выдержки из решений двух авторитетных совещаний, в 1966 году изучавших производительные силы Тюменской области.

«По городу Сургуту... обеспеченность нефтяников жильем составляет 2—3 метра на человека, ощущается острый недостаток школ, больниц, детских магазинов, столовых, клубов, спортивных сооружений. Медленно строятся водопровод, канализация, электрические и другие инженерные сети... Застройка... осуществляется по типовым проектам средней полосы СССР, без учета суровых природно-климатических условий района...»

«Рекомендовать ускорить создание базы строительной индустрии, в том числе предприятий по добыче и переработке местных материалов (песка, гравия, камня, лесоматериалов и др.) и изделий из них...»

Тем не менее в отличие от планов строительства города задания по добыче нефти должны выполняться. Понятно: нефть государству необходима. А раз так — надо работать, надо и жить. Сейчас население Сургута приблизительно двадцать две тысячи человек: нефтяники, строители, геологи, речники, рыбаки... Живут они по принципу ведомственной принадлежности: в своем поселке — нефтяники, в своем — строители; всякое министерство владеет своей территорией. И своей котельной. И школой. И яслями. Само собой, магазины и столовые относятся исключительно к «своему» ОРСу. Систем снабжения в городе шесть, появилась недавно и седьмая — энергетическая...

Поселки старались ставить, где поудобнее, но Сургуту вышло от этого великое неудобство: его растянули вдоль Оби на пятнадцать километров, и стал он, как художочный подросток, сердце которого не поспевает перегонять кровь во все уголки слабого тела. Такой, с позволения сказать, планировке я поразился.

«Планировка, беспокоящаяся о счастье и несчастье, пытающаяся создать счастье и устранить несчастье,— вот достойная наука в этот период расстройтва...» — много лет тому назад писал Корбюзье. Может быть, это сказано двумя нотами выше, чем надо, но мне кажется, что сказано — хорошо. Счастье города Корбюзье полагал в порядке, в том, насколько полно осуществляет он главное своё назначение — служить людям. Никаких изломов, кривых линий, расплывчатых построений; порядок, определенность, ясность — к этому не уставал призывать Корбюзье и смеялся над теми, кто эту его страсть считал выражением не галльского, а чисто германского начала. «Дом, улица, город — точки приложения человеческой работы. Они должны быть в порядке, ибо в ином случае они противостоят основным принципам, на которых мы держимся; при беспорядке они противятся нам, связывают нас, как связывала окружающая нас природа, с которой мы боролись и продолжаем бороться каждый день».

И зачем, казалось бы, тревожить тень Корбюзье и напоминать известные истины? Ведь нельзя сказать, что их не знают. Напротив — знают. И более того — успешно применяют на деле. Единым, хорошо организованным комплексом предстают Пущино, Дубна, Обнинск, новосибирский Академгородок. Никогда не знали поселков промышленные города Волжский и Сумгаит. А тут...

— Как же это умудрились вы разменять город на поселки? — спрашивал я Мунарева, председателя Сургутского горисполкома. — Неужели нельзя было без ведомственных владений?

Мунарев сидел за столом в валенках: на дворе был январь. За спиной председателя висел проект планировки Сургута — черные прямоугольники вдоль извилистой ленты реки. Мунарев оборачивался и долго смотрел на проект. Будущее Сургута слышно являлось в кабинет...

— Ошиблись,— поморщившись, отвечал на мой вопрос председатель. — Что вы хотите! Градостроительству нас не учили... Незачем было.

— А что же Бешкильцев, главный архитектор области, куда он смотрел?

— Утверждал,— коротко сказал Мунарев.

Бешкильцев же говорил мне, что все дело в горисполкоме. Я понимаю: от такой тяжести чьи плечи не согнутся! Одно только сначала было непонятно мне: почему уже после всех разговоров и горисполком, и главный архитектор отдали территорию поселку энергетиков? Почему не направили новых застройщиков туда, где должен начинаться капитальный Сургут?

В конце концов я уяснил: и Бешкильцев и Мунарев стоят на том, чтобы Сургут рос на старом своем, исконном месте.

— Для такого города территории там достаточно. Все разместим,— объяснил Бешкильцев.

Подразумевалось, что нелишне подумать и о законченности Сургута: не вечно же будет его развитие!

Мунарев выступал с позиций коренных жителей:

— Я душу этих людей знаю: не пойдут они от воды! Ведь в Сибири живем — как же без лодки, без охоты. Я раз сказал это автору проекта, он рассвирепел: ты, говорит, с позиций удочки в проблемы градостроительства не лезь...

Решение между тем может быть только одно... Помню, Братск тоже состоял из поселочков, и впоследствии очень трудно оказалось превратить их в город. Уроки прошлого, казалось, должны были научить нас. Должны были, но не научили.

Когда между прочим зашла у нас с Мунаревым речь о несурянице сургутского снабжения, он сказал:

— Верно. Пора. Только кооперацию оставить надо. Она все-таки наша, родная..

Процесс восприятия нового сложен и не всегда проходит безболезненно. Почти четыре века была история Сургута тише Оби. А тут понаехала тьма людей, оглушил реку рев моторов, повысовывались из тайги макушки нефтяных вышек. И хотя умом

постигается неизбежность и — более того — необходимость совершаемого, где-то в глубине души скребуть воспоминания прошлой жизни. Под это раздвоение и попал Мунарев. Ему хотелось бы поддерживать настоящее, не порывая с прошлым; примирить два разных образа жизни; построить город там, где стояли деревни. Хотелось бы ему каждой рукой делать разное, но чтоб получалось — одно. И он старается: вооружась мнимыми доказательствами, обвиняет гипрогорский генплан в несостоятельности, одновременно же в центре старого поселка строит капитальное здание для райкома и горисполкома и удовлетворенно говорит, что и общественный центр города — гостиница, больница, клуб — тоже будет здесь, на старом месте.

Подобные ошибки исправить можно не всегда. Прошлым летом неделю я прожил в Небит-Даге. Горячий, сухой, с пустынным песком ветер все время гулял по улицам города. Двести двадцать дней в году нет от него спасения: Небит-Даг словно засунут в аэродинамическую трубу. Бог ты мой, как же там дует! Между тем всего в четырех километрах есть место, которое ветры обходят стороной. Когда-то слишком дорого показалось проложить сюда четырехкилометровую железнодорожную ветку. Сейчас бы и рады, но город-то не гвоздь, и по два раза вбивать его нельзя. Человек же, сказавший, что быть Небит-Дагу именно здесь, давно уже не живет в городе...

Воля недалеководного руководителя вступила в противоречие с гуманистическими принципами социалистического градостроительства, и последнее слово, к несчастью, оказалось за ней. Умение видеть не далее, как у себя под носом, все отдавать на потребу сегодняшнего дня и немного не думая вперед — как мешает это нашим городам, как стесняет и угнетает их!

В конце двадцатых годов Александра Ивановича Кузнецова, до недавнего времени — главного архитектора московского «Гипрогора», теперь он на пенсии, — хотели отдать под суд, посчитав его проект города Новомосковска вредительским. Кузнецов предлагал строить Новомосковск в двенадцати километрах от химкомбината: предвидел, что город и комбинат будут расти, забочился об удобстве жизни. По тем временам это было новаторство. Люди же определенного сорта во все времена видят в новаторстве одно лишь вредное беспокойство...

— Я тогда смелый был, ничего не боялся, — вспоминал свою молодость Кузнецов.

Сколько городов построено с тех пор по его проектам! Сколько сломано из-за них копий, сколько принято мук мученических, но любимейшее его воспоминание — о Новомосковске.

— Важно понять природу каждого города, — считает он, — уяснить себе его назначение, место в человеческой жизни.

В нашем градостроительстве принцип этот выдвинут сейчас на первый план. Экономические проблемы разрабатываются в большинстве своем с учетом территориально-пространственных и архитектурно-планировочных решений. Другими словами, город сразу и точно ставится именно на то место, которое лучше всего отвечает его назначению. Сразу и точно стремимся сейчас мы угадать будущее города, перспективы его развития. Думаю, что Шевченко, Навои, Тольятти, многие другие новые города будут развиваться спокойно и гармонично. Ибо для них разумно выбрано было место, точно определено направление, логично указана цель...

Но есть примеры и другого рода. В свое время лишь с невероятным трудом удалось уговорить руководителей Братскгэсстроя, что город надо ставить в тридцати километрах от ГЭС, ибо основными градообразующими кадрами должны стать работники алюминиевого завода-гиганта и лесопромышленного комплекса. Но тогда эти предприятия были еще на бумаге, ГЭС же начинали строить. Элементарный здравый смысл тянул в одну сторону, видение будущего, работа на него — указывали в противоположную.

Порой начинает казаться, что чуть ли не каждый новый город мы возводим так, как если бы он был у нас первый... Все делается на предельном напряжении, как будто бы нет и в помине ясности задачи, определенности цели. Обнаруживается удивительная несогласованность действий, жесткость указаний там, где нужен обмен мнениями, и бесконечные словопрения тогда, когда требуется быстрое и безоговорочное решение.

Спор о том, где стоять Сургуту, продолжался долго. Одновременно и в разных концах строился мало пригодный для нормальной жизни город.

Сургут вообще представлял собой город несколько несообразный. Я пытался разобраться в нем и, облегчая себе это занятие, составил такие таблицы. Их можно так и озаглавить: «Сургутские парадоксы».

Природные ресурсы края		Их использо- вание	Как возникает парадокс
Лес: 8,0 млрд. куб. м.		незначи- тельное	Бруски для строительст- ва деревянных домов завозятся из Красно- ярска. 1 кв. м. в двух- этажном деревянном без удобств доме — 300 р
Кирпич глиняный и силикатный	На 5 лет — 3320 млн. штук (запасы глин и силикат- ных песков — не- исчерпаемы)	нет	Везут главным образом из Томска. Стоимость 10 к. штука.
Камень бутовый	2585,4 тыс. куб. м.	нет	Песок и гравий везут из Тюмени, Омска и Ново- сибирска. Кубометр песка и гравия стоит 15 р. Доказано, что для Западной Сибири сур- гутские песок и гра- вий — лучшие.
Щебень и гравий	25742 тыс. куб. м.	нет	
Песок строитель- ный	15739,9 тыс. куб. м.	нет	

И получается: куда ни кинь — вылетают гривенники, рубли, десятки, сотни — все на ветер, все на суету. В иных условиях и совсем вылетели бы в трубу, да у нас, спасибо, государство выручает.

Во второй таблице показано, как сооружаются некоторые из семнадцати предприятий строительной индустрии, которые должны быть в Сургуте. Сроки ввода их в действие указаны в весьма ответственных постановлениях. Каждый раз со словами «обязать», «поручить», «осуществить»...

Предприятие	Мощность	Первый срок	Второй срок
Завод крупнопанельного домо- строения	140 тыс. кв. м. в год	1967 год	1969 год
Завод керамзита	100 тыс. куб. м. в год	1967 год	1969 год
Кирпичный завод	100 млн. штук в год	1967 год	1969 год

Примечание. Без третьего срока не обойтись, потому что на добрую половину предприятий проектная документация поступила совсем недавно. Ее готовил проектный институт № 2 Госстроя СССР. Хочу сказать, что ничего нет легче, как усвоить себе принцип безответственности, по которому, к глубочайшему сожалению, многое совершается вокруг нового города. Отвыкнуть от порочного этого принципа, приучиться к делу — куда труднее!

Тень Мирного выростала передо мной...

Главный инженер объединения «Сургутнефть» Василий Степанович Иваненко прислал в Сургут одним из первых. Человек реалистический, он отправился в таежную неустроенность не за романтикой. Другое двигало им — свобода выбора, продиктованная осознанной необходимостью.

На память о начале освоения края остались фотографии. Высадка нефтяников на топкий берег Оби. Палатки. Первый с топором в руках строитель... Снимки получились с сероватым налетом, расплывчатые: класс фотографирования был невысокий. Но главный инженер показывал их гордо, словно листал лучшие страницы своей жизни.

Может, и не так должно бы начинать, но те дни Иваненко за суровость не судил: надо — так надо. С тех пор минуло шесть лет. Свою перед государством ответственность нефтяники осознали хорошо...

Иваненко убрал снимки в сейф, сказал:

— У нас с вами разногласий не будет. Город никудышный, везде у него нескладно — это факт. — Он помолчал. — Балки наши видели?

(Балками в Сургуте называли род жилья — отчасти вагончики, отчасти сараи — невообразимый вывих быта. Происхождение самого слова восходило ко времени первых геологов.)

— Только наших — нефтяников — четыреста семей живет в балках. А там еще и геологи и строители — у всякого свой счет. В позапрошлом году завалили последнюю землянку. Живучая оказалась... А вы говорите: деревянные дома... Все знаю: строить их нельзя, дорогие, страшные и стоять будут долго... все знаю. Но вот приходит ко мне рабочий, который три года мается в этом самом проклятом балке. Что я, главный инженер, ему скажу? Потерпи? Подожди, пока построим настоящий город? Так ведь крупнопанельных-то дома за все время сделали всего три. Да как: один из двух-трех. Панели везут из Новосибирска — сохраните-ка их в целости. А какие получают дома — сами видели.

(Я видел. Это были пятиэтажные дома серии I—464, которая заполнила всю страну от Клайпеды до Владивостока и при которой не могло быть и речи о собственном стиле и особом облике Сургута. Кроме того, условиям Севера она не соответствовала. Строить ее здесь было нельзя... Снова сошлюсь на одно авторитетное постановление: в Сургуте нужен дом «с наружными стеновыми однослойными панелями из керамзитобетона, при этом должна быть установлена толщина наружной стеновой панели в соответствии с расчетной температурой — 44 градуса». Добавлю к этому, что Госстрой Союза дважды принимал решение разработать такой дом.)

— Про все это в газетах пишут под названием «Заколдованный круг», — улыбнулся Иваненко, хотя улыбаться ему совсем не хотелось.

Я вспомнил Тюмень, Филановского, главного инженера Главтюменнефтегаза: «Там у нас такой узелок завязался — трудно разобраться». Точно: мы с ним пробовали отыскать концы, но получалось, что почти всякая причина была не первой, а та, что была перед ней, тоже оказывалась не главной, первая же и решающая терялась в пространстве, между министерствами и ведомствами...

Рассказывают тем не менее, что Сургут — это еще ничего. Ему повезло хотя бы в том, что им занимается «Гипрогор». Соседний же Нефтеюганск был отдан «Башнефтепроект» — институту технологическому. От этого ли, по другой ли причине город являет собой воплощенный хаос. Заместитель председателя Нефтеюганского горисполкома А. Бабаев писал в газету: «Нефтеюганск — город будущего... очень важно позаботиться о современной архитектуре и планировке его улиц и площадей. А у нас рядом с кирпичной школой на 960 учеников строятся двухквартирные домики. О каком современном виде тут может быть речь?»

Вернемся с Сургут, в кипение ведомственных противоречий, в несоответствие между развитием промышленности и условиями жизни, в его неопределенность и запутанность... Страшный город — где ни тронь, всюду больно.

— Подождите, подождите,— говорили мне в Госстрое СССР,— все встанет на свои места. В Братске тоже не все ладно было.

К Братску мы еще обратимся, но здесь-то когда? Кто не знает, что один час сегодня вполне стоит двух часов завтра!

Вот данные: в прошлом году школ в Сургуте должно было быть на три с половиной тысячи мест. Было — на две с половиной. Из них тысяча мест приходилась на помещения, под школы едва приспособленные. Магазинов должно было быть на сто шестьдесят рабочих мест, было — на девяносто пять; столовых надо было на тысячу мест, было только на пятьсот шестьдесят; вместо городской больницы на двести шестьдесят коек была только районная на сто двадцать четыре места. По существу — ни одной гостиницы, ни одной прачечной... Нет в городе и стадиона.

Я все поражался: где это видано, чтобы растущему городу год от года планировали все меньше жилья? Поверить в это было трудно. Но — поверил. Министерство нефтедобывающей промышленности в 1965 году финансировало 16 тысяч квадратных метров, в 1966 — 11,5 тысячи, в 1967 — 8,4 тысячи, а в прошлом году построили всего 6,5 тысячи квадратных метров жилья. Это при острейшей нужде!

Так же финансируются и «соцкультбыт», и коммунальное строительство. А нужды города вопя от себе ежедневно: надо тянуть водопровод, мостить улицы, устранять почту, сооружать больницу — от всего этого не спрячешься. Но если из коммунальных денег взять на улицу и водопровод — тогда не будет бани и прачечной. За деньгами же на строительство почты и больницы обращаться бесполезно: Министерство связи и область отказали решительно. Тогда правая рука лезет в левый карман, левая в правый, а глаза закрываются: водопровод идет как водоснабжение промыслов, улица — как дорога к тем же промыслам, и все пишется в графе промышленного строительства, а почта оформляется как жилье...

Кого обманываем?

Картинки такого рода мне приходилось наблюдать и раньше. В Железногорске-Илимском, городе, выросшем рядом с крупным горнообогатительным комбинатом, на всех почти столбах висели объявления: «Срочно требуется няня». Няням, по-местному «бабкам», платили до сорока рублей «с головы»: тысяча шестьсот детей ждали, когда дойдет до них очередь в ясли и детский сад. В два раза меньше нормы было в городе рабочих мест в продовольственных магазинах, в три — в промтоварных. Тысяча двести семей ожидали жилья... Обратная сторона медали была такой: за один год комбинат принял две тысячи двести двадцать шесть, а уволил тысячу пятьсот восемьдесят семь человек. Тот же итог выходил и в Сургуте: в прошлом году так называемый среднесписочный состав НПУ «Сургутнефть» был шестьсот семьдесят один человек. При этом за год вышло пятьсот восемьдесят, а принято было семьсот девять человек...

К 1970 году в Ханты-Мансийском национальном округе — и главным образом там, где идет добыча нефти, — понадобится еще сто двадцать тысяч работников. Найти их можно в других районах и областях страны. Но из десяти приехавших остается только один. Значит, миллион восемьдесят тысяч человек уедут обратно. Шестьдесят девять процентов выбывших с предприятий Средне-Обского нефте-газового района работало не более года. Север Тюменской области за один год потерял миллион двести тысяч человеко-дней.

Опыт наступления на Сибирь показывает, что неразумно, нерасчетливо экономить на жилищном строительстве, на организации быта — все это обязательно приводит к производственной лихорадке, ставит перед новыми предприятиями дополнительные трудности, снижает их отдачу. Да и из практики мирового строительства давно известно, что экономия на бытовых нуждах — это самое невыгодное, самое убыточное занятие, ибо оно вызывает резкое снижение производительности труда и текучесть рабочей силы. Миграция одного рабочего в условиях Сибири обходится государству примерно в тысячу девятьсот рублей. Благоустроенный город миграцию сокращает. И получается, что только двадцать пять процентов такого сокращения сберегают нам огромную сумму — до трехсот миллионов рублей в год!

В будущей пятилетке предвидятся трудности с обеспечением народного хозяйства рабочей силой. Естественный прирост не удовлетворит потребности народного хозяй-

ства. Вот тогда-то, надеются в планирующих органах, предприятия сделают все, чтобы устроить жизнь и быт своих работников. И города тогда будут соответственно строиться лучше: министерства не поскупят.

— Это и станет экономическим рычагом,— объяснили мне в Госплане СССР.

Я согласился. Но, уповая на будущее, пусть даже и недалекое, нельзя бездействовать сегодня, нельзя не болеть за те ошибки и промахи, которых много было в прошлом. Сегодня ли, завтра — хороший город всегда будет городом самым экономичным.

Есть же в конце концов объективные, выверенные законы градостроительства — так почему позволено едва ли не каждому гнуть свое, двигать дело в ту сторону, где показалась ему истина?

Конечно, можно и выждать, когда с великим трудом подыметесь на ноги некапитальный город Сургут. Это время в Москве у работников министерств, Госплана и Госстроя пройдет незаметно: дела, дела! Но каково ждать тем, кто связан с городом работой, кто отдает ему силы, годы, жизнь? А судьбу Сургута, сколько могу, предвижу. Нерадостная это судьба: ведь лучшего способа судить о будущем, кроме как по прошедшему и настоящему, человечество не нашло еще. Предвижу и то, что не с кого будет спросить за нее. Область сошлется на министерства, Миннефтепром, как дважды два, докажет, что виноват прежде всего Мингазпром, оба вместе они укажут на Госстрой, погом дойдет черед и до Госплана.

Вот Братск с прошлым, напоминающим Сургут в настоящем, и с настоящим, соотносящимся с Сургутом будущего. Причем во все времена у Братска было то, чего по сей день нет у новой нефтяной столицы — мощная строительная база. Тем не менее в конце пятидесятих годов родилась близорукая мысль: вокруг тайга, так пусть и город будет деревянный. Началась погоня за призрачной экономией — хотели, чтоб хорошо вышло и дешево.

Когда ошибочную мысль высказывает простой смертный — что за беда, поправят. Важно, чтобы ошибка не успела материализоваться, обрести плоть, которая в этом случае будет, как опухоль. Но авторитет освящает все. Близорукая мысль сошла за дальновидную, хотя проектная численность Братска была ни много и ни мало — сто тысяч человек!

В более чем вековой давности строительных нормах и правилах — «Архитектурных примечаниях», выпущенных в 1844 году в Москве типографией Николая Степанова, сказано было с покоряющей ясностью: «Никакая работа не может быть начата без разрешения начальства». Что ж еще: есть разрешение — начинайте, сказано как — делайте. Примерно так получилось и в наши дни. Пришло решение, которому архитекторы возразить не могли, и выпущен был генплан: Братск из дерева. Госстрой генплан утвердил.

Никто сейчас не уберет с лица города его родимые пятна. Деньги вложены, деньги немалые, и два бревенчатых района стоять будут долго.

Прошло время, обнажив промахи незрелой мысли. Появилось иное решение: строить Братск капитально. Переделали генплан, кинулись искать дом, но ничего подходящего, кроме все той же серии I—464, в производстве не оказалось... Словно одну и ту же книгу читаешь: и трудности с жильем, и нарушение всех норм социальбыта, и невероятно медленные темпы строительства его, и нудные препирательства по поводу места для города, и поселки, съевшие уйму денег, и улицы в сердце Сибири. в точности напоминающие улицы чьих-нибудь Черемушек,— все это было. И есть теперь у нас еще один зауряд-город, с которым мучаются архитекторы и который человеку неуютен. Таков Братск. Таков и город на горе Железногорск-Илимский.

2

В тех же «Архитектурных примечаниях» параграф сто семьдесят пятый посвящен ответственности архитектора. Там сказано: «Архитекторы и их помощники при строениях обязаны принимать старание о прочности и доброте материалов, употреблении оных; в противном случае подвергаются ответу и взысканию денежному». Этот же параграф грозил архитектору арестом «за оплошность при освидетельствовании».

Да, в 1844 году архитекторам жилось трудно. Заказчик, судя по всему, был всемогущ и требовал тщания. Поэтому надо было смограть в оба, стараться и поминигь, что арест и денежное зыскание сопутствуют работе. «Примечания» составляют будущий домовладелец — это почти очевидно. Но тот, кто оказался достаточно просвещенным, чтобы довериться зодчему, получил то, что называется сейчас памятником архитектуры.

Рассказывая о европейской архитектуре начала двадцатого столетия, английский исследователь Арнольд Уиттик написал: «Была и другая категория предпринимателей и архитекторов — предпринимателей, которыми руководили передовые архитекторы. Эта категория наиболее редка, но вклад, сделанный ею, был наиболее жизненным и важным».

Когда бываешь в Вильнюсе, то поводов для такого рода размышлений находишь немало. Если принять Шеллингово сравнение архитектуры с застывшей музыкой, то Вильнюс, как он вошел в наши дни, был подобен прекраснейшей из симфоний. В нем — та гармония контрастов, те вдруг возникающие потрясения, то общее возвышающее настроение, которыми отмечены подлинно великие творения. Замок Гедиминаса и сорок соборов, каждый из которых — явление, а некоторые — соборы святой Анны, Петра и Павла, кафедральный собор — мировые шедевры. Невероятно сложно строить в таком городе новое.

Тем не менее новый Вильнюс удачно продолжает старый. Здесь есть все, о чем во многих городах у нас только вздыхают. Я имею в виду то, что литовская столица — это город, в котором новые районы, при всей своей функциональности и лаконичности, имеют одним только им присущий облик, одним только им присущую элегантность. Жирмуну ли, Антакальнис, проспект Красной Армии (и — уверен — в поднимающемся сейчас жилом массиве Лаздинай увидим мы не один пример еще более удачных градостроительных решений) — везде Вильнюс остается Вильнюсом, и типичность его — своя и особенная, а никакая не владивостокская, новосибирская или рязанская, хотя город по существу сходит с конвейера: почти восемьдесят процентов его новостроек — крупнопанельные типовые дома.

Вместе с архитектором Бируте Касперавичене поехали мы в район вильнюсских новостроек — Жирмуну. Касперавичене взялась показать мне свое детище — микро-район 18-Д, который принес ей первую премию на Всесоюзном смотре творческих достижений советской архитектуры, посвященном пятидесятилетию Октября, за который удостоена она Государственной премии.

С правого берега Нериса виден был изящный, легкий набег светлых зданий, замерших у высокого края реки. Торцы их были разных цветов.

— Мы решили оживить панели,— сказала Касперавичене, когда я стал восгоргаться тонким вкусом, с которым подобраны были цвета.

А потом, когда я сказал, что нравится мне свободное расположение домов, допускающее к себе и реку, и чудесные холмы противоположного берега, разнообразие зданий, нравятся просторные дворы с площадками, легкими навесами над подъездами, перекладинами для сушки белья, зеленью травы, нравится забота о жителе, сквозящая в каждой мелочи,— Касперавичене сказала в ответ:

— Очень трудно было. Плогность засройки высокая — три гысячи триста квадратных метров на гектар.

Касперавичене — один из самых талантливых архитекторов Лигвы. Она скромна, сдержанна, немногословна.

Неволью возникает вопрос: почему так складно получается все в Вильнюсе? Быть может, условия какие-то особенные созданы для здешних строителей и архитекторов?

Однозначный ответ тут невозможен. Надо прежде всего говорить не об архитектурных достоинствах вильнюсского строительства, не о на диво удавшемся разнообразии схожего, а обратиться к той главной пружине, благодаря которой и совершается все дело. Тогда и обнаружится вдруг, на какой остроте неразрешенных вопросов, искусственных противоречий и тягостных проволочек вырос этот, как мы называем его, «положительный опыт».

Первые полносборные дома появились в Вильнюсе девять лет назад. Скрашивая архитектурную неполноценность новых зданий, литовские градостроители как бы гримировали их — балконами и лоджиями. В 1961 году Институт проектирования городского строительства Литовской ССР разработал улучшенные проекты домов серии I—464. Проекты, как полагается, повезли в Москву, в Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре, чтобы собрать на них необходимые подписи и утвердить.

Была это одна из первых крупных работ института, и нетрудно вообразить, с каким волнением ожидалось в Вильнюсе окончательное решение. Но в благополучность исхода верили: кто откажется за те же деньги строить дома, которые несравнимо лучше и по виду своему, и по планировке квартир? Здравый смысл был на стороне архитекторов — это точно. А вот что было против — так сразу сказать не просто. Во всяком случае три месяца не было в Вильнюс окончательного ответа, потом началась всеобщая реорганизация типового проектирования (все сводили в центральные институты), и по истечении года трудно было уже найти и самый след планшетов с проектами. Они пропали.

Невесело стало тогда в институте, у многих опустились руки. Конечно, можно было эти проекты возобновить, можно было бы снова, набравшись терпения, послать их в Москву и вдогонку отправлять нарочных — подталкивать, улаживать, согласовывать, но отношение было уже высказано, мало того, оно поднялось теперь до уровня закона: делайте только так, а не иначе, и вряд ли был резон прошибать лбом стену. С другой стороны, нельзя было не понимать, что одно лишь внутреннее неучастие в порче Вильнюса не есть еще полезное дело, и, обеляя градостроителей в их собственном сознании, никак не снимало с них ответственности перед жителями литовской столицы, которым, как никому, дороги судьба и лицо города. Надо было действовать — а действовать было невозможно.

Чрезвычайное, даже безвыходное положение. Как тут не вспомнить одного из опытнейших наших градостроителей Иосифа Игнатьевича Ловейко, который мне говорил:

— Это все постигается трудно. Вы не архитектор, в нашем положении не бывали... Какая это архитектура, если дают тебе типовой проект, и от него ни на шаг, — возмущался Ловейко. — Смотрите: есть дом (он начертил горизонтальную прямую, ограничив ее с обеих концов), и ставить его можно только так (четыре дома выстроились ровной строчкой). А по-другому (здания слились в одно) или вот так (образовалась ломаная линия) я никакого права не имею. У Стройбанка законы свои... И получается — чем примитивнее, тем лучше. Для такого случая и приказ есть.

И в самом деле вот он, приказ по ГлавАПУ: «Запретить руководителям проектных организаций и главным архитекторам района вносить изменения в привязки проектов жилых домов соответствующих серий, предусмотренных утвержденными титульными списками на 1968 год». Но, слава богу, архитекторы берут на себя ответственность некоторые приказы не замечать. Тот же Ловейко в период наисильнейшего расцвета пятиэтажного строительства ухитрился возводить в Москве многоэтажные здания сверх отпущенных на это процентов. Правда, итог был не совсем для него веселый...

Нашли выход и в Вильнюсе. Предложил его главный архитектор Института проектирования городского строительства Витаутас Бальчунас:

— Поговорим с директором домостроительного комбината. Может, сделает нам один дом без всяких решений. Может, поверит слову. А потом пригласим комиссию — пусть смотрит.

Конечно, над ним посмеялись. Какой директор, будь он трижды романтик и даже патриот, добровольно поставит себя под удар? Но ко всеобщей неожиданности, Самуил Исакович Любецкис, директор вильнюсского домостроительного комбината, ныне лауреат Государственной премии, свое согласие дал. С условием: чтобы никто, кроме двух вступивших в договор сторон, об этом доме не знал, чтобы проектировщики рабочие чертежи делали прямо на заводе, чтобы поиски участка взяли на себя градостроители.

Все это было похоже на детектив. Бальчунас улыбался, вспоминая:

— Сам не знаю, как участок достали. Чудом!

Но тайну соблудности не удалось. В «Вечерних новостях» появилась заметка о том, какой хороший дом сооружается в городе. В институте замерли. Однако развязка неожиданно оказалась счастливой. Госстрой республики, ее Госплан, столичный горисполком — все остались даже в обиде на институт, который проявил к ним напрасное недоверие.

— Да разве мы не поддержали бы вас? — корили Бальчунаса в Госстрое.

Это было уже другое отношение к архитектуре, которое для архитекторов оказалось неожиданным и тем более прекрасным. Не так просто позабыть время, когда архитектора не переставали поучать, что и как надлежит ему строить; когда декретировали каждый его шаг; когда буквой постановлений загнали его в такой тупик, откуда и сейчас не может он выбраться. Все это не проходит бесследно. И мы не напрасно озабочены сегодня квалификацией наших градостроителей, их умением мыслить и творить.

Вспомним Черемушки московские; вспомним Черемушки новосибирские, ивановские, свердловские... А Ташкент, город, восставший из руин? «Комсомольская правда» пишет: «Теперь, когда есть над головою добротная крыша, пора оглянуться, а хорошо ли строим? И выходит: не очень пока хорошо. Строителей, правда, упрекнуть не в чем. Они сделали все, что могли, они строили наверняка лучше, чем строят у себя в городах. Но, честное слово, это не анекдот: один человек, получив жилье, несколько раз возвращался и ночевал на службе, потому что не смог отыскать свой дом. Все одинаково! А ведь строили разные люди. Из разных городов. С хорошим опытом. Старались. А получилось: строили один многоликий дом. Это значит — во всех городах у нас жилые массивы — сплошной одноликий стандарт. Это, конечно, не новость. Об этом давно идут тревожные разговоры. Просто в Ташкенте, на «ярмарке строительства», еще один раз обнаружилось: товар у всех одинаковый. Автор статьи вполне прав: ничто не может быть тоскливее, монотоннее и хуже, чем однотипные многоквартирные дома средней величины.

Архитектура нашего времени переживает мучительный конфликт — конфликт между искусством и индустриализацией. Век индустриализации, век поточных методов не мог обойти стороной строительство. Это предвидел еще Корбюзье. Он предвидел качественные изменения в архитектуре, необходимость градостроительного подхода к ней. Едва ли не первым провозгласил он стиль двадцатого столетия, диктующий необходимость перехода «от анахроничной постройки изолированного здания «по мерке», со всеми неизбежными частными случаями, к постройке целых улиц, целых кварталов». Он же сказал: «Планировка требует единообразия в деталях и движения в целом».

Единообразия в деталях, в частном и целом, у нас хоть отбавляй. Нет движения, смены ритмов, контрастов — нет прекрасной, четкой и строгой простоты. Как приблизиться к идеалу? Два условия: во-первых, надо уметь, а во-вторых, обладать возможностью свое умение проявить. В Литве — вот одно из особенных преимуществ ее градостроителей — к архитекторам относятся уважительно, с их мнением считаются и все несогласия стремятся решить свободным обменом мнениями, а не силой приказа.

Когда разрабатывался проект реконструкции площади Ленина — центральной в Вильнюсе, — архитекторы предлагали сохранить на ней костел восемнадцатого века. Ломать всегда легче, чем строить, а такие здания вряд ли будем мы сооружать когда-либо. По поводу костела возник большой спор. В числе сторонников его уничтожения был председатель горисполкома, были и другие, обладающие немалой властью люди. Но они спорили, доказывали, а не приказывали. Последнее слово осталось за архитекторами, полезность которых как специалистов в республике сомнению не подвергается.

А история незаконного дома завершилась так. Официальной комиссии из Госкомитета заполучить не удалось. Приезжали как бы полуприватно и, не восторгаясь и не впадая в гнев, в меру хвалили, в меру и поругивали. Выдерживалась золотая сере-

дина или, что то же самое, оловянное равнодушие — проклятый принцип безопасной безответственности.

Все же дома с улучшенной планировкой запустили в серию, и в Вильнюсе начался градостроительный ренессанс. С тех пор домостроительный комбинат много раз менял оснастку, новые кварталы застраиваются красиво и разнообразно — но легче ли стало литовским градостроителям? Годами прекрасной, самоотверженной работы они добились в республике уважения и признания, и, честное слово, это лучшее их достижение. Ну, а за пределами Литвы, в тех органах, которые осуществляют государственную политику в области гражданского строительства и архитектуры, какое там встречают они отношение?

Премии? Да, все чаще литовские архитекторы получают премии на всесоюзных конкурсах. Более того, из пяти работ их молодых коллег — выпускников Каунасского политехнического института — четыре завоевали первые премии на всесоюзных конкурсах дипломных проектов. Но сколько игл скрыто в лавровых венках победителей!

Надо было не один раз доказать право на существование окон, не отвечающих гостовским нормам. По мнению многих наших и зарубежных специалистов, в современном, с гладкими стенами, здании окно есть важнейший архитектурный элемент.

— Мы слишком большая страна, чтобы и окна были у нас одинаковые, — сказал мне заместитель председателя Госстроя Литовской ССР А. П. Растейка.

Но мало того — случись в одно время перебой с деревом, и в Литву, республику с традиционно высоким качеством столярных изделий, решено было завозить оконные переплеты, изготовленные в Великих Луках. А великолукские окна оказались вчерашнего дня: с форточками и двойными рамами... И никаких апелляций не признавали центральные планирующие органы: решено — и basta! И стоять бы вильнюским домам с изуродованными лицами, если бы не нашлось Соломонова решения: из Великих Лук посылали в Вильнюс заготовки, в Вильнюсе делали из них на нужный манер окна, деньги же на завод-поставщик переводились как за готовую продукцию...

Но мало того: проект здания для горисполкома и министерства местной промышленности утверждался «ходом коня»: на один дом посланы были две сметы. Первая — на здание для организации в триста человек, вторая — на здание для организации в четыреста человек. (Триста плюс четыреста — семьсот. А здание для организации в семьсот человек должно быть типовым — закон! Что ж до композиции, где необходимо было оригинальное сооружение, как говорят архитекторы, акцент, — так это из незаконной области градостроительных мечтаний.)

Но и это еще не все. Однажды Бальчунас поехал в Москву, в Комитет по гражданскому строительству и архитектуре, просить деньги на типовое проектирование. По скромным подсчетам, литовским архитекторам достаточно было бы на год семьдесят тысяч рублей. Бальчунас так и сказал: семьдесят тысяч. Ему предложили — три.

— Неделю сижу в Москве, — с литовской обстоятельностью рассказывал Бальчунас, — пользы не имею. На восьмой день беру билет домой. Хватит, думаю. Тут встречает меня Лордкипанидзе из тбилисского проектного института. «Что ты, говорит, куда гы! К председателю тебе надо». Убедил. Сдаю билет, записываюсь на прием, прихожу. Сразу начинаю о главном: «Невозможное отношение к республикам. Почему? У нас же есть кому работать!» Смотрю, пишет резолюцию: «Удовлетворить».

— Ну и помогла резолюция?

— Помогла. Прихожу к тем же людям, которые давали три тысячи, — совсем другое вижу ко мне отношение. Улыбаются. Вежливые. «Так сколько вам — семьдесят тысяч? Скажите, а вас не устроит тысяча шестьдесят?» — «Ладно, говорю, устроит». — «Тогда идите к начальнику главка». Прихожу. Тот тоже вежливый, как англичанин. «Все в порядке, говорит, все в порядке. Решайте теперь с моим замом». Я его удивляю: «С вашим замом дела не имею. У него как дважды два, что нам три тысячи и то много». Такое тут началось неловкое положение... В конце концов уехал я с шестьюдесятью тысячами на кооперативное строительство.

— При чем здесь кооперативы?

Бальчунас развел руками, удивляясь моей наивности:

— Так у них по сметам выходило...

Что сказать еще? О монументальной ли живописи, которая отвергается Стройбанком как излишество и проходит, маскируясь в капитальный ремонт? О борьбе за гостиницу «Интурист», которую надлежало строить по типовому проекту, разработанному в Ленинграде для Вильнюса, Риги и Таллина, а сооружать будут все-таки по проекту индивидуальному? Хорошо бы сказать обо всем, но долог будет этот разговор...

А город? Город строится! Несмотря на все трудности, препятствия и тернии — строится, и еще как! И что бы ни говорили мы о важности зданий уникальных, сооруженных по индивидуальным проектам, не они — массовая застройка определяет лицо города. А в новых районах она на все сто процентов — крупнопанельная, сборная. Чтобы наглядней были масштабы строительства, приведу несколько цифр. В прошлом году в Вильнюсе построено двести тысяч квадратных метров жилья. Все делается с расчетом на то, что в 1980 году в городе будет четыреста двадцать пять тысяч человек.

Доля крупнопанельного домостроения — сто сорок пять тысяч квадратных метров. Шесть лет назад мощность ДСК была меньше в два раза. По существу город сходит с конвейера — явление, типичное для современного градостроительства. В огромном большинстве случаев картина выходит нерадостная — об этом мы говорили уже. Мы отмечаем также, что к идеалу можно приблизиться, обладая умением и возможностью свое умение проявить. Вторую часть этой формулы определяет не только общественный климат, но и материальная база, способная быстро осуществить идеи архитекторов. Неподобность новых районов достигается только тогда, когда индустрия ставится на службу архитекторам. (У нас же почти повсеместно происходит обратное: градостроитель исходит из того, что предлагает ему предприятие.)

Вильнюсский домостроительный комбинат уже давно отказался от домов с улучшенной планировкой, производство которых только освоено предприятиями строительной промышленности страны.

— Для нас это пройденный этап, — объяснил мне директор домостроительного комбината Самуил Исакович Любецкис. — В архитектурном отношении наши дома впереди на пять-шесть лет. То же и в планировке. Что мы даем людям? — спросил директор и сам же ответил: — Мы даем людям почти квадратные комнаты — раз. Мы увеличили кухню и коридор — два. Литва не юг — людям нужно солнце. Каждой семье мы стремимся дать окно на юг — три.

Принцип, которого держится Любецкис — одна серия на определенный объем застройки, — в тысячу раз современной и прогрессивней общепринятого правила выпускать серию зданий на определенное время. Дома, которыми застраивается первый район Лаздиная, не будут, как две капли, подобны тем, которые появятся в следующем районе этого жилого массива. Архитектор таким образом получает палитру и широкие возможности градостроительной композицией снять противоречия типового проектирования. Не говорю уже о комплексности застройки новых районов, которая достигается главным образом потому, что восемьдесят пять процентов всех строительных работ выполняет комбинат, а единый по городу заказчик — Управление капитального строительства горисполкома — принимает микрорайон вместе со всем благоустройством и набором культурно-бытовых предприятий.

Так, может быть, именно здесь и обнаружили мы ту главную пружину, которая, разрушая препятствия и преодолевая трудности, приводит в движение весь сложный механизм градостроительства? Конечно, умелая организация дела имеет первостепенное значение. Но с выводами торопиться не следует. Вильнюсский урок прочитан еще не до конца, и главное — впереди.

— Кроме неприятностей и хлопот, новые серии ничего не приносят нам, — заметил Любецкис. — Моральное удовлетворение, говорите вы? Им одним и держимся. А вот безобразники, которые с пятьдесят девятого года выпускают все те же дома, — они чем держатся, позволю спросить?

Задумаемся на минуту, осмыслим горькие слова человека, которому очень и очень многим обязан город Вильнюс. Задумаемся: какой смысл было Любецкису идти на риск с первым «незаконным» домом? Какой в самом деле есть ему смысл всякий раз,

по его же собственному признанию, «сжигать за собой мосты»? Куда ни кинь — везде выходит директору ДСК лишняя нервозность. Одна радость — город строится достойно.

А каково архитектору Витаутасу Бальчунасу? Ему за сорок, девять лет работает в институте. Ранее был главным архитектором республиканских художественных мастерских и в пору безразличия к памятникам архитектуры упорно и страстно занимался восстановлением Тракайского замка — национальной гордости литовцев.

— Это так было, — рассказывал он. — Прихожу в Госплан, приношу заявку за жезь, кирпич и еще всякую разность. Смотрит заявку молодой парень и ухмыляется. «Слушай, говорю, ты откуда?» — «Из Пабраде». — «А замок там, красивый такой, помнишь?» — «Помню». — «Так его реставрировать надо, совсем плох. А у нас его из сметы вычеркнули». Так и получал все — жезь, кирпич, машины. Помню, выступал на всесоюзном совещании реставраторов. Говорю: «Наши мастерские имеют двенадцать грузовиков». Что тут было! Аплодируют, кричат: «Скажи, как?!» А вот так.

За восстановление Тракайского замка одна из центральных газет подвергла архитекторов жестокой критике, обвинив в разбазаривании народных средств. Эта же газета раскритиковала оформление кафе «Неринга» в Вильнюсе — все по той же причине.

В первом номере журнала «Архитектура СССР» за 1968 год читаем: реставрация замка Тракай — «отлично проведенная работа, глубоко научно обоснованная, со вкусом и с большим знанием замковой архитектуры средних веков сделанная, очень тщательно выполненная. Посещение этого знаменитого сооружения заставляет волноваться сердце каждого, кто любит архитектуру, природу, кого трогает история страны, для кого дороги картины прошлого». Реставрация Тракая получила поощрительную премию на том же Всесоюзном смотре творческих достижений советской архитектуры, где первой премии удостоена Бируте Касперавичене. А интерьер кафе «Неринга» считается сейчас образцом отличного вкуса, изящества, простоты и национального колорита.

Но у Бальчунаса была все-таки душа архитектора. Он хотел проектировать и потому ушел в институт. Прошло девять лет. За первый большой проект он сел только недавно: все эти годы только и делал, что пробивал, лавировал, договаривался, искал пути в обход нелепых норм и правил — расчищал дорогу новому. Я имел бестактность спросить, что, мол, не горько ли ему в его сорок три года думать, что, быть может, гибнет в нем архитектор?

— Конечно, горько. Но кто-то должен был заниматься тем, чем занимался я. Главное ведь то, что город строится...

3

Архитектура всегда конкретно-исторична. Социальная сущность архитектуры и строительства (еще Чаадаев в четвертом «Философическом письме» говорил о связи зодчества с духом времени и его главной идеей) определяется общественным строем. Поэтому, оценивая достижения зодчества, мы не должны ограничиваться только тем, как это сделать; нам важно знать, для кого это сделано и для кого, как работала архитектура. Создатель города Бразилиа Оскар Нимейер считает, что трудности технического рода сковывают творческую свободу архитектора, а трудности политического и социального порядка. «Здесь архитектура и градостроительство вступают в противоречие с капиталистическим обществом... Сегодня архитектор либо проектирует роскошные жилища для богачей, либо, отзываясь на просьбу правительства, строит общественные здания. Но что за дома архитектор вынужден строить для бедняков! Как занижены требования! Как мало эти жилища отвечают даже таким заниженным требованиям!.. Надо изменить социальную структуру общества, для того чтобы архитектура могла служить всеобщему благу», — пишет Нимейер.

Страной дворцов и лачуг пришла Россия к семнадцатому году: здание и его обитатели получали место в жизни по классовой принадлежности. Изба крестьянина и усадьба помещика; барак рабочего и особняк фабриканта — в самом облике строений ясно видна их различная социальная роль. Сто восемьдесят миллионов квадратных метров, а восемьдесят процентов из них жильё одноэтажное и неблагоустроенное —

вот что построила в городах династия Романовых. 2133,6 миллиона квадратных метров жилья — таков итог пятидесяти лет советской власти, итог деятельности много класса заказчиков. Причем жилье в социалистическом обществе входит, как известно, в общественные фонды, которые распределяются вне зависимости от трудового вклада каждого. Поэтому-то социальной природе нашей архитектуры чужды жилые, культурные и общественные здания, которые были бы комфортабельнее других. (Такое различие является к тому же нарушением социалистического принципа распределения общественных фондов.)

По признанию выдающегося западногерманского архитектора Гильбрехта, социализм принес градостроительству «политическое сознание ясного общественного замысла». Прибавив сюда другие преимущества социалистической системы, в числе которых плановое хозяйство и государственная собственность на землю, увидим объективно прекрасные условия для рождения новых городов, для развития и реконструкции старых.

Да, у нас есть все — и огромный опыт, и великолепные, всем миром признанные мастера архитектуры и строительства, есть, наконец, города, в которых полно и мощно выразилось лицо эпохи. Но главного — определенного и высокого уровня градостроения, который был бы обязателен для всех, — у нас пока еще нет. Могу ли такой уровень, такой в хорошем смысле стандарт появиться у нас? Вопрос сложный.

Этот уровень-стандарт в значительной степени определяется, по крайней мере должен определяться, так называемыми СНиПами — строительными нормами и правилами. СНиПы, а также многочисленные инструкции разработаны по всем видам строительства, утверждены Госстроем СССР и по идее должны быть для архитектора и строителя примерно тем же, что есть для всех нас гражданский и уголовный кодексы: не хочешь конфликтовать с обществом — чти и не преступай. Все правильно: порядок должен быть всюду.

Между тем некоторый беспорядок зародился в самом святилище порядка: за последние десять лет строительные нормы и правила, касающиеся планировки и застройки населенных мест, менялись дважды. Я положил перед собой оба варианта и методически — главу за главой, пункт за пунктом — стал их сравнивать. В общих требованиях к городу, в провозглашении его рациональности, комплексности решений всех проблем они были близки друг к другу. Но многие очень важные частности их не сходились, и как из разных слагаемых получена была одна и та же сумма — это и сейчас остается для меня тайной.

Старые правила диктовали архитектуре: «Необходимо устанавливать наиболее целесообразную этажность... принимая для застройки больших и крупных городов в основном жилые дома высотой в 4—5 этажей, а для средних и малых городов — преимущественно в 2—3 этажа». В новых же СНиПах сказано: «Этажность жилых домов... следует устанавливать на основе технико-экономических обоснований с учетом местных условий. В населенных местах с ограниченными для их развития территориями, а также при больших затратах на инженерное оборудование и подготовку территории следует предусматривать преимущественно смешанную застройку с применением девятиэтажных жилых домов, а в отдельных случаях — домов большей этажности». Прежде, во имя всего лучшего, мы требовали применять «возможно меньшее число типов домов», теперь, имея в виду все те же высокие цели, мы выступаем поборниками «разнообразных объемно-пространственных решений застройки». Раньше мы планировали на тысячу жителей 40—50 мест в детских садах и 30—40 мест в яслях; сейчас мы установили другую норму: 70—90 мест, для северных же районов, учитывая их специфическую демографию, по 120 мест на тысячу человек населения. Намного больше стала сейчас и допустимая плотность брутто — количество квадратных метров жилья на гектар микрорайона... Только вот если раньше театры рекомендовалось предусматривать «в городах с населением не менее 50 тысяч человек», то теперь и театры, и цирки, и концертные залы «следует предусматривать преимущественно в городах с населением более 200 тысяч человек».

Могут сказать, что не так это и часто — за десять лет дважды изменить градостроительные законы. Отвечу, что можно и чаще, если есть в том объективная надоб-

ность. Но такой необходимости не было — наша озабоченность нынешним состоянием градостроительства порождена неоднократным искусственным вмешательством в архитектуру. И грех был бы нам не учиться на собственных ошибках.

В 1955 году деловую, разумную, толковую критику эстетского отношения к архитектуре захлестнула ажиотажная кампания. Она и родила весьма нехитрую схему: что не предельно дешево — то плохо; что не до конца обтесано — то излишне.

Так появился пятиэтажный, разных серий и исполнений, но неизменно ординарный дом. Он был официально признан самым экономичным, и один уважаемый градостроитель, выступая в 1960 году на совещании, оказался вынужден это подтвердить: «Пятиэтажный дом должен явиться основным типом застройки в крупных, больших и средних городах». Признание или непризнание пяти этажей было своего рода символом веры, по которому судили и отпускали грехи.

Еще в 1965 году 65—70 процентов всех построенных зданий составили пятиэтажные. Сами по себе такие дома дешевле девятиэтажных — это осознается наглядно. Но если не спешить и учитывать все условия градостроительства, тогда во многих случаях гораздо выгоднее строить выше, чем ниже. Придет время, утверждают некоторые архитекторы, сносить в Москве пятиэтажные дома постройки пятидесятих годов, освобождая место высотным зданиям. Но этот дом был у нас одним из первых действительно типовых — такое оказалось в нем решающее преимущество. Начато было верно: жилищная проблема в нашей стране могла быть решена только с помощью типового, индустриального строительства. Нелепости обнаруживались позднее...

Разными институтами разработано у нас на сегодняшний день около восьми сотен типовых проектов. Используется же из них вряд ли десятая часть. А то, что строится, подобно горошинам из одного стручка: выбрать не из чего. Это во-первых. Во-вторых, и хорошим проектам, когда они есть, пробиться на завод не просто. Нужно, чтобы директор был директором Вильнюсского ДСК Любецкимом, чтобы он, обеспечив выпуск одного-двух гипсов домов, не успокаивался, чтобы во имя города шел на продуманный риск. Но вильнюсский директор — в строительной индустрии явление уникальное. Что тогда? Тогда, значит, надо перестраивать всю систему: проект — завод — дом. Надо, чтобы предприятие работало в таких условиях, которые бы заставляли его все время идти вперед, искать и перевооружаться.

И прежде всего необходимо как-то координировать эту систему, сосредоточить руководство ею в одних умелых руках. Ибо сейчас проекты жилых домов разрабатываются организациями Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре, за технологию отвечает Министерство промышленности строительных материалов, оборудование готовит Министерство дорожного, строительного и коммунального машиностроения, ДСК же и заводы сборного железобетона находятся в ведении разных министерств и ведомств... Которой из этих организаций взять на себя руководство индустриальным домостроением? Закономерное подчинение промышленности требованиям архитектуры, подчинение, дающее нам сегодняшний Вильнюс, наводит на мысль: для этой роли по сути своей предназначен Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре.

Как видите, решение архитектурно-строительной проблемы связано прежде всего с вопросом чисто организационным. От этого никуда не уйти: надо думать о будущем, надо освобождать наше градостроение от тех крайне несовершенных, во многом оставшихся от прошлого форм организации, в которые оно поставлено. «Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность». Я привел эти слова из ленинской «Лучше меньше, да лучше» потому, что и в самом деле пора, пора нам самым серьезным образом взяться за ум и разобраться наконец, что же происходит с нашими городами, какую судьбу готовим мы им?

Проект Железногорска-Илимского делали в Ленинграде, в НИИП градостроительства. Софья Иосифовна Виллим, старший архитектор проекта, о рождении города рассказывала так:

— Дома придумывали не мы — мы их только применили. И не мы их строили — это дело строителей, причем квалификации невысокой. Такое наше положение.

Права она была или нет? Судите сами.

Драться за Железногорск, как Бальчунас и его коллеги за Вильнюс, ленинградцы не могли. Да и зачем? Им там и по соседству не жить. Права изменять типовые проекты никто не давал им, а если бы они внесли все-таки изменения, Стройбанк, охраняющий типовые проекты рублем, отказался бы финансировать строительство. Наконец, нечего было и думать о каком-то особом, отличном от прочих, типе дома специально для Железногорска: даже Братск, даже Новосибирск строятся, как все, — обычно.

Противоречие налицо: типовые дома должны органически входить в живую ткань города, должны отвечать его климатическим и демографическим условиям. Жесткий централизм типового проектирования это противоречие только усиливает, и помню, главный архитектор Ашхабада Абдулла Ахмедов говорил мне, что дома, строящиеся в городе, едва ли соответствуют здешнему климату с перепадами от 46 градусов жары до 20 градусов мороза и демографическим особенностям туркменской семьи. Доказано между тем, что если мы хотим серьезно заняться профилактикой гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, то в градостроительстве никак нельзя обойтись без специального учета климатических условий.

Ошибки имеют свойство вырастать в проблемы. Не странно ли предъявлять претензии к архитектуре, которой мало даем архитекторов?

У нас достаточно инженеров и научных работников — есть успехи в науке и технике; достаточно учителей — мы страна просвещенных людей; достаточно врачей — и мы не боимся болеть... В Ашхабаде всего десять архитекторов с дипломами, в Тюменской области — семнадцать, в Магаданской — двадцать пять; в Сургуте на должность главного архитектора города с трудом нашли инженера-землеустроителя. На сегодняшний день у нас немногим более десяти архитекторов, в США — двадцать восемь тысяч... В Госплане по этому поводу говорят, что проблему подготовки архитекторов мы проглядели. Мы спохватились только перед обнаружившимся провалом, который образовался, конечно, не вдруг. Но бог с ним в конце концов: принято специальное решение, лет через пять архитекторов станет у нас много больше, а еще через пять — семь лет, когда молодые специалисты войдут в силу, уже и почти хорошо будет. Но выучить архитекторов — это не все. Надо еще научиться должному к ним отношению, вернуть им ощущение их важности в жизни общества. И если наши улицы и города «безязыки», если архитекторы не могут перешагнуть в искусство, ибо не нашли еще ключа к проблеме индустриализации, то за всем этим стоят и долгие годы неуважения к архитектуре и архитектору.

Директор ЦНИИП градостроительства Вячеслав Алексеевич Шквариков рассказывал, как возникал город Орск (было это до войны). Двенадцать предприятий, размещившиеся на двенадцати друг от друга удаленных площадках, каждое строили себе все — от дорог до жилья. Двенадцать поселков, между которыми зияли «мертвые зоны» бездорожья, появились вместо города.

Вспомнив Сургут, мы найдем в нем черты того далекого времени, увидим в нем как бы современника Орску и некоторым городам начального периода нашего градостроения. Но если тогда многое можно было оправдать объективными трудностями, промахами незрелой еще мысли и, главное, несовершенством планирования, то теперь, чем теперь объясним мы Сургут? Ничем иным, кроме системы планирования.

Чуть переиначив пословицу, получим: без хозяина город — сирота. Сургут — город-сирота, ибо хозяина в нем нет: ни горисполком, ни Миннефтепром, ни Мингазпром, ни другие министерства и ведомства, ни органы надведомственные — никто за его судьбу не отвечает. Отсюда все сургутские парадоксы и вывихи.

За генпланы Сургута и других новых городов Западно-Сибирской низменности ответственные есть — Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре и Госстрой РСФСР. Но ведь надо же следить кому-то и за тем, как эти генпланы выполняются! Не будем ведь мы сооружать завод как бог на душу положит, — абсурд, невозможный в капитальном строительстве. А вот в городах наших подчас доходит и до

абсурда. Примеров тому не счесть: больше пятисот заказчиков было и в Москве, и лишь с прошлого года все централизованные капиталовложения стали выделяться Московскому Совету, а его Главное управление капитального строительства взяло на себя обязанности единого заказчика.

В свое время было постановление, и капитальные вложения на жилищное строительство стали планировать отдельно от вложений на развитие производства. Теперь надо этот порядок усовершенствовать: нельзя ж все-таки строить Сургут по образу и подобию Орска. Тут возникают следующие соображения.

План — первая и главная заповедь промышленного предприятия; предприятие, преследующее иную цель, было бы нелогично. Давление плана вырабатывает у промышленников определенную психологию и определенную линию поведения. Все для программы и очень мало для города, строительство которого финансирует министерство.

Другими словами, все финансирование градостроительства следовало бы осуществлять через Советы, сведя в их руки средства, которые идут на жилищное строительство.

Как это осуществить, какими условиями обставить, нужно, очевидно, еще обсудить. Во всяком случае ясно одно: молодому городу со дня его рождения жизненно необходим хозяин, для которого градостроительство было бы таким же важнейшим делом, как для промышленного предприятия производственный план.

Может быть и другой вариант, при котором за создание нового города с населением не менее ста тысяч человек отвечал бы наделенный широкими правами и полномочиями надведомственный орган — скажем, при Госплане СССР. Его задача была бы конкретна — координировать действия местных властей, министерств, проектных организаций, контролировать выполнение генеральных планов. А чтобы полномочия этого «хозяина» не оказались пустым звуком, финансирование градостроительства надо вести через него.

* * *

С тех пор, как все это было написано, прошел год — для нашей жизни срок немалый. И для городов наших, хочется верить, наступают иные времена. Среди отрадных перемен — изменение норм типового проектирования; новое отношение к работе местных проектировщиков; и самое главное — недавнее постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства», открывшее широкие возможности для решения проблем, о которых шла речь в этой статье.

Огромное количество жилья будет построено у нас за пятилетку — около четырехсот миллионов квадратных метров... Эта цифра записана в Директивах XXIII партийного съезда. Там же сказано: «Улучшить внешний облик зданий, жилых районов, городов и поселков. Повысить качество планировки и застройки городов и поселков».

Намеченное надо выполнять, и потому работать по-старому более невозможно. В городах заключено наше будущее — это должно быть памятно всем.



В МИРЕ НАУКИ

Ю. ШРЕЙДЕР

★

НАУКА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И СУЕВЕРИЙ

Наука вечна в своем стремлении, неистощима в своем источнике, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели.

К. Бэр.

1. Место науки в нашей системе знаний

Мы не всегда отдаем себе ясный отчет в той колоссальной роли, которую в нашем обществе играет наука. Дело не только в том, что научное знание, научный потенциал общества лежит в основе современного производства. В конце концов в любой известной нам культуре наука влияла на развитие производительных сил. В этом смысле разница между современным миром и античностью, пожалуй, только количественная. Качественное отличие в ином: наука стала основой нашего мирозерцания. Научные представления проникают во все области культуры, присваивая себе роль верховного авторитета.

Мы привыкли с почтением относиться к научному знанию. Наше уважение и доверие к конкретному научному знанию тем выше, чем меньше мы сами знаем. Если специалист способен еще критически относиться к теориям, гипотезам и наблюдениям в своей области, то читатель, знакомый с этой областью знаний по общеобразовательным учебникам или популярной литературе, верит в полную надежность преподносимых ему сведений.

Но даже специалист далеко не всегда ясно отдает себе отчет в тех основаниях, на которых покоится его наука. Из-за этого он внутренне готов переоценить достоверность ее утверждений, готов с излишней легкостью распространить конкретные результаты и методы своей науки на более широкий круг ситуаций, чем это объективно допустимо. Увлеченный могуществом и красотой научных методов, ученый легко приходит к мысли о всеобщности, об общеприменимости этих методов.

Становится как-то само собой «очевидным», что, например, искусство не дает никакого дополнительного знания по отношению к научному. Эмоциональный довод в пользу этого мнения основан на том, что успешно развиваются точные научные методы изучения выразительных средств искусства — математическая теория стихосложения, методы моделирования музыкального творчества и т. д. Правда, можно было бы заметить, что научное изучение ритмики стихотворения относится к его внутреннему смыслу, как лингвистический анализ текста научной статьи к оценке ее истинности и содержательности. Тем не менее современному человеку, ослепленному прогрессом науки, легче признать, что искусство вообще не дает знания о мире, чем отказаться от веры в общезначимость научного знания.

Многие ученые считают бесспорным, что для науки нет запретных областей. Что не существует явлений, куда ученый не вправе вмешаться с инструментом научного исследования. Эту точку зрения явно не разделяет итальянский ученый

Петруччи, прекративший опыты с развитием человеческого зародыша в искусственной среде.

Слова «наука утверждает, что...» играют в наше время ту же роль, что в средние века «церковь утверждает, что...». Эта роль даже еще значительней, потому что сфера действия авторитета церкви, при всей своей широте, была достаточно четко очерчена, а наука готова давать рекомендации в любой области — от конкретных технических рекомендаций до поверки алгеброй гармонии.

Примечательно, какой кредит мы готовы предоставить науке. Мы не станем верить заранее писателю, пообещавшему написать эпохальный роман, где будут решены основные морально-этические проблемы нашего общества. Но мы готовы с доверием отнестись к обещаниям видного ученого, что в скором времени будет построена оптимальная система этики на научных принципах.

Кредитоспособность науки подтверждается великолепными открытиями, которые ежегодно поражают наше воображение: расшифровка генетического кода и операции с пересадкой сердца, полет в космос и атомные электростанции, лазеры, новые частицы и античастицы с парадоксальными свойствами. Такая демонстрация силы почти безотказно действует на массового читателя, создавая уверенность во всеведении, всеблагости и всемогуществе науки.

Ученый же хорошо знает, сколь мало показательны те внешние эффектные результаты науки, которые стали уже достоянием популярных книг. Он гораздо больше ценит глубинные достижения науки, саму возможность формулировать глубокие проблемы, которой мы ей обязаны. Его вера в науку покоится на более серьезных основаниях. Не исключено, что первостепенную роль здесь играет ощущаемое им отличие четких и убедительных суждений науки (там, где наука способна дать недвусмысленный ответ) от неопределенных, сомнительных суждений, с которыми мы столь часто встречаемся вне области ее действия.

Мысль, выраженная гениальным поэтом, многозначна, может быть, едва уловима, сфера ее применимости очерчена неясно. Мысль, утверждаемая даже в посредственной научной работе, ясна и недвусмысленна. Отсюда желание расширить сферу научного познания, получить все знание о мире с той же степенью ясности, которая свойственна науке. Следующий шаг, который очень легко совершить, состоит в том, чтобы верить в осуществимость такого желания. Так, незаметно у ученого появляется слепая вера во всемогущество, в полноту научного знания, которое способно и должно заменить все остальные источники познания.

Окрыленные успехами науки, поверив в безграничную мощь науки, мы стремимся в любых наших суждениях — об этике, экономике, социальном устройстве, правовых нормах, литературе, поэзии, живописи, религии — опираться на результаты и методы науки. Там, где ранее казалось достаточным непосредственное постижение истины (возникающее в естественном размышлении, простой беседе, философском рассуждении), у нас возникает потребность научного анализа. Само по себе это хорошо. Беда только в том, что, применяя научный метод, мы не задумываемся о том, что лежит в основе этого метода. Опасна вера, не ищущая для себя оснований.

Мы обязаны ясно понимать, какова природа научных истин и что значит научное доказательство. На каких предпосылках основана сама возможность научного доказательства истины? Сила и слабость науки (имеются в виду в первую очередь точные и естественные науки) заключается в точности и конкретности ее результатов. Математический вывод обладает высокой степенью строгости, полученное в результате математического доказательства утверждение представляется нам почти бесспорным. Но строгое утверждение, вообще говоря, справедливо только при столь же строго оговоренных условиях. Малейшее нарушение этих условий — и доказанное утверждение теряет силу. Эксперимент, обнаруживающий некий физический эффект, может быть весьма убедительным. Но предсказывая, что произойдет в сходных, но не тождественных условиях, можно легко ошибиться.

Экстраполяция, перенесение добытых данных на более общую ситуацию тем сложнее, чем более точен исходный результат, на который мы опираемся. Одна-

ко, кроме точного знания, добываемого наукой путем экспериментов и строгих логических выводов, нам во многих случаях с необходимостью приходится опираться на экстраполяцию этого знания.

В сущности, содержательными являются только такие факты науки, которые допускают возможность экстраполяции. Иными словами, настоящий научный интерес представляют такие утверждения, которые, будучи вполне точными в строго определенных условиях, могут быть в несколько расширенном толковании переносимыми на широкий класс аналогичных ситуаций.

Только критический философский анализ природы научного знания, достоверности и содержательности этого знания дает возможность оценивать надежность научных выводов в их экстраполяции, когда мы говорим не о конкретных научных фактах, а о природе мира. Речь идет не о том, что наука не может развиваться без философов, а о том, что наука не может жить без философии, хотя бы и не формулируемой явно в философских терминах. Наука захлебнулась бы в хаосе конкретных фактов, если бы не происходило философское осмысливание этих фактов.

Но в конце концов науку судят по ценности добываемых результатов, и весь этот разговор о важности философии можно было бы замкнуть в рамках обсуждения методологии научного исследования, если бы не одно существенное обстоятельство. Дело в том, что знание о мире, добываемое наукой (заметим, что, написав эту часть фразы, я уже тем самым выбрал определенную философскую позицию: веру в объективное существование, познаваемость и единство мира), в наше время занимает преобладающее место в той сумме знаний, которой располагает человечество. Поэтому вопрос о надежности, достоверности и полноте научного знания важен не только для самих ученых в их конкретных занятиях, а для общества в целом. Неверное решение гносеологических проблем и, в частности, некорректное оперирование понятием научной истинности влечет за собой многочисленные суеверия, то есть ложные верования без достаточных оснований.

Эти суеверия связаны прежде всего с неконтролируемым переносом на реальную действительность фактов, установленных на созданной наукой модели. П. А. Флоренскому («Мнимости в геометрии», издательство «Поморье». М. 1922) принадлежит яркое сравнение изучаемой действительности со стихотворением, а модель — с переводом этого стихотворения на другой язык. На стр. 6—7 П. А. Флоренский пишет: «Мы не нуждаемся в доказательствах того, что перевод не покрывает подлинника во всех его оттенках и деталях, и загодя убеждены, что рано или поздно настанет такое их расхождение, которое не терпимо в пределах требуемой точности совпадения: всякий символ с успехом применим лишь в определенной, свойственной ему сфере и за пределами известного поля зрения расплывается, теряет четкость и скорее мешает работе, нежели помогает ей. Мы знаем и то, что как несколько переводов поэтического произведения на другой язык или на другие языки не только не мешают друг другу, но и восполняют друг друга, хотя ни один не заменяет всецело подлинника, так и научные картины одной и той же реальности могут и должны быть умножаемы — вовсе не в ущерб истине. Зная же все это, мы научились не попрекать то или другое истолкование за то, чего оно не дает, а быть ему благодарным, когда удастся использовать его.

Однако к указанию ограниченности известной интерпретации мы вынуждаемся, коль скоро наблюдается гипертрофия того или другого перевода, пытающегося отождествить себя с подлинником и заменить его собою, т. е. тем самым монополизирующего некоторую сущность и ревниво исключаящего какое-либо иное истолкование: тогда ничего не остается, как напомнить зазнавшейся интерпретации о приличном ей месте и объеме ее применимости».

Родственный класс суеверий связан с нарушением закона соразмерности: точность доказательства должна соответствовать точности утверждения. Это означает, что конкретные научные утверждения нельзя выводить из общеподлинных принципов. Совершенно аналогично, точными рассуждениями нельзя вывести истины, имеющей расплывчатый и общий характер.

Примеры ошибочных суждений первого рода хорошо известны. Теория относительности, основы квантовой физики, точные законы наследственности еще не столь давно отрицались, на том основании, что они якобы противоречат материалистической философии. Недавний пример доставила рецензия, помещенная в пятом номере «Нового мира» за 1968 год (Э. Рабинович, «Второй закон термодинамики и человечество»). В этой рецензии справедливо отвергается попытка опровергнуть второе начало термодинамики, исходя из чисто философских положений.

Суеверия второго рода, когда свойства конкретной научной модели без должного осмысления непосредственно интерпретируются как свойства мира в целом, обсуждались гораздо реже.

Прежде всего это вера во всемогущество науки, в способность науки решить все проблемы: научные, технические, социальные и философские. Общество перестало удивляться научным сенсациям. Нас больше удивляет, что целый ряд проблем остается нерешенным, что нет способа управлять термоядерной реакцией, не решена проблема лечения рака, не получены решающие достижения в машинном переводе.

Типичное суеверие — это убежденность в непогрешимости науки, в непреложности научных истин. Каждый ученый на собственном опыте, на собственной шкуре почувствовал, как сложно убедиться в истине, сколько ложных фактов казалось истинными, сколько ошибок сделал он сам, прежде чем добыл крупницу истины. Но эта внутренняя кухня мало кому известна. Для широкого читателя выводы науки носят характер бесспорности, особенно после того, как они освещены (и тем самым как бы освящены) широкой прессой. Опасный парадокс состоит в том, что наука из инструмента критического анализа, из метода проверки разумом и осмысления факта поразительно легко становится источником ходячих мнений.

Еще в XVI веке Джордано Бруно высказал публично идею о возможности существования иных населенных миров, кроме нашей Земли. Судьба Джордано Бруно общеизвестна — небезопасно выступать против официально принятой точки зрения. Но в действительности никаких серьезных доказательств существования космических цивилизаций Джордано Бруно не имел. Нет таких доказательств и у современной науки, хотя известно, что наше Солнце по своим спектральным свойствам является рядовой звездой среди многих, и в силу этого правдоподобно предположить, что звездные родичи нашего светила имеют свои населенные планеты. Если бы только мы могли быть уверены, что для развития разумных существ достаточно иметь светило нужного спектрального типа. Итак, доказательств в данной ситуации наука не имеет. Есть указания возможностей, есть споры писателей-фантастов. Тем не менее в нашем обществе широко распространено мнение, что внеземные цивилизации наверняка существуют, что это доказано наукой.

Развитие вычислительной техники поставило вопрос о возможностях применения машин в тех областях, которые традиционно считались творческими. Например, машина уже может играть в шахматы, составлять расписания, переводить несложные тексты и т. п. Специалисты знают, насколько сложен этот вопрос, как трудно перейти от эффектной демонстрации, где машина имитирует умственную работу, к серьезному решению задачи, к содержательному выяснению природы мышления. Тем не менее в нашем обществе достаточно распространено убеждение в том, что наука умеет создавать мыслящих роботов. Или по меньшей мере — что доказана возможность создания таких роботов. Более того, как серьезный вывод науки порой преподносится идея, что человек — это не более чем сложный автомат.

Несколько более тонкий случай — это область телепатических явлений, область парапсихологии. Эту область явлений не хотелось бы относить целиком к суевериям. Более того, априорное отрицание этих явлений, в сущности, такое же суеверие. Высказываемый иногда представителями точной науки довод: «Если есть телепатия, то есть бог» — трудно считать серьезным аргументом. Действительно, суть этого довода состоит в том, что современная физика не знает материальной субстанции, на которую можно возложить ответственность за перенос телепа-

тической информации. Но это же и есть вера во всемогущество и всеведение современной науки! Неужели современная физика обладает исчерпывающей картиной мира? И, кстати, так ли уже очевидно, что всякое явление в живых организмах может быть адекватно зарегистрировано физическим прибором? Даже при изучении человеческой речи не удастся получить однозначного соответствия между фонемами (то есть минимальными смысло-различительными единицами речи) и физическими характеристиками звукового сигнала. Так что отрицать возможность какого-либо явления из-за отсутствия для него простой физической модели никак нельзя.

Но и противоположное суеверие, готовность верить в любые явления телепатии, телекинеза и т. п. только потому, что они преподносятся в форме научных истин, также не вызывает восхищения. Давайте же откажемся от мнения о всеведении науки и разрешим ей ситуации, где точный ответ, по крайней мере в обозримое время, невозможен!

Заметим, что научные мифы — это не открытие XX века. Суеверия, связанные со спиритическими явлениями, — типичный пример суеверий, возникших около науки и в научной среде. Известно, что интерес к спиритическим явлениям (беседы с душами умерших с помощью вертящихся блюдец и т. п.) возник как своеобразный боковой продукт научных теорий, связанных с изучением свойств эфира и электромагнитных излучений, с исследованием геометрических пространств высокой размерности (духи приходят через четвертое измерение), исследованием подсознательной сферы психических явлений и т. п. Некоторые серьезные ученые (например, известный физик Крукс) посвятили много усилий спиритическим экспериментам и теориям, рассматривая их как предмет науки. Правда, сейчас многомерное пространство стало слишком обыденным, чтобы по нему путешествовали духи.

Яркий пример того, как неоправданная экстраполяция конкретного научного утверждения может привести к мифу, можно увидеть во взглядах, декларированных Лапласом. Последний исходил из теоремы о том, что траектория материальных частиц, подчиняющихся уравнениям классической механики, однозначно определяется начальными положениями и скоростями этих частиц. Это привело Лапласа к выводу, что все развитие мира (так сказать, его будущая судьба) предопределено состоянием мира в данный момент. Тем самым философская концепция полного детерминизма, отсутствия свободы выбора, фатализма получила как бы научное обоснование. Критический научный анализ рассуждений Лапласа довольно легко позволяет обнаружить некорректность его рассуждений. Это не мешало широкому распространению лапласовских воззрений, за которыми стоял авторитет большого ученого.

Мифы, которые до сих пор приводились, казалось бы, сравнительно безобидны. Но мифы, возникающие около науки, могут иметь и очень тяжелые социальные последствия. Достаточно упомянуть миф расовой теории, зародившейся первоначально в рамках чистой науки.

Впрочем, «безобидность» мифов вообще довольно относительна. Любое ложное убеждение может через несколько шагов привести к очень тяжелым последствиям. Лапласовский фатализм кажется безобидным, пока он остается в рамках физической теории. Но, взятый как философская концепция, он неизбежно приводит к мнению о невозможности для человека отвечать за свои поступки. Какая может быть ответственность, когда все дальнейшее течение мировых событий предопределено существующим состоянием мира?

Любопытна наша готовность верить в любые сенсации, пищу для которых дает наука. В сущности, мы страшно хотим, чтобы существовали «летающие блюда» (или хотя бы «неопознанные летающие объекты»), снежный человек, чудовище озера Лох-Несс или сигналы разумных существ из космоса. Нам очень хочется, чтобы наскальные изображения, сделанные пещерными жителями, оказались портретами марсиан, а тунгусский метеорит — космическим кораблем. Готовность принять сверхъестественное в научной форме, жадное внимание к газетным бай-

кам о детях, воспитанных зверями, о космодромах на месте Содома и Гоморры можно уподобить только наивному интересу Солопия Черевика к рассказу о черте, заложившем красную свитку. Откуда эта потребность и какую именно пустоту в сознании она стремится заполнить?

Сам по себе научный метод не ответствен за мифы. Причины здесь скорее в оценке потенциальных возможностей этого метода. Наука имеет дело с моделями мира. Очень сложными, но все же моделями. Вероятно, все помнят слова В. И. Ленина о том, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом». Это предсказание подтвердилось дальнейшим развитием физики. Но не стоит ограничивать значение этой мысли В. И. Ленина, рассматривая ее только как предсказание будущего развития физики элементарных частиц. Речь идет в действительности о философской концепции неисчерпаемости структуры связей между вещами. Но наука не может изучать неисчерпаемый электрон или неисчерпаемый атом. Наука строит сложную, отвечающую действительности, но вполне способную исчерпаться модель. А потом изучает эту модель. Или отбрасывает, заменяя новой. И наука не боится ломать собственные модели. Они не должны являться предметом культа.

Основное суеверие, возникающее вокруг науки, состоит в фетишизации некоторых моделей, в придании им некоего абсолютного метафизического значения. Особенно интенсивным стремлением к фетишизации обладают именно негодные модели. Пример — недавнее положение в нашей биологии. Но и фетишизация вполне состоятельных моделей далеко не безобидна.

Представление об электромагнитных волнах как о колебаниях особой субстанции — эфира — было очень плодотворным для физики прошлого века. Но и эту модель пришлось изъять из употребления, когда выяснилось, что «эфир» увлекается любым движущимся телом. Модель условных рефлексов сыграла очень важную роль для объективного изучения процессов высшей нервной деятельности. Но сейчас уже ясно, что невозможно все процессы мышления (например, процессы узнавания) свести к цепочкам условных рефлексов.

Модель — это инструмент научного познания мира. Инструмент можно совершенствовать, порой отбрасывать за ненадобностью, заменять более совершенным. Но только дикарь станет поклоняться своему оружию, приписывать ему некую магическую силу.

Само по себе научное образование еще не ликвидирует дикарского, языческого отношения к миру. Меняется только предмет поклонения. Настоящее просвещение состоит не только в популяризации научных истин (что само по себе является задачей вполне полезной, хотя и тонкой, ибо научную истину можно при этом легко выхолостить). Для просвещения не менее нужна философия, позволяющая верно оценить значение науки в познании мира, помогающая различать, что есть необходимый в данной ситуации догмат, а что суеверие. Ученый, активно работающий в своей области, так или иначе приходит к философскому осмыслению своей деятельности (хотя и он не гарантирован от суеверий). Человек, получающий знание о науке только в готовом, препарированном виде, верит на слово. Он не защищен от суеверий. Он видит только изящный фасад, но не знает, что здание науки непрерывно строится и переделывается. Он наслышан о том, как много науки может, но не чувствует, каким трудом это дается и как велик коэффициент незнания. Потому что рассказ о незнании не входит в общеобразовательную программу. Мы охотно признаем возможности науки создавать модели экономики, с помощью которых машина даст наилучшие рекомендации, как надо планировать развитие производства. Но мы не всегда отдаем себе отчет, насколько эта модель далека от совершенного учета факторов, действующих в человеческом обществе.

Если модель не адекватна действительности, то для ученого это не будет неожиданным. Он знает, что модель лишь приблизительно отражает действительность. Что обнаружение слабых сторон модели есть необходимое условие, при котором ее можно разумно использовать. Что осмысление достоинств и недостатков модели действительности есть косвенный, но очень сильный способ влияния на эту

действительность. Ученый морально готов менять и совершенствовать модель. Но человек, слепо верящий в науку, суеверно относящийся к модели, думает иначе. Модель рекомендована наукой — это уже догма. Значит, надо действительность дотягивать до модели. Эта ситуация напоминает дикарский обряд, когда перед охотой чертится на песке изображение зверя (модель!) и протыкается копьем. Если охота, несмотря на принятые меры, оказалась неудачной, то виноват не глупый способ подготовки, а колдун, который неправильно произносил заклинания, или вмешательство злых духов.

2. Истинность и содержательность научных утверждений

Разумеется, каждый честный и серьезный ученый занят в своей области и в меру своих сил поиском истины. При этом научной истиной считается то, что может быть строго обосновано в рамках данной науки. Тот факт, что поиск научной истины в наше время оплачивается, заставляет иной раз поспешить с установлением очередной истины, сознательно или бессознательно выдавая желаемое за действительность. Однако такие действия являются нарушением научной этики и, как правило, рано или поздно разоблачаются. Поэтому не будем здесь обсуждать случаи прямого обмана. Серьезная наука не занимается придумыванием мифов.

Давайте разберемся, что понимается под установлением научной истины. В математике и логике есть два вида утверждений: аксиомы и теоремы. В естественных науках велика роль научной гипотезы — предположения.

Проверка истинности теоремы состоит в ее доказательстве. Не надо думать, что строгость доказательства есть абсолютное понятие. Физик удовлетворится доказательством, которое математик может законно считать некорректным. Логик признает большинство математических доказательств неполными.

Знаменитый математик Риман установил, что стационарные состояния колеблющейся мембраны связаны с минимумом энергии колебательного процесса, но его доказательства, как показал другой известный математик Вейерштрасс, были неверны. Тем не менее результаты Римана впоследствии удалось доказать вполне строго (на том уровне, как этого требует современная математика), придав им более точную формулировку. Они и сейчас имеют первостепенное значение. Велики здесь и заслуги Вейерштрасса. Его критика помогла уточнить открытие Римана и способствовала более точному выявлению математических понятий.

Аксиомы — это исходные утверждения, принимаемые без доказательства. В отличие от теорем и гипотез вопрос об их истинности вообще не возникает. Вместо него ставится другой вопрос: является ли данная система аксиом непротиворечивой? Только в том случае, если ответ удовлетворителен, эту систему аксиом можно принять в качестве исходной базы для теории.

В отличие от аксиом гипотезы всегда вызывают вопрос об их истинности — соответствии реальным явлениям.

Открытие неевклидовой геометрии, в сущности, свелось к очень простой, но совершенно замечательной идее. В течение многих веков ученые пытались доказать пятый постулат Эвклида (напомним: этот постулат утверждает, что через данную точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной). Н. И. Лобачевский поставил вопрос по-другому. Он предложил заменить пятый постулат другим постулатом, разрешающим проводить через данную точку сколько угодно прямых, параллельных данной, и исследовал возникающую новую геометрию. Получилась вполне стройная система, в которую старая геометрия Эвклида включалась как предельный случай. В дальнейшем удалось показать, что геометрия Лобачевского по крайней мере столь же непротиворечива, как и Эвклидова.

Таким образом, открытие Лобачевского является не только математическим, но и теоретико-познавательным. Он первый понял, что аксиомы не нуждаются в проверке истинности, что речь шла не о том, истинен ли пятый постулат, а совместимы ли он и его отрицание с остальными аксиомами геометрии.

Итак, с точки зрения математики геометрия Эвклида и геометрия Лобачевского одинаково истинны, хотя в первой сумма углов треугольника равна 180° , а во второй меньше 180° . Но тогда возникает естественный вопрос: а как на самом деле? Какая геометрия справедлива для того реального мира, в котором мы существуем? Чему равна сумма углов треугольника в нашем мире? Этот вопрос законен, но уже не относится к математике. Прямые и треугольники — это объекты математические, это абстрактные понятия. Объекты физического мира — это материальные предметы. Впрочем, и в физике имеются свои абстракции — понятие материальной точки, ее траектории и т. п.

Опыт всей физики говорит, что Эвклидова геометрия и полученные из нее следствия в нормальных условиях (для масс не слишком больших и не слишком маленьких, для не слишком больших скоростей) вполне хорошо согласуются с наблюдениями. Можно было бы условиться — считать прямой линией траекторию светового луча в однородной среде. Но ведь световой луч — это тоже идеализированное понятие, для размеров порядка световой волны оно теряет смысл. И если однородную среду мы даже будем понимать как вакуум, то согласно общей теории относительности траектория луча будет искривляться под действием поля тяготения.

Таким образом, геометрия как математическая теория и геометрические свойства мира — это разные категории, и связь между ними определяется физическими гипотезами. Стало быть, истинность пятого постулата Эвклида и истинность Эвклидовой геометрии для физического мира — также вещи совершенно разные. В первом случае истинность понимается только как возможность создать внутренне непротиворечивую теорию. В этом смысле Эвклидова и неэвклидова геометрии одинаково истинны. Во втором случае речь идет о некоторой гипотезе относительно природы реального мира. Истинность этой гипотезы проверяется возможностью объяснить и предсказать результаты ряда физических экспериментов.

Итак, существуют три вида научных утверждений. Это аксиомы, истинность которых вообще не вызывает вопроса, гипотезы, истинность которых проверяется развитием теории и эксперимента, и теоремы, доказываемые путем умозаключений на основе исходной системы аксиом и гипотез. Если в основе теоремы лежат не только аксиомы, но и гипотезы, то истинность теоремы проверяется не только логическим выводом. Требуется сверять с опытом всю систему выводов данной теории. Гипотеза обычно признается верной после первого яркого экспериментального подтверждения ее выводов. Например, гипотеза Менделя о генной структуре наследственности получила убедительное подтверждение в его знаменитых опытах с наследственной передачей признаков при скрещивании различных сортов гороха. Гипотеза Эйнштейна о законе постоянства скорости света и вытекающие отсюда правила сложения скоростей сумели объяснить известный опыт Майкельсона, показавший отсутствие «эфирного ветра». Но убедительность теории Менделя стала решающей после всех последующих исследований по генетике, биохимии и т. п. Так же, как убедительность теории относительности следует из того, что ее представления широко используются в самых разнообразных разделах физики.

Один из современных физиков утверждал даже, что если бы результат опыта Майкельсона не подтвердился бы более точным исследованием, то это не привело бы теперь к отказу от теории относительности, а только к попыткам новой интерпретации этого опыта в рамках теории Эйнштейна.

До последнего времени математики думали, что их наука выгодно отличается от других, поскольку любое утверждение в рамках чисто аксиоматической теории может быть либо строго доказано, либо опровергнуто. Но эти представления были нарушены с появлением в 1931 году знаменитой теоремы К. Гёделя. Если не прибегать к точной математической формулировке, содержание этой теоремы состоит в том, что всякая достаточно сильная формальная логическая теория содержит такие утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть внутренними средствами этой теории. Этот достаточно сенсационный и весьма принципиальный результат довольно долго служил объектом нападок некоторых философов, считав-

ших его идеалистическим. Суть обвинения сводится к тому, что результат К. Гёделя якобы означает существование непознаваемых явлений — утверждений, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.

Но подобная трактовка есть как раз незаконная философская экстраполяция теоремы К. Гёделя. Эта теорема говорит только о неполноте формальных теорий. Утверждение данной формальной теории, которое не может быть проверено внутри нее, вполне может быть проверено средствами более мощной логической теории. Правда, в новой теории появятся новые непроверяемые утверждения. Отсюда, естественно, напрашивается вывод о неисчерпаемости познания мира, но отнюдь не о непознаваемости.

Все сформулированные выше положения о природе научной истины хорошо известны ученым. Более того, любой работающий в своей области ученый знает, сколь легко допустить ошибку в логическом выводе, предположении или эксперименте. Поэтому для научного мышления характерно полное отсутствие уверенности в своей непогрешимости, стремление к критической проверке выводов любой теории. Только это гарантирует ее чистоту и надежность.

Вместе с тем существуют некоторые положения, которые ученый принимает заранее как методологические философские предпосылки своей деятельности. Эти предпосылки можно назвать догматами, поскольку они не доказаны, но принимаются на веру. Догмат и аксиома имеют то общее, что они априорны, не проверяются и не доказываются в рамках данной теории. Но между ними есть и существенная разница. Вопрос о вере в истинность той или иной аксиомы не стоит вообще. Если мы принимаем или вместе с Н. И. Лобачевским отвергаем пятый постулат Эвклида, то речь идет не о том, верим мы или не верим в этот постулат. Мы просто его условно принимаем или не принимаем. Гипотезы мы не принимаем на веру — иначе зачем нам нужны были бы последующие доказательства и подтверждения? Гипотезы выдвигаются, а затем подтверждаются или опровергаются и отвергаются. Вопрос о вере и в данном случае перед нами не стоит.

Догмат—это априорное положение, в которое мы именно верим, хотя и не считываем найти никаких доказательств. Существуют догматы религиозные. Например, положение о непогрешимости римского папы, когда он говорит *ex cathedra* (то есть провозглашает положения, касающиеся основ вероучения), утвержденное Ватиканским собором в 1870 году, есть догмат, который принимают католики. Вряд ли самый ревностный католик сочтет нужным доказывать истинность этого догмата. В основах методологии науки также имеются свои догматы — положения, в которые ученый верит, но для которых ему и в голову не приходит искать доказательства.

Прежде всего таким догматом является объективность существования мира и закономерностей, которым этот мир подчиняется. Ученый может быть материалистом или идеалистом, но, когда он занимается наукой, ему трудно быть солипсистом. Он просто не может допустить мысли, что мир — это не более чем его собственная фантазия, выдумка, ощущение, иначе все поиски научной истины теряют смысл. Вряд ли можно найти логические доводы, опровергающие крайнюю субъективистскую точку зрения. Если внимательно проследить логику рассуждений В. И. Ленина в его труде «Материализм и эмпириокритицизм», то мы увидим, что Ленин вовсе не ставил своей главной задачей опровержение взглядов солипсиста Беркли. Рассуждения Ленина состоят в доказательстве того, что позиция целого ряда философов, думающих, что они являются материалистами или даже марксистами, в действительности приближается к берклианству. Обнаружение берклианских субъективистских взглядов в позиции противника служит приемом доказательства (типа доведения до абсурда).

Второй догмат, признаваемый по существу любым ученым, состоит в уверенности, что он добывает объективную истину о мире. Занимаясь самой абстрактной теорией, построенной на основе самых причудливых аксиом, ученый верит в то, что добывает объективную истину. Надежность этой истины определяется объективными критериями, а не стоящими за ней авторитетами или группировками: ра-

совой, национальной или политической¹. Ученый может, согласно марксистской философии, верить в познаваемость мира или признавать, следуя Канту, существование непознаваемых «вещей в себе», но то, что он узнал, — есть знание о мире, а не пустая игра воображения.

Например, всякий математик верит, что существуют объективные математические факты, хотя до сих пор даже не удалось доказать, что система аксиом, лежащая в основе математики, внутренне непротиворечива. Поэтому когда математик в своих рассуждениях о конкретной задаче приходит к противоречию, то существует логическая возможность, что именно в этом месте обнаружилась принципиальная противоречивость всей математики. Тем не менее математик верит, что когда он набрел на парадоксальный вывод, то это его собственная ошибка, а не крах математики. Эта вера связана, конечно, с опытом и здравым смыслом. Мы верим, что завтра над Москвой взойдет солнце, хотя теоретически есть возможность, что завтра солнце взорвется.

Третий общепринятый в науке догмат состоит в том, что мир признается «логичным». Как минимум это означает, что добываемые наукой разнообразные сведения о мире могут быть уложены в логически стройную систему и возникающие в данный момент противоречия могут быть сняты при дальнейшем развитии знаний.

Более того, ученые, в сущности, признают, что наш мир обладает достаточно сильной внутренней организацией причинных связей, благодаря которой вообще возможно постижение и описание существенных закономерностей природы. Это дает нам уверенность в том, что путем логического анализа добытых сведений о мире мы получаем выводы, имеющие объективный смысл. По крайней мере заслуживающие того, чтобы их проверять экспериментом или сравнивать с другими теориями. Эти выводы могут оказаться ложными в силу неточности исходных гипотез, но тогда мы имеем основания менять гипотезы. Иными словами, дедукция признается законным инструментом исследования. Эта вера в логику, в логичность мира существует, несмотря на то, что сами логики все время подвергают сомнению разные, казалось бы очевидные, принципы своей науки. Зная о существовании подводных камней в самой логике, мы тем не менее не сомневаемся в возможности, в плодотворности логических рассуждений.

До сих пор мы говорили только об одной стороне научных утверждений — об их достоверности, об основаниях принимать их за истину. Однако два истинных утверждения, доказанных на одинаковом уровне строгости, могут иметь совершенно различную содержательность.

Простой здравый смысл подсказывает, что при существующем уровне знаний истина типа: «Волга впадает в Каспийское море» — не равноценна утверждению типа: «Передача наследственных признаков происходит с помощью молекул ДНК». Первая — образец банального для нас утверждения, вторая существенно обогащает наше представление о живом. Если даже с точки зрения некоторой формальной логической теории эти высказывания оказываются равноценны, то это нас заставляет только признать неполноту, недостаточность этой формальной теории.

Именно поэтому возникли теории, рассматривающие не только истинность — ложность высказываний, но и их смысловую структуру или характеризующие количество смысловой информации, содержащейся в данном сообщении.

В науке широко используется понятие тривиальности и нетривиальности результата. Получить нетривиальный результат, особенно такой, который безуспешно пытались получить другие, для ученого является чем-то вроде спортивного рекорда. Есть нетривиальность иного рода, состоящая в неожиданной постановке проблемы. Например, в математике сравнительно недавно выявился новый тип проблем, когда доказывается невозможность существования процедуры, позволяющей про-

¹ Этот принцип сформулировал еще Фома Аквинский (1225—1274), утверждавший, что «в философии самым слабым является доказательство путем ссылки на авторитет».

верить истинность или ложность некоторого утверждения. Примером необычной постановки вопроса является и общая теория относительности.

И все же содержательность научного утверждения не сводится к его нетривиальности. В математике есть много очень красивых и трудных теорем, в физике — сложно рассчитанных и с большими ухищрениями обнаруженных эффектов, и тем не менее все эти факты могут быть гораздо менее содержательны, чем более простые основные истины.

Представляется наиболее естественным соотнести содержательность научного утверждения с его информативностью для нашей системы знаний. Иными словами, содержательность факта (наблюдаемого явления, открытия, закона, теоремы, гипотезы и т. п.) было бы разумным оценивать количеством информации, которую нам приносит знание этого факта. Разумеется, трудно рассчитывать на то, чтобы получить точную меру информативности (содержательности) научного факта. Измерять количество информации можно только в довольно ограниченных рамках. Но можно рассуждать о том, какие свойства научного утверждения определяют его информативность.

На этот счет существует несколько точек зрения, вытекающих из различных концепций информации. В духе шэнноновской концепции информации содержательность определялась бы новизной или необычностью (неожиданностью) факта. В духе концепции А. Н. Колмогорова следовало бы оценить содержательность факта трудностью его получения. А в духе семантической теории информации следует оценивать содержательность научной истины уровнем ее влияния на представления науки в целом, иначе говоря, той степенью, в которой вновь найденный факт меняет общий тезаурус науки, то есть полную систему ее представлений. Именно последний подход к оценке информативности представляется наиболее плодотворным. Принятие этой концепции сразу приводит к важным следствиям.

Первое из них состоит в том, что содержательность открытия зависит от существующего уровня науки. Так, теоретическое предсказание П. Дираком в конце двадцатых годов существования античастиц, подтвердившееся затем экспериментальным открытием позитрона, имело исключительно высокую содержательность. В физику было введено принципиально новое представление об антивеществе. Но сейчас открытие античастицы для какой-нибудь из известных частиц несет не столь уж много информации для науки.

Второе следствие состоит в том, что содержательность научного открытия для самой науки отнюдь не совпадает с его информативностью для широкой публики. Потому что тезаурус науки не совпадает с тезаурусом массового читателя. Тезаурус последнего часто просто недостаточен для получения нужной информации. Поэтому для читателя популярной литературы гораздо более содержательными представляются практические применения лазера, чем лежащие в их основе квантово-механические явления. Для того, чтобы извлечь полную информацию из научного открытия, необходимо заранее иметь достаточно богатый тезаурус, необходимо владеть системой научных представлений. Впрочем, эта ситуация не столь уже специфична для науки. Чтобы понять глубину и содержательность пушкинских строк, тоже недостаточно простой грамотности.

Примером весьма содержательного физического закона является знаменитое неравенство Гейзенберга. Смысл этого неравенства состоит в том важном принципе, что невозможно получить одновременно полную информацию о положении и скорости физической системы. Принцип Гейзенберга в корне изменил наши представления о том, как описывается поведение физической системы, и, в частности, заставил отказаться от идеи механической детерминированности физического мира.

Итак, наибольшая содержательность свойственна тем утверждениям, которые имеют потенциальную способность к широким обобщениям или переносу на аналогичные ситуации в отличие от частных, хотя и нетривиальных фактов. Но содержательность факта можно сформулировать и по-иному. Обычно содержательные утверждения допускают грубую, расплывчатую формулировку, которая может быть строго уточнена в рамках той или иной точной теории. По-видимому, эти два

свойства утверждений — потенциальная способность к обобщениям и аналогиям и возможность грубой формулировки в расплывчатых терминах — взаимно обусловлены.

В действительности представители точных наук широко используют этот принцип. Если какой-либо факт удается просто сформулировать в грубых терминах, то имеется смысл искать обобщения и аналогии, убеждающие в содержательности данного факта, в его общезначимости. В математике можно с ходу привести десятки примеров, как этот принцип отделяет содержательные обобщения от чисто формальных.

Мы подошли сейчас к важному пункту о правомерности использования в строгой науке не эксплицитных, то есть размытых, понятий. Но этого мало. Изучая сложные системы, нельзя ограничиться оперированием только с такими свойствами, которые допускают проверку хотя бы в мысленном эксперименте (принцип, сформулированный Э. Махом). Это значило бы отказаться от изучения биологии, лингвистики, истории, психологии до тех пор, пока они не будут преобразованы в точные дедуктивные или экспериментальные науки. А между прочим, при всем уважении к точным методам и необходимости расширять сферу их применения, позволительно усомниться в пользе полного сведения биологических и гуманитарных наук к формальным теориям. Не потеряем ли мы при этом в общности концепции и широте взгляда? Не потеряли ли мы уже кое-что на дифференциации точных наук, на их вычленении из единой системы человеческого знания?

Существует важная проблема — найти принцип, определяющий, какие понятия допустимо вводить в науку. Исследуя размытые понятия, мы сопоставляем с ними уточняющие их строгие понятия. Строгое понятие, которое позволяет придать точный смысл исходному размытому понятию, называется его экспликацией. Ясно, что размытые понятия могут иметь не одну, а много разных экспликаций, по-разному уточняющих общий смысл.

По-видимому, в науке правомерно использование только таких понятий, которые допускают хотя бы одну вполне строгую экспликацию. Если утверждение содержит размытые понятия, то, уточняя одно из них, мы должны соразмерно уточнить и остальные так, чтобы эксплицированное утверждение допускало строгую проверку. Блестящим примером содержательного понятия, не имеющего общего строгого определения, является введенное И. М. Гельфандом и М. Л. Цетлиным (в серии работ по вычислительным методам и математической биологии) понятие «организации».

Отстаиваемый здесь тезис о пользе и необходимости размытых понятий может показаться парадоксальным, поскольку все развитие математики и физики (особенно в XIX и первой половине XX века) было связано с поисками уточненных формулировок основных понятий. Достаточно указать на ту роль, которую сыграло уточнение таких понятий, как число, функция, пространство, наблюдаемая величина и т. п. Агрессивное проникновение математических методов в другие науки привело к многочисленным попыткам создания точных понятий в биологии, лингвистике и т. д. Однако при всей пользе, которую приносит уточнение понятий для более надежной проверки истинности фактов, нельзя упускать из виду возникающую при этом опасность потери содержательности. Речь не идет, разумеется, об отказе от накопленного наукой важного опыта оперирования с точными понятиями и возвращении к патриархальным временам. Речь идет о правомерности существования в науке размытых понятий, позволяющих видеть содержательные связи между фактами и их историческую преемственность.

Очень часто, решая какую-то задачу в строгой постановке, мы, увлекшись уточнениями, теряем из виду те исторические корни, из которых она выросла. А если узнаем об истоках задачи, то посмеиваемся над первоначальной наивной формой постановки проблемы, радуясь собственному умению ставить проблему в современной научной форме. Между тем содержательные проблемы, решаемые в науке, очень часто имеют весьма древние истоки в широких проблемах, остро

волновавших наших предшественников. Следующий пример очень показателен именно с этой точки зрения.

Основная проблематика кибернетики состоит в анализе способов, как нужно управлять системой, чтобы противостоять внешнему хаосу, стремящемуся нарушить устойчивость («гомеостазис») системы.

Н. Винер начинает свою книгу «Кибернетика и общество» с обсуждения двух возможных представлений о хаосе. Первое из них считает, что хаос, неупорядоченность действующих в мире сил вызваны целенаправленно действующим разрушительным началом (по выражению Н. Винера, дьявол в манихейском¹ понимании). Второе — представляет хаос просто как отсутствие порядка, отсутствие внесенной в мир организации (Н. Винер сравнивает такое понимание хаоса с тем, как представлял себе дьявола святой Августин). Таким образом, в методологических основах, в основной проблематике ультрасовременной науки мы видим отголоски старинных теологических споров.

Впрочем, эти споры по содержанию были гораздо шире и глубже, чем можно увидеть по книге Н. Винера. Речь шла об этической проблеме, суть которой остается столь же важной и сегодня, независимо от того, облекается ли она в традиционную теологическую форму или формулируется в рамках марксистской философии. Проблема состоит в том, является ли наш физический мир носителем активного злого начала, преодолеть которое можно только уходом от мира, разрывом с ним (что было бы последовательно манихейской точкой зрения), или же природа зла состоит в том, что доброе начало не преодолело еще косность и неодолимость нашего мира и, стало быть, Добро и Разум способны торжествовать в этом мире?

Истоки современной научной проблемы могут иметь совершенно неожиданную, непривычную для нас форму. Язык, на котором выражается наше знание о мире, непрерывно меняется. По своему научному языку труды Ньютона для нас столь же архаичны, как «Слово о полку Игореве». Но своим содержанием и то и другое неразрывно связано с современностью.

Современная теория множеств зародилась в трудах Георга Кантора и стала основой математического анализа. Сейчас трудно представить себе, как выглядела бы математика без представления о множествах, о взаимно-однозначном соответствии между множествами и т. п. Но мало кто помнит, что интерес самого Г. Кантора к этим проблемам возник из размышлений над свойствами святой троицы (см. книгу А. Каждана «Возникновение и сущность православия», «Знание», 1968, где показано, как в спорах о свойствах святой троицы отражались фундаментальные вопросы мировоззрения). Волновавший когда-то умы парадокс, как часть может равняться целому, то есть каждая ипостась святой троицы быть тождественной их объединению, получил разрешение в канторовской теории множеств. Именно Г. Кантор первый строго показал, что бесконечное множество может иметь «столько же элементов», сколько его часть. И, в частности, объединение трех множеств может быть равномощно каждому из них. Дело, разумеется, не в том, что Канторова теория множеств внесла какую-то лепту в теологию. Для теологии эта теория, вероятнее всего, мало существенна. Дело скорее в том, что проблема, формулировавшаяся ранее на языке теологии, привела к содержательному научному вопросу. Недаром А. С. Пушкин писал: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

Переход от точных утверждений, относящихся к свойствам четкой и ограниченной модели, к размытым свойствам реального мира требует большой осторожности. При таком переходе выводы, правильные для модели, могут расплыться настолько, что потеряют всякий смысл.

Человек, увлеченный успехами точных наук, упоенный возможностями обсуждать сокровенные проблемы жизни на языке кибернетических моделей, верит,

¹ Имеется в виду учение Манеса (215—276) о борьбе двух сил: Ормузда, олицетворяющего созидающее добро и свет, с носителем темного, разрушительного начала Ариманом.

что размытые понятия биологии, лингвистики, философии и т. п. отживают свой век. Увы, как только такой человек дает себе труд поближе познакомиться с проблематикой этих наук, его позиция подвергается серьезным испытаниям. Ему волей-неволей приходится разбираться в том, какие экстраполяции точных фактов можно считать достоверно обоснованными. Ему приходится решать серьезные гносеологические проблемы взаимоотношения точных и размытых понятий, строго доказанных теорем и общих философских принципов.

Экстраполяция научного результата возможна только на основе соответствующих философских предпосылок. При том безмерном почтении к точным и естественным наукам, которому все мы отдаем дань, это обстоятельство очень часто забывается.

Вопрос о соотношении точных и общих утверждений имеет еще один аспект: в какой мере и как мы можем рассуждать о непознанных явлениях? Чем можно руководствоваться, принимая решения в ситуациях с заведомо неполной информацией?

Занимаясь конкретной естественной наукой, мы можем ограничивать круг рассматриваемых явлений, считая, что в область научного изучения входит только то, что может быть ясно сформулировано, описано, измерено, уложено в систему знаний. Но в реальной жизни мы все время наталкиваемся на явления, о которых мы знаем очень мало. Мы встаем здесь перед такой дилеммой: либо декларировать, что мы можем опираться только на точное знание, а во всех остальных случаях мы не имеем права принимать решения, либо декларировать право рассуждать о непознанных явлениях.

Тут-то нам и приходится прибегнуть к гносеологическим рассуждениям о возможных пределах экстраполяции точного знания, о возможных источниках знания, о свойствах неопределенных ситуаций, бесконечности, о шкалах ценностей и т. д.

3. Научное обоснование этики и его последствия

Если произвести простейшую статистическую выборку по страницам нашей периодической печати, то мы легко убедимся, сколь большое место занимает обсуждение этических проблем, принципов, на которых основывается мораль. Оно и понятно: нельзя построить устойчивое общество без четких этических принципов, без осознанной шкалы ценностей. Естественно, что мораль имеет свои различия в зависимости от социальной среды. Есть какие-то особенности в профессиональной этике, если угодно — в профессиональном кодексе чести. Например, выпить рюмку спиртного на борту самолета абсолютно недопустимо для летчика, но позволительно для пассажира. Ограничимся этим легковесным примером, чтобы не заниматься анализом различий морально-этических представлений у разных народов и в разных обществах. Однако изучение конкретных особенностей этики и обычаев частных коллективов — это предмет скорее этнографии или конкретной социологии. Предмет философии (а со времени Аристотеля этика рассматривалась как раздел философии) состоит в изучении общечеловеческих принципов морали или, в меньшей мере, в исследовании вопроса о существовании таких принципов.

Различия в подходе к этой проблеме можно, грубо говоря, разделить на три пункта.

1. Различие цели. Стремимся ли мы к благу общества или к благу индивидуума и как мы понимаем это благо?

2. Различие в постановке вопроса об источнике моральных принципов. Оно состоит прежде всего в выборе между рационально-логическим выводом принципов морали на основе уже данной цели и признанием исходности, заданности моральных принципов.

3. Различие в предпосылках о субъекте морали. Признаем ли мы человека по природе добрым или греховным, или способным ощущать различие добра и зла,

или способным честно соблюдать установленные принципы? Или мы вообще отказываемся от таких предположений?

Выбор исходной позиции по каждому из этих пунктов сильно сужает дальнейшие возможности рассуждений. Бессмысленно пытаться здесь приводить логические аргументы в пользу того или иного решения по этим пунктам: это завело бы нас слишком далеко. Можно только кратко напомнить, к каким следствиям приводят или приводили некоторые из этих решений.

В качестве исходной предпосылки мы могли бы объявить моральным то, что идет на благо общества (прогресса, социальной системы). Но не придется ли нам тогда оправдывать войны, убийства и преследования инакомыслящих ради блага общества, сознательное обречение людей на материальные и духовные лишения и т. д.?

Существует и другая логическая возможность — принять как исходную цель благо человека, например, его материальное преуспевание, его личный комфорт и свободу. Но тогда возникает опасность прийти к оправданию сильной личности, берущей себе все за счет других.

Попытки рационального обоснования морали — это попытки вывести законы морали из понятия блага (общественного или индивидуального). Для этого требуется слишком точное представление о том, что есть благо.

Представление о врожденной доброте человека очень привлекательно. Но такие глубинные свойства человека, как склонность к самоутверждению, инстинкт самосохранения и т. п., легко вступают в конфликт с несомненно присущим человеку добрым началом.

Что касается способности человека соблюдать соглашения, то опыт показывает, что даже честные и логически мыслящие люди не всегда к этому способны.

Принципы морали могут быть только очень простыми. В этой связи очень любопытна попытка польского логика А. Гжегорчика¹ написать «Декалог по-светски», то есть осмыслить десять библейских заповедей в применении к современному обществу. Впрочем, ветхозаветные заповеди не могут быть достаточными просто потому, что они формальны. Это правила поведения, но не принципы. Не случайно, что Новый завет прокламировал более общие принципы, выражающие основы христианской этики (см. Евангелие от Матфея, гл. 22).

Разумеется, в данной статье не предполагалось провести исследование философских основ этики. Хотелось бы только подчеркнуть, что эти основы связаны с глубинными принципами жизни и легковесные (к сожалению, получающие в наше время распространение) попытки вывести эти философские принципы методами точных наук приводят к опасным суевериям.

Речь, разумеется, не идет об отказе от логического анализа соотношений между этическими нормами, но основные принципы, лежащие в основе этики, следовало бы полагать априорными. По-видимому, в области этики, как нигде, опасна неосторожная экстраполяция выводов точных и естественных наук.

Пожалуй, наиболее ясно мысль о необходимости подчинения этики науке выражена в яркой и смелой статье профессора Н. М. Амосова («Литературная газета», 21 февраля 1968 года).

Начнем с конца этой статьи, где автор рекомендует не преувеличивать и не пугаться моральных проблем, связанных с развитием медицины. Медицина, говорит автор, не угрожает обществу. Да, пока не угрожает. Если не считать опытов над людьми в гитлеровских лагерях, исследований по бактериологическому оружию, некоторых случаев жестокого обращения с больными, — пока еще не угрожает. Пока общество больше страдает от недостатка медицинского обслуживания. Но это вовсе не значит, что этические проблемы медицины не слишком значительны.

Во-первых, наука развивается быстро, и там, где сейчас сложное решение приходится принимать Барнарду, завтра придется решать тысячам врачей. Во-

¹ А. Grzegorzczuk. Schematy i człowiek. Warszawa: 1963.

вторых, в морали нет места статистическим соображениям. Решение о жизни и смерти одного человека столь же ответственно, как и решение о судьбе миллионов. Об этом лучше и раньше сказал Достоевский.

Профессор Амосов сам говорит о существовании психологического барьера. Я хочу только подчеркнуть неразумность и безнравственность попыток преодолеть этот барьер.

В книге Н. М. Амосова рассказано о проделанных им сложных и рискованных операциях на сердце. Прочитав там, как хирург мучается сомнениями после операций со смертельным исходом, я не мог бы облегчить его душу бодрым советом: «Не волнуйтесь, вы действуете на благо науки, людей и прогресса. То, что случилось, лишь печальная, но неизбежная и в конечном счете незначительная жертва». Я также не посмел бы кинуть ему упрек: «Прекратите эти бесчеловечные попытки!»

Ситуация на самом деле очень сложная. И только ответственный и свободный в своем выборе человек может понять до конца истинную цену своих решений, цену ответственности. Если же в какой-то момент эти решения оказались бы для врача простыми, то он уже тем самым потерял бы право заниматься врачеванием.

Когда восьмилетнему мальчику рассказали о первой операции Барнарда, он первым делом спросил: «А эта девушка точно умерла? А ее нельзя было спасти?» Суть этической проблемы в данном случае ухвачена.

Я верю в честность доктора Барнарда, но думаю о времени, когда сотни врачей и пациентов будут с нетерпением ждать свежих трупов. Не возникает ли подозрение, что сама ситуация может дать подсознательный импульс не задерживать чью-то смерть, чтобы спасти другого. А может быть, ускорить юридическую смерть безнадежно больного? На весы ставятся часы или дни жизни одного и месяцы или годы жизни другого.

Я вижу один выход — твердо осознать, что никаких весов нет, что ценность человеческой личности, и в частности человеческой жизни, бесконечна и не подлежит измерению. Это по крайней мере достаточно традиционная точка зрения в нашей европейской культуре, чтобы с ней считаться.

Н. М. Амосов предлагает иное — отказаться от предпосылки, что «жизнь бесценна». Его основной аргумент: «Наука говорит, что живые организмы — это только очень сложные системы. Они построены по тем же принципам, что и машины». Тут, простите, хочется спросить, когда и кому она это говорила? А если говорила, то не дура ли она? Я занимаюсь кибернетикой и вычислительными машинами с 1949 года и что-то не видел доказательств того, что живой организм устроен, как машина. Наоборот, мы все больше убеждаемся, насколько машина не похожа на живые организмы.

Приведенную цитату можно рассматривать только как новый религиозный догмат — утверждение новой кибернетической религии.

Н. М. Амосов ссылается на то, что наука разрушила «божественное», мистическое представление о бесконечной ценности человеческой личности. Слово «божественное» должно здесь служить эмоциональным аргументом в его пользу. Но ведь это аргумент типа: «Что может быть доброго из Назарета?»

Взамен отрицаемого провозглашается новый догмат (бездоказательный, как всякий догмат), что человек есть только сложная система. Из него делается вывод, что жизнь не бесценна, а можно объективно взвешивать прибыли и убыли от осуждения человека на жизнь или на смерть. Давайте разберемся, к каким следствиям приводит эта новая религия. Мы не должны бояться их проследить, хотя бы как люди науки, тем более что эти следствия легко выведет любой человек, не защищенный в достаточной мере психологическим барьером.

Итак, ценность жизни отдельного человека не бесконечна, а исчислима, как исчислима ценность любой сложной системы (машины). Для необходимой починки более дорогой машины мы в случае нужды всегда пойдем на то, чтобы разобрать менее ценную на запасные части. Тем более, если эта менее ценная уже при последнем издыхании. Таким путем придем к сделанному Н. М. Амосовым выводу,

что допустимо брать для пересадки органы у людей с необратимыми поражениями коры.

Но ведь логическое рассуждение можно продолжить. Почему тогда не пожертвовать на благо общества психическими больными с сумеречным сознанием и не пересаживать их органы более ценным для общества индивидуумам? По логике относительных ценностей эта идея вполне рациональна. Почему не пойти в этих рассуждениях еще дальше? Представим себе, что для спасения выдающегося академика нужно пожертвовать рядовым научным сотрудником. Разве не логично? А ведь мы сделали совершенно строгие выводы из отказа от догмата о бесконечной ценности человеческой личности.

Если ценность человеческой личности конечна, то она может быть меньше или больше, а люди разделяются на группы более или менее ценных. Дальше уже не столь важно, связано ли это деление с расой, интеллектом, здоровьем, социальным положением или еще с чем-нибудь.

Развитие науки, и в частности медицины, заставляет нас заново обращаться к этическим проблемам. Действительно, приходится пересматривать — что есть граница между живым и неживым. Есть только один разумный и моральный путь — отодвигать эту границу все дальше: если перестало биться сердце, еще не все потеряно; если есть поражения в мозгу, еще не все потеряно — человек может жить. Н. М. Амосов пытается исходить из того, что коллегиальное решение врачей гарантирует от ошибок в определении судьбы больного — лечить ли его или пустить на изготовление протезов для других больных. Нет, консилиум (или диагностическая машина) только снимает тяжесть ответственности с каждого отдельного человека и облегчит ему возможность безответственного, а следовательно, дурного выбора. Предполагая, что человек в основе добр и порядочен, не надо создавать ситуаций, толкающих его к дурным решениям. Напрасно ждать, что наука даст нам рецепты, гарантирующие от дурных этических решений.

Может быть, главный вывод научного рационализма состоит в том, что человек должен сознавать: «Не являюсь непогрешимым. Скорее мне свойственно ошибаться». Есть нечто, стоящее над любым личным, коллегиальным или машинным мнением, — глубокая ответственность человека перед истиной. Она требует постоянных сомнений.

Человеку всегда хочется обеспечить себе чувство правоты. Люди всегда стремились создавать себе такие системы правил — этикет, регламентирующий общественное поведение. Сейчас люди готовы верить алгоритму, заложенному в машину. На самом деле никто нам не поможет — приходится действовать, беря всю ответственность на себя. Диагностическая машина может быть очень полезна, поскольку она увеличивает количество информации, которой может активно располагать врач. Но морально легче от этого не станет: большее знание может сделать решение более трудным.

Нельзя освобождаться от ответственности. Нельзя отказываться от веры в бесконечную ценность человеческой личности, не измеренную никем и ничем. А дальше, не будем решать вопросы в общем виде — морально ли пересаживать сердце или человеческую голову. Будем сознавать свою нравственную ответственность в каждом конкретном поступке, будь то поступок врача, ученого, солдата, учителя или кого угодно.

4. Как наука помогает противостоять суевериям

Итак, наука не только рассеивает суеверия, но и способна сама их порождать. Вся предыдущая часть статьи была связана с доказательством этого не вполне традиционного тезиса. Рассматривая науку как общественное явление, нужно трезво отдавать себе отчет как в ее общественной пользе, так и в возникающих издержках.

Опять-таки мы оставляем в стороне практическую пользу науки, ее роль в развитии производства и создании общественных благ, равно как не упоминаем и о тех разрушительных силах, которые она вызывает к жизни. Мы говорим только об одном — о влиянии науки на духовную жизнь общества, о роли науки в общественном знании. Положительный вклад точных и естественных наук в это знание также отнюдь не ограничивается запасом конкретных сведений или научных законов. Наука преподает нам важные уроки отношения к добываемому знанию, которые не стоит оставлять лишь ее внутренним накоплениям.

Прежде всего это честное отношение к добываемой истине. Ученый верит, что цель науки — добросовестный поиск истины. Поиск, при котором ученый тщательно разбирается, что доказываемся и что остается неясным. Критическое отношение к получаемому результату, потребность многократной проверки и перепроверки получаемых данных является, если угодно, частью психологии ученого. За полученным результатом всегда видится комплекс нерешенных проблем. Более того, содержательный результат никогда не бывает завершением разработки проблемы. Наоборот, самый главный смысл этого результата в том, что он дает новый способ задать природе содержательные вопросы, что он обогащает язык науки. Наиболее содержательные научные открытия, как правило, обрушивают лавину нерешенных и трудных проблем.

Скептицизм по отношению к устоявшимся, ставшим общеочевидными схемам настоящий ученый воспринимает как свой долг перед истиной. Добывать истину не только возможно — и должно. Околонаучные суеверия связаны, в частности, и с отклонением от этого принципа. Когда целью занятий ученого становится не поиск истины, а достижение быстрого успеха, эффектного результата, подтверждение авторитетного мнения — возникают не научные результаты, а мифы, мешающие развитию науки и общества.

Второй важный урок, который можно извлечь из современной науки, — это единство истины. Несмотря на крайнюю специализированность областей современной науки, мы все время чувствуем и противоположную тенденцию в ее развитии — стремление к единству знания, к взаимодействию отдельных областей.

Академик Б. Кедров пишет в газете «Правда» 11 октября 1968 года: «Чрезвычайно важное соображение В. И. Ленин высказал о двух принципах научного исследования — принципе развития и принципе единства мира. Оба они, считал он, должны быть взаимно дополнены один другим и связаны друг с другом. Указав на важность правильного понимания принципа развития, Ленин добавляет: «Кроме того всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, материи etc».

Наука как бы противоборствует усилиям ученых, отягощенных грузом специальных знаний, растащить ее по замкнутым клеткам. Она стремится, несмотря ни на что, остаться единым знанием о едином мире. Как бы ни была замаскирована эта тенденция науки существующей раздробленностью, стремление науки к единству существует, и оно весьма поучительно. Это еще один урок, который можно извлечь из развития науки: возможность единства и цельности в многообразии форм. Перед современным обществом стоит в некотором смысле аналогичный вопрос: может ли человечество существовать как единое целое вопреки существующему дроблению на языковые, национальные и социальные коллективы?

Точная наука развивает все новые и новые связи с гуманитарными науками, с искусством. Все чаще наука выходит к постановке философских проблем. Органичность такого симбиоза точной науки с другими областями знаний естественно приводит к вопросу: вытесняют ли точные и естественные науки иные формы познания с тем, чтобы занять их место? Или наука является естественной частью общего единого знания о мире? Вся система аргументов этой статьи была направлена к тому, чтобы опровергнуть первую возможность. Но тогда нужно всерьез размышлять о месте науки в системе знаний, о ее взаимодействии с философией, с искусством, о том, что вносит наука в наше представление об устройстве мира.

В этой связи интересно было бы детально проследить, как исторически менялся сам тип научных моделей — от чисто детерминистских к вероятностным (где детерминизм ослаблен влиянием случайных факторов) и затем уже к постановке на очередь проблемы создания индетерминистских моделей с настоящей свободой выбора. Чтобы разобраться в месте и роли научного знания, мы обязаны сочетать конкретный анализ научных данных с философским осмыслением, с анализом допущений, лежащих в основе экстраполяции этих фактов. В этом смысле поучительный пример дал П. Тейяр де Шарден¹. Известный геолог и палеонтолог, сыгравший большую роль в открытии синантропа во время раскопок, производившихся в 1929 году экспедицией Дэвидсона Блэка, и оставивший ряд важных работ по геологии Китая, по культуре палеолита и по эволюции млекопитающих, Тейяр де Шарден в 1938 году написал книгу «Феномен человека». В этой книге он подытожил и осмыслил свои представления об эволюции жизни и ее высшей формы — человечества, которое Шарден мыслит единым целым, связанным биологической, культурной и социальной общностью. Будучи настоящим ученым (его религиозные взгляды можно в данном случае оставить в стороне, так как они не имеют прямого отношения к нашей теме), Тейяр де Шарден хорошо понимал необходимость создания научной картины мира в целом и места жизни в этой картине. По-видимому, именно попытка подойти с современных научных позиций к теории единого конвергентного эволюционного развития Вселенной, где уже нет места тепловой смерти и гибели, а есть оптимистическая картина осмысленного развития Мира, принесла ученому посмертную славу.

Суеверия порождаются не только полным невежеством. Еще сильнее они связаны с неполным знанием, с полуобразованностью. В свое время об этом хорошо сказал еще Исаак Ньютон. Если рассматривать общество в целом, то причина суеверий, связанных с наукой, состоит попросту в недостаточном знании сути дела, в непонимании смысла научных результатов, в неправильном использовании научных знаний.

Суеверия, возникающие у специалиста-ученого, имеют по сути дела ту же природу. Это неумение выйти в своем мышлении за пределы мира науки, отсутствие готовности воспринимать науку как часть человеческого знания. Жить в мире точных наук по-своему очень привлекательно и легко. В отличие от обыкновенной жизни здесь есть очень ясная шкала ценностей. Но простота этой шкалы легко переходит в жесткую обусловленность сознания, в отгораживание от остального мира, в представление о мире, стоящем вне науки, как о чем-то низшем и плохо устроенном, в потерю человеческой ответственности.

Есть что-то очень инфантильное в этом стремлении во что бы то ни стало иметь очень простую шкалу ценностей, очень простую систему правил, гарантирующих правоту. Какое-то наивное желание устроить искусственное освещение в своем уголке, не заботясь о том, что мы при этом увидим вне этого уголка.

Для любого человека, для любого члена общества возникает важный вопрос. Как, живя и действуя в определенной среде, в определенной культуре, противостоять суевериям, вырастающим в этой культуре? В чем состоит то знание человека о мире, которое позволяет ему стать полноценной личностью и полноценным членом общества — сознательным и ответственным? Оторваться от своей среды, своей культуры — значит потерять что-то существенное в себе самом. Искусственный отрыв от среды, от корней никогда не способствовал развитию личности. Но мало ощущать себя в своей среде, жить своими связями в этой среде, надо еще уметь противостоять ходячим мнениям, предрассудкам этой среды. Потому что человек живет не только в своей среде, но и в истории. Коллектив, рвущий связи с человечеством, превращается в бандитскую шайку, в фашистскую орду

¹ Основные философские работы Тейяра де Шардена «Феномен человека» (имеется русский перевод), «Место человека в природе», «Моя вселенная» и другие изданы после смерти их автора (1955).

Разрыв связей между людскими коллективами, социальную психологию чужака всегда использовали самые темные силы. Достаточен такой пример. Осенью семнадцатого года на революционный Петроград была двинута «дикая дивизия». Расчет был очевиден — легче было рассчитывать на подавление русской революции руками людей пришлых, не имеющих в Петрограде никаких социальных связей, никаких моральных запретов. Марокканские части генерала Франко, белые наемники в Конго — все это та же идея: давить с помощью чужаков, то есть людей, которых не остановит ощущение братства.

Никто не может отрицать право немца быть немцем, но когда Гитлер противопоставил немецкое человечеству, возник национал-социализм со всеми последствиями.

Смысл настоящего просвещения в том, чтобы, опираясь на конкретную культуру, показать общечеловеческие связи этой культуры, связать в цельное представление о мире отрывочные специальные знания. Необходимо настоящее просвещение, о котором еще А. С. Пушкин писал: «...дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности» (Полное собрание сочинений в десяти томах. Издательство АН СССР. М.—Л. 1949, т. 7, стр. 198).

Трудность состоит в том, что современные наука и культура разделились на бесчисленное количество частных областей, которые уже не может охватить полностью ни один образованный человек. Это не значит, что потеряна возможность интегрального представления о мире, преодолевающего многообразие форм современного знания. Но это требует значительных усилий дружины ученых и писателей.

Невозможна настоящая культура без какого-то запаса четких знаний, без точного и глубокого понимания какой-то области науки, или искусства, или человеческой деятельности и т. д. И в то же время никакое конкретное знание — профессиональное, научное, литературное и т. д. — не дает само по себе нужной образованности, нужной культуры.

Невозможна образованность без ясного представления о природе человеческих знаний, без честного отношения к знанию.

Невозможно настоящее просвещение без четкого представления о природе и основах этики, без ясного ощущения собственной ответственности.

Старые формы сохранения единства знания изжили себя. Это не значит, что невозможны новые формы, новый синтез. Но для этого необходимо отдать себе сознательно отчет в единстве нашего мира и нашего знания о нем. И, в частности, отказаться от представления о всемогущей и всеведущей науке.



А. Межирова, Б. Ахмадулиной, Ю. Ряшенцева появлялись во всесоюзной и грузинской «Литературной газете», в журнале «Литературная Грузия». Много новых стихотворений найдет читатель и в готовящейся в издательстве «Художественная литература» книге избранной лирики И. Абашидзе.

Для читателя, по крайней мере русского, руставелевские циклы открыли поэта, гораздо более значительного, чем можно было предполагать раньше: казалось, нужен был великий образец, чтобы в стихах появился необходимый масштаб духовной жизни лирического героя. И если я, говоря о поэзии Ираклия Абашидзе, то и дело буду соизмерять сделанное поэтом прежде с уровнем достигнутого им за последнее десятилетие, — я меньше всего хочу этим бросить тень на бывшее его творчество. Понять и осмыслить логику развития творчества Ираклия Абашидзе — значит многое понять в общем движении советской поэзии.

Ираклий Абашидзе родился в 1909 году в селении Хони (ныне г. Цулукидзе), в Западной Грузии. Ему было двенадцать лет, когда в февральскую ночь его разбудили выстрелы: уходили меньшевики.

Юный Ираклий записывается в комсомол. В 1926 году он переезжает в Тбилиси, где через четыре года заканчивает университет. Молодой поэт явственно подражает Маяковскому. Но поэзии Ираклия Абашидзе никогда не были свойственны гипербола, неожиданность далеких ассоциаций, лексическая смелость Маяковского. Поэтому наивно и неуклюже звучали такие его стихи, как «Овладевай техникой», «Октябрьский рапорт» и другие.

И дело, конечно, не в одной форме. Строки Маяковского об умении в каждой мелочи «будить большевистского пафоса медь» порой понимались молодыми поэтами Грузии односторонне, упрощенно. Однако была в тех стихах высокая романтика, пафос освоения новой действительности, попытка слить в лирике «общее» и «личное».

Пройдет много лет, пока опыт развития нашего искусства покажет, что, только органически вобрав в себя новое «социальное переживание», лирика станет высокой исторической лирикой.

Лирика же больших поэтов всегда запечатлевает реальный опыт личности, ее общественный портрет.

Новое не рождается внезапно. Оно подготавливается исподволь.

Например, в давнем стихотворении И. Абашидзе «Все песни» цепь образов, раскрывающих идею многообразия жизни и интересов личности, в конце концов замыкается традиционным синтезом любовной лирики: все богатство мира — в любимом сердце; иными словами, перефразируя анафору («Песнь каждая свое нам говорит»), получается: «Песнь каждая одно нам говорит...» Для того, чтобы идея многообразия, идея богатства личности могла выкристаллизоваться в органическую форму, присущую именно этому поэту, должно было пройти еще некоторое время, понадобились многие события общественной жизни века.

В лирике некоторых поэтов во второй половине пятидесятых годов мы часто встречаем мотив ощущения полновластия поэта над словом. Может быть, в их стихах образ родного языка, неподвластного смерти, своеобразно аккумулировал идею внутренней свободы и осознанной ответственности перед своим народом. Вспомним строки Твардовского: «Вся суть — в одном-единственном завете...» — или эти, из «Голоса у Катамона» Ираклия Абашидзе: «О язык мой — бессмертье земное... Ты — сладчайшая скорбь, ты — горчайшая радость моя, обо всем говорящий, умалчивающий о многом».

На первый взгляд строки об «умалчивании» вызывают аналогию с уже цитированным ранее стихотворением «Вдох-невенье», где речь шла о «неизреченных», заживо похороненных словах. Но если там поэт признавался в таких слабостях, как невниманье, суетность или поспешность, — слабостях, ведущих к тому, что остаются нераскрытыми глубины слов, то здесь, в «Голосе у Катамона», есть знание возможности слов, есть свое отношение к сути вещей. Как сказано в другом стихотворении Ираклия Абашидзе, «беспользительный плач по совершенству — всего лишь немота, а не слова» («Камень»).

Поэт понимает, что долг его — в активном постижении всей полноты жизни, такой, какая она есть. Если великий романтик прошлого века Николоз Бараташвили просил «зачесть» «в молитвы» свои «нечаянные умолчания», то поэт нашего времени не видит оснований для такого смирения — он не может молчать. Но он пони-

мает также другое — альтернатива не так проста: не молчать или говорить, а говоря, выражать подлинное, глубинное течение жизни. «Свеченья и тьмы непрестанная смена — вог опыт горы, умудряющей разум. Тот снег, ожидающий нового снега, — в подвижности, но и в азарте прекрасном» («Далекая Шхелда»). Этот азарт — готовность движения, вечная упругая готовность к открытию... И тогда на место «юного пыла», выражающего стремление познать мир и себя, приходит самое познание и его могущественнейшее орудие — язык.

Тогда раскрываются во всем богатстве и широте мир окружающий и мир души человеческой.

В творческом арсенале Ираклия Абашидзе бросается в глаза лексическая сдержанность, отсутствие метафорической «густоты». И с годами стиль поэзии Ираклия Абашидзе существенно не изменялся, менялась сама поэтическая суть образной структуры.

В стихах Ираклия Абашидзе нарастает драматизм. Этот процесс легко объясним. Усиление личного начала, раздумье, анализ ведут к иной структуре, более драматической. Стихи спрашивают, опровергают, спорят, настаивают. В них появляется диалектика чувства.

Стихи Ираклия Абашидзе второй половины пятидесятых годов накапливали это новое качество. Качественным скачком явились руставелевские циклы.

Как это было в годы высокого итальянского Возрождения (XV век), так и в Грузии XII века коронованные меценаты собирали художников и мыслителей, страна гордилась мыслью и дала ей простор. К именам Леонардо, Рафаэля, Микеланджело прибавлялось *clivino* — «божественный». В Грузии было две академии, а ее философы и художники соревновались друг с другом в силе и мощи таланта и интеллекта. «Витязь в тигровой шкуре» — один этот шедевр скажет многое о далекой и славной эпохе, об уровне культуры грузинской национальной жизни. Поэма Руставели — феноменальное явление в мировой истории. Трудно назвать другое произведение искусства, которое оставило бы такой след в духовной жизни своего народа.

Ираклий Абашидзе совершил путешествие в места, куда был изгнан Руставели, и в

созданном еще в IV веке грузинами иерусалимском Крестном монастыре нашел изумительную фреску: между изображением Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника запечатлен Шота Руставели. Он изображен коленопреклоненным перед духовными владыками. Такова ритуальная поза. Но духовная поза художника иная... И в руставелевских циклах Ираклия Абашидзе поэт вырастает в фигуру, гордую причастностью к истине и вере в необоримость свободного духа.

Величественна сама его смерть — как поединок с вечностью. Он смотрит в небо, как будто хочет «взвесить» его.

Пафос этой поэмы — в действенной любви к родине, к истине, в мужестве поисков истины.

В тридцатые и сороковые годы воображение влекло Ираклия Абашидзе к грандиозному. Величие выделось в монументальном. Ныне даже в скромных ласточках запечатлено дорогое сердцу:

Я не слышал, как дышала
туча мощная, как вол,
грохот горного обвала
до сознания не дошел,
истины
в его раскатах,
как ни бился, — не постиг.
Только понял я пернатых,
наших ласточек язык¹.

Сердечную интимность всего живого, противостоящего «количественным» диктам многозначных чисел, как дар, принимает поэт. Земля, страна сравнена с сердцем:

Ты — терпенье в час беды
с дальним огоньком в тумане,
трепет сердца и дыханье,
растопляющее льды.
Дуновение тепла,
в день зимы — виденье лета.
Но ведь ты совсем мала,
так мала, как сердце это.

Глубокая несуетность, мужественное спокойствие мысли царит во второй, наиболее значительной части руставелевской эпопеи Ираклия Абашидзе. «Всем сердцем жаждал твой далекий потомок представить себе, что думал и переживал ты в последние дни жизни. Так зачти ему эти «голоса», как действительно услышанное им в грузинском Крестном монастыре Па-

¹ Здесь и далее стихи И. Абашидзе даны в переводе А. Межирова.

лестины, в твоём последнем убежище, спустя семьсот лет после твоего бесследного исчезновения». Эти слова предпосланы циклу «Палестина, Палестина!..». Голос Руставели оживает здесь, как оживают краски древних фресок под рукой реставратора. До дрожи узнавания ощущаем мы и эти «щербатые плиты» пола, и порог, за которым «темный скит», и даже эта ритмическая пауза, сохраненная в талантливом переводе А. Межирова («И вот — порог. Стою у входа»), — как бы последняя черта, подводящая итог жизни, и само освещение, резко разделяющее солнечное и черное — до порога и после него... И «белая тень», последний раз скользнувшая в памяти как символ вечно неутоленной жажды художника, вечно недоступного ему идеала, — гармонически растворяется в темноте скита.

Ты здесь...
 На этом камне стих
 твой шаг последний —
 в эти плиты
 твои следы незримо влиты
 и слезы из очей твоих.

В художественном отношении эти стихи Ираклия Абашидзе, по-моему, не знали себе равных в прошлом творчестве поэта. «Палестина, Палестина!..» — законченное, пластически выразительное создание таланта. В построении цикла много музыки — и в развитии темы Руставели, и в смене трагических мотивов светлыми мелодиями надежды, и в ритмических параллелях, и в полифоническом движении мысли.

Но главное достоинство руставелевского цикла — в патетическом восславлении истины. Смысл и пафос поэмы о твердости духа и верности идеалу заключены в строках из главы «Голос у стен Крестного монастыря».

Ты поклоненья требовал слепого,
 коленопоклоненья одного,
 но только мысли, воплощенной в Слово,
 я поклонялся, веря в естество.
 И если в замысле твоём высокою
 я человеком был,
 и если ты
 однажды взвесил совершенным оком
 мои несовершенные черты,
 и если ты
 печаль и радость —
 разом —
 дал мне вкусить на праведном пути,
 то я желал
 раскрепощенный разум,

освобожденье мысли
 обрести.

Да, если и стоял Руставели на коленях, то — перед истиной, правдой. «Данником» любви к истине и рабом этого «единовластия» считал себя герой Ираклия Абашидзе. А более всего молил он судьбу, чтоб спасла родину «от рабской доли» и «от поруганья». Родина, истина, любовь сливаются в облике прекрасной Тamar.

Любопытно сопоставить это мудрое отношение к прошлому своей родины с односторонними и поспешными выводами, скажем, в старом цикле «Дманиси» (тридцатые годы).

Для грузинской поэзии историческая старина — развалины замков, башен, крепостей, храмов — органическая часть поэтического пейзажа, ибо это часть пейзажа природного. Чувство историзма — развитое чувство личности, за спиной которой века богатой культуры, — в тридцатые годы нередко выражалось в резком противопоставлении нового старому. Дманиси существовал в стихах Ираклия Абашидзе как неудачливый антипод «быстрокрылого авто». О камнях исторического прошлого говорилось: «мертвые». Им не дано было право «голоса». Они молчали.

Правда, поэт в данном случае волновало не это. В «авто» он видел «жизнь», а камни старой крепости были просто синонимом «смерти». Но пройдут годы и годы, пока для выражения «смерти» будут найдены другие образы, пока заговорят камни прошлого, став образом жизни.

Были и художники, которые, напротив, только в развалинах замков видели величие родины, и в воспевании прошлого своеобразно сказывался спор с новым. Но в обоих случаях новое и старое спорили.

Военные и послевоенные годы дали иное толкование историзму — возрос интерес к героям прошлого. В частности, для грузинской поэзии весьма характерной формой становится «монолог» воина, лирического героя. Может быть, отчасти и отсюда тянется нить преемственности в самой форме построения руставелевского цикла у Ираклия Абашидзе?

Но отчетливо глубокое понимание национальных традиций приходит во второй половине пятидесятых годов. Историзм в подлинном его понимании — не простое

обращение к былым эпохам, но сознание естественной связи между временами. В этом смысле глубинные традиции связывают лирику последних лет Ираклия Абашидзе и с творчеством Руставели, Бараташвили, Важа Пшавела, Акакия Церетели. Лирический герой руставелевского цикла — и сам легендарный Шота из Месхети, и средоточие лучших национальных качеств грузинского народа, и наш современник с его достоинством характера, порожденного гуманистическим смыслом идей революции.

В последних по времени стихах Ираклия Абашидзе более зрело находит выражение художественный дар грузинского народа.

Грузинская критика отмечала преемственность некоторых стихов Ираклия Абашидзе военных лет (таких, как «Капитан Бухаидзе», например) от революционной народной лирики. Мне кажется, что в руставелевском цикле эта связь еще более глубока. Если в военных стихах поэта параллели напрашивались больше по внешним признакам (бой с врагом, презрение к смерти), то ныне поэтизация идейной убежденности, пантеистическое принятие смерти как торжества самой природы рождают философские аналогии, языком большого искусства говорят о победе высокой духовности, неподвластной личной смерти.

«Поэзия для меня всегда была и останется лирикой... — писал Ираклий Абашидзе в своей автобиографии. — Глубоко верящий в силу лирики, я не сомневаюсь, что она может раскрыть и передать богатейший духовный мир современного человека и сложнейшие процессы нашего времени».

Одним из признаков лирики во все времена было органическое слияние поэтического «я» и окружающего мира. Истинная поэзия всегда выражает духовную красоту человека и, отраженно или опосредствованно, пишет портрет чувств и мыслей, о чем бы она ни говорила. Когда в одной из своих статей о молодых поэтах Ираклий Абашидзе сетовал на увлечение орнаментальными функциями пейзажа в их стихах, он, видимо, искренне боялся, что «чрезмерное увлечение пейзажем» приведет «к отрыву писателей от острой социальной проблематики». Но на деле пейзаж просто «не мыслит» в иных стихах — в этом была беда, а не в

самом «увлечении пейзажем». И не мыслил он часто потому, что «я» поэта и объективная действительность не сливались воедино. Много воды утекло, пока и в поэзии тогдашних молодых поэтов, и в лирике самого Ираклия Абашидзе появилось качественно новое восприятие действительности. Для этого понадобилось зрелое понимание роли личности, полноты и богатства жизни.

«Избыток мѹки — вот моя удача», — скажет поэт. Да, выстраданная истина дороже принятой на веру. Книгочей, что глядит в «тсмень книг», звездочет, созерцающий пространство, — неведьды, если их знание оторвано от любви к человеку — этому, конкретному, близкому. Любить человечество иногда в поэзии легче, проще, чем отдельного человека...

Поздняя лирика Ираклия Абашидзе с громадным уважением относится к каждой отдельной человеческой личности, а значит, и к человеческой культуре, плодам ума и рук народа. В цикле же «Палестина, Палестина!..» сделана попытка восстановить день, час, мгновенье жизни человека, семьсот лет назад пропавшего без вести:

Лирика всегда чувствует на своих плечах груз заботы о человеке, тревоги за него, и каждый «пропавший» человек оставляет для нее вакуум, который никогда не заполнится. Искусство никогда не считает иначе, чем единицами, оставляя многозначные цифры политике и статистике.

В тридцатые годы Ираклий Абашидзе отдал долг своеобразному поветрию снижения «старых» понятий. Амикошонское обращение к святыням национальной жизни, манера разговора «на равных» с историей были свойственны русским лефовцам, грузинским «новаторам». Все подчеркивало наивную убежденность молодого самолюбия — именно с них начинается эра невиданных дел, перед которой все, что было, не стоит внимания. Тут молодой Ираклий Абашидзе был достойным учеником своих старших товарищей. Правофланговый поэтический цех требовал раскатистым басом:

Строй
 во всю трудовую прыть,
 для стройки
 не жаль ломаний!
 Если
 даже
 Казбек помешает —
 скрыт!

Все равно
не видать
в тумане.

Но Казбек не очень-то поддавался... Легче было с гробницами: «Нина и Веспасиан из гробниц, мертвые, рвутся из Мцхета рабочих, вихрем кружат, повергаются ниц, гонит поэт окончательно прочь их...» (Тициан Табидзе). В те годы даже вежливый Симон Чиковани требовал «тяпнуть лирику по башке сапогом». Поэзия была настроена агрессивно-весело, дерзко и... не очень ответственно.

Примерно так можно истолковать и строки Ираклия Абашидзе о Тбилиси:

Сам ты поведай Куре-вертихвостке,
Выскажи ей за меня, что она
В землю твою и в твои перекрестки
Вряд ли сильнее меня влюблена...

Дай ты понять и Метехскому замку,
Как неуклюжи его этажи,
Ну, а Мтацминде, спесивой и замкнутой,
Встать предо мною во фронт прикажи!

(Перевел Г. Маргвелашвили)

И в более поздние времена критика, требовавшая восхваления существующего, опиралась на «новую героинку», «новую поэтическую позицию», видя ее в постоянном

противопоставлении «старому». Нередко посрамление героев прошлого означало лишь еще одну степень восхваления существующего, а не утверждение подлинно ценного опыта революционной действительности. На деле не Мтацминда стала навтыжку перед самоуверенным героем поэзии, а он сам почтительно склонил голову перед нею — символом национальной святыни грузинского народа.

Вот почему лирика нового мироощущения, лирика новых исторических горизонтов, поэзия интернациональной темы, подлинного духовного раскрепощения и расцвета гармонической личности развивалась не только в борьбе с уродливым наследием буржуазной идеологии, но и с искажающими поэзию упростиТЕЛЬскими тенденциями. «Богатейший духовный мир современного человека и сложнейшие процессы нашего времени» (как писал Ираклий Абашидзе) по силам выразить только лирике, которая связана неразрывными узами с традициями отечественной культуры, культуры братских народов, прогрессивными идеями гуманизма и свободолюбия.

Лирика Ираклия Абашидзе в ее вершинных проявлениях подтверждает это красноречиво и недвусмысленно.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Березнин. Годы тревог и мужества.— **Б. Занс.** Аркадий Гайдар в газете.—
Ю. Буртин. «Может быть, это мои прощальные письма..» — **В. Портнов.** Це-
лое и детали.— **Александр Гладков.** Литература и театр.— **Р. Орлова.** Жен-
щина охраняет дом.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Водолазов. Человек против идолов.— **А. Каждан.** Единство и многообра-
зие.— **О. Лацис.** Правда и ложь статистики.— **Р. Баландин.** От факта к ги-
потезе.

Литература и искусство

ГОДЫ ТРЕВОГ И МУЖЕСТВА

Максим Танк. Листки календаря (Дневниковые записи). Авторизованный перевод
с белорусского С. Григорьевой. Стихи перевел Я. Хелемский. «Советский писатель».
М. 1969. 303 стр.

Первая запись в «календаре» Максима Танка помечена 7 января 1935 года, последняя — 28 ноября 1939-го... Пять лет. Пять невероятно трудных и сложных лет, наполненных событиями, имевшими решающее значение для судеб не только Западной Белоруссии, родины Танка, и не только Польши, в состав которой входили западнорусские земли (или «кресы», то есть окраины, как гласило их «государственное», оккупационное по сути, наименование), — для судеб Европы в целом, для всего мира. Ведь речь идет о времени, предшествовавшем второй мировой войне, которая началась, как известно, 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровских войск на Польшу.

«Годами презрения» мы окрестили нашу эпоху, — записывает Танк 30 августа 1935 года, — эпоху кризисов, человеческого унижения, бесправия, преступления фашизма... А может, это еще не самое худшее время? Какое название мы тогда дадим будущему — еще более мрачному?» И все, что идет

следом за этой записью, весь по существу дневник-«календарь» — непрерывающаяся цепь усилий разгадать многоликое время, духовно собраться перед неотвратимостью прихода времен «еще более мрачных», стремление утвердиться в наиболее устойчивых понятиях общественной и нравственной жизни, чтобы противостоять хаосу и катастрофе.

Историк революционного, коммунистического движения в Польше и Западной Белоруссии, да и просто читатель, интересующийся этим движением, найдут для себя в «Листках календаря» бесценные свидетельства человека, с юных лет вступившего на путь борьбы, неоднократно подвергавшегося преследованиям и арестам, но не сломленного ими, не деморализованного.

Прямо-таки звенящей, ликующей радостью причастности к делу, за которым будущее народа, дышат страницы книги, где Танк вспоминает о том, как «в 1932—1933 годах в Кареличах, Негневичах, Шор-

сах мы собирали деньги на МОПР. Ночь. Мороз. Несутся лошади с красной пятиконечной звездой. Останавливаемся возле хат, занесенных снегом; на мотивы колядных песен поем о гибели старого и рождении нового мира...»

Это и впрямь волнует, как только может волновать картина необыкновенного подъема народных масс, воодушевленных благородством своих целей, несокрушимой верой в их спасительную для человечества правоту и столь же прочной надеждой на их осуществимость. Волнует здесь, кроме всего остального, еще и та удивительно конкретно и живо переданная специфически-крестьянская, деревенская атмосфера, в которую погружена — и, надо полагать, в строящемся соответствии с фактами самой действительности — «коммуна» у Танка: перечисление сел, переименованные на новый лад колядные песни, рабочая лошададенка с агитационной красноармейской звездой...

Вот из этих Карелич, Негневич, Щорсов, из самой гущи народа, придавленного гнетом безземелья, «волчьим режимом» конфискаций и налогов, насильственной колонизации и полицейских расправ, и вышли те профессионалы-подпольщики, те герои революционных преданий, о которых Танк, их близкий и верный соратник, говорит с восхищением, любовью, болью. И 30 марта 1939 года: «Сегодня узнал, что Герасим (подпольная кличка Н. Дворникова, секретаря ЦК комсомола Западной Белоруссии. — Г. Б.) погиб — не то в Мадриде... не то в горах Эстремадуры, прикрывая отступление своей бригады... Я записываю грустную весть о гибели своего замечательного товарища пером, которое он мне подарил в минуты нашего расставания».

Читая дневники Максима Танка, мы шаг за шагом следим и за тем, как исподволь, из года в год становясь все агрессивней и наглей, овладевали государственной жизнью Польши откровенно фашистские элементы, как под воздействием их идеологии и политики «санационная» Польша превращалась в страну с тоталитарно-террористическим строем.

В мае 1935 года можно было еще так, между прочим, занести в дневник хоть и весьма тревожную, но еще не раскрывшуюся во всем зловещем своем значении весть о том, что на Гродненщине какие-то там «эндеки», то есть крайние националисты,

мечтают о «ночи длинных ножей». Но и года не пройдет — и «ножи» пущены в ход. «Трагедия в Кракове: полиция расстреляла демонстрацию рабочих «Семперита»; «улицы Львова снова окрасила кровь рабочих, в которых стреляла полиция...».

Преодолевая сектантскую узость и догматизм в собственных рядах, коммунисты Польши и Западной Белоруссии делают все, чтобы противопоставить фашистской угрозе все прогрессивные, честные и здоровые силы страны. Сам Танк по заданию партии сотрудничает в белорусских и польских изданиях Народного фронта.

Шестого апреля 1936 года: «От имени молодежи Гродненщины мы передали в редакцию «Работника» мемориал о зверствах полиции, о пытках, издевательствах, которым подвергались люди, добивавшиеся открытия белорусских школ. Посетили посла сейма Дюбуа (через несколько лет он погибнет в Освенциме. — Г. Б.)...

От Дюбуа мы направились в Лигу защиты прав человека и гражданина, к Андрею Стругу... А мне помимо всего просто хотелось повидать его, одного из виднейших современных польских писателей, человека, всегда мужественно выступавшего против расизма и антисемитизма, против социальной несправедливости и Березы Картузской (концентрационный лагерь. — Г. Б.), смело добивавшегося амнистии для политзаключенных и упразднения цензуры.

Запечатленное в «Листках календаря» мировосприятие революционера-подпольщика насквозь пронизано духом естественного, как бы само собой разумеющегося интернационализма. Рядом с самыми близкими Танку боевыми друзьями, такими, как Павел (С. Малько — в настоящее время генерал польской армии), Кастусь (М. Криштофович — в годы войны один из руководителей партизанского движения на Брестчине), Гриша (Г. Смоляр — впоследствии руководитель коммунистического подполья в минском гетто, редактор партизанской газеты), мы видим и его польских товарищей: Г. Дембинского, одного из виднейших деятелей польского комсомола, в годы войны расстрелянного фашистами, Владека — шахтера из Домбровского бассейна и других.

Такие же тесные узы связывали белорусского поэта-коммуниста с его друзьями-литовцами: «От Ионаса Каросаса узнал о возвращении Ёзаса Кекштаса из концла-

геря Береза. С Кекштасом я в 1932 году вместе сидел в Лукишках»; «Отец Казика Г. получил письмо от сына из французского лагеря Грю, там сидят интернированные бойцы международных бригад... В письме Казик упоминает некоторых своих друзей, среди них — Григулевичуса... неужели это тот Иозас, что весной 1932 года был арестован с группой литовских гимназистов? Мы вместе сидели в Лукишках».

Время репрессий, тюрем и лагерей. И в этой сложно противоречивой, чреватой многими бедами и опасностями общественной ситуации непрерывно росла и крепла партия коммунистов — организованный и политически прозорливый вожак Народного фронта. «Никогда еще не приходилось мне участвовать в такой громадной боевой первомайской демонстрации, которая всколыхнула вчера весь город. Под сотнями красных знамен, с пламенными лозунгами Народного фронта прошли десятки и десятки тысяч рабочих, юношей, девушек — людей разных национальностей, партий, профсоюзов...» (Вильно, 2 мая 1936 года)... И вдруг этого непонятный, страшный в своей бессмысленности удар: ликвидация, роспуск!

Страницы, где Танк рассказывает о роспуске партии и о том, как его восприняли коммунисты Польши и Западной Белоруссии, горьки, смятенны, трагичны.

«Уговариваем самих себя, что все это объясняется серьезной необходимостью... И все же очень трудно примирить логику разума с голосом сердца»; «...в воздухе все сильнее пахнет порохом... Тем, кто мог бы ударить в набат, связали руки; тем, кто мог бы предупредить об опасности, заткнули рты; те, кто должен был бы возглавить борьбу против фашизма, обезоружены».

И как выход из мучительного состояния, как попытка подняться над растерянностью и бессилием — запись: «Партию распустили, но то, что она посеяла, живет. Я только теперь увидел, скольким я ей обязан. Сейчас уже не могу представить жизни своей без ее знамен».

«Листки календаря» — дневник революционера-профессионала. Но они же и дневник поэта. Естественно, что рассуждения о литературе вообще и о литературе западнобелорусской в частности занимают здесь большое место.

Представление о том, в каких условиях развивалась литература на «кресах», дают

столь часто встречающиеся в «календаре» почти однотипные записи: «...цензура конфисковала мой сборник «На атапах»; «...полночь. Кто-то долго звонит к дворничихе. Полиция... По-видимому, идут искать мой конфискованный сборник»; «...цензура конфисковала сборник Василька «Шум лесной»; «...цензура конфисковала сборник Михася Машары «Из-под крыш соломенных»...»

И автор дневников, несомненно, близок к истине, когда он в одной из первых своих заметок пишет: «У нас нет разницы между литературой и воззванием, литературой и забастовкой, литературой и демонстрацией, поэтому почти на всех политических процессах рядом с борцами за социальное и национальное освобождение на скамье подсудимых находится и наша западнобелорусская литература».

Казалось бы, литература такого рода если и не прямо взывала к нетребовательности и снисхождению по части культуры, художественности, мастерства, то по крайней мере вполне допускала подобное снисхождение, «санкционировала» его возможность... Танк не соглашался с этими «санкциями», не принимал их.

Эпигонское стилизаторство «под фольклор», робость в проявлении личного начала, «дешевая патетика», погоня за популярностью, которая «часто складывается из элементов уцененных, утративших свою самобытность», — вот те недостатки западнобелорусской поэзии, на которые Танк обращает свое внимание прежде всего.

Он много говорит о правде как о неприменном, первом условии долговечности художественного произведения. О правде неурезанной и безусловной: «...самое трудное — это сказать в произведении правду о нашей жизни. Без этого имеет ли какую-нибудь ценность поэзия, если она претендует на нечто большее, чем забвение?»; «...сейчас разрешается писать только о вещах, приятных властям, но короткий век таких произведений. Можно писать и о неприятных явлениях жизни, но тогда — очень короткий век автора».

У Танка нет готовых решений на все случаи поэтической практики. Он не «поучает» своих единомышленников и друзей по общему литературному делу, полагая, что в этом деле «до всего... нужно доходить самому». Он сам бесконечно трудится, ищет, неудовлетворенный тем, что многое у него

получается не так, как хотелось бы, не так, как надо: «То приземляю свою поэзию, то поднимаю в романтические выси».

Ощутив исчерпанность и непригодность «архаичных форм», стараясь «вырваться из плена певучести, традиционной образной системы», Танк попадает на какое-то время под власть «лево»-авангардистских течений, «уже отказавшихся от старых рифм, пазойливой мелодичности, канонической логики развития образов». Но «паважденне» длилось недолго, и 27 февраля 1938 года появляется такая запись: «До тошноты начитался авангардистов и других модернистов. Иногда кажется, что в мычании коровы больше смысла и поэзии». Сказано грубовато, но мысль ясна: «левое» искусство не утолило той жажды органического, простого и эмоционально действенного слова, которой и определялись в конечном счете все метания и поиски Танка.

Есть у Танка такая запись: «Многие наши революционные поэты стесняются признаваться в любви к своему родному углу, к своему дому, семье, чтобы не сочли их людьми ограниченными».

Танк не стесняется. Больше того, в этой любви и привязанности к «родному углу», к повседневному существованию людей среди будничных трудов и забот, к человеческой жизни как жизни — начало, исток всего лучшего в поэзии Максима Танка. И в не рассчитанных на опубликование «Листках календаря» — тоже.

И вовсе не для того, чтобы «упроститься», сбросить с себя бремя «интеллигентских» терзаний или отдохнуть от подпольных волнений и риска, возвращается Танк в родную Пильковщину, к отцу и деду, на скудную их землю в камнях, среди болот и леса. Поэт никогда и не отрывался от самого естества и плоти реальной жизни, ради которой, собственно, и лозунги, и манифестации, и «отсидка» в Лукишках. Крестьянский сын, он просто живет этой жизнью, исполненной — при всей своей бедности — особого очарования и красоты.

И так хороши, точны и правдивы в непринужденной, не быющей на «экзотический» эффект передаче Танка все натуральные подробности крестьянского труда и быта.

«На изгороди сушится серое полотно. Это, видно, мама покрасила его в отваре

толокнянки или в отстое ржавого железа, чтобы шнать нам будничную одежду».

«Решили с дедом пойти в Дровосек и собрать березовый сок... Мы остановились около трех раскидистых берез, затесали кору. Пока вбивали лоток — сок выступал крупными каплями, а потом полился сплошной серебряной ниткой в принесенные нами легкие, будто из бумаги, осинового корыгца. Дед пошел к дороге, где, слышно было, кто-то понукал коня, а я присел на пенё, ожидая, когда на дне корытец соберется несколько глотков хмельного и освежающего весеннего напитка».

«Сушил сено в Неверовском... Когда я усталый возвращался домой, мне чудилось, что на плечах у меня огромный мешок, полный запахов сена, жары, звона оводов, птиц».

«...когда работаешь на земле — сам начинаешь думать, что нет более важных сведений, чем сведения о погоде и урожае, ими дорожишь пуще всего».

В этом нет ухода от обязанностей и тревог подпольщика: «Целый день я бороздил в поле. В сумерки появился М. Принес известие, что скоро придет литература...» И вообще Пильковщина насквозь продута ветром истории, она — между войнами. На всем быте пильковщан, на всей их психологии — неизгладимый след этой переходности и промежуточности.

«В кузне было несколько пильковщан. Они суетились возле наковальни, помогая раскалывать старые снаряды, из которых у нас делают лемеха». И где-то в конце дневников: «Ночью, наладив свой своеобразный детектор, прослушал сообщение о бомбардировках Варшавы, Демблина, Торуня, Кракова...»

В «Листках календаря» Максима Танка — весь человек. Живой, неповторимый, «единственный». С заботой об отце, с тоской по Лю (Любовь Андреевна Скурко, жена поэта), с печалью о товарище, который, не выдержав пыток, повесился в камере («У меня только осталась на память от него невыкуренная пачка папирос»). И еще со способностью замечать смешные мелочи вроде промелькнувшего в газете «брачного» объявления: «Панна с водяной мельницей ищет кавалера с ветряной...»

Дневник есть дневник, и спрос на «художественность» с него невелик, а сказать точнее, и просто неуместен. Но есть в дневниках Танка тот неразложимо единый и

целостный в своей непредвзятости взгляд на жизнь, который и производит впечатлительное единство нравственного и художественного, тем более что нам, знающим поэзию Танка, чуть ли не каждая подробность в его дневнике предстает как бы в двойном свете: сиюминутная, всамделишная — и преображенная образно, вошедшая в стихи тех же примерно лет. Во всяком случае, читая «Листки календаря», видишь, насколько живой и реальной была та «почва и судьба», из которой и выростали стихи поэта, даже самые метафорические — «кудрявые» среди них. Поэзия Танка и питалась запечатленным в «календаре» ощущением жизни, взятой в единстве ее бытовой, «крестьянской» сути и революционных тенденций и устремлений, которые только потому и овладели сердцами миллионов «пильковщан», что и они, эти устремления, тоже жизнь, тоже судьба и почва.

Последние страницы «календаря» написаны после 17 сентября 1939 года, то есть после освобождения Западной Белоруссии Красной Армией. История дала ответ на

самый «главный» и самый больной вопрос поэта и всей его жизни: «Когда встретятся в братском пожатии наши руки, когда зазвонят за общим столом наши вольные песни?» (отрывок из приведенного в дневниках письма Якубу Коласу от 26 мая 1939 года).

Новая жизнь, которую поэт встретил как долгожданное осуществление самой заветной и пылкой своей мечты, не сняла, однако, в начальную свою пору некоторые унаследованные от прошлого сложности.

Появились и новые сложности — радостные: «Как после поэзии бунта перейти к поэзии строительства?»

Весь последующий путь Максима Танка — одного из талантливейших белорусских советских поэтов — свидетельствует о том, что этот переход был им совершен успешно, в органическом соответствии с «коренными» свойствами своей природы человека, художника и борца.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

АРКАДИЙ ГАЙДАР В ГАЗЕТЕ

С. Гинц, Б. Назаровский. Аркадий Гайдар на Урале. Второе издание. Пермское книжное издательство. 1968. 262 стр.

Виктор Королев. Гайдар шагает вперед. Дальневосточное книжное издательство. Владивосток. 1967. 96 стр.

О Гайдаре написано много. Есть у нас уже и специалисты — «гайдароведы». Иные из них живого Гайдара никогда и не выдвали. Упомянув об этом отнюдь не в укор: ведь уже двадцать восемь лет прошло со дня гибели Гайдара в партизанском отряде близ украинского села Леплява. Да и не тем определяется успех или неуспех работы, а мерой знания и — главное — понимания предмета.

И естественно, год от года все ценнее становятся новые свидетельства современников Гайдара, тех, кто его близко знал.

С. Гинцу и Б. Назаровскому, написавшим об уральском периоде жизни Гайдара, что называется, и книги в руки: они работали вместе с Гайдаром в пермской газете «Звезда» в 1925—1927 годах, они и поныне живут в Перми. И хотя в авторской аннотации сказано, что книга, содержащая некоторые личные воспоминания, в большей части — результат изучения материалов и

документов, все же момент личного общения, непосредственного, не из вторых рук знакомства с обстоятельствами — недооценивать не приходится.

Прибавим сюда и принципиально важную позицию авторов, выраженную в словах: «Гайдар был безусловным противником слащавости, приукрашивания и лжи, хотя бы и продиктованной самыми благими педагогическими намерениями... Нужен живой и реальный портрет Гайдара, а не икона».

Именно такой портрет возникает на страницах книги, являющей собой как бы сплав мемуаров и исследования.

Вот далеко не полный перечень того, что сделано авторами.

Составлена обширная библиография всего напечатанного Гайдаром в уральских газетах: в ней учтено около ста семидесяти названий.

По старым комплектам газет заново

изучены опубликованные в них произведения Гайдара.

Дан реальный комментарий об обстоятельствах появления ряда этих произведений.

Прочитрованы или приведены полностью письма Гайдара, в частности адресованные одному из авторов книги — Б. Назаровскому — и заботливо сохраненные им на протяжении сорока лет.

Прозвучены изыскания в местных архивах, найдены интересные документы, имеющие отношение к работе Гайдара в Перми.

Достоверность, обилие документального материала — вот основные достоинства книги С. Гинца и Б. Назаровского. В итоге их труда годы жизни Гайдара на Урале, о чем прежде было известно очень мало, освещены с достаточной полнотой.

Гайдар приехал в Пермь осенью 1925 года. Ему тогда еще не исполнилось двадцати двух лет, но он уже успел провоевать несколько лет на фронтах гражданской войны. Он очень рано начал жить по-взрослому: в четырнадцать лет убежал из дому на фронт. Тяжелые последствия контузии положили конец его военной карьере. Теперь предстояло начать жизнь заново.

Правда, Гайдар к этому времени уже написал и даже опубликовал (в ленинградском альманахе «Ковш») свою первую повесть «В дни поражений и побед», но все, что я знаю о Гайдаре, о его характере, заставляет думать, что он этим успехом не слишком обольщался¹. В запомнившихся ему словах К. А. Федина, которые он позже привел в одной из автобиографических заметок: «Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете», — Гайдар, вероятно, оценил не только «можете», а и «не умеете».

И он стал учиться писать. Он пробовал силы в самых разных жанрах: фельетон, очерк, рассказ, приключенческая повесть, даже стихи. Не все шло гладко, не все получалось удачно...

Подробно и обстоятельно показывают С. Гинц и Б. Назаровский, как формировался Гайдар-газетчик, как овладевал он новой профессией, как нашел свое место в

редакционном коллективе пермской «Звезды». Немало внимания уделено обстановке в редакции, людям, которые трудились бок о бок с Гайдаром (тут авторам служили подспорьем не столько архивы, сколько воспоминания).

Гайдара мы видим в книге не только на работе, а и вне редакции — дома, в быту, на отдыхе, он обрисован со всем его своеобразием, со всеми не укладывающимися в канонический графарет чертами.

Этому особенно способствуют обильно представленные в книге письма Гайдара и некоторые отрывки «о себе», старательно выисканные авторами в фельетонах, рассказах.

Трудно удержаться, чтобы не привести один из них — полушутливый автопортретный штришок:

«Я не знаю, можете ли вы, ощущая в карманах бумажную, серебряную или медную денгу, проходить спокойно по улице.

Лично я, например, не могу, потому что мне всегда надо что-нибудь покупать. И эта необходимость вызывается отнюдь не потребностью в той или другой вещи, а просто-напросто тем бунтом, который поднимают запрятанные в глубину карманов деньги».

Как хорошо, как искренне вылилось это признание! И кто из знавших Гайдара не помнит, сколь быстро испарялись «бунтующие» деньги из его карманов... Деталь чисто гайдаровская.

Автобиографичен, по мнению авторов, рассказ «Первая смерть». Видимо, это так и есть. Содержание рассказа совпадает с тем, что как реальный эпизод мне приходилось слышать от самого Гайдара (по его словам, дело происходило в Томске, где он, уже отвоёвавшись, лечился в 1923 году).

Гайдар полюбил работу в газете. После Перми, где были сделаны первые шаги в журналистике, он работал в Свердловске (1927), в Архангельске (1929), в Хабаровске (1932). Тяга к газете не покидала его, даже когда к нему пришло широкое литературное признание.

Не следует, однако, думать, что становление газетчика и становление писателя было двумя отдельными, обособленными процессами. Нет, именно в газете Гайдар складывался и как писатель.

С. Гинц и Б. Назаровский, констатируя несостоятельность газетных приключенче-

¹ Помнится, рассказывал он о своей жизни в Ленинграде в довольно иронических тонах и был далек от того, чтобы изображать себя в ту пору сложившимся писателем, наоборот, всячески подчеркивал свою литературную неопытность и наивность.

ских повестей Гайдара, пишут, что он все же учился на них «строить занимательную, интригующую фабулу, насыщать содержание действием, учиться лаконичности повествования — тем качествам, которые позже органически вошли в его зрелое творчество».

Вряд ли это верно. Вряд ли несостоятельные повести могли дать положительный опыт. Скорее уж отрицательный — научили, как не надо писать.

И вовсе не то существенно, что ради поднятия тиража газеты Гайдар писал беллетристику, ныне представляющую интерес разве только для специалиста, — существенна та школа повседневного литературного труда, школа жизни, какой явилась для него газета.

Ценность книги «Аркадий Гайдар на Урале» несомненна, хотя не со всем высказанным в ней я бы согласился, особенно в части критико-аналитической. Там, где речь идет о фактах, авторы проявляют похвальную осторожность: высказав какое-либо предположение, стараются его аргументировать; неполную подтвержденность какой-либо версии добросовестно отмечают. Когда же дело доходит до обобщений, до оценок, нередко появляются размашистые формулировки, безапелляционные суждения.

Да, путь Гайдара в большую литературу не был легким. Но зачем же излишне драматизировать события?

С. Гинц и Б. Назаровский пишут: «Всякое с критикой бывало. Об этом стоит сейчас напомнить, чтобы литературная обстановка двадцатых годов не рисовалась идеальной и чтобы литературная молодежь знала, через какие критические испытания приходилось проходить писателям первого (только ли, однако, первого? — Б. З.) советского поколения».

Под «критическими испытаниями» авторы подразумевают здесь несколько неодобрительных отзывов о первой повести Гайдара «В дни поражений и побед». Одной из наиболее резких была рецензия Михаила Левидова.

Из произведений начального периода проверку временем выдержал только рассказ «Р.В.С.». Подлинный Гайдар начался со «Школы». Первая же его повесть «В дни поражений и побед», хотя и включена в четырехтомник, сейчас решительно всеми признается слабой. В том числе, с некото-

рыми оговорками, и авторами книги. И все же они говорят об испытании.

Но то ли приходилось переживать Гайдару впоследствии, когда он уже был признан, известен... Разве эпизод с тремя-четырьмя пусть очень неприятными отзывами может идти в сравнение с кампанией против «Военной тайны», с прекращением газетной публикации «Судьбы барабанщика», обрывом ее на строке «продолжение следует» в конце первого же куска? Наконец, с действительными испытаниями, выпавшими на долю одного из «недоброжелательных» рецензентов — Михаила Левидова, старого, честно трудившегося писателя? Даже самая идеальная литературная обстановка не предполагает исчезновения отрицательных рецензий.

В главе «Суд над фельетонистом» излагается следующая история. Гайдар в фельетоне «Шумит ночной Марсель» высмеял судебного следователя, «по совместительству» игравшего по вечерам в оркестрике ресторана «Восторг». В фельетоне было то, что авторы именуют «художественным вымыслом». Следователь подал в суд. Оправдав Гайдара от обвинения в клевете, суд признал его виновным в «оскорблении личности» и приговорил к лишению свободы на неделю, с заменой общественным порицанием.

Авторы книги справедливо возмущаются приговором. Странным образом, однако, их возмущение распространяется и на самый факт принятия жалобы к рассмотрению, на то, что любому человеку, обиженному фельетонистом, «дается возможность тащить его в суд». Не понятно, чем это плохо! На то и суд, чтобы решать.

Разве не ясно, что не принять дело к рассмотрению — означает решить его до суда и вместо суда? Другой вопрос, что в данном случае суд оказался не на высоте.

Помню, редактор «Тихоокеанской звезды» И. И. Шацкий однажды открыл редакционную летучку словами: «Что-то на нас давно никто не жаловался. Что-то мы со всеми стали жить в мире. Значит, мы плохо работаем». Такой редактор Гайдара бы в обиду не дал. И не давал.

А пермский редактор (фамилии его в книге нет), по словам самих авторов, не имел охоты отстаивать своего фельетониста. В этом суть, а не в том, что «люди недостаточно вдумчивые» дали делу ход.

Во втором издании композиция книги стала стройнее, хронологически последовательнее, писем Гайдара появилось больше, облик Гайдара обогатился новыми живыми чертами. Авторы хорошо сделали, опустив крайне неудачный литературоведческий экскурс в проблему «лирического героя». Напрасно только они не пожертвовали заодно и термином, правомерность применения которого к фельетону вызывает сомнение. Мало убедительны, на мой взгляд, рассуждения о месте вымысла в фельетоне.

Не выглядят удачными и попытки расширить рамки за пределы, обозначенные заглавием книги: «Аркадий Гайдар на Урале». Например, о нэпе в Перми — интересно и нужно, а о положении в стране, о состоянии литературы — и не точно и не интересно.

К сожалению, нетронутыми перешли в новое издание некоторые витиеватые обороты, вроде: «бещеная скачка нервов», «точная, будто рубленая клинком шашки, фраза».

В целом же книга С. Гинца и Б. Назаровского — обстоятельный, серьезный труд, без которого теперь не обойтись ни одному биографу Гайдара.

Виктор Королев продолжает вслед за пермскими авторами разработку темы «Гайдар в газете», на этот раз — на Дальнем Востоке, в издававшейся в Хабаровске «Тихоокеанской звезде».

Написана книжка в живой, очерковой манере. В. Королев рассказывает о редакции, о журналистах, работавших вместе с Гайдаром. Перед читателем проходят краткие портретные зарисовки, много места уделено своеобразному быту квартиры, в которой жил Гайдар и другие сотрудники редакции. Изложено все это тепло, с любовью к Гайдару и к замечательному коллективу «Тихоокеанской звезды» тех лет.

Рассказано об И. И. Шацком — прекрасном человеке и прекрасном редакторе, до В. Королева упоминавшемся в печати только на страницах «Юности», в воспоминаниях Антала Гидаша о Фадееве. Рассказано о П. Кулыгине, Е. Титове, Б. Шишакине... Много опытных газетчиков собрал тогда Шацкий в Хабаровске.

Приятно было мне встретить в книжке В. Королева имена друзей молодости. И грустно — ведь почти никого из них не

осталось в живых: умерли, погибли на войне и вдали от нее...

Описание редакции, ее духа, людей, в ней трудившихся, — пожалуй, наибольшая удача автора.

Сам же Гайдар, к сожалению, получился у В. Королева менее убедительным. В нем ощущается явственная стилизация, приближенность к уже выработавшемуся образцу. И шутит он не всегда по-гайдаровски, и всерьез говорит как-то натянуто. В ряде сценок и разговоров видна не столько опора на память, сколько заданность, поверхностная беллетризация.

Не буду вступать с автором в длинный спор обо всех неточностях его повествования, хотя то, о чем он пишет, происходило, что называется, у меня на глазах: Гайдар жил в одной комнате со мной.

Но кое на чем остановиться все же следует.

Вот, например, В. Королев описывает, как в редакции обсуждают очередной очерк Гайдара. Спор заключает Е. Титов следующими словами: «И вообще я вам должен сказать, по моему мнению, Гайдар самый крупный очеркист в РСФСР. О других республиках судить не берусь — газет их не читаю, а в России он всех забьет!..»

Сравним эту цитату с другой, взятой из воспоминаний, опубликованных более двадцати лет назад.

«— Гайдар первый очеркист в РСФСР. Он всех московских забьет.

— Почему же в РСФСР, — спросил я, — а не в СССР?»

— Потому что, может быть, на Украине или в Закавказье и лучше есть, не знаю, а у нас нету» («Знамя», № 11-12, 1946).

Память явно подвела автора книги — навеянное прочитанным он смелал с zapomнившимся и оттого отзыв Титова об одном очерке передересовал другому, а слова, высказанные с глазу на глаз, в его интерпретации произносятся во всеуслышание, в редакции.

Другой пример. Гайдар снова заболел. В. Королев пишет: «Самые близкие товарищи уговаривали Гайдара отправиться в больницу. Он был непреклонен. Но стоило войти в комнату Зайцеву в воинской форме, и Гайдар, как солдат, встал».

И здесь память подводит автора. Увы, все было куда более тягостным, чем это получилось в его описании. Гайдара увезли

в больницу на носилках, и «встать, как солдат», он просто физически не мог.

Подобные случаи аберрации памяти подрывают доверие к достоверности книги, снижают ее документальное значение.

Впрочем, и то сказать, автор был в описываемое им время слишком юным, чтобы уловить и правильно понять оттенки поведения старших. Ну, скажем, не называл Гайдар Ельпидифора Иннокентьевича Ти-

това по имени без отчества. Не те были у них отношения, не тот был человек Титов. Чаще всего они называли друг друга по фамилии.

Как бы то ни было, в литературе о Гайдаре книга В. Королева найдет свое место. Зачем, однако, автор поставил к ней эпиграфом аляповатое, нескладное четверостишие, да еще из него же взял и заглавие?

Б. ЗАКС.

★

«МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО МОИ ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА...»

Александр Яшин. Бессонница. Лирика. «Советская Россия». М. 1968. 336 стр.
Александр Яшин. День творенья. Новая книга стихов. «Советский писатель». М. 1968. 208 стр.

Первая из этих книг еще застала автора в живых, и в больничной палате он еще успел надписать несколько ее экземпляров своим близким друзьям. Вторая — подготовленная и составленная тоже самим поэтом — появилась через полгода после его смерти.

Таким образом, по горестному обстоятельству, книги оказались итоговыми. Что ж, пожалуй, они действительно в состоянии принять на себя эту особую ответственность. Правда, Яшин тридцатых годов, военного времени и, наконец, того первого десятилетия после войны, когда вместе с высокой премией (в 1950 году, за поэму «Алена Фомина») пришли к нему почет и известность, представлен в названных сборниках лишь тремя десятками стихотворений, а все остальные помещенные здесь стихи написаны за последние десять—двенадцать лет. Но дело в том, что именно в этот последний период, многое передумав и во многом себя переломив, Александр Яшин написал свои несомненно лучшие вещи, которые, можно надеяться, надолго сохранятся в живом фонде русской литературы.

Сборник «Бессонница» открывают стихи о правде (1959):

Я как будто родился заново,
 Легче дышится, не солгу,—
 Ни себя, ни других обманывать
 Никогда уже не смогу,
 Если б даже хотел, не смогу.

(«По своей орбите»)

И не раз еще на протяжении книги автор вернется к этой мысли, решению, обещанию.

Во имя грядущего нашего
 Попробуем не приукрашивать
 Ни мыслей своих, ни заслуг,
 Ни прошлого, ни настоящего.
 Ужели не сможем, друг?

(«Торжественное обещание»)

Такие стихи, где некоторая декларативность оправдывается и окупается остротой чувства, насущной потребностью высказаться прямо и до конца, пишутся обычно на переломе, в начале нового этапа. Для Яшина он ознаменовался в первую очередь обращением к прозе.

Повесть «Сирота» и очерк «Вологодская свадьба» подтвердили, что обращение их автора к прозе не было случайностью: в читательском восприятии Яшин-прозаик на некоторое время даже заслонил Яшина-поэта. В действительности же они между собой не спорили, а скорее дополняли друг друга. Как прозаик Яшин обычно ведет остропроблемное повествование о современности, зато как поэт он в те же самые годы все дальше уходит от повествовательности прежних своих стихотворений и поэм. Дело тут было, по-видимому, не в каком-то сознательном стремлении автора разделить «сферы влияния» своих стихов и прозы, а в том общем процессе усиления лирического начала, захватившем в пятидесятые годы нашу поэзию, который справедливо связывают с восстановлением суверенитета личности, с повышением ее ценности в общественном сознании.

Но еще важнее подчеркнуть другую сторону дела: лирика Яшина пятидесятых — шестидесятых годов вырастает на той же

эстетической и нравственной основе, что и его проза.

Поэт ни в малейшей степени не приду-мывает себя, не заботится о том, чтобы выглядеть перед читателем покрасивее, позначигельнее, поинтереснее. Многие его стихи даже как бы не предполагают слушателя — так они просты и непритязательны:

Рябчики в снегу
В сухом,
Пушистом.
Поле чистым,
Берегом лесистым
На лыжах бегу...
Бьюсь,
Гнусь,
Крадусь,
Вышагиваю,
А наткнусь —
Вздрагиваю.

(«Рябчики в снегу»)

Свобода от условий литературной игры сказывается здесь и вольностью стихового размера, и непринужденностью строфической организации. Изобразительность письма словно бы не стоит автору никаких специальных усилий: осторожный ход охотника на лыжах так и видишь, а между тем он показан одними глаголами!

Правда, иной читатель, со школьной скамьи запомнивший, что в любом литературном произведении главное — идея, испытает, вероятно, некоторое разочарование, не найдя здесь никакой «идеи», кроме переживаний неутоленного охотничьего азарта. Но разве не стоят иной теоретически выраженной идеи — просто-напросто сухой, пушистый снег и рябчики в нем? А вернее сказать — они сами и есть «идея», беря это слово в настоящем, не школьном его понимании. В последних книгах Яшина много сосен и елей, ягод и грибов, медведей и зайцев, много трав, пчел и птиц, много воды и неба. И все это богатство становится достоянием читателя, потому что оно душевно освоено самим поэтом. Нужно ли считать недостатком непосредственность художника, которому окружающий мир интересен и важен сам по себе (а не только теми мыслями, какие он вызывает) и который свободен от тщеславного стремления любое свое житейское впечатление или настроение поднимать на уровень «философских обобщений»? Едва ли, тем более что там, где Александр Яшин именно думает, мысль поэта обычно серьезна и существенна, надежно обеспечена его соб-

ственным, личным опытом, свежа и современна.

И в прозе и в стихах Яшин много — со знанием и с пониманием — писал о деревне. Однако он никогда не был «крестьянским писателем» — ни в смысле исключительности своего пристрастия к этой теме, ни тем более в том особом, полемическом смысле, какой придают этому понятию иные нынешние литераторы, для которых колхозное их происхождение превратилось в такой же неиссякаемый источник самоуважения, каким в свое время для поэтов «Кузницы» и «Пролеткульта» была их классовая пролетарская чистота. В отличие от подобных литераторов Яшин не декламирует о добродетелях голубоглазого кормильца-мужика, а с живым вниманием и сочувствием описывает подлинную жизнь современной деревни, стремясь помочь «мужику» невыдуманному, реальному в его нелегкой повседневности:

Я подбираю старательно

слово к слову:

«Речка — овечка — местечка...

дорогу — логу...»

А сенокосы

по речке Козловке

снова

Снег заметает.

Опять — ни скоту, ни богу.

Веточный корм собирали молодки, бабки,

Вброд по озерам осоку серпами жали,

Травку таскали домой

по охалке,

по шапке...

А заливные луга

кругом

стоят как стояли.

(«Желтые листья»)

Эти горькие строки, написанные в пору неразумных административных ограничений хозяйства колхозника, эта досада на себя и чувство вины перед земляками за свое бессилие помочь им более действенно, может быть, лучше всего говорят о том, какой прочной была внутренняя связь поэта с народной жизнью и как остро и сильно он ее ощущал. Не будь этой связи — не было бы и угловатой определенности яшинского письма, бескомпромиссной честности его стихов и прозы.

По содержанию, по общей своей тональности сборники «Бессонница» и «День творенья» довольно сильно разнятся.

«Я как будто родился заново...» — начал поэт свою предпоследнюю книгу. И в

самом деле, если попытаться из множества самых различных мыслей и настроений, которые в ней выразились, выбрать какую-то основную, наиболее устойчивую лирическую тему, то такой темой, несомненно, явится мотив обновления. С этим мотивом здесь связано несколько ярких поэтических удач.

Промыли в окнах стекла
Студеною водой:
Весь мир казался блеклым,
Теперь он молодой.
Как будто бы промыли
Самим себе глаза.
Яснее проступили
Окрестные леса.
Не спутаешь с осиной
Березки нежный дым,
Речушка стала синей,
А небо — голубым...
И что всего дороже —
В домах моих друзей
Светлее стало тоже,
Промыты окна все.

(«Промыли в окнах стекла...»)

Легко осязаемая двуплановость этих стихов не превращает их в плоскую аллегорию: не в ущерб своему непосредственному содержанию они органически заключают в себе объемную, многозначимую, общую мысль, созвучную оптимистическим умонастроениям своего времени.

По естественной связи вещей, тема обновления обычно соединяется у Яшина с весной. К множеству прекрасных «весенних» стихов, созданных русскими поэтами прошлого и нынешнего века, он прибавляет свои, никого не повторяя:

Бабочка ожила,
Летает у потолка,
Трепетных два крыла,
Словно два фитилька...
Вот, подмахав к окну,
Бьется она в стекло.
Может, это весну
В комнату занесло?
Перестаю дышать,
Глаз не оторву,
Только б не помешать
Воскресшему существу!

(«Бабочка ожила»)

Забота о новой, только что родившейся или возрожденной жизни порой приносит в книгу А. Яшина тревожную, драматическую ноту («Едва раскрылись первые цветы, доверчиво оттаяла природа, как сно-

ва — вероломство, непогода, и холодом дохнуло с высоты»). Однако и в этом стихотворении («Заморозок»), и в других «весенних» стихах сборника верх берет светлая нота радости и надежды.

Обновление мира — мотив, разумеется, не новый. В тридцатые годы, когда выходили первые сборники стихов Яшина, в них, как и в творчестве многих других поэтов того времени, постоянно звучала та же самая, казалось бы, тема — «раньше и теперь», тема радостных перемен в человеческой жизни. Отражая (пусть подчас преувеличенно и односторонне) действительно разительные изменения, которые происходили тогда в городе и в деревне, стихи такого рода отличались, однако, той особенностью, что лишь в относительно малой степени касались «внутреннего человека». Речь шла преимущественно о переменах в общественном бытии; молчаливо предполагалось, что, освобождаясь от бедности и лишений, человек уже тем самым становится и счастливым и внутренне совершенным. В стихах Яшина, написанных на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, мотив «раньше и теперь» наполняется существенно иным содержанием. То обновление, которое стало основным мотивом сборника «Бессонница», есть обновление прежде всего нравственное. Это было обретение новых этических ценностей («новых» в том смысле, что каждый человек и каждое поколение приходит к ним в свой час и по-своему): правды, доброты, совести. Отсюда — исповедальный и часто безжалостно-самокритический характер многих стихотворений сборника; отсюда — их уже отмеченная программность. Программными были и заключительные строки, где выражен новый строй взаимоотношений человека с миром, основанный на доверии, искренности и любви:

Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля,
Древсы не боюсь на тропке...
Все лишние электротопки
Верет из меня земля.
А с ними,
Почти бесследно,
Рассасываясь, как вода,
Все злое,
Дурное,
Вредное
Уходит в песок навсегда...

(«Добру откроется сердце»)

Стихотворение, откуда взяты эти строки, датировано 1963 годом. Примерно здесь (может быть, чуть позже) и пролегает хронологический рубеж между двумя рецензируемыми книгами: в «День творенья» вошли стихи, написанные автором в основном за три-четыре последних года его жизни.

Слово «рубеж» в данном случае не преувеличение: весь тон и характер этой книги «существенно отличается ее не только от ранних книг Яшина, но и от предыдущего сборника. Поэт не покидает «своей орбиты», но находится уже явно на другом ее «витке». Его «переходный возраст» («Тревожно и грозно, тем боле, что поздно и мой наступил переходный возраст», — писал он лет десять назад) закончился, время программных поэтических деклараций прошло. Наступила пора жить на отвоеванном нравственном и эстетическом плацдарме, осваивать его вглубь. Круг предметов, привлекающих внимание автора, остался в основном прежним, но там, где раньше порой лишь декларировался некий гуманистический принцип, теперь появилась конкретность и глубина. В стихотворении «Люблю все живое» были, например, такие привлекающие по выраженному в них чувству, но несколько риторические строки:

Доверие птиц умею ценить:
Бывает легко на душе, когда
Случайно удастся жизнь сохранить
Птенцу, упавшему из гнезда.

В книге «День творенья» эта тема вернулась в целое маленькое стихотворение, которое хочется привести полностью:

В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как из окопа,
Следил за мной издалека.
Как трудно быть ему герою:
Того гляди, возьму живьем,
А он один в гнезде своем,
Как в поле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.
Взлетать иль нет?
А вдруг замечу,
Со всем хозяйством загублю?
А не замечу —
Искалечу,
Ногой сослепу наступлю?
Зачем играть со смертью в прятки?
Я на него взглянул любя
И — мимо, мимо без оглядки...
Сиди, родимый,
Все в порядке,
Я просто не видал тебя.

(«Кулик»)

Очень простые, прозрачные, скромные, некарыдные, неэффектные строки, как прост и неэффектен Яшин почти во всех (и в том числе во всех лучших) своих стихах. Но сколь много в них сочувствия живому, родственному существу — сочувствия, рожденного пониманием, тонким и точным! Чтобы написать эти простые строки, чтобы так почувствовать переживания птицы, нужно было и на войне побывать, и вообще на собственном опыте узнать, как в самом деле «трудно быть героем», особенно в том случае, если рисковать приходится не только собой. Жизненный путь давал ему достаточный материал для такого знания.

Углубление в окружающий мир и в себя самого, обогащение и усложнение душевного опыта — процесс, отражающий движение общественных унастроений и сказавшийся в эти годы на творчестве далеко не одного Александра Яшина, — ведет поэта к осознанию противоречивости жизненных явлений, открывает в них новые грани. Это не вызывает никакой новой переоценки ценностей, но там, где вчера еще царила полная ясность, сегодня подчас вырастает проблема.

Приехала сестра.
Не виделись пять лет.
— Поди, уже стара,
Узнаешь или нет?
Узнать почти нельзя.
Ее ли в том вина?
Гляжу во все глаза:
Она иль не она?..
Какая ж так гроза
Смогла ее согнуть?
Гляжу во все глаза:
Сказать иль обмануть?

(«Сказать иль промолчать?..»)

Маленький житейский эпизод, но в нем — сложность действительной жизни, дающая себя знать на каждом шагу. Дело, понятно, не в том, будто поэт готов реабилитировать неправду: сама прямота и резкость, с которой он формулирует свой главный вопрос («сказать иль обмануть?»), говорит о том, что его нравственная позиция не подверглась никакой эрозии. И вместе с тем вопрос этот отнюдь не риторический. Автор действительно не знает, как ему поступить, и мы тоже едва ли могли бы взять на себя смелость подсказать ему однозначное удовлетворительное решение. Ясно одно: такая постановка вопроса со-

держательнее и мудрее, чем едва ли не всякий ответ на него.

«Во многой мудрости много печали». Нельзя сказать, чтобы более диалектический и углубленный взгляд на жизнь, выразившийся в последней книжке стихов Александра Яшина, прибавил мажорности их звучанию: их общий тон как бы несколько понижен. Это не означает, что в последние годы своей жизни поэт стал пессимистом. Просто он — еще в большей степени, чем прежде, — не может удовлетворяться оптимизмом бездумным, не желающим искать для себя достаточных оснований. Характерна в этом смысле та трансформация, которой в стихотворении «Весенние ожидания» подверглась тема радостного обновления природы, столь широко представленная на страницах его предыдущей книги. Заявленная вначале более или менее традиционно:

Заметно весны дыхание,
Уже в колеях до колен,
Все замерло
В ожидании
Неведомых перемен, —

эта тема получает в итоге иное, неожиданное разрешение:

С терпением,
Со смиреннием,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления
Как манны небесной ждут.
Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...
А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!

Трезвость, ирония, горечь, печаль, глубокое раздумье — вот определения, которых невозможно избежать при характеристике значительной части стихотворений, вошедших в последнюю книгу Яшина. Что ж, если в жизни мы печали и страданию обычно предпочитаем радость и веселье, то в поэзии их права равны. Были бы только эти чувства человечны, глубоки и истинны, а не

навеяны литературной модой. В этом у читателя книги «День творенья» не возникает никаких сомнений; нам вполне очевидно, что выраженные в ней переживания ничуть не преувеличены. Напротив, последние его стихи, как правило, отличает благородная сдержанность, позволяющая прочесть в них больше того, что непосредственно содержится в словах.

Не все стихотворения, вошедшие в рассматриваемые сборники, столь сильные и лаконичны, как те, что приведены были выше. Не все они и столь общезначимы (в таком смысле, в каком вообще бывает обобщенным и общезначимым лирическое «я»). В будущем (надо надеяться, недалеко), когда будет издаваться «Избранное» Александра Яшина, сборники «Бессонница» и «День творенья» войдут в него, быть может, не целиком. Но несомненно, что основу этой будущей книги — наряду с прозаическими его вещами — составят именно они.

...У Яшина есть несколько стихотворений, посвященных Бобринскому угору. Там, на высоком, поросшем сосновым лесом берегу реки Юг, в получасе ходьбы от родной своей вологодской деревни Блудново, поэт несколько лет назад построил себе дом. Это был не просто новый дом — это было начало новой жизни.

Все — чему сердце радо,
Все — для ума и души,
Детство и юность — рядом,
Рябчики
И поляши.
Большого в жизни не надо —
Только сиди
Пиши...

(«Обнова»)

Но пожить и поработать в новом доме пришлось недолго. Еще не успели потемнеть от дождей его бревенчатые стены, как в десяти шагах от него вырос могильный холм — вечное жилище поэта.

Ю. БУРТИН.



ЦЕЛОЕ И ДЕТАЛИ

Мастера русского стихотворного перевода. «Библиотека поэта» (Большая серия). Л. 1968. В двух книгах. Книга первая. 528 стр. Книга вторая. 468 стр.

Составитель этого двухтомника Е. Эткинд говорит во вступительной статье, что мы обычно преуменьшаем «долю переводной поэзии в нашей национальной литературе», ограничиваем ее золотой фонд гениальными опытами Жуковского, Пушкина, Лермонтова и еще несколькими образцами. Между тем можно привести большой список таких образцов. Е. Эткинд его приводит, и в двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода» этот список почти целиком реализован. Нагромождены «глыбы стихов высочайшей пробы», как сказал некогда Блок о переводах молодого Михаила Лозинского.

Нет нужды идти сейчас от имени к имени и от названия к названию, но одним из достижений антологии, несомненно, следует признать воскрешение забытых или полузабытых шедевров перевода. Прежде всего это переводные стихи А. Востокова, В. Бенедиктова, Н. Берга и Б. Лившица, — стихи не только прекрасные, но и двигавшие вперед славное дело русского переводческого искусства. Из произведений, которые теперь благодаря новой публикации обретают вторую жизнь, нужно также особо отметить превосходные переводы А. Куприна из Беранже, М. Волошина из Верхарна, Д. Бродского из Рембо и М. Лозинского из Леконта де Лиля. Кстати, именно о включенных в сборник переводах Лозинского и были сказаны известные слова Блока. Сами же стихи оставались затерянными в старых журналах.

Но «Библиотека поэта» хотела издать не просто собрание хороших стихов. Перед двухтомником стояла задача куда более сложная: отразить развитие переводной поэзии в России. В примечании составителя, правда, говорится, что сборник «не претендует на полноту». Однако принципы собрания не оставляют желать большего: «... 1) представить читателю шедевры русской переводной поэзии; 2) дать образцы переводного творчества, характерные для разных эпох, стилей и методов в истории русской литературы».

Составитель рассказывает о том, как трудно было совместить эти принципы. Иногда «шедевры» оказывались вне плана, а план требовал включения не очень силь-

ных стихов. Но ресурсы русской переводной поэзии, как видно, достаточно велики, чтобы это противоречие преодолеть с небольшими издержками.

«Искусство поэтического перевода находится на той стадии развития, когда художественная практика обогнала теоретическое осмысление», — пишет Е. Эткинд. Это правда. Теория перевода создается у нас на глазах. Она вся в дыму сражений. О ней можно сказать словами Есенина: «Еще закон не отвердел». Несомненно, «отвердеть» теории поможет история — живая история, заключенная в двухтомнике. Но уж, конечно, она не останется втуне и для художественной практики, и для самого широкого читателя.

Вступительная статья к двухтомнику отвечает его задачам и структуре. Это едва ли не первый опыт истории русского поэтического перевода, разумеется, «в самом сжатом изложении». Остановлюсь на ней подробно, потому что она является и своего рода путеводителем по двум книгам антологии. Читая ее, представляешь себе заранее их состав, содержание, ждущие тебя открытия и недоборы.

По традиции, как всякая история, статья делится на главы обзорные и монографические. Дается общая характеристика перевода у классицистов, у романтиков, в пушкинскую эпоху, у шестидесятников, у символистов, в советское время. «Монографические» разделы посвящены тем, кто определял узловые моменты в развитии русской переводной поэзии. Востоков и Гнедич сломали безличное классицистские каноны. Батюшков и Жуковский научились и научили всех воссоздавать «психологический тип сознания» разных народов и эпох. Явился Пушкин. Возникла и восторжествовала пушкинская школа. О ней и, в частности, о переводах Пушкина исследователь пишет глубоко и по-новому.

Переводы Пушкина, как правило, рассматривались у нас либо строго эмпирически (что более точно, что ближе к вольному подражанию), либо в свете пушкинского оригинального творчества. Е. Эткинд за кажущейся субъективностью пушкинских решений видит основное: Пушкин подходит к иноязычному поэтическому произведению

прежде всего как к художественному целому и стремится передать это единство, не расчлняя, как систему. «...Для Пушкина единство носит характер объективный, и оно может быть воссоздано разнообразнейшими средствами, которые вовсе не обязательно повторяют средства, использованные иностранным автором. Поэтому Пушкин так свободен в выборе средств внутри уже понятой им художественной системы».

Именно пушкинская объективность и историзм в соединении со свободой и творческим духом сделали возможным появление блестящих переводчиков-профессионалов: Н. Берга, Л. Мея, М. Михайлова, В. Курочкина. Секрет воссозданного единства стал в середине XIX века общедоступным, но был к началу века нынешнего утрачен символистами, которые, по мысли автора, всюду искали и находили лишь себя. Переводчики советской школы стремятся восстановить пушкинское начало, хотя, вообще говоря, опыт крупнейших мастеров современного перевода многообразен. В нем соединились достижения таких несхожих поэтов, как Лозинский и Пастернак (у одного — стремление к научной точности, у другого — к лирической близости).

Таковы этапы, которыми мы следуем и по страницам двухтомника — от Ломоносова до наших дней.

Но здесь придется сказать и о том, что желание создать историческую типологию стихотворного перевода отвлекало Е. Эткинда от некоторых индивидуальных подробностей или побуждало толковать их несколько преднамеренно, тезисно. Общие линии кое-где оказались чересчур прямыми, общие рамки — слишком жесткими или, напротив, просторными. Это не могло не отразиться и на подборе стихов.

Первое впечатление такого рода возникает уже вначале, когда заходит речь об «опоздавших переводах». Е. Эткинд полагает, что «Неистовый Роланд» Ариосто, баллады Шиллера, лирика Гюго не могут больше вызывать живого отклика. Он высоко оценивает новые переводы этих вещей, но считает, что оригиналы стали только «памятником культурного наследия» и ничто их не воскресит.

Это легко оспорить. Несколько строф из «Неистового Роланда» в вольном переложении Пушкина пленяют до сих пор. «Ивиковы журавли» Шиллера, переведен-

ные Н. Заболоцким, вызвали огромный интерес. Жаль, что эти на диво живые стихи не вошли в двухтомник. Жаль, что в него не вошли ахматовские переводы Гюго, затерянные в многотомном собрании 1953—1956 годов. Современный русский читатель не нашел бы в них (по крайней мере в большинстве) никакой «внешне эффектной трескотни». Достаточно назвать такие жемчужины, воссозданные Ахматовой, как «Прощание аравитянки», «Впустите всех детей», «К Л.», «Сватовство Роланда».

Беда в том, что «точность» и «виртуозность» иных переводов, не снижавших успеха у читателя, кажутся Е. Эткинду пределом переводческого искусства. Но этого, конечно, мало. Кроме точности и виртуозности, читатель ждет того «чуда» поэзии, которое Е. Эткинд упорно отвергает во всех своих выступлениях, сводя подчас творческое своеобразие того или иного поэта к методологии и стилистике. Раздел о Жуковском, например, весь посвящен его «типологичности». «Творчество и чудотворство» великого лирика, в сущности, остается за бортом исследования. Холодный, академичный «Поликратов перстень» Лозинского — в центре внимания, а гениально свободный, истинно поэтический перевод Жуковского в антологию не вошел. Но когда есть чудо поэзии, перевод не может быть «песневременным».

В статье говорится о том, что лучших переводчиков середины XIX века, как правило, вдохновляла какая-то сверхзадача: Берга — пропаганда народности (пусть по-славянофильски понятой), Мея — поиски красоты, Михайлова и Курочкина — революционно-демократическая борьба, А. К. Толстого — жажда лирического самовыражения. Это очень важно! Именно тогда и рождались подлинные шедевры, когда «сверхзадача» владела поэтами. Тогда и самые скромные дарования расцветали.

Однако этих пронизательных наблюдений автору показалось мало, и он стал выстраивать самых различных поэтов на общих линиях: политической, общественно-просветительской, поэтически-просветительской, чисто поэтической... Может быть, в целом «намеченная схема» и отражает некие «общие направления». Но, на мой взгляд, взятые в столь общей форме историко-литературные определения почти теряют смысл. Что уж за просветитель из

Фета? Или из Гербеля? Первый ставил себе чисто литературные задачи, второй — популяризаторские. Просветительство — это все-таки куда более конкретное явление.

Боюсь, что как раз тогда, когда переводчики ставили себе «просветительские» задачи (в любом из тех бесконечно растяжимых значений, в каких употребляет это слово Е. Эткинд), появились стихи благополучно бледные и вялые. В конце века пушкинская культура перевода, все еще оставаясь по видимости общепринятой и программной, оказалась выхолощенной. На смену подлинным мастерам пришли всеядные популяризаторы. В статье об этом — ни слова. В примечаниях — несколько слов. Отчего же? В «просветительском» ремесленничестве берет начало явление, дожившее, увы, до наших дней: грамотные люди грамотно переводят все, что закажут издательства, и льется поток уныло правильных, «отлично благородных» поделок.

Верная общая посылка не спасает от ряда нечетких (или преувеличенно четких) характеристик и раздел о символистах. Вяч. Иванов отнюдь не всегда «выражает себя, а не иноязычного автора». Это от-

лично доказывают и посвященные ему страницы двухтомника, и лучшие ивановские переводы из Байрона, оставленные втуне. В. Брюсов наименее «скован» и «утяжелен» в замечательных переводах из Верхарна, — об этом сказано под сурдинку в примечании, а помещено в сборнике всего три не очень характерных стихотворения. (Так же обстоит дело с Г. Шенгели, чьи переводы из Верхарна не вошли в сборник совсем, тогда как среди них есть отличные.)

Еще один пробел — в антологии нет переводов Эдуарда Багрицкого. Очевидно, составитель считает, что это не переводы, а вольные вариации. По-моему, в этих вариациях (скажем, на темы Вальтер Скотта и Рембо) больше подлинности, чем в любом умеренном и аккуратном «просветительском» переводе.

Но все эти крены и пробелы как бы теряются в необыкновенно важном целом — двух томах, раскрывающих одну за другой замечательные страницы в истории русской поэзии.

В. ПОРТНОВ.

Баку.

★

ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР

Н. Я. Берковский. Литература и театр. «Искусство». М. 1969. 639 стр.

Редко встречается книга, название которой так исчерпывающе точно определяло бы ее содержание, как новая книга Н. Я. Берковского «Литература и театр». Пожалуй, так могла бы называться и каждая из статей, собранных в книге. Название не формально обозначает содержание — оно раскрывает сквозную тему сборника. Оно не условно, как это бывает большей частью, а концептуально. К тому же теперь, когда принято даже претендующие на серьезность искусствоведческие труды озаглавливать пестро и броско, как заграничные бестселлеры (мне кажется, что издатели тут иногда переходят границы элементарного вкуса), название это, скромное и краткое, уже как бы характеризует книгу.

Книга содержит восемнадцать историко-теоретических и критических работ. Три из них — «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии», «Станиславский и эстетика

театра» и «Таиров и Камерный театр» — занимают в совокупности больше половины тома: 347 страниц из 639. Остальные пятнадцать, являющиеся статьями «на случай», — это разнообразные критические отклики на премьеры московских и ленинградских театров, а также на гастроли нескольких европейских театров, написанные и опубликованные между 1941 и 1965 годами.

Это критика и история, спаянные вместе. Это историческая критика и критическая история. Автор не спешит к обобщениям: он приходит к ним вместе с читателем. Он повсюду конкретен. Синтез выводов не приготовлен заранее, он исходит из материала, который в свою очередь не иллюстрирует размышления автора; автор как бы делает вывод одновременно с читателем. Поэтому, несмотря на сложность и даже утонченность анализа, книга читается легко. Эта легкость достигается не искусственным об-

легчением, не популяризацией, часто обочающейся вульгаризацией, а силой мысли, высвечивающей трудности.

Если очень кратко пересказать главную тему книги, то она такова: новаторская драматургия Чехова оплодотворила театральную реформу Станиславского, но она сама возникла не случайно, а явилась развитием и завершением новаторской прозы Чехова и продолжила ее приемы и темы. Поэтому исследование послечеховского периода истории русского театра начинается с исследования чеховской прозы. Большая литература всегда питает подлинный театр — и тесно связанный с современной и классической литературой молодой Художественный театр определил дальнейшее развитие русского и мирового театра. Именно в союзе с большой литературой театр достигает значения и силы самостоятельного и оригинального искусства, преодолевая «вторичность» и функции «исполнительства», свойственные ему в периоды упадка. Композиция книги адекватна ее концепции. Отсюда ее удивительная цельность, несмотря на то, что она состоит из отдельных работ, написанных на протяжении многих лет.

В работе «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии», занимающей центральное место в книге, при всей ее свежести и оригинальности, обобщен большой запас наблюдений многих критиков, писавших о Чехове, от Л. Шестова и А. Кугеля до А. Скафтымова и В. Лакшина (и в том числе авторов английских, французских и немецких). Со старомодной вежливостью Н. Берковский ссылается на всех, кто был ему полезен в его аргументации, и избегает полемики, ставя себе другие цели. Даже там, где, казалось бы, мысль автора могла быть наиболее ярко выявлена путем сравнения с противоположными точками зрения, Н. Берковский предпочитает этого не делать. Из этого возникает его особенное качество — он спокоен и нетороплив, ничего не утверждает априори и как будто не слишком стремится в чем-то убедить, но он так последовательно и ненавязчиво делает читателя соучастником аналитического процесса, что достигает наибольшей убедительности. Разумеется, скрытая полемика часто присутствует, и компетентный читатель может легко ее почувствовать.

В творческой биографии Чехова существует одна мнимая загадка: почему он не написал традиционный для русской

литературы большой роман? Находились, как известно, всякие ответы. Мы знаем, что одно время писатель не только намеревался писать роман, но и сел за него. Но роман превратился в слабо связанный цикл рассказов и написан не был. Известно также, что многие знатоки и поклонники Чехова считали, что то, что он в последние годы главные силы отдал писанию пьес, было его ошибкой и объяснялось особыми личными соображениями. Не стоило бы об этом вспоминать, если бы так не думали, например, И. Бунин и Л. Толстой. Особенно резко формулировал это свое мнение Бунин. Он считал пьесы Чехова — и особенно последние — выражением его творческого упадка. На этот вопрос — почему же не роман, а пьесы? — с большим количеством аргументов и доказательств отвечает работа Н. Берковского. И вот его вывод: «Именно драма окажется для Чехова собирательным монументальным жанром, а не тот большой роман, писать который его побуждали литературные друзья и за который не однажды он готов был приняться... Драма у Чехова была не одним только расширением его повествовательной манеры, она была и более широким полем для разработки основных его тем, жизненных и идейных. В драмах нам является тот же Чехов повествовательной прозы, однако же укрупненный, обладающий масштабами тем и общего смысла, не всегда доступными его повестям и новеллам».

Авторитету имен отрицателей чеховской драматургии (из них Н. Берковский упоминает только Л. Толстого) критик противопоставил подробнейший — иногда почти молекулярный — анализ тем и образов драм Чехова и проследил зарождение их в его прозе. Для большинства прозаиков, пишущих пьесы, драматургия является ослабленной популяризацией их прозаических находок. Для Чехова драма стала усложнением и обогащением. Превращение новеллистики Чехова в новый жанр, в «драму-роман», стало возможным только потому, что в распоряжении писателя оказался такой необыкновенный инструмент, как искусство молодого Художественного театра с режиссурой Станиславского и Немировича-Данченко. Нет сомнения, что две последние и лучшие пьесы Чехова не были бы написаны, если бы не возник Художественный театр. Тут налицо сложное взаимо-

действие: Художественный театр не стал бы театром новаторским без Чехова и драмы Чехова не революционизировали бы драматургию без этого театра.

Само по себе это не ново, но новы и свежи собранные критиком доказательства и аргументы. А всем, кто любит Чехова, тонкий и изящный анализ того, как в его искусстве «образ входит в образ», как проза превращается в драматургию, должен доставить истинное наслаждение.

Попутно с раскрытием главной темы автор высказывает столько интересных и оригинальных соображений о различных сторонах искусства Чехова, что назвать и перечислить их в небольшой статье просто невозможно. Остановлюсь лишь на некоторых.

Общее место всех недалеких критиков — постоянный упрек писателю в том, что у него «отрицательные» или «несимпатичные» герои очерчены более ярко и характерно, чем «положительные» или «симпатичные». На материале чеховских повестей и драм Н. Берковский находит ответ, и исторически и художественно-стилистически точный. Остро характерные персонажи, или, как говорит автор, «люди с приметам», — это почти всегда люди «застоя и мертвой законченности». «Люди с приметам — это, собственно, конченные люди, от которых ждать нечего. Люди былого, люди без движения, конечно, не дают основы драмам Чехова. Драмы Чехова, как и повести, как рассказы его, живут сопоставлением былого и будущего. Главное в драмах — молодые, неопределившиеся души с открытым горизонтом, с неожиданностями поведения, будут ли это Треплев и Заречная, будут ли это сестры Прозоровы, Тузенбах, Аня и Трофимов». И дальше: «Молодые души, еще не тронутые, все вместе взятые, образуют в драмах некую многообещающую туманность, создают впечатление дали, тянут нас в эту даль, а консервативные отработавшие души старших и стариков — они вблизи, мы натываемся на них, как на косные физические тела. И следует естественный вывод: «Те, кого называют «положительными героями», у Чехова, строго говоря, отсутствуют. Нет никого, кто бы был несомненным ставленником автора, кто бы послан был автором в будущее. Есть другое, идет освобождение душевных сил, более не работающих на прежние цели и интересы, идет накопление в душах материа-

ла, частица за частицей, способного создать нравственный мир будущих людей».

Это размышление относится к Чехову, но его с полным правом можно отнести и к иным произведениям эпох, подобных чеховской, когда «одни вещи кончились, другие еще не начались».

Ценно и тонко определение Н. Берковским (вслед за цитируемым им А. Скафтымовым) соотношения в повествовательной прозе и драмах Чехова элементов фабульности, событийного рода и повседневности, потока быта. И в самом деле, то, что критик называет «повседневность со всем оркестром своих подробностей», — это у Чехова всегда на первом плане. Н. Берковский здесь не обращается к опыту многих неудачных постановок драм Чехова в последние годы, где всячески вытравились и быт и повседневность, где очищенная от подробностей фабула игралась на условном фоне и тем самым не то чтобы искажалось внутреннее соотношение стилистических элементов в чеховской драме, но разом уничтожалась ее основа. В этой связи следует сказать, что положительная оценка Н. Берковским постановки «Чайки» в Камерном театре противоречит так точно сформулированному им правилу о соотношении в драмах Чехова «событий» и «повседневных подробностей». Именно этот спектакль положил начало многочисленным впоследствии «безбытовым» постановкам Чехова. Сейчас эта манера уже стала ходовым шаблоном. Возвращение к сценическому, «авторскому» прочтению подлинного Чехова, вероятно, еще впереди, а когда для этого наступит время, то исследование Н. Берковского окажется насущно полезным.

Вот еще одно размышление критика, которое мне очень нравится и кажется своевременным. «Существует мнение, что реализм в искусстве заключается в передаче чувственного образа вещей, а осмысление их есть как бы добавление извне, порой даже будто бы разрушительное, — элемент интеллектуальный будто бы ослабляет художественный образ, подрывает иллюзию самостоятельной жизни, которая создается в нем. На деле же тут мы имеем превосходный пример диалектики: переход, подъем к мысли и к смыслу есть завершение всего, что дано нам было в чувственном, в эмоциональном содержании худо-

жественного образа, смысл появляется изнутри, смысл — это доразвитие; нужно, чтобы вполне сложилось духовное, без чего не довершается и чувственное. Осмысление не добавок к реализму, осмысление — реализм как таковой...»

Далее автор подходит к ответу на вопрос, который вкратце можно сформулировать так: почему нам так интересны «чеховские люди», почему нас не перестают волновать их судьбы, несмотря на резко изменившиеся исторические и социальные условия нашей русской жизни? Можно понять популярность Чехова на Западе. Там в воздухе разлито ощущение ожиданий и предчувствий, то есть атмосфера мира чеховских героев. Но дело, видимо, в том, что основные человеческие проблемы не снимаются сразу одновременно с социальными изменениями, вернее они разрешаются медленнее, чем проблемы социальные. И главное, требование Чехова к человеку не устарело и не преходяще. «Широта входит в природу человека; когда зывают к широте, то зывают ко всему человеку, ко всему, что его составляет, и в ответ является энергия, настоящая способность жить и действовать. Всякая узость идет против истинных масштабов жизни, и поэтому она кончается насилем над нею». Так определяет Н. Берковский главную мысль рассказа «Дом с мезонином», многие из мотивов которого стали темами чеховской драматургии и ее настроением. Мне не хочется пересказывать своими словами это интересное и важное место, а все время цитировать невозможно. Пусть лучше читатель обратит внимание на это в книге.

И все-таки еще одна цитата: «Чехов, по примеру Пушкина, Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, строго держится в прозе своей той картины мира, какая была у него перед глазами, а также и перед глазами всех. Настоящее во всей его полноте, вся зримая поверхность жизни... изображены у Чехова с величайшей точностью. Соблюдается соотношение сил, как оно дано в самом объекте, без передвижек, без перестановок, без бросающихся в глаза усилий или преумножений... Нет никаких деформаций, повседневная, сегодняшняя оболочка жизни сохраняется. Работа в пользу новых оценок, новых осмыслений и переосмыслений ведется у Чехова на значительной глубине и прямо этой оболочке не затрагивает... Чехов отклоняет и натурализм

и визионерство, он отклоняет и живописание как цель в самой себе, и безмерную преданность мечтанью и чересчур навязчивое выдвигание наружу внутреннего смысла, как это после него делали экспрессионисты». Это все очень верно, и пока наш театр не станет стремиться дать нам сценического Чехова в его «поэтике», не превращая его ни в одностороннего лирика, ни в автора мелодрам, ни в жанриста-сатирика, подлинного Чехова мы не увидим. Ключ к новому театральному Чехову еще не найден, и, может быть, стоит, следуя проницательному анализу Н. Берковского, искать его в глубинах чеховской прозы.

Невозможно подробно перечислить все новое и свежее, что содержится в исследовании «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии». Оно написано на редкость сжато и густо. Увеличив количество поясняющих примеров и разрабатывая бегло намеченное, его без труда можно было бы расширить до размеров толстого тома. Автор этого не делает. Не поэтому ли нам интересно размышлять между фраз, додумывать, договаривать? Так у нас пишут редко. Под статьей дата: 1966. Когда последняя работа — лучшая работа, нужны ли другие доказательства зрелости мысли автора?

Вторая по значению и размеру работа в книге — «Станиславский и эстетика театра» — в каком-то смысле продолжает исследование о Чехове и может рассматриваться как его вторая часть.

О Станиславском у нас написано очень много, но гораздо больше о Станиславском — мыслителе и педагоге, чем о великом художнике. В обильной литературе о нем образовался явный крен, и не потому ли те новые поколения, которые не видели Станиславского на сцене и не помнят поставленных им спектаклей, начинают его представлять себе только как проповедника-доктринера? А так как живые образы и примеры всегда убедительнее кодексов и катехизисов, то в том, что обаяние Станиславского как-то померкло, следует винить не столько его малоосновательных противников, сколько односторонних и скучных поклонников. Именно они невзначай проделали ту разрушительную работу над снижением престижа Станиславского, на которую никогда не хватило бы сил у его отрицателей. У Блока в дневниках есть записи о том, что футуристы, бранившие

Пушкина, тем самым заставили его заново полюбить. Это вовсе не парадокс. Аполлетика, превращающаяся в тавтологию, только усыпляет мысль, а несправедливое отрицание вызывает приток свежих аргументов в защиту.

И если в огромном наследии Станиславского долгое время преимущественно изучалась только «этика» и оставалась в тени «эстетика», то монографическая работа Н. Берковского в какой-то мере стремится восстановить равновесие. Показывая зависимость русского театрального реализма от реализма литературного — Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, видя его корни в большой русской литературе, автор вместе с тем восстанавливает историческую правду и подробно рассказывает о влиянии на Художественный театр Ибсена и особенно Гауптмана. Это соответствует фактам, хотя долгие годы неправоммерно обходилось. Он подчеркивает пафос борьбы Станиславского с театральными шаблонами, той борьбы, которой не может быть конца, ибо плохи не только «те» шаблоны, с которыми лично боролся Станиславский, но и новые «эти», которые буйными сорняками выросли уже после его смерти. Но самое основное то, что в работе Н. Берковского раскрывается утверждение Станиславским театрального искусства не как искусства «вторичного», исполнительского и иллюстративного, а как самостоятельного, «первичного». Именно осознание этого делает центральной фигурой искусства театра актера-человека. Открытие Станиславского — это «новая по глубокости своей весть, что такое человек, независимо от тех или иных преходящих форм, в которые история заставляет его укладываться и которым она не в силах всегда подчинить его».

Н. Берковский правильно называет суть художественного метода Станиславского словом «импровизация», смысловые границы которого шире и богаче одностороннего и двусмысленного термина «переживание». Самое важное в понятии «переживание» целиком входит в «импровизацию», так, как этот термин раскрывает автор в применении к эстетике Станиславского: «постижение человеческой личности в ее непринужденности, в ее свободных силах, в игре их». Дело, конечно, не только в терминах, но в точности и богатстве смысловых связей, ими рождаемых.

Существенно размышление критика о целостности ощущения театрального «времени». Н. Берковский утверждает, что «в театре все есть настоящее время, так и в драме, едва она стала театром». «Драматурги, разрушая в драме неколебимый грунт настоящего времени, лишают драму одного из сильнейших ее воздействий». Думаю, что это справедливо. Во многих пьесах, написанных в последние годы, бесцеремонные манипуляции со временем, непрерывные забеги¹ в прошлое и будущее привели, на мой взгляд, к тому, что зрители не бывают целиком захвачены происходящим на сцене, а при равнодушном зрительном зале искусство театра становится как бы несуществующим. Театру и актеру, чтобы жить, нужно опереживать зрителя, и любое новаторство может идти как угодно далеко, если оно считается с этим неперемennым условием.

Интереснейшие мысли Н. Берковского о «тексте» и «подтексте» являются своего рода самостоятельным экскурсом в историю и теорию драматургии, как, впрочем, и многое другое. Повторяю: все отметить невозможно.

Статья «Таиров и Камерный театр» — третья большая монография в книге — стоит несколько особняком. И в ней есть много острых и точных наблюдений и исторических припоминаний о том, что недостойно забыто. Благородна и вызывает чувство сама задача — восстановить полузабытое искусство замечательного художника и его сотоварищей. Автором дан, может быть, лучший портрет А. Г. Коонен, этой удивительной актрисы, не имеющей в русском театре ни предшественниц, ни учениц. В статье есть интересные и самостоятельно ценные замечания, как, например, о связи театра Де Филиппо и прозы А. Моравиа и пр., но тезис о «театре сграсгей», якобы последовательно осуществлявшийся в своей практике А. Я. Таировым, по моему, не вполне выражает природу искусства Камерного театра. И уж совсем неверно приписывать Таирову «убежденную неприязнь к «условному театру» — к театру, сходящему вне жизни человеческой души, высокомерному к живой эмоциональности, к языку воли и чувства». Такая «похвала», вероятно, привела бы в изумление и самого Таирова. Да и формула «условного театра» здесь раскрывается слишком бедно и односторонне.

Поэт сказал: «Все отшумело. Ставши поодаль...» Пришло время, «ставши поодаль», не амнистировать таких крупных художников, как Таиров, а восстановить их подлинный вклад в историю театра, ибо ошибки художника и его заблуждения остаются на долю его личной биографии, а его удачи входят в общую сокровищницу-кладовую. Я хорошо помню спектакли Камерного театра, начиная с «Принцессы Брамбиллы» и до «Чайки», многие видел несколько раз и сужу не по театроведческой литературе, которая на редкость бедна. Н. Берковский верно отмечает, что в манере некоторых европейских театров, приезжавших к нам после войны, мы узнали черты Камерного театра. Но вряд ли это случайно. Камерный театр всегда был у нас самым «западническим» театром. Может быть, именно это ярче всего определяло его профиль. Говорю это отнюдь не в упрек. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов нигде так интересно не ставились переводные пьесы О. Нила и С. Тредуэлл, как в Камерном. Прочие театры явно уступали ему в глубине проникновения в западную культуру. Недаром именно Камерный театр сценически осуществил Расина, любимого во Франции и мало понятого у нас. Зато «Гроза» или «Дети солнца» на его сцене производили странное впечатление. Что же касается «условного театра», то та же «Прищесса Брамбилла», например, — наусловнейшее из зрелищ — была подлинным шедевром театральности. Тонкий критик, в статье о Чехове предостерегающий от употребления термина «натурализм» только в одиозно-отрицательном смысле, почему-то поддался искушению отмежевать А. Таирова от «условного театра», когорым он рожден и вскормлен.

Из других статей, помещенных в томе, наилучшей мне кажется статья «Русский трагик» — о Н. Симонове. Особенность Берковского-критика: он пишет тем интереснее и темпераментнее, чем выше и значительнее сам предмет критики. Я вообще не могу его представить в роли «разносного» критика или рецензента-брюзги, которых в нашем мире, увы, большинство. Чужая неудача его как бы обескураживает и обессиливает, и свое порицание он выказывает как-то вполголоса. Это, пожалуй, редкая черта: куда чаще встречаются критики, у которых при необходимости осу-

дить мужественно крепчает голос. Я уже упоминал, что, зная немецкой литературы, Н. Берковский отлично понимает и чувствует полузабытого нами Г. Гауптмана, которым когда-то так восхищались Чехов, Горький и Станиславский. Его анализ пьесы «Перед заходом солнца» удивительно богат и содержателен, и хочется сожалеть, что актеры познакомились с ним только после премьеры. Он так убедителен, что, кажется, выслушай они это раньше, многое в спектакле было бы по-другому. Превосходно описана игра Н. Симонова в роли Сальери и Федя Протасова.

На примере двух статей об инсценировке «Идиота» — в Театре Вахтангова и БДТ имени Горького, понимаешь, что такое точность оценки и насколько эта точность важнее положительной или отрицательной аттестации. Ленинградский спектакль понравился критику больше московского, но, высоко оценивая режиссуру Г. Товстоногова, он тем не менее далек от обескураживающей голословности. И сколько правды в суждении об оформлении спектакля и о том, что «биосфера» романа Достоевского — белые ночи, и художнику следовало идти именно от этого. «Белые ночи — это духовное бодрствование героев, далеко зашедшее за обыденный предел, это фантастическая победа света, чрезмерная и в своей чрезмерности недостоверная, подobaющая роману, где господствует трагическая утопия». Дальше критик говорит, что даже в наших лучших театрах актеры отличаются «неполной отзывчивостью на стиль автора». То, что правильно для Островского, неверно для Достоевского. А еще дальше идет точный и кажущийся непачалу даже грубым своей очевидностью совет: «Люди Достоевского живут быстро, актеры же играют этих людей медленно... В спектаклях, поставленных по романам Достоевского, медленная игра удаляет от автора и иногда грозит потерей связи с ним». Как это верно! Актерское уважение к значительности драматургии чаще всего наиболее выражается в паузах и замедлении темпов, и все режиссеры знают, как с этим трудно бороться. Даже выверенный во всех ритмах на премьерe, спектакль ощутимо растягивается при последующих представлениях.

Сколько, казалось бы, уже написано о трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта», но в этюде, открывающем книгу «Ли-

гература и театр», читатель найдет новые интересные наблюдения и сопоставления. В очень любопытной работе «Манера и стиль» автор пользуется при разборе постановки «Фауста» Гамбургским театром критериями и методами самого Гёте. Полезны и содержательны и другие критические статьи.

Я уже говорил о внутренней цельности книги. Точнее всего ее характер можно выразить формулой самого автора, высказанной им по другому поводу: «Когда завоеван смысл, когда фрагменты соотносятся друг с другом, когда явление, изображенное перед нами, получает свое место в общей картине бытия, тогда-то возникает у нас и максимальное чувство реальности этих фрагментов». Вольно или невольно, в рамках историко-критической работы автор книги следовал тому же правилу, что и его любимый художник, о котором сказаны эти слова.

К книге приложен портрет автора на фоне книжных полок его библиотеки. Можно в воображении представить и другой

фон — кресла партера в театральном зале. Мне кажется, что с таким выражением лица смотрел автор книги те спектакли, со своими размышлениями о которых он нас познакомил: внимательно, благожелательно, зорко. Как это хорошо, что в театре еще существуют подобные зрители! Театру нашему требуется сейчас многое, но больше всего самоуважение. А оно может возникнуть только как ответ на уважение зрителя. И я уверен, что прекрасная книга Н. Берковского, книга размышляющего зрителя, книга влюбленного в театр ученого-филолога, истинного театрала, одновременно требовательного и снисходительного (а такой всегда бывает истинная дружба), очень полюбит читателю. И поэтому вызывает недоумение и огорчает небольшой (10 тысяч экземпляров) тираж книги. Многие менее удачные труды издательство «Искусство» выпускает несравненно большим тиражом. Но это беда, которую можно исправить.

Александр ГЛАДКОВ.

★

ЖЕНЩИНА ОХРАНЯЕТ ДОМ

Шерли Энн Грау. *Стерегищие дом. Роман. Перевод с английского М. Кан.*
«Иностранная литература», №№ 3, 4. 1969.

Героиня романа стоит на пороге своего разоренного жилья. Стекла выбиты. Везде следы побоища. Что здесь произошло? Она хочет понять, а для того, чтобы понять, — вспомнить. Ей есть о чем вспомнить.

История ее семьи прочно связана с историей страны, у Хаулендов — глубокие корни, они воевали, строили, сеяли. Земля, которой они владеют сто пятьдесят лет, окроплена их кровью, их потом. Абигейл оглядывается, а за ней длинный ряд предков. Это придает устойчивость краткому человеческому существованию: мои предки жили до меня, мои потомки будут жить после меня на этом самом месте.

Медленно течет повествование — подобно тому, как не спеша прорастает семя в земле, как сменяются времена года. То во множестве подробностей описывается дом героев книги. Хаулендов, со всеми его пристройками, галерейками, закоулками; то автор, словно бы прогуливаясь по городу, останавливается и описывает людей — та-

ких, которые и вовсе не участвуют в развитии сюжета.

Медленно течет повествование: дети вырастают, женятся, у них рождаются дети, в свою очередь вырастают.

Впрочем, темп повествования неровный. О студенческих годах старшей и младшей Абигейл — матери и дочери — сообщается скороговоркой: писательнице это так же скучно, как и ее героям. Зато о забавах деда, Уильяма Хауленда, рассказано с мельчайшими подробностями. О том, как он держал пари, что найдет тайную винокурню, — и выиграл; как попал в места, незнакомые даже ему, а он-то исходил с ружьем всю округу. И тогда повествование течет так же плавно, как протоки, по которым он пробирался.

«Веранда гостиницы «Вашингтон» плотно заставлена стульями, но если не прийти пораньше, места все равно не достанется. А кому не досталось, те сидят рядком прямо на земле, прислонясь к веранде. На пари плюют табачным соком в больших зеле-

ных мух. То и дело победитель подставляет ладонь и собирает выигрыш. В жарком, неподвижном воздухе пахнет пылью и потом...» И никто из этих людей никуда не торопится...

Не похоже на современную прозу — нет ни страстного темперамента болдуиновских романов-криков, ни гневной лирической публицистики Нормана Мейлера, ни сжатого времени, ни «черного» юмора, ни все затопляющего секса — обычного, извращенного, сверхизвращенного.

Впрочем, книгу Шерли Энн Грау по достоинству оценили и на родине автора: роман «Стережущие дом» был удостоен в 1965 году Пулитцеровской премии — высшей литературной награды в США.

Даже и не зная, кто автор, можно заметить, что книга написана женщиной. Это очевидно и по «женским» подробностям романа, и по его главной мелодии — именно женщина призвана сохранять и охранять дом, стережечь очаг. «Хранители очага» — главные книги можно перевести и так.

Писательницей создан утренний, умытый, непреложный мир. Увиденный со свежестью детского восприятия, воспроизведенный с точностью зрения художника.

В романе предстает американский Юг, не раз возникавший в колдуэлловских гротесках, в фолкнеровских фантазмагориях, та почва, которая изображена и в книгах Харпер Ли «Убить пересмешника» и Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать», — книгах, высоко оцененных нашим читателем.

Свой особенный Юг есть и в книге «Стережущие дом». Сколько произведений написано о трагедии мулата, об особом мироощущении людей, рожденных от смешанных браков. Сказано об этом и в романе Грау, и сказано по-своему: девочка Маргарет хочет понять, кто же она, что в ней от ее белого отца, которого она никогда не видела и не увидит. И она отколупывает болячку, чтобы обнаружить белую кровь. А кровь из ранки течет обыкновенная, красная, та же, что у белых, у черных, у желтых... Вот такими достоверными художественными деталями и передается авторская мысль.

Когда Абигейл вышла замуж, ей не хотелось покидать старый хаулендовский дом. И потому, что она очень любила деда, ведь он ее воспитал — ее отец после развода вернулся к себе, в Англию, мать рано

умерла. Ей не хотелось покидать дом и потому, что она к нему привыкла, как привыкают к живому существу. Это опять же несовременно, не по-американски. Мало кто из американцев живет на одном месте, большинство переезжает из города в город, из штата в штат. А на Юге и сегодня сохраняется относительная неподвижность.

И вот после смерти деда Абигейл вернулась в дом своего детства — и радовалась переезду. Ее дети тоже, как и она, будут оглядываться назад и черпать в этом уверенность.

Но не только спокойствие, не только уверенность. «Я поймана, опутана тем, что содеяно ими»; «ими» — предками, близкими и дальними. И прежде всего тем, что «содеяно» ее дедом.

Немолодым уже человеком дед Абигейл, Уильям Хауленд, встретил словно из-под земли выросшую восемнадцатилетнюю мулатку Маргарет. Взял ее в свой холостяцкий дом служанкой. Она стала его любовницей. Родила ему детей: Роберта, Крисси, Нину. Казалось бы — обычная житейская история, несчетное множество раз повторявшаяся на Юге. Но чуть приглядишься внимательнее — а проза Шерли Энн Грау и приглашает к внимательному, медленному чтению, — история необычайная, неповторимая, единственная.

Уильям и Маргарет любили друг друга все тридцать лет, что прожили вместе. Они оба хотели, чтобы их детям было хорошо, и потому решили сделать так, чтобы дети считались белыми, пользовались всеми благами белого человека. Хауленд пошел против предрассудков своей среды, предрассудков более устойчивых, чем законы: он тайно женился на мулатке и узаконил своих детей.

Но выяснилось, что благодеяния родителей не принесли счастья детям.

«Содеянное» дедом и Маргарет стало для Абигейл, как и для других детей, путами прошлого, и выбраться из этих пут, порвать их — трудно. Особенно трудно это такой безвольной, пассивной женщине, какой почти до конца книги кажется Абигейл. Да и надо ли?

Абигейл убеждает себя в том, что у нее все хорошо, хстья и ощущает, что ей чего-то в жизни не хватает. И сама не может определить — чего.

Внешне, кажется, все благополучно. Она выходит замуж. Ее муж Джон Толливер

красив, удачлив, богат. Он всегда поступал, как принято: даже ухаживать за ней по-настоящему начал только тогда, когда поварал со своей предшествующей девушкой.

И вот у Абигейл четверо детей, дом, хозяйство, земля, муж делает карьеру... А ее долг, вечный долг женщины, — охранять очаг. Охраняя детей. Поступать так же, как до нее поступали ее бабки, прабабки, прапрабабки.

Едут они с мужем в комфортабельной машине летним вечером; «как это будет чудесно, думалось мне, пока мы с ревом летели по холмам; вместе состаримся, девочки на наших глазах станут взрослыми, будут привозить к нам внучат... Мечты, сентиментальные и длинные, под стать вереницам серых длинных холмов».

Прошлое и будущее связаны прочно, надежно. Но внезапно врывается настоящее: Джон едет на очередное предвыборное собрание, — он баллотируется на пост губернатора штата.

«— Джон, — сказала я. — Что ты на самом деле думаешь про негров? Не то, что скажешь сегодня с трибуны, а честно — что?»

— Души в них не чаю, — сказал он. — Совсем как твой дед.

Серебристый вечер померк, исчезли еще не рожденные внуки».

Нет, не так просто сохранить дом. Быть может, ей надо смириться, потакать мужу? Ведь она не разбирается в политике.

Абигейл и не вступала в политические споры, хотя по-человечески слова и дела ее супруга были ей очень неприятны. До поры до времени она вовсе не думала на эти темы, полагала, что можно от этого отстраниться, укрыться в убежище. Но так не получилось; обстоятельства настигли ее, вывели из пассивности.

«Стерегиущие дом» менее всего роман-трактат. Острейшая, наисовременнейшая проблема в этом совсем не современном романе возникает изнутри. На поверхности — будничная жизнь, одуряюще сонная тишина маленьких городов Юга с их обычаями, которые складывались веками рабовладельчества. Но эта тишина то и дело взрывается. Вот уже десять лет в США мощно нарастает движение за полное равноправие негров, движение, все чаще называемое в американской печати «негритянской революцией». Установившийся, ста-

рый, несправедливый порядок взрывается — выстрелами, демонстрациями, походами, убийствами. Взрывается и тишина дома Хаулендов: Роберт, старший сын Маргарет и Уильяма Хауленда, после смерти родителей опубликовал в газете их брачное свидетельство; он поступил так, чтобы Джон Толливер, который произносил антинегритянские речи, был бы «опорочен» за связь с семьей, где произошло неслыханное: женитьба на черной. (История самого Толливера, путь карьериста к власти на Юге — путь, так отлично изображенный в книге Уоррена «Вся королевская рать», — на далекой периферии романа Грау. Так же, как, до поры до времени, эта история — на далекой периферии жизни героини.)

«Все мы связаны одной веревочкой — ты, я, Крисси, Нина», — это Абигейл в конце романа говорит Роберту. Дети и внуки Хауленда связаны, как неразрывно связаны черные, белые, получерные американцы.

В США сегодня продолжают звучать голоса белых расистов, которые вот уже триста лет отстаивают чисто белое господство в стране, и начинают звучать голоса черных сепаратистов, пытающихся запереть гетто изнутри.

Но ведь американцы сплелись корнями вне зависимости от цвета кожи. Выстрелы, погромы, мятежи могут убить нескольких или многих. А корни не обрубишь, историю не подменишь, она требует равенства.

Когда стало ясно, что «разоблачение» Джона Толливера вызовет скандал, что погром неизбежен, Толливер бежал из дому; решил отсидеться у своих родителей, дать забыться происшествию и снова начать карбаться вверх. Разумеется, он предложил, чтобы жена поехала с ним. Но она отказалась так им образом охранить свой очаг, осталась в доме, проявила недюжинную храбрость, отразила нападение погромщиков с помощью старого негра и старых ружей Уильяма Хауленда. Сгорел коровник. Выбиты стекла. Абигейл Хауленд-Толливер стоит на пороге разоренного жилья, вспоминает, спрашивает.

Погромщики напали на дом Хаулендов, дом, в котором жили не коммунисты, не черные, не безбожники. Жили богатые белые американцы, протестанты, англосаксонского происхождения; в США это сочетание (сокращенно ВАСП) считается знаком принадлежности к высшей аристократии.

Почему же напали на их дом?

Шерли Энн Грау — писательница фолклендской школы. Одно из ключевых слов к пониманию как эпоса Йокнапатофы, так и романа «Стерегищие дом» — «комьюнити». Его можно перевести на русский язык словами «общность», «целостность», но получается абстрактно, а «комьюнити» можно увидеть, услышать, о «комьюнити» можно расшифряться.

Если перевести словом «община», то это будет звучать слишком по-русски, слишком в духе девятнадцатого века. Перевести словом «мир» — слишком благолепно.

Уильям Хауленд тайно пошел против законов и обычаев маленького американского городка, против комьюнити. Его сын разгласил эту тайну, а наказана за это его внучка.

К дому Хаулендов погромщики подъезжают на машинах. Это не анонимные чудовища, хозяйка почти всех их знает в лицо, и каждый по отдельности — человек как человек. Один добрее, другой злее. Каждый сам по себе — не преступник, не убийца. Но вместе, заражая друг друга, оньяняя, они готовы на все. Они не могут допустить, чтобы нарушались их «святые» законы. Это никому не прощается, даже покойному богачу Уильяму Хауленду. А ему многое позволялось: вот вздумал же он в свое время выписать для дочери «Трибюн» — мало ему южных газет, решил мараить руки газетой янки. Но тогда сограждане это спустили. А женитьба на женщине с черной кожей — нет, это уж слишком.

Абигейл обороняется. Она неуклюже, непривычно стреляет — не потому, что она сознательно отстаивает права негров. Она, вслед за своим дедом, отстаивает право поступать по-своему. Не подчиняться законам комьюнити.

Абигейл не была особо привязана к Маргарет. Но она уважала ее. И видела, что ее с дедом связывала такая любовь, которая ей, белой наследнице огромного состояния, и не снилась. Память о Маргарет и о деде, об их любви она и защищает — и от по-

громщиков, и от своего ничтожного, трусливого супруга.

Бывают такие обстоятельства, когда, чтобы сохранить дом, необходимо пойти на риск его разрушения. Вряд ли она в тот момент думала о воспитании детей, — она только хотела их спасти. Но именно такое и запоминается навсегда. В сопротивлении и Абигейл перестала плыть по течению. И дети ее могут гордиться матерью, которая передала им не только причастность к роду, к комьюнити, но и право человека остаться верным себе. И выдержать неподчинение.

Впрочем, не стоит переоценивать разногласия между Абигейл Хауленд и теми, в кого она целится. Она мало напоминает Егора Булычова, она всю жизнь прожила на «той улице», на одной улице с погромщиками. Она настоящая внучка своего деду и в том, как она решила наказать город за погром. Не демонстрацией протеста, не юридическим иском, не статьями в газетах — экономическими санкциями. Так, она требует забить двери гостиницы «Вашингтон» — той самой, где часами сидят приезжие: это ее собственность — что хочет, то и делает.

В романе нет никакого «хэппи энда», никакой гармонической закругленности. Есть мучительно-неразрешимые противоречия.

Теперь Абигейл будет бесконечно мстить Роберту — и трудно понять, как они могут найти общий язык. Очень много страшного, постыдного накопилось за века рабства между черными и белыми. Но ясно одно: что если они, как и миллионы подобных им американцев, не договорятся по-человечески, на равных началах, то это грозит неисчислимыми бедствиями — и уже пролитой кровью, и той, которой еще предстоит пролиться.

В книге Шерли Энн Грау много горького, но, несмотря на это, она приносит радость. Радость вновь открываемого мира — художественного мира, в который, при всей его отдаленности, мы вошли и многое в нем поняли.

Р. ОРЛОВА.

★

Политика и наука

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ИДОЛОВ

Э. В. Ильенков. Об идолах и идеалах. Политиздат. М. 1968. 319 стр.

Никогда еще не бывало в истории, чтобы новое сразу нашло точные границы своего наиболее эффективного применения. Всегда находятся «энтузиасты», способные довести хорошее до абсурда.

Люди науки горячо приветствовали широкое проникновение математики и кибернетики в отрасли знаний, которые прежде практически не поддавались формализации и количественной обработке. Ныне, пожалуй, нет таких областей общественной жизни, куда не пришла бы математика с ее точным счетом и строгостью анализа. Видя успешные результаты применения математики и кибернетики, некоторые горячие головы поспешили короновать математическое знание. Когда-то пифагореец Гиппас сказал: «Число — самое мудрое из всех вещей». Сколько ныне у него последователей! Современные «пифагорейцы» всерьез говорят, что все беды на земле оттого-де, что люди считают плохо. Ведь главное — получение оптимальных вариантов. Чтобы шайб было произведено столько, сколько гаек, а гаек — столько, сколько болтов и т. д.

Но куда будут потом прикручивать эти болты — к трактору или к танку и против кого потом эти танки двинут? Вот в чем вопрос.

Конечно, считать надо уметь — без этого не построишь ни заводской трубы, ни жилого дома. Но надо прежде узнать — кому, зачем и во имя чего ты считаешь. А об этом не расскажет ни одна математическая формула, да и вообще не в области математики с кибернетикой это решение обитает. Тут нужно обратиться к философии, истории, политической экономии, искусству, ибо именно здесь решаются вопросы, связанные с сущностью и назначением человека, здесь складываются представления об идеалах, здесь безжалостно расправляются с лжеидеалами, с деревянными идолами, сбивающими людей с толку.

Читателю, всерьез интересующемуся всеми этими проблемами, мы очень советуем ли бы обратиться к недавно вышедшей в свет книге известного советского философа Э В Ильенкова, которая так и называется — «Об идолах и идеалах».

Книга начинается беседой автора с кибернетиком Адамом Адамычем, который «изобретает мыслящую машину умнее человека». «Искусственный мозг будет совершеннее нашего с вами! — горячо утверждает он. — И не будет повторять всех тех недостатков, которыми отличается живой мозг».

Чем же будет совершенней этот искусственный мозг? Да тем, что будет служить делу более совершенным образом. И действительно, сколько возмутительных недостатков имеет живой мозг, живой человек! Скажем, работает он счетоводом. Его дело — считать себе да считать, ну и бумажки подшивать да начальства слушаться. А он? То заболит и не явится на работу, то примется спорить с начальством и жаловаться на него, тратит время (пусть даже и после работы) на не имеющие отношения к делу разговоры о литературе и музыке, на любовь и семью. Сколько ненужной для дела работы выполняет он! Нет, со счетной машиной его не сравнить.

Но кто сказал, что интересы «дела» служат меркой, критерием достоинств и недостатков человека? А может, надо посмотреть на проблему человек — дело иначе? Может, не человека следует рассматривать с точки зрения того, насколько он полно служит делу, а, наоборот, посмотреть, насколько это дело позволяет человеку быть человеком, позволяет раскрыть все заложенное в нем человеческое богатство? Не человека стараться приспособить, подогнать к делу, а, напротив, дело — к человеку? Может, наконец, человек и его всестороннее развитие — это и есть дело, деяние человека и для человека, а все прочее — это лишь части единого дела, и не масштабы дела, а человеческий масштаб должен служить исходной меркой?

В чем состоит действительная сущность человека, каково направление человеческого развития, каковы идеалы человека — это центральные вопросы книги Э. В. Ильенкова. Работа эта, говоря словами автора, «представляет собой попытку разобраться в проблеме принципиальных недостатков и достоинств Человека с большой буквы и Машины с большой буквы».

Избранный автором метод ответа на эти

вопросы имеет принципиальное значение (кстати, он вообще характерен для многих работ Э. В. Ильенкова). Здесь нет готовых истин-результатов, которые предлагались бы вам с гарниром авторитетных цитат. Э. В. Ильенков избирает другой путь, который в наибольшей степени дает возможность раскрыть всю глубину и сложность рассматриваемых вопросов. Значительную часть книги занимает исторический анализ проблемы человеческого идеала в трудах выдающихся мыслителей прошлого. Однако это отнюдь не перечисление мнений — кто что сказал по данному вопросу. Это раскрытие логики движения мысли, логики, взятой в ее существенных, узловых моментах. Получилась цепочка проблем, которые последовательно ставило человечество, на которых оно спотыкалось, останавливалось и которые наконец разрешало — чтобы встать перед новыми вопросами, новыми противоречиями и вновь разрешать их. Вопросы эти имеют отнюдь не только исторический интерес, ибо в снятой форме они включены в наше современное знание, и тот, кто не знает вопросов, стоявших за сегодняшними ответами, тот по-настоящему не понимает и этих ответов, тот всегда рискует споткнуться на проблемах, давно поставленных и решенных. Следя по книге за этим движением идей, особенно ясно понимаешь, что известное положение: «Марксизм — наследник всей человеческой культуры» — отнюдь не фраза.

Логика развития мыслей, касающихся сущности бытия человеческого, прочерчена Э. В. Ильенковым в главных, существенных линиях, без ухода в дебри цитат и подробностей. Способ заманчивый, позволяющий в наиболее резкой и компактной форме охватить большие временные и логические пространства, но и тающий в себе серьезные угрозы. При таком изложении всегда есть опасность выпрямить, упростить сложный характер действительного движения. Достаточно посмотреть многочисленные исторические очерки, чтобы убедиться, что опасность эта — отнюдь не из области предположений. Поэтому пускаться в такое путешествие можно только с перво-классной научной экипировкой, иначе оно принесет лишь вред.

Автор рецензируемой книги наряду с историко-философской эрудицией обладает способностью находить такую точку теоретического обзора, с высоты которой четко

и ясно просматриваются даже самые дальние «закоулки» рассматриваемой теоретической системы. Пишет ли он о Канте, Гегеле или Фейербахе, он обычно выделяет то центральное звено, ту «клеточку», которая является исходной при построении всей системы, из которой можно вывести все теоретические следствия. Автор умеет открыть какие-то незаметные дверцы, через которые вы легко входите в грандиозные здания теорий великих мыслителей прошлого. С точки обзора, на которую вы поднимаетесь вместе с автором, ясно просматриваются логика, порядок и последовательность в этих теоретических храмах. Эта почти хрестоматийная ясность в изложении философских систем сочетается у Э. В. Ильенкова с умением отделить временное в них от вечного, увидеть ту проблематику, которая и по сей день не потеряла злободневности.

Так, когда вы читаете о кантовском или о гегелевском представлении о человеческом идеале, то кажется, что вы находитесь в центре современной полемики, которую ведут между собой экзистенциалисты и структуралисты. Калейдоскоп современной идейной борьбы для вас уясняется, оттенки и оттенки мнений стягиваются к двум противоположным центрам, главные теоретические основы которых были заложены Кантом, с одной стороны, и Гегелем — с другой.

Вот одна позиция, кантианская. Наука может открывать законы существующего, объяснять то, что есть, но она не в состоянии ответить на вопрос: почему так не должно быть, наука может показать, каков человек есть, но она безмолвствует, когда к ней подступают с вопросом: каким он должен быть. А между тем эти вопросы — решающие вопросы человеческого бытия, ибо те или иные ответы на них обуславливают характер человеческих действий. И вот для решения этих важнейших вопросов надо-де прислушиваться к голосу внутреннего нравственного чувства, к голосу, идущему из тайников человеческого «я». Это нравственное чувство, заложенное в человеке, от рождения направлено на добро, истину, на любовь к ближнему и т. д. Критика существующего с позиции внутреннего нравственного чувства, нравственное самосовершенствование — вот существо этой позиции.

Марксизм, как показывает автор, от-

нюдь не отрицает значение голоса совести, нравственного чувства, он критикует лишь противопоставление нравственного чувства научному знанию, он возражает против того, чтобы видеть в моральной проповеди ведущую силу исторического движения. Благородство умонастроения Канта, пишет Э. В. Ильенков, несомненно — но «история событий прошлого и настоящего слишком наглядно демонстрировала, что на весах судеб мира «прекрасная душа», на которую уповал Кант, весит очень мало, несравнимо меньше, чем брошенные на другую чашу «страсти и сила обстоятельств, воспитания, примера и правительства»...».

Э. В. Ильенков показывает истоки кантовской теории человеческого идеала, ее следствия, ее плюсы и минусы, раскрывает необходимость его «снятия», движения теоретической мысли от Канта к Гегелю.

Гегель морализаторству и иррационализму Канта противопоставил строго рациональное научное мышление. И это было бы хорошо, если бы в лице абсолютной идеи Гегель не обожествил это научное знание. Как верно замечает Э. В. Ильенков, то, что Гегель обожествил научное знание, — это шаг вперед, но плохо то, что он именно обожествил его, рассматривал не научное знание как инструмент человека, а человека в качестве инструмента научного знания. Требования науки, научной логики — это для Гегеля главное. Они осуществляются с железной необходимостью, и задача человека в интересах наиболее полной и совершенной реализации этой необходимости — возможно полнее подчиниться ей. Из этих посылок уже легко выводится мысль: поскольку развитие науки приводит к выводу, что человек в этом мире не является совершенным созданием, то в интересах более успешного осуществления открытых наукой закономерностей его постепенно начнет вытеснять самопрограммирующийся электронно-вычислительный робот.

Не все прямо договариваются до этого, но в скрытом виде эти выводы присутствуют в каждом рассуждении представителей такого взгляда — поскольку человек в этих «объективных построениях» присутствует в качестве не очень значащей детали, которую, в интересах лучшей работы механизма, можно согнуть, удлинить или укоротить, и то и вовсе заменить и выбросить. Такая логика, если строго ее держаться,

не сможет быть судьей в социальных вопросах, ибо этой логикой выброшен за борт субъект исторического действия, автор и актер разыгрываемой в истории драмы — человек.

Это, как показывает Э. В. Ильенков, первым в самом начале сороковых годов XIX века почувствовал Маркс — когда он попытался с помощью гегелевского принципа разрешить спор между частной собственностью и коммунизмом. Маркс создал другую логику, сознательно положив в ее основу в качестве исходного принципа — интересы человека. Трудящегося человека. Это — и научная, и в то же время человеческая, гуманистическая логика, которая, таким образом, является одновременно и этикой. Человек, трудящийся человек, обобществленное человечество — здесь все начала и концы марксизма. Человек — это точка отсчета, мера всех вещей. Человеком, его интересами меряется все остальное, к человеку же неприменима никакая внешняя по отношению к нему мера. Вот почему так абсурдна, так нелепа в устах причисляющего себя к сторонникам передового мировоззрения Адама Адамыча постановка проблемы: может ли быть машина совершеннее человека?

Имеет смысл рассуждать, например, о том, что более совершенно служит человеку — соха или трактор. Здесь степень совершенства двух вещей сравнивается по отношению к третьему — к интересам и целям человека. Но по отношению к какому «третьему» можно сравнивать степень совершенства машины и человека? Что это за мера, которая находится вне человека и по отношению к которой человек выступает лишь средством (как в нашем примере — соха по отношению к человеку)? Вам придется выбирать это «третье» между гегелевской абсолютной идеей, божьим провидением, судьбой или каким-нибудь идолом. Выбирайте, Адам Адамыч, воля ваша, только при этом не зачисляйте себя в сторонники передовой философии.

Но не все Адамы Адамычи согласны породниться с абсолютной идеей. Пытаясь спасти свою позицию, они иногда говорят, что машина совершеннее человека в том смысле, что она может более полно и успешно преобразовывать природу, конечно же, не в своих, «машинных» интересах, а в интересах человека. Но ведь это все равно что сказать: нож более «совершенно» чи-

стит картошку, чем человек. Ведь в этом случае не машина воздействует на природу, а человек — с помощью машины, которая является не чем иным, как искусственным продолжением его естественных органов.

Э. В. Ильенков поворачивает эту проблему и другой, совсем уже неожиданной для его оппонентов стороной. Адам Адамыч предсказывает, что «более совершенная» машина впоследствии подчинит себе человека. Но автор показывает, что Адам Адамыч по крайней мере на несколько столетий опоздал со своим предсказанием. Такая машина создана, и она давно уже подчинила себе человека — это машина капиталистического общественного устройства. Обнажаются, таким образом, земные корни «машинно-философского» мышления: оно — отражение реальной ситуации потерянности человека в буржуазно-бюрократическом мире, который этим миром низведен до роли винтика и малозаметной детали. И, конечно, там, где точка отсчета — получение максимальной прибыли, там, естественно, автомат может быть признан совершеннее человека, ибо там сам человек сведен до уровня автомата, и автомата, разумеется, несовершенного.

Те же, кто в основу своего миропонимания и деятельности кладет интересы человека, те ставят вопрос о ликвидации капитализма и этой зависимости. «Человек должен стать человеком», — провозглашают они. Хватит ему быть винтиком при машине, средством, разменной монетой в игре каких-то «высших» сил. Здесь и открываются истоки подлинно человеческого идеала. Идеал этот не конструируется искусственно — он открывался и открывается марксизмом-ленинизмом при изучении реального хода исторического развития.

Каков же этот идеал, в чем его необходимость, каковы пути его достижения?

Если говорить кратко, суть дела сводится к превращению человека из «частичной детали частичной машины», каким он является при капитализме, в гармоническую, всесторонне развитую личность. Общеизвестно, что решение этой задачи достигается прежде всего уничтожением эксплуатации и превращением производительных сил в общественную (общенародную) собственность.

Итак, общественная собственность — условие расцвета личности. Но формула эта, как показывает автор, верна лишь тогда,

когда она одновременно читается и наоборот: расцвет личности есть условие становления и развития общественной собственности. Одно не может осуществиться без другого. Это нередко упускается из виду. Очень кстати автор напоминает важные мысли Маркса и Ленина о том, что от провозглашения общественной собственности до ее реального осуществления имеется определенная временная дистанция, не в последнюю очередь связанная и с изменением типа человеческой личности.

Заслуживают в связи с этим пристального внимания приводимые автором рассуждения Маркса о том, что в условиях «первоначального», «грубого» коммунизма общественная собственность может выступить «как в сеобщая частная собственность» и явится «лишь обобщением и завершением отношения частной собственности». Чтобы собственность стала действительно общественной, для этого нужно, как верно пишет Э. В. Ильенков, решительно изменить и старый способ разделения труда между людьми, старый способ разделения между ними ролей и функций в процессе общественного производства, как материального, так и духовного, нужно, чтобы в управление общественным производством были втянуты все.

И снова проблема, на которой автор фиксирует внимание читателей: важно, чтобы человек получил реальную, практическую возможность принять участие в управлении и притом способен был решать сложные задачи, которые ставит перед обществом ход исторического развития. Нередко очень упрощенно понимают глубокую ленинскую мысль о том, что государством должна научиться управлять каждая кухарка. Прав Э. В. Ильенков, когда пишет, что «коммунизм призывает каждую кухарку к управлению государством вовсе не для того, чтобы она делала это по-кухонному, на основе тех навыков, которые в ней воспитаны среди кастрюль. Кухарка, действительно, а не формально участвующая в управлении общественными делами страны, перестает быть кухаркой. Вот ведь в чем все дело».

При этом, продолжает автор, активному члену общества недостаточно быть осведомленным только в политике. «На политике он остановиться не может, ибо экономическая политика связана с политической

экономией, требуя знания и понимания специальной теоретической литературы, в том числе «Капитала» Маркса и теоретических работ Ленина, что, в свою очередь, немисливо, если у человека нет общей культуры». «Ибо «нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логике Гегеля»¹. А попробуйте понять Гегеля, не обладая общесторическим образованием, знанием литературы, искусства, истории культуры! Ничего не получится. Тут одна цепь. Либо человек вытягивает ее всю, до конца, либо она вырывается у него из рук также вся, до конца... И только человек, овладевший ею, становится действительным, а не номинальным господином над современными производительными силами... Либо индивидуум превращается в хозяина всей созданной человеческой культуры, либо он остается ее рабом, прикованным к тачке своей узкой профессии».

Может быть, кому-то покажется невыполнимой (или даже демагогической) та обязательная для всех «программа образования», которую пунктиром наметил Э. В. Ильенков. Однако ее действительно требует жизнь. И чтобы овладеть основными культурными ценностями, которые выработало человечество (и, значит, стать коммунистом, по известному ленинскому афоризму), вовсе не нужно быть каким-то сверхгением. Надо быть всего лишь нормальным человеком, поставленным в нормальные условия развития. А нормальные условия эти состоят, как верно пишет автор, в том, что «каждый живой человек мо-

жет и должен быть развит в отношении тех всеобщих («универсальных») способностей, которые делают его Человеком (а не химиком или токарем), то есть в отношении мышления, нравственности и здоровья,— до современного уровня. Всестороннее развитие личности предполагает создание для всех без исключения людей равно реальных условий развития своих способностей в любом направлении. Таких условий, внутри которых каждый мог бы беспрепятственно выходить в процессе своего общего образования на передний край человеческой культуры, на границу уже сделанного и еще не сделанного, уже познанного и еще не познанного, а затем свободно выбирать, на каком участке фронта борьбы с природой ему сосредоточить свои личные усилия: в физике или в технике, в стихосложении или в медицине.

Вот что имел в виду Маркс, когда говорил, что коммунистическое общество будет формировать из человека ни в коем случае не живописца или сапожника, а прежде всего человека, занимающегося — пусть даже преимущественно — живописью или проблемой изготовления обуви, смотря что больше ему по душе».

Таков охарактеризованный Э. В. Ильенковым коммунистический идеал личности, программа и необходимость сегодняшнего дня, та мерка, по которой мы можем мерить высоту наших сегодняшних успехов, по которой мы можем определить, сколько мы прошли и сколько нам еще предстоит пройти.

Г. ВОДОЛАЗОВ.

★

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга I.
«Наука». М. 1968. 692 стр.

Книга эта, уже получившая на страницах «Нового мира» (№ 2, 1969) краткий первоначальный отклик, — не изложение достигнутых результатов. И не систематизированная картина развития человечества от возникновения человеческого общества до установления капиталистических отношений. Это сборник очерков, написанных разными авторами, то повторяющими друг

друга, то, напротив, противоречащими один другому и прямо полемизирующими между собой. Взаимпротиворечивость и взаимополемичность отдельных статей сборника в известном смысле символична. Уже эта внутри одного корешка заключенная полемика сразу же дает читателю почувствовать, что речь идет о нерешенных, дискуссионных проблемах (недаром слово «проблемы» вынесено на титул), следовательно, о том, что еще нуждается в исследовании, о вопросах, на которые авторы и редакторы

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 162.

еще не в состоянии предложить готовый и всех удовлетворяющий ответ.

Но погодите. Неужели история докапиталистических обществ и в самом деле проблематична? Неужели ее главные линии до сей поры не определились и продолжают оставаться предметом спора? И если такой спор еще идет, то не вызван ли он просто тем обстоятельством, что некоторые авторы либо невежественны, либо предали забвению основные принципы марксистской методологии истории?

Поразительно настойчива эта убежденность ленивого ума, что задача науки состоит в том, чтобы поднести нам, потребителям, на серебряном блюдечке золотое яблочко готовой и «законченной» системы! Между тем в действительности приближение к абсолютной истине есть никогда не завершающийся процесс. Разве не служит нам трагическим напоминанием судьба христианства, начинавшегося революционной идеологией и превратившегося в великолепно разработанную, все охватывающую и все мертвящую догму? Разве не помним мы, что гегелевская система стала поперек гегелевского диалектического метода?

Чтобы понять, каковы проблемы истории докапиталистических обществ и в чем, следовательно, состоит смысл сборника, мы должны обратиться к истории самой исторической науки, к ее движению.

В XIX веке было распространено представление о прямолинейном развитии человеческого общества. Это развитие могли выводить из духовных или материальных факторов, оно могло представляться революционным или эволюционным, — но в том или ином случае история оценивалась как движение от простого к сложному, от примитивного к высоко организованному. Гегелевская философия истории: от несвободы Востока через полусвободу античности к свободе германского мира — одна (но отнюдь не единственная) среди выработанных в ту пору схем.

С конца прошлого столетия концепция прямолинейного развития стала подвергаться критике. Критика эта была вызвана, с одной стороны, причинами идеологическими, социально-политическими. Коротко и грубо охарактеризованные, они могут быть сведены к страху буржуазного общества перед дальнейшим прогрессом, сулившим этому обществу неминуемый конец. Но, с другой стороны, критика указанной кон-

цепции была вызвана и развитием самой исторической науки, прежде всего расширением фактического материала, буквально захлестнувшего с конца XIX века науку о древности.

В самом деле. Концепция прямолинейного развития человечества создавалась на очень небогатом фактическом материале, ограниченном во времени и в пространстве. Основой для нее послужила история Европы, к тому же не простиравшаяся в глубь веков далее гомеровского времени. Первобытная история, история древнего Востока, да, пожалуй, и Востока средневекового — все это оставалось в стороне. Когда же серия разнообразных открытий распахнула перед исследователями такие стороны прошлого, о которых они прежде даже не догадывались, значительная часть историков (разумеется, буржуазных) остановилась в растерянности: новый материал, казалось, не укладывался ни в одну из «эволюционистских» схем. И тогда была выдвинута мысль, что общество в процессе своего исторического существования представляло собой не что иное, как совокупность разновременных и разнопространственных, независимых и замкнутых в себе цивилизаций («культурных кругов»), каждая из которых находила себе особую дорогу. Иначе говоря, вместе с прямолинейностью оказалось утерянным и единство развития человеческого общества.

В соответствии с таким состоянием исторической науки авторы и редакторы сборника следующим образом определяют задачу, стоящую перед современной марксистской историографией: построить рабочую схему развития человечества в прошлом, чтобы, учитывая новый фактический материал (и используя связанные с ним новые методы исследования), не раздробить историю на множество «культурных кругов», но представить ее единым, хотя и сложным процессом. Диалектическое противоречие многообразия и единства — таков стержень, вокруг которого объединены все статьи сборника.

Если не говорить о вводной статье «Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ», где Л. В. Данилова, ответственный редактор сборника, останавливается на важнейших дискуссионных последних лет по данной теме, сборник отчетливо распадается на две части. Первая из них посвящена закономерностям развития пер-

вобытного общества, вторая — развитию от первобытности до средневековья.

До последнего времени мы говорили о первобытном обществе как о единой общественно-экономической формации. Сравнительно недавно это усановившееся и, казалось бы, вполне естественное представление поставлено под сомнение. В соответствии с новыми взглядами советских антропологов Ю. И. Семенов в статье «Проблема начального этапа родового общества» решительно пишет: «Период первобытного стада качественно отличается от всего последующего периода истории человечества» — и помещает этот период вне и до общественно-экономических формаций. Его поддерживает в этом вопросе также Н. А. Бутинов, автор статьи «Первобытнообщинный строй», во многих других пунктах расходящийся и полемизирующий с Ю. И. Семеновым.

В центре всей первой части книги лежит проблема, которую можно было бы условно назвать проблемой родового строя. Одно решение этой проблемы предлагает Н. А. Бутинов и поддерживающие его В. Р. Кабо и В. М. Бахта, авторы статей, посвященных конкретным народам — австралийским аборигенам и папуасам Новой Гвинеи, другое отстаивает Ю. И. Семенов. По его мнению, с самого начала истории первобытно-общинной формации именно «род был производственным коллективом» (стр. 180), тогда как В. Р. Кабо, прямо полемизируя с Ю. И. Семеновым, утверждает: «Род никогда не был... производственным коллективом» (стр. 243) — и видит основную хозяйственную ячейку той эпохи в отличной от рода общине.

Дискуссия ведется остро. Ю. И. Семенов даже упрекает своих противников в «непонимании роли производства как фактора, обусловившего появление человека и человеческого общества» (стр. 186). Они же возвращают ему этот бумеранг, характеризуя его собственный взгляд как «крайнее мнение, сводящее первобытную историю к истории семейно-брачных связей» (стр. 131), то есть опять-таки как непонимание соотношения между производством и кровнородственными отношениями.

Думаю, однако, что подобные «глобальные» обвинения и в данном случае, как и во многих других, бьют мимо цели и способны лишь породить недоумение. И та и другая

сторона недвусмысленно признает примат производственных отношений и детальным образом анализирует формы производства, отношения собственности и т. п. Расхождение имеет гораздо более частный характер: была ли ранняя община организована как родовая, как хозяйственный коллектив, жидившийся на экзогамии (запрещении браков внутри данной общественной группы), так что жены и мужья не входили в состав общины и, следовательно, семья не стала хозяйственной единицей (этнографы говорят в таком случае о дисэкономическом и дислокальном браке, предполагая, что муж и жена не ведут общего хозяйства и даже живут врозь, каждый в своем родовом коллективе) или же община состояла из ядра (братьев и сестер), окруженного своего рода «оболочкой», то есть мужьями и женами членов ядра; в таком случае супруги жили вместе и вели в известных пределах общее хозяйство.

В дискуссиях о родовом строе есть еще один принципиальный аспект. И Ю. И. Семенов и его оппоненты настаивают на универсальности предлагаемой ими схемы. Мы поставлены перед дилеммой: либо все человечество начинало свой путь с родовой общины Ю. И. Семенова, либо (зпять-таки все человечество) — с кровной общины Н. А. Бутинова и его единомышленников. Но не является ли сама эта универсальность — как в том, так и в другом ее варианте — гипотезой, требующей более серьезного доказательства?

Я коснусь в этой связи одного вопроса — о позднепалеолитических женских статуэтках. Массовые их находки служили одним из важнейших аргументов в пользу представления о повсеместной распространенности материнского рода в эту отдаленную эпоху. Н. А. Бутинов, который не без оснований сомневается в универсальности материнского рода, пытается пересмотреть и вопрос о назначении женских статуэток. Эти фигурки, полагает он, связаны с «родовым» периодом (Ю. И. Семенов отвергает существование такого периода), когда преобладал брак-похищение: они служили магическим изображением женщин, которых мужчинам предстояло похитить из соседних общин. Недоказуемость этого объяснения бросается в глаза, но дело, однако не в этом, Сам Н. А. Бутинов отмечает (впрочем, лишь проходя), что женские фи-

гурки представлены далеко не во всех регионах: их нет в Средиземноморье, Южной Америке, Индокитае. Не следует ли из этого, что материнский род (если с ним по-прежнему связывать массовое изготовление женских статуэток) был для позднего палеолита не универсальным явлением, что там могли складываться и семейно-брачные отношения иного типа? Не говорит ли это о том, что в пределах действительно универсальной первобытнообщинной формации складывались разные формы общины, семейно-брачных отношений, родовой организации, формы, которые далеко не всегда были последовательным развитием друг друга, но часто представляли собой параллельные явления?

Обращаясь ко второй половине сборника, мы сталкиваемся прежде всего с проблемой перехода от первобытного общества к обществу эксплуататорскому, классовому. В уже упомянутой статье Н. А. Бутинов специально рассматривает, преимущественно на этнографическом материале, период, когда господствовала, по его терминологии, гетерогенная община и когда уже складывалось имущественное, социальное и даже классовое расслоение. Этот период он безоговорочно включает в рамки первобытнообщинного строя, однако он не раскрывает критериев такой периодизации. Где пролегает грань между раннеклассовым и первобытным обществом? Проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Если Н. А. Бутинов смотрит на этот период, так сказать, из глубины истории, из недр классической первобытности, которая составляет основную сферу его интересов, то А. И. Неусыхин рассматривает его с позиций историка феодализма, то есть классовой общественно-экономической формации. Может быть, именно поэтому, не обнаруживая в так называемом варварском обществе сформировавшейся системы классов, он — в отличие от Н. А. Бутинова — считает, что социальное неравенство на том историческом этапе еще не превратилось в классовое. Не решаясь, несмотря на это, отнести варварское общество просто к первобытнообщинному строю, А. И. Неусыхин избегает данную систему называть общественно-экономической формацией и ищет решения в том, что обращается к понятию дофеодального, переходного периода.

А. И. Неусыхин, по-видимому, прав, когда он — определеннее, чем Н. А. Бутинов, — отделяет варварское общество от первобытнообщинного строя (и вместе с тем от раннего феодализма), — тем самым отчетливее обнаруживаются специфические особенности этого важнейшего исторического периода. Однако такая постановка вопроса порождает известные трудности. Варварское общество, согласно А. И. Неусыхину, не принадлежит ни той, ни другой формации, оно лежит между ними. Обобщая это наблюдение, исследователь делает вывод о существовании «переходных периодов» (во множественном числе), то есть внеформационных эпох на грани между другими социально-экономическими формациями, скажем, между феодализмом и капитализмом. Не напрашивается ли из этого вывод (помоему, спорный), что общество в своем развитии переходит не от одной формации к другой, а от формации к «бесформационному» переходному периоду, из которого уже затем вырастает новая формация?

Для характеристики переходного периода А. И. Неусыхин использует понятие общественной структуры. Термин этот, «структура», в последнее время приписывает общее внимание, порождая то безудержные восторги, то безоговорочное осуждение. А. И. Неусыхин характеризует дофеодальное общество как особую общественную структуру. «Такие структуры, — определяет он, — не являются отдельными формациями именно потому, что основной принцип движения... в них не выражен с достаточной отчетливостью». Структура в такой трактовке — не более чем недоразвитая формация.

Во избежание кривотолков, может быть, следовало определеннее договориться о том, что следует понимать под этим термином. В последние годы все шире распространяется тенденция рассматривать общество (можно было бы сказать, общественно-экономическую формацию) как целостную систему, все элементы которой находятся во взаимной связи. Структура этих элементов определяется общим («структурообразующим») принципом, составляющим существо системы. Отнюдь не ставя под сомнение примат производственных отношений (см. слова Е. М. Штаерман в этом же сборнике: «...для социально-экономических систем структурообразующим элементом являются производственные отношения, через кото-

рые производительные силы воздействуют на характер всей общественной формации»), сторонники структурного анализа энергичнее, чем это делалось раньше, подчеркивают взаимосвязь всех элементов общественной формации, и в частности то, что можно было бы назвать обратной связью, то есть влияние на социально-экономические отношения политической жизни, системы ценностей, эстетических идеалов и т. п. При этом сторонник структурного анализа стремится выяснить, как во всех этих разнородных общественных элементах: общественные классы, малые группы (семья, община, средневековый цех или монастырь), политическая организация, религия, художественное творчество — проступает структурное единство, обнаруживается определяющий общественный принцип.

Подобный подход особенно плодотворен при изучении докапиталистических обществ, где частная собственность, классовая поляризация и социальные антагонизмы не выступали так отчетливо, как в капиталистическом мире, и, наоборот, родственные связи, общественные традиции, установившиеся системы ценностей (в том числе религия) непосредственнее, чем при капитализме, влияли на общественные отношения.

Итак, чем ни считать варварское общество — особой структурой или в рамках определенной формации периодом, — оно составляет чрезвычайно существенный и, по всей видимости, универсальный исторический этап. Какова же та общественная формация, которая приходит ему на смену?

Согласно традиционным представлениям, долгое время господствовавшим в нашей исторической науке (или, пожалуй, над нашей наукой), это рабовладельческая формация. В последнее время в правомерности такого суждения были высказаны некоторые сомнения. Как известно, Маркс никогда не говорил о рабовладельческой формации, и об античной, с одной стороны, и об азиатской, или восточной, с другой.

Даже не настаивая на том, что древневосточный вариант исторического развития должен быть непременно охарактеризован как самостоятельная формация (существует немало противников этой точки зрения), нельзя не видеть, что он обладает существенными отличиями. Попытку охарактеризовать одно из древневосточных обществ, китайское, предпринял Л. С. Васильев.

Своеобразие социальных отношений в древнекитайском обществе он усматривает в том, что господствующую верхушку составляла там наряду со старой родовой знатью чиновничье-бюрократическая прослойка, обособившаяся не в силу имущественного расслоения, но благодаря своим управленческим функциям. В соответствии с этим эксплуатация непосредственных производителей осуществлялась в очень большой степени централизованно — через ренту-налог, чрезвычайные поборы и трудовую повинность. Правителю царства принадлежала верховная собственность на землю, постепенно трансформировавшаяся в государственный суверенитет.

Соотношение азиатского и античного общества рассматривается в статье М. А. Виткина «Проблема перехода от первичной формации ко вторичной». Общественные отношения, сложившиеся в государствах древнего Востока, автор расценивает как первичную или архаическую формацию. Это было общество, основанное на эксплуатации, часто очень жестокой, но обладавшей своеобразными чертами. Социальная стратификация определялась здесь не имущественным неравенством, а причастностью или непричастностью к государственной власти. Правда, М. А. Виткин считает, что образовавшиеся здесь социальные группы не могут быть названы классами (мысль, аналогичная высказанной А. И. Неусыхиним применительно к переходному периоду), но суждение это родилось, по-видимому, в полемическом увлечении. Мы можем говорить о своеобразии классовой структуры на древнем Востоке, о своеобразии эксплуатации (именно это и делает, в сущности, М. А. Виткин), но не о доклассовом типе общественного устройства. Родовая знать Египта, даже если она владела землей или частью земли через государство, принципиально отличалась своим отношением к средствам производства от «живых убитых», как называли египтяне военнопленных, или от земледельцев, согнанных на строительство пирамид.

Дело не только в том, что древневосточным обществам было не чуждо имущественное неравенство, — важнее другое. На определенном историческом этапе (и это отлично показано в статье А. Я. Гуревича «Индивид и общество в варварских государствах») социальные градации строятся не

на имущественном принципе или во всяком случае не только на нем, а социальная психология отнюдь не усматривает в имущественном факторе основной критерий общественной стратификации. Это относится и к некоторым обществам, занесенным М. А. Виткиным уже в разряд вторичных формаций в античном мире богатый метэк (выходец из чужого города) так же оставался вне полноправия, как в классическое средневековье купец стоял вне господствующего класса, — явление, которое, кстати сказать, Л. С. Васильев отмечает и в древнем Китае. Речь, следовательно, все-таки должна идти о классах, хотя М. А. Виткин в каком-то смысле прав, ибо он нащупывает действительное своеобразие классовой структуры древневосточного общества.

Тот же тип восточного общества сложился и на юге Греции во II тысячелетии до н. э. От него, согласно М. А. Виткину, принципиально отличается общество античной Греции, которая вступила, по его словам, «на неизведанный исторический путь развития», и этот путь привел к образованию вторичной формации, которая характеризуется отделением ремесла от земледелия, образованием городов и развитием товарно-денежных отношений, а следовательно, и вещной связи индивидов.

Критерии, на основе которых М. А. Виткин разграничивает вторичную и архаическую формации, представляются мне в немалой мере произвольными. Достаточно напомнить, что образование государства на древнем Востоке нередко связывают с так называемой городской революцией, с образованием городов. Вряд ли можно сомневаться, что в Египте и Месопотамии, в городах Финикии и Сирии ремесло было отделено от земледелия. Однако оставим в стороне вопрос о критериях. Должны ли мы рассматривать древневосточное общество как не полностью развившуюся рабовладельческую формацию, как переходный этап от первобытности к античному миру?

Совершенно по-новому ставится этот вопрос в статье Е. М. Штаерман. Исследовательница отвергает мысль о том, что античное общество является обязательным этапом на пути развития человечества. Античное общество возникло, по ее мнению, не в результате эволюции ранних классовых обществ древневосточного типа, но самостоя-

тельно выросло из первобытности (как сказал бы А. И. Неусыхин, из варварского общества). В дальнейшем, зайдя в гупик, оно не могло перейти непосредственно на стадию феодального общественного строя. Оно явилось «не правилом, а исключением, скорее ответвлением, чем неизбежностью на магистрали общечеловеческого развития».

Трактовка античности как бокового, тупикового пути развития ни в коей мере не ведет Е. М. Штаерман к пренебрежительной его оценке: напротив, она полагает, что, будучи своеобразным ответвлением, античный мир «забежал вперед по сравнению с общим уровнем» и смог в силу этого создать такие политические формы и такую систему ценностей, которые в течение длительного времени оставались образцом для последующих поколений.

Итак, ставится вопрос, не является ли «восточный» путь развития генеральным, а античный — тупиковым, боковым, — точка зрения хотя и спорная, однако интересная.

Со статьей Е. М. Штаерман своеобразно перекликается исследование Н. Ф. Колесниченко «К вопросу о раннеклассовых общественных структурах», где вскрыт еще один аспект проблемы: оказывается, формирование классового общества в средневековой Европе нередко просто проходило, так сказать, по азиатскому образцу: эксплуатация начиналась не с подчинения крестьян феодальными собственниками, как следовало бы по традиционной схеме, а с обременения их государственными повинностями в порядке публично-государственной зависимости. Но что же это значит? Не вытекает ли из этого, что нормальное развитие варварского общества вело к образованию системы, базировавшейся на восточной форме классового господства, и что только в особых условиях создавались такие формации, как античная или феодальная? Не станем торопиться с ответом на этот вопрос, но вряд ли можно в настоящее время совсем его игнорировать.

Азиатский общественный строй обладал (и это подчеркивает, в частности Л. С. Васильев) удивительной устойчивостью. Я бы отметил еще другую его особенность — тенденцию к регенерации. В самом деле, чем завершается история греческих государств? Созданием эллинистических монархий восточного образца — и это несмотря на то, что Восток был завоеван греками и

македонянами! И античный Рим приходит к ориентализированной империи, традиции которой в той или иной форме сохраняются в средневековой наследнице Рима — Византии. Может быть, в некоторых случаях и в феодальном обществе рождалась тенденция к образованию аналогичной или сходной общественной системы или ее отдельных элементов.

Но не будем больше нагромождать один неясный вопрос на другой. Достаточно тех проблем, которые подняты в самом сборнике, авторы и редакторы которого — теперь

мы в этом уже убедились — не предлагают готовой схемы, напротив, они во многом не согласны между собой, они спорят и размышляют, и это — прекрасно. даже если читатель и рецензент не всем и не всегда убежден. Сила марксистской исторической науки состоит в ее методе, в принципах материализма и диалектики, а не в «законченных» системах, всегда исторически ограниченных, — именно этот метод находит обогащение и дальнейшее развитие в статьях рецензируемого сборника.

А. КАЖДАН.

★

ПРАВДА И ЛОЖЬ СТАТИСТИКИ

У. Дж. Рейхман. Применение статистики. Перевод с английского и предисловие В. М. Шундеева. «Статистика». М. 1969. 296 стр.

Автор этой книги не только знает свое дело, но и любит его. По его мнению, «статистическое исследование, если оно отвечает предъявляемым к нему требованиям, проникнуто духом охоты, многократно усиленным устремленной вперед любознательностью, присущей человеку в его стремлении к знанию, которое в случае успеха приносит огромное вознаграждающее его удовлетворение».

Не слишком ли громко сказано о науке скучной, согласно распространенному представлению? Нет, не слишком. История дала нам блестящие образцы «охоты» с помощью цифр, увлекательных поисков истины, которую порой пыталась скрыть буржуазная статистика. В этой связи мы прежде всего вспоминаем Ленина, его громадную работу с цифрами, на которой основаны и труды о российском капитализме, и «Империализм, как высшая стадия капитализма», и многие другие произведения.

Вот хотя бы то место из полемики с народником Кривенко, где речь идет о воронежских крестьянских бюджетах, составленных земским статистиком Щербиной, тоже народником. Ленин берет те же, народниками выбранные цифры, чтобы показать, что при правильном анализе они подтверждают нечто противоположное выводам, которые сделал из них Кривенко. «Дело в том, — пишет Ленин, — что эти 24 бюджета описывают совершенно различные хозяйства — и зажиточные, и средние, и бедные, на что указывает и сам г. Кривенко... причем, од-

нако, он, подобно г. Щербине, оперирует просто над средними цифрами, соединяющими вместе различнейшие типы хозяйств, и таким образом прикрывает совершенно их разложение»¹.

Сегодня, спустя семьдесят пять лет, недопустимость спекуляций со средними величинами очевидна любому добросовестному статистiku. У. Дж. Рейхман в своей книге посвящает этой теме специальную — и весьма критическую — главу «Перегруженная средняя». Он пишет, в частности: «...бессмысленно называть величину в 500 фунтов стерлингов в качестве среднего дохода трех лиц, индивидуальные заработки которых равны соответственно 1000, 300 и 200 фунтов стерлингов. Получатели этих доходов находятся явно в разных группах, а названная средняя величина включает их в совершенно новую группу».

Особенно злые насмешки вызывают у Рейхмана ухватки буржуазной рекламы, которая обычно использует цифры для того, чтобы придать больший вес своим утверждениям. Однако главная цель книги — не в разоблачении вздорных недобросовестных проделок с цифрами. Хотя местами она читается как фельетон и, кстати сказать, везде читается легко, по существу это — популярный учебник статистики, полезный каждому, кто встречается со статистическими материалами хотя бы лишь на страницах

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 225.

газет. Ибо требуется определенный минимум знаний не только для того, чтобы собирать и обрабатывать статистическую информацию, но для того, чтобы воспринимать ее, чтобы правильно понимать значение тех или иных цифр, а также по возможности самостоятельно оценивать их вероятную достоверность.

Рейхман предостерегает от двух крайностей: одни читатели полагают, что статистические данные непогрешимы и их можно принимать на веру безоговорочно, другие уверены, что можно сфабриковать любые статистические данные. Он поясняет: «Понимание того, что статистика должна подвергаться сомнению, является очевидной предпосылкой к формулированию тех вопросов, которые следует задавать, и выступает поэтому само по себе в качестве важнейшего фактора при интерпретации статистических данных».

А вот и вопросы, которые предлагается ставить: «При рассмотрении публикуемых статистических данных в первую очередь следует выяснить следующие вопросы: кто это сказал, что он сказал, что он не сказал и каковы его основания? Иногда возникает соблазн, кроме того, спросить, знал ли он, о чем говорит! Абсолютная точность последующих вычислений ничего не дает, если исходные данные неправильны и во всех отношениях ненадежны. Очень важно иметь представление о происхождении данных, а также знать, для кого и с какой целью их собирали».

С этими рассуждениями прямо перекликается рассказанная Рейхманом история об ошибке американского журнала, предсказавшего сокрушительное поражение Франклина Д. Рузвельта на президентских выборах 1936 года. В тот раз Рузвельт одержал одну из самых убедительных побед в истории США. Между тем при опросе, который провел журнал, была взята огромная выборка, во много раз превышающая все нормы, требуемые строгой наукой. Журнал опросил 10 миллионов человек, из них свыше двух миллионов ответили на предвыборные анкеты. Как выяснилось, ошибка была в самом принципе отбора опрашиваемых. Журнал опросил своих читателей, а также владельцев телефонов, чьи адреса были в справочниках. Взгляды читателей журнала определялись его направлением. Что же до владельцев телефонов, то таковых, очевид-

но, было меньше среди сторонников Рузвельта, опиравшегося на широкие демократические слои. Их мнение не было учтено в прогнозах. Мнимая широта опроса обернулась ограниченностью.

Одна из самых сложных и в то же время самых интересных глав книги — глава «Реален ли индекс?». Она дает, пожалуй, наиболее яркое представление о действительных трудностях работы с цифрами, о широте и вместе — ограниченности возможностей статистики. Простейший условный пример расчета индекса цен на основе всего лишь двух товаров (на практике в Англии, например, регулярной оценке подлежат около трехсот пятидесяти видов товаров и услуг) — этот пример показывает, сколько опасностей подстерегает статистика при расчете, в частности, индексов розничных цен. Расчеты по двум разным методам (оба метода выглядят безошибочными) дают совершенно противоположные результаты: в одном случае получается, что средний индекс цен повысился, в другом — понизился. На самом деле неверны оба метода и оба результата. Книга показывает, как избежать ошибок, как проверить правильность расчетов, а главное — как отточиться к индексам вообще, имея в виду неизбежную здесь долю условности.

Известно, что, скажем, индекс темпов прироста промышленной продукции в той или иной стране, взятый изолированно от прочих данных, мало о чем говорит. Надо посмотреть, в какой степени это достигается за счет повышения производительности труда и в какой — за счет увеличения численности работающих. Надо, далее, изучить распределение национального дохода. Одно дело, если при определенном темпе прироста производства накопление забирает, скажем, лишь 15 процентов национального дохода, оставляя 85 процентов потреблению. И совсем другое дело, если тот же прирост производства требует накопления на уровне 30 процентов национального дохода. Ясно, что во втором случае достижение экономики (при прочих равных условиях) соответственно меньше. Надо учесть и много других данных, прежде чем решить, можно ли считать те или иные темпы прироста продукции высокими или низкими.

Все это любому грамотному работнику хозяйства известно. Но человек, незнакомый со статистикой, может не знать, насколько

приблизительна, по самим условиям расчета, сама эта отдельная цифра — индекс прироста промышленной продукции. Нельзя же сложить сталь в тоннах, пирожные в штуках и ситец в метрах. Надо усреднять индексы по отдельным отраслям. Для этого надо их объективно «взвешивать», то есть определять долю этих отраслей во всей промышленности. Надо обоснованно подобрать круг отраслей, на основе которых ведется счет. Притом отраслевая структура промышленности разных стран различна — это создает особые проблемы при межгосударственных сопоставлениях, да и она с годами меняется, — отсюда новая проблема сопоставления данных по годам.

Рейхман приводит такой пример. В США индекс промышленного производства, подготовленный Федеральным резервным управлением, опираясь на уровень 1947 года в качестве базисного. Вышло, что в июне 1958 года уровень производства был на 55 процентов выше, чем в 1947 году. По новому индексу с новой структурой, основанной на данных о промышленном производстве за 1957 год, прирост за тот же период составил 66 процентов. Степень «уточнения» говорит сама за себя. Но здесь не было ни обмана, ни ошибки, которую можно было заметить заранее. Разница была вызвана главным образом расширением круга учтенных отраслей, введением новых рядов и новым взвешиванием составных частей индекса с учетом данных 1957 года.

Значит ли это, что данные статистики вообще ничего не стоят? Никим образом. Просто не надо видеть в цифрах нечто большее, чем они означают на самом деле. «Действительное искусство статистического анализа, — пишет Рейхман, — проявляется тогда, когда точные данные недоступны». А

это для Англии не такая уж редкая ситуация — примером может служить упомянутое автором стремление многих предпринимателей скрыть от налоговой инспекции свои фактические доходы.

Рейхман, конечно, ни в коей мере не ни-спровергатель основ, не обличитель капиталистического строя. Он просто честный статистик. Но и это не так уж мало. Многочисленные факты, привлекаемые им лишь в качестве иллюстраций, сами по себе говорят о многом. Вот он приводит случай, когда в одной компании провели расчет средней зарплаты разных групп персонала в соответствии с новой методикой, и обнаружилось, что оплата многих работников ниже, чем в других компаниях. Казалось бы, надо повышать ставки. Ничуть не бывало! Работник, проводивший тарификацию, медленно переделал всю работу заново. «Если вам не нравится ответ, просто измените определение» — в таких словах обобщает Рейхман подобный способ действия, называя его худшим видом злоупотребления статистическими данными.

Книга Рейхмана — третья в серии «Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков», затеянной издательством «Статистика». Там же выходит другая серия: «Новейшие зарубежные статистические исследования». Рассчитанная на более подготовленного читателя, включающая такие капитальные труды, как монография П. Студенского «Доход наций», эта вторая серия заслуживает отдельного внимательного рассмотрения. Одно несомненно: в обоих случаях издательство ведет работу интересную и важную не только для статистиков.

О. ЛАЦИС.



ОТ ФАКТА К ГИПОТЕЗЕ

В. А. Бронштэн. *Беседы о космосе и гипотезах.* «Наука». М. 1968. 240 стр.

Эта книга развивается как бы в трех планах. Во-первых, она рассказывает о проблемах современной астрономии и раскрывает нелегкий путь астрономической мысли от мифологии к нынешним теориям. Во-вторых, она касается общих методов и закономерностей научного познания. В-третьих, по признанию автора, она яв-

ляется «одним из мероприятий для борьбы с гипотезоманией».

Основная трудность научно-популярного жанра связана с необходимостью сочетать простоту изложения с максимальным приближением к уровню современной науки. В. А. Бронштэн с этой задачей справился вполне. В отличие от многих популяризатор-

ров он не столько восторгается достижениями астрофизики и космогонии, сколько показывает многочисленные трудности, с которыми сталкиваются ученые, постоянно уточняющие свои гипотезы в соответствии с новыми фактами. В столкновении идей, в борьбе мнений, в нарастающей лавине фактов читателю открывается «живая» астрономия, в которой (как и в любой науке) неизведанного и спорного несравненно больше, чем достигнутого. В книге рассказана история астрономических гипотез, судьбы которых — это как бы сюжетные линии, прослеживаемые В. А. Бронштэнном с большим мастерством.

Главное внимание уделено зарождению и развитию научных взглядов на происхождение Земли (и в связи с этим солнечной системы) — от гипотез Бюффона, Канта и Лапласа до современной гипотезы О. Ю. Шмидта. При этом космогонические идеи представлены не как более или менее остроумные догадки или наития, а как результат систематизации и обработки фактов. Рассказ о проблемах, встающих перед учеными, сопровождается несложными математическими расчетами, которые делают изложение более понятным и убедительным.

Подробно изложив историю и суть гипотезы О. Ю. Шмидта, В. А. Бронштэн, к сожалению, лишь вскользь упоминает другие современные космогонические идеи. В частности, гипотезе Ф. Хойла посвящена одна лишь фраза, тогда как, по мнению известного советского астрофизика И. С. Шкловского, «эта гипотеза самая перспективная из всех, распространенных в наше время». Не рассказано о сравнительно недавно открытой нестационарности звездных объектов (космические катастрофы) — явлении очень интересном, заставляющем корректировать ряд прежних гипотез о происхождении солнц и планет (на это настойчиво указывает академик В. А. Амбарцумян). И еще: в книге почти ничего не сказано о химии космоса (сравнительном составе звезд и планет, происхождении и эволюции химических элементов и т. д.). Однако таких очевидных упущений немного. В сравнительно небольшой по объему книге В. А. Бронштэн сообщает множество сведений о строении и динамике солнечной системы, о знаменитых марсианских «каналах», о загадочной облачной Венере. Рассказывая о «столет-

ней войне» сторонников метеоритного и вулканического происхождения лунных кратеров, В. А. Бронштэн излагает собственную (совместно с К. П. Станюковичем) гипотезу, которая как бы примиряет два враждующих мнения: лунные кратеры могли возникнуть при ударах метеоритов и последующей, стимулированной этими ударами вулканической деятельности.

В научно-популярном аспекте книга почти безупречна. Ошибки и неточности редки (их трудно избежать в популярном исследовании, охватывающем обширную область знаний). Например, Бюффону приписывается мнение о том, что Земля образовалась «по крайней мере много миллионов лет назад». В действительности у Бюффона фигурирует «огромная длительность в 75000 лет». Слишком категоричным представляется вывод: «Радиоактивный распад — вот основной источник внутреннего тепла Земли». Небезупречны и некоторые другие фразы автора: «Никто никогда не видел не только бога...» (по канонам почти всех религий бог «безвиден», вездесущ и т. д.), «Сам процесс образования планет представляется как нагромождение такой цепи обстоятельств, что отсюда — один шаг до признания участия в этом процессе некоего «высшего разума» (но проявление «высшего разума» теологи склонны видеть скорее в закономерностях космоса, нежели в случайностях)...

В книге даны определения теории, гипотезы и фантазии, помогающие читателю выяснить особенности научного познания.

Следовало бы, пожалуй, упомянуть и об основе всякой науки — эмпирическом обобщении фактов. «Эмпирическое обобщение, — указывал академик В. И. Вернадский, — опирается на факты, индуктивным путем собранные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирическое обобщение не отличается от научно установленного факта: их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует, а противоречие с ними составляет научное открытие... Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для ее построения».

Итак, в гипотезе, естественно, содержится значительная доля фантазии. Для соз-

дания любой гипотезы требуется умение фантазировать. Умение это надо воспитывать — особенно у школьников и студентов. Вот почему может показаться излишне резкой отповедь любителям «гипотезировать»: «Совершенно бесплодны и бесполезны «доморощенные» гипотезы любителей и дилетантов». Это заключение В. А. Бронштэна предваряется еще более суровыми словами редактора книги, известного советского физика К. П. Станюковича: «...сотни дилетантов почему-то считают себя вправе сочинять гипотезы о строении Вселенной, об элементарных частицах, о происхождении солнечной системы... И не только сочиняют, но еще требуют (подчас весьма настойчиво) их опубликования». Можно понять негодование ученых, которых осаждают графоманы, пытающиеся всеми средствами «протолкнуть» свои подчас безграмотные, бредовые идеи. Но ведь среди любителей есть и люди ненавязчивые и самокритичные, бескорыстные в своей любви к науке или даже готовящие себя к научным исследованиям. Кстати сказать, научно-популярные произведения в значительной мере рассчитаны именно на эту категорию читателей.

И все-таки гипотезомания не так уж безобидна. Тысячи рабочих часов затрачивают ученые самых разных специальностей на ответы гипотезоманам, на опровержение их малограмотных идей. Гипотезоманию поощряют и претензии отдельных философов (и не только философов) решать судьбу научных теорий или даже целых наук в угоду своим домыслам, «общим соображениям» и т. п. Это, пожалуй, худшее, опаснейшее проявление воинствующего дилетантизма, нанесшее в недавнем прошлом жестокие удары по нашей науке и практике.

Самое действенное средство против гипотезомании — просвещение, воспитание ува-

жения к науке, широкие и свободные от предвзятости научные дискуссии. Чем больше будет научно-популярных книг, подобных рецензируемой, тем меньше останется охотников за легкой славой на трудной, тернистой стезе науки. К сожалению, тираж подобных книг обычно сравнительно скромен и проходят такие книги незаметно. В то же время подчас весьма сомнительные гипотезы воспаляют воображение журналистов и редакторов и распространяются в изданиях, тираж которых исчисляется шестизначными цифрами. Такое несоответствие научной значимости идеи и ее популяризации (В. А. Бронштэн подробно анализирует сущность и судьбу «гипотезы» А. П. Казанцева о происхождении тунгусского метеорита) особенно печально сказывается на умах школьников, принимающих подобные спекулятивные идеи за чистую монету. Тем более это относится к нашим школьникам, воспитываемым в духе глубокого доверия к общественной печати.

У нашего школьного воспитания есть недостаток, открывающий путь для «гипотезомании». Авторы школьных учебников и учителя часто преподносят научные гипотезы и теории как нечто завершенное, общепринятое, бесспорное. Подобная стерилизация «учебной науки» в сочетании с неизбежным в учебниках упрощением делает особенно привлекательными для школьника «смелые» и яркие фантастические гипотезы.

Надо учить в первую очередь научному методу познания, научному мышлению — умению сомневаться, критически осмысливать идеи, свои и чужие. Этому и учит читателя книга В. А. Бронштэна, в чем, пожалуй, и состоит одно из главных ее достоинств.

Р. БАЛАНДИН.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОНН ОИ ПСОУЧТБЪ

В октябрьской книжке «Нового мира» за 1967 год под заглавием «Побег из колчаковской тюрьмы» были напечатаны «Биография и приключения Бартова Александра Степановича, родившегося в 1884 году 12 августа в бывшей д. Бартово...».

В своих воспоминаниях А. С. Бартов рассказывает о том, как солдатом царской армии в 1917 году очутился в Петрограде, был в числе встречавших В. И. Ленина на площади Финляндского вокзала; как, будучи демобилизованным, стал в родных местах председателем земотдела, был арестован и увезен отступавшими колчаковцами на барже, превращенной в тюрьму; как бежал с этой баржи, бросившись через борт, и как, после всех злоключений и мук в скитаниях нагишом по неизвестной местности, был одет, накормлен и укрыт жителями до прихода Красной Армии.

В нынешнем году А. С. Бартов был в числе почетных гостей в Тюмени на праздновании пятидесятой годовщины освобождения области от колчаковцев, совпавшем с его восьмидесятипятилетием. Об этом он и сообщает в своем письме.

Как и «Биография...», письмо публикуется с сохранением особенностей его стилистики, внесены лишь самые необходимые поправки в тексте.

Дорогая редакция!

Приношу вам сердечную благодарность в том, что благодаря вашей заботе была в журнале «Новый мир» моя биография.

8 августа с. г. было в Тюмени торжество 50 лет освобождения от колчаковских банд.

И меня нашли в том журнале... и приглашали на юбилейные торжества.

Всего с этой баржи в живых осталось нас шесть человек.

Нам было оказано очень большое гостеприимство. Дороги вперед и обратно оплатили и даже суточные, питание пять дней в главной гостинице было бесплатное.

На катере ездили на то место по реке Туре, где было наше восстание. Там стоит, хотя деревянный, памятник.

На катере были корреспондент ТАСС и корреспондент Свердловской киностудии, так что будет киножурнал.

На торжестве мы были приглашены в президиум, нам поднесли букеты цветов. В комнатах, где мы находились, тоже были букеты цветов. Среди приглашенных были многие, которые освобождали Тюмень, были два генерала.

После торжественного вечера пригласили нас всех на обед.

Это из той деревни Матуши, где было восстание, был мужчина — нацмен, который дал мне штаны, он в прошлый год помер (а его жена еще жива, я с ней сфотографировался). Этот мужчина хоронил наших, которые погибли при побеге, всех трупов было тридцать шесть. Из шести человек, которые приехали на торжество, только трое вышли тогда на берег, а трое были освобождены в Томске. Они ехали до Томска 45 дней, из 1200 человек доехало до Томска всего 170, остальные умерли на барже или были расстреляны и брошены в реку. В д. Матушах я был теперь двое суток. В клубе, бывшей мечети, нашло народу до отказа — все хотели посмотреть на восьмидесятипятилетнего бывшего колчаковского узника. Я выступил, сколько мог. Аплодисментам не было конца. Кстати, там нашелся фотограф, юноша лет семнадцати. И там в мечети было несколько

букетов из живых цветов. И так мое пребывание в Тюмени было очень радостным и трогательным до слез. Я пережил такие минуты за восемьдесят пять лет впервые и незабываемо 12 августа. Я в той деревне отметил свое восьмидесятипятилетие.

В хорошем настроении хозяйка дома, учительница, хозяин, рыбак, угостили хорошей свежей рыбой, а я московской.

Сердцем и душой приношу вам такую благодарность, сказать не в силах. Я не видел такой чести и радости и больше ее не увижу до гроба.

С искренним почтением, известный вам

Бартов А. С.

30.VIII.69 г.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА. Грамши. «Молодая гвардия». М. 1968. 190 стр.

«Без наставлений Грамши наше развитие было бы более трудным, более мучительным, более медленным. Грамши вел и ведет нас вперед не только своей мыслью, но и примером всей своей жизни...» (Тольятти).

Книга А. Голембы знакомит нас с биографией этого выдающегося марксиста-ленинца, основателя Итальянской коммунистической партии. Детство в бедной многодетной семье в захолустном местечке Гиларце, в Сардинии; гимназия, лицей, Туринский университет, революционная борьба и трагическая смерть в сорокашестилетнем возрасте после десяти с лишним лет тюремных страданий.

Туринскому периоду в жизни Антонио Грамши отведено в книге особое место. Здесь в университете были заложены основы его энциклопедического образования, и здесь же, в Турине, он, по выражению Тольятти, пошел на выучку к молодому революционному пролетариату. Несмотря на то, что научные занятия увлекали Грамши и он подавал большие надежды в области языкознания, после окончания университета он целиком отдается революционной борьбе. Наибольший размах пропагандистская, публицистическая деятельность Грамши приобрела в «Ордине Нуово», печатном органе, который Грамши основал вместе с группой своих единомышленников. По приведенным в книге воспоминаниям, редакторский кабинет в «Ордине Нуово» стал руководящим центром пролетарского итальянского движения. Через «Ордине Нуово» Грамши организовал и возглавил движение фабрично-заводских советов, которые, по его идее, развившись и приняв на себя новые функции, должны были стать органами пролетарской власти и взять в свои руки техническое руководство производством.

Освещен в книге и период фашистской диктатуры в Италии. Читатель найдет здесь и анализ исторических предпосылок, которые привели фашизм к власти, и картину фашистского террора, и портрет Бенито Муссолини. Четко показана руководящая роль Грамши в антифашистском движении.

Использованные автором воспоминания соратников Грамши и его письма обогащают наше представление о Грамши-человеке.

В письмах ярко проявляется его юмор, способность к тонкому психологическому анализу, к образному мышлению, и за всем этим угадывается нежная, легко ранимая душа.

Книга А. Голембы дает читателю довольно отчетливое представление о Грамши — теоретике и стратеге итальянского рабочего движения. Жаль, однако, что недостаточно конкретно показана та идейная атмосфера, в которой формировалось философское мировоззрение Грамши. В первую очередь это касается философско-эстетических взглядов Бенедетто Кроче, который в свое время оказывал сильное влияние на молодого Грамши и которого он впоследствии подверг серьезной марксистской критике. На наш взгляд, автору следовало бы чаще представлять слово своему герою. Так, например, критикуя итальянскую социалистическую партию, автор не обратился к той меткой и выразительной характеристике ее противоречий, которую дал Грамши.

Не совсем удачно использованы и знаменитые «Тюремные тетради» Грамши. В погоне за популярностью автор иногда упрощает и обесцвечивает некоторые его высказывания. Следовало бы шире использовать наследие Грамши в области эстетики.

Небезупречен язык книги, особенно первых ее глав. Здесь встречаются фразы и отдельные слова, не соответствующие ни излагаемому материалу, ни общему стилю повествования. Например: «Антонио любил паннетоне (сладкие хлебцы.—Е. Г.) и еще нежнее любил свою маму Беппину».

Интерес к жизни и деятельности великого итальянского революционера заметно возрос у нас в последние годы. Книга А. Голембы — новое свидетельство этого интереса и попытка хотя бы отчасти его удовлетворить.

Е. Городецкая.

★

АЛЕКСАНДР ДРАКОХРУСТ. И нет конца тревогам. Стихи. «Беларусь». Минск. 1969. 70 стр.

Не так уж часто слагаются стихи об армии мирных лет. Озарения подвига поэзия, как видно, предпочитает регламентированным часам службы. Но есть все-таки связь между минутами взлета и этими часами;

давняя ратная истина — путь к подвигу начинается на учебном плацу — и в атомном веке не списана в тираж. Надо уловить, постичь, почувствовать эту связь — и тогда открывается поэзия тренировочных переходов, ночных полетов, занятий, «максимально приближенных к боевой обстановке».

Новый сборник Александра Дракохруста, как и предыдущие, об армии — той, что, когда-то откатившись до Волги, дошла до Берлина, и той, что сегодня поглощена своим размеренным уставным бытом. Для поэта это не две армии — одна. Ему важен не водораздел, а слияние, связь. «Бесстрашные цветы» на учебном стрельбище «привыкли, как фронтовики, ко всем косоприцельным и кинжальным». Связь прихотлива, многосложна, подчас драматична; солдатка, двадцать лет тшечно ждавшая мужа, видит молодых веселых бойцов, слышит обращенное к ней: «мамаша»...

Всего сильнее эта связь — в чувстве зависимости живых от погибших. Это чувство горькое. Но не только. Оно способно дать силы, приумножить волю.

Держись, держись, окопный побратим! —
Ведь мы с тобой давно привыкли к риску.

На каждом шагу миной взрывается память, и мирная дорога снова и снова преобразается в дорогу войны. Тихое, привычное, успокаивающее — обманчиво. В нем таятся давние грозы и, быть может, грядущие.

Гром —
и капля падает первая
Оглушительно,
как снаряд.

Судя по рецензируемому сборнику, у поэта есть любимый, вечно манящий край — Дальний Восток. Но таежные тропы Арсеньева, старые замки неотвратимо ведут к тому, что стало жизнью, памятью, поэзией. Да и сам Дальний Восток — не экзотика, а настороженная приграничная реальность.

Образный строй большинства стихов продиктован фронтовым, армейским укладом, природа часто словно бы увидена наметанным глазом офицера с наблюдательного пункта. Разумеется, это не всегда обогащает строки, иногда это чреватое повторами, однообразием. Однако тут нет оснований упрекать автора в бедности средств и возможностей. Скорее здесь другое — сосредоточенность на одном, призвание, ставшее второй натурой. А. Дракохруст не только воспевает армию — он в ней слушит, она заполняет его дни и ночи. Называя сборник «И нет конца тревогам», он говорит и об армии и о себе. Его стихи всегда тревожны — не наигранно, а по сути своей тревожны. Так он живет и пишет — один из поэтов, рожденных войной, сформированных послевоенными годами.

В. К.



КУЛЬТУРА ЧУВСТВ. Сборник статей. «Искусство». М. 1968. 256 стр.

Хотя с каждым годом растет число людей, получивших не только среднее, но и высшее образование, уровень их специальных знаний зачастую оказывается значительно выше их духовной культуры. Наблюдаемое несоответствие имеет у нас иные, чем в буржуазном обществе, причины. Тем не менее оно налицо, и чтобы его преодолеть, необходимо прежде всего разносторонне и объективно его исследовать.

Этой теме посвящен сборник «Культура чувств» (составление и общая редакция В. Толстых). Статьи для него написали двенадцать авторов, в числе которых философы и писатели, кинорежиссер и балерина, искусствовед и художник, архитектор и педагог. Каждый из них, естественно, оттеняет те стороны проблемы, которые ему ближе по характеру деятельности, по кругу интересов и размышлений.

Об «отставании» культуры чувств от освоения научных и технических знаний говорят, по сути дела, все авторы сборника. «В наше время образованный человек не в диковинку, но культурный — встречается реже», — говорит артист балета Лев Голованов. «Духовное воспитание у нас в заgone», — утверждает драматург В. Розов. Низкая эмоциональная культура расценивается авторами сборника не только как личная беда того или иного человека, но как серьезная общественная проблема.

Статья философа Э. Ильенкова «Почему мне это не нравится» — одна из самых интересных в сборнике. Основу ее составляет памфлет, озаглавленный «Тайна черного ящика. Философско-кибернетический кошмар». Э. Ильенков полемизирует с некоторыми учеными, утверждающими, что возможно создание машины «сверхчеловек», превосходящей по своим аналитическим и синтезирующим возможностям не только отдельного человека, но даже общество в целом. Мысль о создании такого сверхчеловека неизбежно ведет к обожествлению техники, которое ничуть не лучше любой другой религии. «Машина, — пишет автор, — как бы она совершенна ни была, не вывезет. Не избавит она нас от необходимости думать над проклятыми вопросами. Ибо вопрос об отношении человека и машины как был, так и остается лишь иносказательной постановкой вопроса об отношении человека к человеку».

Оригинальна по форме статья К. Канавой, представляющая собой переписку Страстей с Мордастями, то есть благородных, добрых страстей с дурными. В одном из первых писем Страсти излагают своего рода «типологию» Мордастей. Существуют, например, мордасти «научные». Это «неумение вести диалог, искать истину в споре, неуважение точки зрения оппонентов». История гонений генетиков в биологии показывает, что от игнорирования научных принципов ведения полемики к «битью по мордасам» — один шаг. Или, ска-

жем, мордасти «издательские»: «...автор написал одно, а из печати выходит другое, более или менее «измордованное» Приводится пример редакторской правки, стерилизующей мысль автора настолько, что критика превращается едва ли не в комплимент.

В спор между Страстями и Мордастями вовлекаются разбор произведения литературы, театра и кино. «Добрая сила искусства состоит в пробуждении и облагораживании страстей, оно должно и говорить о страсти и быть страстным», — пишет К. Канаева. Однако автор не ставит вопроса о причинах живучести дурных страстей, ханжества, воинствующей тупости, пошлости, всего того, что совокупно именуется мешанством. Между тем, не ответив на этот главный вопрос, довольно трудно выяснить и реальные возможности искусства как средства преодоления бездуховности. Думается во всяком случае, что излишний оптимизм тут ничуть не полезен. Как бы ни была велика идейная, эстетическая, эстетическая сила подлинного искусства, оно одно не в состоянии преодолеть «отставание» духовной культуры, если развитию этой культуры не способствуют все факторы жизни общества.

Органически вошел в книгу монтаж выдержек из произведений покойного Михаила Михайловича Пришвина, его размышлений о связи и отношениях человека и природы, о ее роли в формировании его внутреннего мира. Размышления писателя и кинорежиссера Василия Шукшина о том, кого можно назвать интеллигентным человеком, о выходе из деревни, его встрече с городом, о возможных путях его приобщения к настоящей городской культуре затрагивают мало освещенную область, основательно продуманную автором на собственном жизненном опыте. Наблюдения педагога М. Ценципера над детьми школьного возраста, разбор ошибок родителей и учителей показывают вред формализма, «педагогической бутафории», невнимания к чувствам ребенка.

В. Толстых справедливо пишет, что предлагаемая книга — лишь попытка начать обсуждение большой темы, живой разговор о подмеченных фактах, который настоятельно требует более фундаментального продолжения.

Ф. Левин.

★

НИК. СМОРНОВ. Золотой Плес. «Советский писатель». М. 1969. 392 стр.

Николай Павлович Смирнов принадлежит к старшему поколению советских писателей — он начал свою журналистскую и писательскую деятельность еще в первые годы советской власти. Почти в любой его вещи неизменно присутствует родная природа, которая для него не просто фон того или иного события, а как бы источник действия, нравственная основа человеческого бытия «Любовь к природе кажется мне столь же

органической, как, например, любовь к красоте», — говорит Н. Смирнов.

В книге «Золотой Плес» собраны произведения, наиболее характерные для писателя. Здесь короткие новеллы: «Грачи прилетели», «Ледоход», «Подснежники», «Дуб распускается», «Аромат лета», «Стрижи унесли лето», «Рыжик полз...» и другие. В них — точное описание жизни природы: неизменной смены времен года, вечного обновления земли, каждый раз поражающего красками и запахами, дающего силы для нового круга работ на земле.

Раздел «Из детских и юношеских воспоминаний» состоит как бы из отдельных фрагментов — сохраненных памятью, дорогих сердцу картин прошлого, не связанных единым сюжетом или даже биографической канвой, но объединенных лирической интонацией рассказчика, с грустью и нежностью вспоминающего подробности быта большой и дружной семьи, в которой он рос, воссоздающего атмосферу среды, окружавшей его, проникновенно рисующего пейзажи родного Плеса на Волге.

Немало страниц в этих воспоминаниях, да и во всей книге отдано охоте, к которой писатель страстно привязан с детских лет. Написанные живо, с подкупающей непосредственностью, они заставляют читателя в полной мере пережить вместе с рассказчиком и охотничий азарт, и чувство наслаждения природой.

С воспоминаниями детства тесно связана и повесть «Золотой Плес», открывающая сборник. Она посвящена художнику Левитану, точнее, тому периоду его жизни, когда он, находясь в Плесе, в течение всего лишь одного лета и осени создал двадцать три картины, и среди них свои лучшие полотна: «Золотой Плес», «Тихая обитель», «Осень. Мельница».

«Я с совершенно необъяснимым чувством смотрел на дом, где обитали Исаак Ильич и Софья Петровна, — с любопытством оглядывал и стоявший неподалеку огромный купеческий особняк под красной крышей, увеченный на картине «Золотой Плес»... И страстно хотелось рассказать обо всем этом, воскресить в слове те далекие-далекие годы», — пишет автор в кратком вступлении к повести. Взяв за основу то, что он слышал о Левитане с детства (родные Н. П. Смирнова были знакомы с художником), автор дополнил эти устные рассказы мемуарными источниками, а в некоторых местах, как говорит он, «и материалом воображения».

Читатель найдет в повести много интересных подробностей из жизни Левитана, познакомится с людьми, с которыми он был дружен, с обстановкой и хозяевами дома, где он жил, и, несомненно, почувствует, почему именно в Плесе художник создал свои лучшие полотна. «Ваше описание Плеса меня восхитило, и я очень жалею, что я там не бывала. Я только побывала в нем, читая Вашу вещь», — пишет В. Н. Бунина (жена И. А. Бунина) в письме к Н. Смирнову (ранее «Золотой Плес» печатался в сборни-

ке «Охотничьи просторы», в котором Бунина и прочла эту повесть,— см. «Новый мир», № 3, 1969).

Возможно, что исследователи жизни и творчества Левитана найдут в повести Н. Смирнова какие-то упущения, возможно, что они не согласятся с трактовкой образа художника или, к примеру, его взаимоотношений с Софьей Петровной Кувшинниковой. Но писатель вправе дать свое, выношенное им понимание образа. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но нельзя не отдать должного тому, с какой увлеченностью и вместе с тем с каким тактом воссоздает этот образ Н. Смирнов.

Заключают сборник мемуарные записи. Это воспоминания уже более поздних лет, в которых Н. Смирнов рассказывает о своих друзьях — М. Пришвине, А. Новикове-Прибое, В. Правдухине, П. Ширяеве — писателях, как и он, любивших природу, охоту, посвятивших им многие годы своей жизни и многие страницы своих книг.

Г. Койранская.

★

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ КАЛЛИНИКОВИЧЕ ГУДЗИИ. Издательство Московского университета. 1968. 182 стр.

Николай Каллинович за кафедрой был не очень похож на человека за кафедрой — как будто не замечая ее, он непринужденно, с горячим воодушевлением и в то же время с редкой артистичностью читал лекцию; даже не «читал», а рассказывал как о чем-то очень личном — и о чем! — о памятниках древнерусской литературы. Говорил о любимом своем огнепальном протопопе Аввакуме, о многотрудном, подвижническом его житии, о том, как возвращался он с протопопией из сибирской ссылки (шли «голые и томные»), как протопопица, упав, спросила: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» — и как он сказал: «Марковна, до самая смерти!» — и она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

А какое веселье наступало в аудитории, когда Н. К. Гудзий разбирал историю о российском дворянине Фроле Скобееве, о плутовских его проделках, отважных авантюрах и хитростях, коими он добивается совершенно «роскошной» жизни.

Гудзий не только создал университетский курс древнерусской литературы. Его учебник, сохраняя всю, так сказать, поучительность пособия, читается как живая, увлекательная книга. Не случайно автор остался равнодушным к вульгарному социологизму с его абстракциями и к формалистическим изысканиям.

Читая книгу воспоминаний о Н. К. Гудзии, мы проследиваем весь путь ученого — занятия в киевском семинарии академика В. Н. Перетца, преподавание в Московском институте истории, философии и литературы, работа над рукописями Льва Толстого. Всюду для него главное — радость непосред-

ственного восприятия художественного произведения. «Трудно передать захватывающее, радостное волнение,— признавался Н. К. Гудзий,— которое испытывал тот, перед кем воочию раскрывался процесс писательской работы гения, его творческая лаборатория, впечатлевшаяся в громадном количестве черновых вариантов, в ряде предварительных редакций, содержащих драгоценные, впервые обнаруженные тексты...»

Авторы воспоминаний — друзья и коллеги ученого, литературоведы разных поколений: маститые исследователи В. В. Виноградов, В. П. Адрианова-Перетц, М. П. Алексеев, П. Г. Богатырев, представители следующего поколения — Б. И. Бурсов, А. Н. Соколов, Д. С. Липхачев, В. Д. Кузьмина и более молодые А. Н. Робинсон, Л. Д. Опульская и многие другие.

Возникает образ знатока литературы, всегда прямого, откровенного в своих суждениях, вспыльчивого, отходчивого, доброго и как-то удивительно, изящно порядочного. Он был окружен любовью самых разных людей. В чем тут секрет? Наверное, в том, что Н. К. Гудзий, будучи человеком науки, остался человеком науки.

З. Паперный.

★

О. В. ОРЛИК. Россия и французская революция 1830 года. «Мысль». М. 1968. 214 стр.

Революция 1830 года во Франции разразилась в период интенсивной умственной работы в среде передового русского общества. Отклики на эту революцию позволяют нам яснее представить себе ход развития общественной мысли в России того времени, точнее определить общественную позицию того или иного из русских прогрессивных деятелей, лучше понять его взгляды как на народ, так и на революцию, ее цели и средства.

Правда, помимо России передовой и прогрессивной, была еще Россия консервативная и монархическая. Этой другой России вторичное свержение Бурбонов во Франции причинило немало забот и волнений. А последовавшее за ним восстание в Варшаве, проходившее под лозунгом «За нашу и вашу свободу!», привело Николая I уже в форменное бешенство. Солдатский штык, этот решающий аргумент, к которому «жандарм Европы» и до и после 1830 года не раз прибегал в спорах с демократическими движениями как у себя в стране, так и за границей, восстановил в Польше «порядок». Но достать этим штыком восставшую Францию (поначалу Николай намеревался послать туда экспедиционный корпус) царь уже не смог.

К сожалению, книга О. В. Орлик не дает нам полной возможности судить о том, как же откликнулась на известия о восстании во Франции Россия передовая, демократическая. Правда, в книге сообщается немало интересных фактов. Автор, например, на-

зывает М. А. Кологривова, М. М. Кирьякова и С. Д. Полторацкого — русских людей, с оружием в руках сражавшихся с войсками короля на улицах Парижа, излагает их биографии. Используя донесения жандармских агентов, исследовательница пытается установить и то, каким был отклик в России на события 1830 года среди широких народных масс. Однако она не берет на себя труд определить реальный вес среди народной молвы об этих событиях голосов тех людей, которые одобрительно оценивали свержение Бурбонов. Без такого уточнения картина народных откликов на революцию тридцатого года упрощается.

То же самое можно сказать и об откликах мыслящих людей России. «Более всего интересует меня в настоящий момент то, что происходит в Европе», — цитирует О. В. Орлик слова А. С. Пушкина из его письма к Е. М. Хитрово, подтверждающие, по ее мнению, революционность поэта, который «горячо приветствовал июльские революционные события, радовался победе французского народа». Однако если мы до конца прочтем процитированное письмо, то окажется, что отношение поэта к французской революции 1830 года было куда более сложным, нежели горячие приветствия и радость. Без учета этой реальной сложности (что относится, конечно, не только к Пушкину), без уяснения ее невозможно сколько-нибудь конкретно и полно представить себе характер влияния революции во Франции на передовую русскую мысль.

Г. Макаров.

★

М. Я. ГРИНБЛАТ. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. «Наука и техника». Минск. 1968. 288 стр.

Монография М. Я. Гринבלата посвящена происхождению белорусской народности, формированию особенностей ее национальной культуры и быта. Кроме данных истории и археологии, автор привлек материалы этнографии, фольклористики, топонимики, антропониими, лингвистики и других научных дисциплин. Многосторонний, комплексный характер исследования придает особую ценность этой книге, в работе над которой автор пользовался и результатами собственных полевых исследований, этнографическими и языковыми наблюдениями в Белоруссии на протяжении почти сорока лет.

По убеждению автора, такой комплексный подход является «наиболее приемлемым в исследовании этногенетических проблем», где требуется привлечение самого широкого круга источников. Книга рассматривает существенные стороны народной культуры, материальной и духовной, в ее наиболее характерных чертах и национальном своеобразии: орудия земледелия, типы жилищ, народная одежда, поэтическое творчество, религиозные верования, обычаи, аграрная и семейная обрядность.

Выявление особенностей, раскрытие самобытности каждой культуры, как убедительно показывает автор, вовсе не означает умаления взаимодействий и взаимозависимости культур соседних и нередко даже географически отдаленных народов, а тем более не подражает проповедь исключительности, особого пути развития отдельных наций. «Своим происхождением, а также истоками и формированием национальных особенностей своей культуры, так и собственной историей в целом, глубоко интересуется каждый народ», — пишет автор, и с этим замечанием нельзя не согласиться. Ученые союзных республик с успехом работают сейчас над этой проблематикой (сошлемся, в частности, на последнюю монографию украинского историка М. Ю. Брайчевского «Происхождение Руси». Киев, 1968).

Книга М. Я. Гринבלата является по своему характеру специальным исследованием, что объясняет несколько суховатый стиль изложения. Вместе с тем читатель давно ждет и более популярных книг о происхождении отдельных наций, об особенностях их психического склада, об их вкладе в мировую культуру, о своеобразии их жизни сегодня.

В. Война.

★

Г. БОЯДЖИЕВ. Итальянские тетради. «Искусство». М. 1968. 168 стр.

«Я летел в Италию на открытие выставки «Советский театр...» Такой вполне обычной, чтобы не сказать привычной, фразой начинает Г. Бояджиев свои «Итальянские тетради». Однако, открыв эту небольшую книжечку, с тактом и вкусом оформленную молодым художником М. Аникстом, вы уже не захотите выпустить ее из рук, дочитаете до конца. Вы почувствуете искреннее увлечение автора, который три десятка лет говорит об Италии на своих лекциях, знает об Италии очень много и наконец увидел эту страну сам, своими глазами.

Те, кому знакомо имя Г. Бояджиева — видного театроведа и театрального критика, — могли бы предположить, что «Итальянские тетради» — книга об итальянском театре. Но собственно театру посвящена лишь последняя, третья тетрадь. В ней автор рассказывает о встречах с итальянскими актерами и театральными деятелями, об острых и по существу очень глубоких спорах о современном театральном искусстве — его целях, принципах, формах, — которые вспыхивали на прочитанных им лекциях о советском театре. Автор очень подробно и увлекательно описывает виденные им в Италии спектакли, как всегда демонстрируя свое умение дать и читателю возможность «увидеть» то, что происходило на сцене. (Особенно это проявилось в описании «Мистеро» — композиции из старинных лауд на тему рождения и воскресения Христа, поставленной О. Коста.) В двух же первых тетрадях Г. Бояджиев делится впе-

чатлениями, мыслями и переживаниями, рожденными у него во время поездки по четырем итальянским городам — Милану, Венеции, Флоренции, Риму,— говорит о великих творениях итальянских мастеров, которые довелось ему посмотреть; и тем не менее книга пронизана театром в том непровержимом смысле, который был заключен в надписи на «Глобусе»: «Весь мир театр». Ибо в представших перед ним шедеврах живописи, скульптуры, архитектуры Г. Бояджиев увидел не просто запечатленный во времени момент, а разворачивающуюся во всех своих противоречиях и страстях, в кипении и борьбе, живую человеческую трагедию.

«...Плита нависла над черным зиянием могилы, сюда сейчас будет опущено тело Христа. Его держат на весу апостолы — Никодим и Иоанн, а богоматерь, Мария Магдалина и Мария — сестра Лазаря — оплакивают умершего. Все они — в горестном наклоне к Христу, только одна взметнула руки, будто глубокое сдержанное чувство всех вырвалось в ее отчаянном жесте». Разве это не сцена из какой-то ледящей душу драмы? Нет, это рассказ о картине Караваджо «Положение во гроб». Рассказ же о Сикстинской капелле Г. Бояджиев так и озаглавил: «Мистерия Сикстинской капеллы». Страницы эти раскрывают поистине вселенскую борьбу страстей, столкновение судеб, запечатленный на фресках трагический «театр мира». Перед читателем проходит целый сонм участников этого действия: пророки, сивиллы, апостолы, бог-творец, бог-сын, богоматерь, грешники, праведники — каждый в своей неповторимой индивидуальности, со своими страхами и надеждами. И как в драмах, написанных в любые далекие времена, оживают на театре талантом режиссера и актеров идеи и настроения, созвучные сидящим в зале зрителям, так и Г. Бояджиев, говоря о произведениях мастеров Возрождения, приближает их к нам, обнажая в них смутные, тревогу, сомнения и упования человека нашего времени. При этом он вовсе не «олитературирует» произведения пространственных искусств, оставляя нас в мире пластики и красок.

Наверное, можно еще многое сказать об этой небольшой книжечке. Но лучше посоветовать прочитать «Итальянские тетради».

Л. Кафанова.

★

Г. Г. ПОСПЕЛОВ. Русский портретный рисунок начала XIX века. «Искусство». М. 1967. 216 стр.

Некоторые из рисунков, о которых идет речь в рецензируемой книге, хорошо известны и уже давно стали классикой русского изобразительного творчества. Таковы в первую очередь многие листы, созданные О. А. Кипренским в первой половине 1810-х годов,— портреты П. А. Оленина, Н. В. Кочубей, А. Р. Томилова, А. П. Бакунина,

портреты, убеждающие своей простотой и естественностью, доставляющие радость встречи и с высоко поэтическим искусством, и с внутренним благородством изображенных людей. Перечисленные произведения — лишь совсем малая часть создававшихся в ту пору портретных рисунков. Цель, которую поставил перед собой и успешно решил Г. Г. Поспелов,— исследовать эту обширную область русского искусства начала XIX века в ее исторической закономерности и очень весомой самостоятельной художественной значимости.

Автор совершенно прав, подчеркивая на первых же страницах книги, что изучаемая им портретная галерея дает подлинную картину нравственной жизни русского общества в период антинаполеоновских войн и возникновения декабристского движения. И прав он не только в самой констатации указанного факта. Не менее существует здесь и сам принцип подхода к искусству — определить его роль в правдивом выражении свободололюбивых идеалов русской интеллигенции той эпохи. Этот аспект искусствоведческого (а отнюдь не только социально-исторического) анализа, непрестанно вовлекающий читателя в атмосферу духовной жизни России начала XIX века, выявлен в книге последовательно и наглядно.

Магериал, о котором идет речь в книге, достаточно многолик и разнообразен. Здесь и портретные рисунки таких художников, как А. Г. Венецианов и В. А. Тропинин, для которых подобные работы были не очень значительными эпизодами их творческой биографии. Специальная глава посвящена графическим листам А. О. Орловского, кстати сказать, предстоящим в интересной и своеобразной трактовке. В поле зрения автора, естественно, попадает и популярнейший в свое время крупный мастер акварельного портрета П. Ф. Соколов. Но главное внимание Г. Г. Поспелов уделяет Кипренскому, справедливо усматривая в его рисунках высшее достижение русской портретной графики начала XIX века. Тонкие наблюдения над графическим языком художника и его манерой использовать поверхность белого листа бумаги становятся надежной объективной основой образного анализа, нисколько не формализуя его, но и не давая превратиться в отвлеченные рассуждения «по поводу».

По самой своей жанровой специфике и бытовому предназначению карандашные портреты Кипренского камерны, интимны. Это, однако, не мешало быть им в то же время искусством большого нравственного смысла и высоких гражданских чувств. Г. Г. Поспелов хорошо показывает, что духовное общение с моделью открывало художнику человеческое достоинство как простое и естественное свойство лучших людей эпохи. Модели Кипренского далеки от какого-либо желания демонстрировать свои личные добродетели. В них нет и тени позерства. Их внутренняя свобода и независимость, душевная открытость и смелость — обычные, нормальные качества человека,

искренне стремящегося служить передовым общественным идеалам.

Подготавливая этот труд к печати, издательство хорошо почувствовало и художественное своеобразие материала, и отвечающий ему характер авторского текста, где спокойное академичное повествование местами приобретает лирическую окраску. Автор, редактор и оформитель книги сделали многое, чтобы бережно донести до читателя и зрителя поэтическое обаяние и высокую простоту одной из интереснейших эпох в истории русской культуры.

Г. Стернин.

★

БАРТОЛОМЕ ДЕ ЛАС КАСАС. История Индий. Серия «Литературные памятники». Перевод с испанского. Издание подготовили В. Л. Афанасьев, З. И. Плавский, Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов. «Наука». Л. 1968. 470 стр.

Три года назад по инициативе Всемирного Совета Мира отмечалось четырехсотлетие со дня смерти Бартоломе де Лас Касаса (1474—1566) — одного из первых обличителей колониального гнета, мужественного борца за свободу и равноправие туземного населения Латинской Америки. Юбилею Лас Касаса был посвящен сборник статей, подготовленный Институтом этнографии АН СССР¹. Ныне вышел в свет первый русский перевод знаменитого трактата Лас Касаса «История Индий», повествующего о захвате и покорении испанскими конкистадорами Центральной и Южной Америки.

Трактат Лас Касаса, написанный в начале XVI столетия, пролежал в архиве почти триста пятьдесят лет и напечатан впервые лишь в 1875 году. Однако его основные факты и мысли вошли в другой труд Лас Касаса — «Краткое донесение о разорении Индий», к сожалению, в настоящем издании опущенный.

Споры о Лас Касасе длятся более четырех столетий. Это споры о том, чем же была конкиста. Был ли это лишь бранный подвиг, в котором проявились лучшие стороны национального характера испанцев — отвага, самопожертвование, благородство, дух товарищества? Или же конкиста — это история злодейств и жестокостей, история гибели миллионов туземцев и уничтожения их древней и высокой культуры? Ответ на эти далеко не риторические вопросы и призван дать отчет очевидца, участника и историка конкисты Бартоломе де Лас Касаса. И его ответ ясен и точен, он вполне согласуется с объективными данными науки. Исследования П. Шоню, Л. Б. Симпсона, В. Бора и других показали, что если до завоевания земли испанской Америки были плотно заселены, на них проживало восемьдесят — сто миллионов человек, то к началу XIX века

население этих земель сократилось более чем в пять раз. Таков был демографический игог испанского владычества.

Горячий противник колониального гнета, Лас Касас был борцом за равенство людей всех рас. По словам основателя перуанской компартии Х. К. Мариатеги, в истории Латинской Америки не было такого деятельного и вдохновенного защитника туземцев, как автор «Истории Индий». Вот почему юбилей Лас Касаса и издание его трудов получают в наши дни столь большой резонанс.

Перевод выполнен квалифицированно, с должным уважением к своеобразному, неровному, образному языку автора. Хотя его делали несколько переводчиков (Д. П. Прицкер, А. М. Косс, З. И. Плавский, Р. А. Заубер), удалось достигнуть единства стиля. Но если вступительная статья В. Л. Афанасьева и послесловие З. И. Плавского и Г. В. Степанова написаны на высоком научном уровне, то этого, к сожалению, нельзя сказать о комментариях и указателях, в которых немало погрешностей и ошибок.

Так, в примечании 24 (стр. 450) францисканцы спутаны с доминиканцами, инквизиторами были последние. Комментарий заставил Маккавеев вести войну с римлянами, что, конечно, является новостью — они воевали против сирийского царя Антиоха, задолго до римского завоевания Сирии. Есть ошибки и в указателях. На странице 457 сообщается, что Карл V отрекся от престола в 1558 году вместо 1555 и 1556 годов, когда он отрекся вначале от престола Священной Римской империи, а затем и от испанского трона. Испанского короля Филиппа I Красивого указатель заставил умереть на год раньше, в 1505 году вместо 1506 (стр. 461).

Несмотря на эти и некоторые другие промахи и погрешности, издание трактата Лас Касаса, выдающегося литературного памятника XVI века, который и до сих пор не утратил значения боевого публицистического манифеста против колониализма и расизма, — радостное событие.

М. Коган.

★

ЮЛ. МЕДВЕДЕВ. Безмолвный фронт. «Советская Россия». М. 1969. 190 стр.

Как далеко зашла борьба двух крупнейших представителей живого мира — людей и насекомых, как опасна она для той и другой стороны, каковы разногласия по поводу средств ее ведения? — так определяется тема книги в предисловии.

Да, война ведется не на жизнь, а на смерть. Беспоощадная и бесконечная.

Причина ее? Чем больше людей на земле, тем больше надо еды, тем выше должны быть урожаи. Но чем выше они, тем сильнее размножаются и насекомые — расхитители урожая.

Это война за хлеб насущный. На ее безмолвном фронте используются все возмож-

¹ Бартоломе де Лас Касас. История завоевания Америки «Наука». М. 1966.

ные могучие смертоносные средства. «Малейшее ослабление обороны,—справедливо замечает автор,—и насекомые оставляют людей голодными». Ведь непрощенные сотрапезники отнимают от людей пятую часть урожая. В одних только амбарах вредители поргят и расхищают столько зерна, сколько хватило бы на пропитание 300 миллионов людей в течение года.

Незаметно, неслышно скапливаются полчища вредящих жучков, клещей, гусениц. За миллионы лет на них обрушивались все беды мира: нашествия ледников, извержения вулканов, землетрясения, образования гор, но они выдерживали все тяжкие испытания, которые не всегда выдерживал и человек. Не удивительно, что самые сильные яды не могли справиться с этим лютым врагом человечества.

Швейцарец Пауль Мюллер открыл универсальное средство против насекомых-вредителей, за что был удостоен Нобелевской премии. Химический залп ДДТ, казалось, сулил спасение человечеству—гибель его летающим, скачущим, ползущим врагам. Производство ДДТ росло год от года. Однако чуда не произошло.

Против прославленного препарата отовсюду стали поступать обвинительные материалы. ДДТ оказался не безвредным для человека, для птиц же и мелких зверьков просто губительным ядом. А за короткий срок препарат так распространился по земному шару, что присутствие его стали обнаруживать в рыбах, плавающих в высокогорных озерах, и даже у пингинов в Антарктиде, вовсе не причастных к преступлениям бабочки совки и жучка кузьки.

Так выигранное было сражение заставило победителей серьезно призадуматься.

Автор книги посвящает читателя в «тайны» безмолвного фронта, протянувшегося по всей нашей планете, описывает подробности введущих боев, рисует перспективы новых сражений.

Юл. Медведев, искусный популяризатор, умело ведет по запутанным лабиринтам науки, рассказывает просто о сложном, остро заинтересовывает проблемами, ждущими своего разрешения.

Важно и другое—книга «Безмолвный фронт» привлекает большой любовью к живой природе, убедительно призывает к бережному к ней отношению. И в этом ее несомненная ценность.

А. Таланов.



ДЖ. М. БАРРИ. Питер Пэн и Венди. Повесть-сказка. Перевод с английского Н. Демуровой. Стихи в переводе Д. Орловской. «Детская литература». М. 1988. 160 стр.

Просто поразительно, что ни мы, ни дети наши до сих пор не знали этой книжки. Ведь в Лондоне даже памятник поставлен ее главному герою—«вечному мальчишку» Питеру Пэну. А мы встречаемся с ней лишь

через пятьдесят семь лет после ее появления...

Жанр книги—повесть-сказка—указан вполне точно. Открывается она как веселая бытовая повесть. Мы знакомимся с небогатым английским семейством, где в качестве няньки не без успеха подвизается собака Нэна, с мистером Дарлингом, который «был очень умный и все понимал про акции и облигации», с его миловидной супругой, наконец, с его детьми Венди, Джоном и Майклом. Зато уж когда в этот дом прилетает Питер Пэн, начинается самая настоящая сказка...

Несмотря на странноватый вид («платье ему заменяли высохшие листья и березовый сок»), Питер довольно типичный герой зарубежных детских книг—прежде всего потому, что он упорно не хочет быть взрослым. Он убежал из дому «в тот самый день, когда родился», услышав, как родители рассуждают о том, кем он станет, когда вырастет. На острове Небывалом он возглавил компанию своих сверстников, тоже живущих—и неплохо живущих!—без родителей. Все эти мальчишки когда-то выпали из колясок, и никто не вспомнил о них и не потребовал их обратно. «Я помню про свою маму только одно,—вспоминает мальчишка по прозвищу Шутник.—Она часто говорила папе: «Ах, если бы у меня был собственный счет в банке!»

Слышать такое каждый день для ребенка нестерпимо. А в семье Дарлингов, между прочим, отец тоже день и ночь ведет подсчеты—хватит ли денег, чтобы прокормить детей? И что ж удивительного, что все трое юных Дарлингов легко поддались на уговоры Питера и улетели с ним!

Остров Небывалый—воплощение детской мечты. Тут есть нормально все, что может заинтересовать нормального, живого мальчишку: пираты, индейцы, феи, русалки, дикие звери... Для взрослых описание всего этого пародийно, дети же, вовлеченные в бурный водоворот событий, вряд ли это уловят, ибо для них каждое из этих событий ценно само по себе.

Питер Пэн, немотря на присущие его возрасту заносчивость и хвастливость, по настоящему благороден. Он никогда не падает на слабого, никогда не ударит противника, если тот уронил шпагу или находится в невыгодной позиции. Перед нами маленький рыцарь, если хотите—Дон Кихот, симпатии которого всегда на стороне обиженных и слабых. И читавшись в эту тоненькую книжечку, понимаешь, что автор ее не так-то прост, задача его отнюдь не исчерпывается увеселением юного читателя, хотя, казалось бы, Дж. М. Барри во всем идет ему навстречу.

Внешне благополучная концовка сказки по сути своей трагична. Вернувшаяся домой Венди выросла, и теперь «Питер для нее был все равно что пыль на дне старой коробки, в которой когда-то лежали ее игрушки». Да и летать она разучилась... Питеру горько видеть это, но стать боль-

шим он не может, да и не хочет. И тогда он улетает на остров Небывалый с дочерью Венди, Джейн. А потом, когда повзрослела и она, стал улетать уже с ее дочерью.

Эту сказку, которая, бесспорно, украсит круг чтения нашего юного читателя, прекрасно перевела Н. Демурова. Жаль только, что она выпущена тиражом всего в пятьдесят тысяч. Неужели издательство сомневалось в успехе этой книги у ребят?!

С. Сивоконь.

★

ВОПРОСЫ КИНОИСКУССТВА. Ежегодный историко-теоретический сборник. Вып. 11. «Наука». М. 1968. 230 стр.

Одиннадцатый выпуск «Вопросов киноискусства» отражает, как мне кажется, эволюцию, которая происходит с этим историко-теоретическим ежегодным изданием. По характеру, по самому принципу подачи материала, даже по своему оформлению (мягкая обложка, иллюстрированная кадрами из кинофильмов, множество иллюстраций в самом тексте, компактный, меньший, чем прежде, объем) оно становится все более интересным для широкого читателя.

Книга издана Академией наук совместно с Институтом истории искусств, однако в ее облике нет ничего от сухого академизма. Но это только одна сторона эволюции. В той степени, в какой заметно возрастающее стремление к доходчивости и живости изложения, в той же степени ощущим возрастающий интерес авторов и к точности анализа. Ни одна из работ в книге не сбивается на обзор и перечисление, хотя, ка-

залось бы, С. Фрейлих в статье о пятидесятилетнем пути советского кино и Ч. Айтматов в статье о развитии кинематографа в наших республиках за последние годы легко могли бы пойти по этому пути.

При всем разнообразии тем и предметов исследования, между статьями сборника есть связь и преемственность, есть объединяющая их общность взглядов. Именно поэтому в разных статьях встречаешься с единым и достаточно определенным отношением, скажем, к процессам, происходившим в киноискусстве первых послевоенных лет.

В каждой статье сборника, даже если она и посвящена уже известным вопросам, есть не только осмысление, но и переосмысление каких-то привычных категорий. Так, С. Юткевич справедливо советует обратить внимание на то, на что раньше обращать внимание считалось не обязательным — на довольно тонкие подчас методы воздействия на зрителя, какие использует буржуазное кино. А Ч. Айтматов не менее справедливо говорит о псевдонациональном характере многих «песенно-танцевальных» индийских картин, которые в недавнее время считались чуть ли не эталоном воплощения национальной темы. Может быть, наиболее неожиданной, хотя бы по самому материалу, покажется статья Н. Зоркой о Вере Холодной. При несомненной эмоциональности этой работы, в основе своей она отличается необходимой научной беспристрастностью. Здесь нет ни холодного отрицания, ни восторженного преклонения, а выяснено то подлинное место, какое занимала первая и последняя в России кинозвезда.

Л. Рошаль.



ПАМЯТИ К. И. ЧУКОВСКОГО

28 октября 1969 года умер выдающийся советский писатель лауреат Ленинской премии Корней Иванович Чуковский. Редакционная коллегия и весь коллектив «Нового мира» глубоко скорбят по случаю смерти старейшины советских литераторов, многолетнего друга и сотрудника нашего журнала.

* * *

Скончался Корней Иванович Чуковский, знаменитый критик, историк литературы, переводчик, поэт, один из самых своеобразных и значительных деятелей нашей культуры.

Сейчас, в первые дни после его кончины, писать о нем очень трудно, почти невозможно. Это — дело будущего, когда войдет в силу закон расстояния, когда совокупность знаний и впечатлений дополнит новыми страницами историю нашей литературы. Сейчас душой владеет не память, а чувство, и это чувство стремится к попытке постижения, а не познания.

Каков он был, этот писатель, известность которого напоминает своей сказочностью его же собственные сказки? Как создался вокруг него целый мир духовных ценностей, бесконечно разнообразный, оригинальный, привлечший внимание великого множества людей — от школьников до известнейших ученых? Как достиг он единства, нерасторжимо соединившего в нем и писателя и человека?

Смысл его жизни заключался в его поглощающей преданности литературе. С юных лет он пылко и навсегда влюбился в нее, и эта любовь нашла в его творчестве выражение, удивительное по своей разносторонности. Нечто подвижническое было в неустанности, непрерывности его работы. Но самому ему, конечно, показалась бы высокопарной такая оценка.

Литература была для Корнея Ивановича не деянием, а делом, воздухом, которым он дышал, повседневностью — единственной возможностью существования. Он писал медленно, обдумывая каждое слово, без конца возвращаясь к написанному, сопоставляя бесчисленные варианты. И вместе с тем он трудился весело, легко, с чувством счастья.

Литература была для него делом веселым, счастливым, легким — не потому, что легко написать хорошую книгу, а потому, что без легкости, без чувства счастья он не мог бы ее написать.

Вот почему он навсегда запомнится всем, кто знал его, человеком общительным, остроумным, громогласным собеседником, любящим и понимающим шутку. Но он был еще и воплощением одушевленной памяти, которая с величайшей свободой рисовала не беглые наброски, а целые картины.

Разговаривая, рассказывая, слушая собеседника (а Корней Иванович был восприимчивым, внимательным слушателем), он никогда не забывал о времени. Как все большие писатели, он знал, что такое «мерт-

вая хватка работы», прикованность к письменному столу, без которой ничего значительного написать невозможно.

Не только друзья или знакомые знали его раз и навсегда установленный распорядок рабочего дня. Можно было бы прибавить — и ночи. Он ложился рано и в шестом часу утра уже сидел за столом.

Он жил в шуме молодых голосов. Десятки писателей, среди которых можно назвать тех, кто нынче составляет стеновой хребет советской литературы, обратились впервые именно к нему — и он протянул им свою огромную добрую руку.

Доброта его была требовательная, беспощадная, отражавшая кристаллически-строгий, безошибочный вкус. Случалось и мне приносить ему рукописи, которые переписывались с первой до последней страницы после его пяти-шести почти на ходу оброненных слов.

В борьбе за чистоту и богатство русского языка он пускал в ход весь свой грозный арсенал — и насмешку, и яд сарказма, и едкую иронию критика, поседевшего в литературных боях. Каждые два-три года появлялись его статьи, направленные против канцеляризмов, пошлости, безграмотности, самодовольной тупости мешанства, — и это продолжалось десятилетиями, всю жизнь. И с такой же неутомимой последовательностью он приветствовал в литературе все новое, оригинальное, внушающее надежду.

Могло показаться, что, работая над мемуарами, историко-литературными сочинениями, переводами, он жил как бы в некотором отдалении от нашей литературной жизни. Это было бы ошибочное впечатление. Он всегда держал руку на пульсе литературы. И, может быть, самое поразительное заключалось в том, что, живо интересуясь нашими делами, дискуссиями, литературной борьбой, сегодняшним днем, он никогда не забывал об историческом значении русской литературы. Он был единственным среди нас обладателем необъятного опыта, и его мудрые всепонимающие глаза смотрели пронизательно-зорко.

Понимание современности, живое, беспрестанное участие в ней удивительным образом соединялось в нем с чувством «вечности» нашей литературы, идущей своим особым путем почти десять столетий.

Разумеется, чтобы понять этот путь, надо было стать знатоком и мировой литературы — и он стал им.

Широко известно, что Корней Иванович был, одним из основателей нашей детской поэзии, что без «Крокодила», «Тараканища», «Мойдодыра» ее вообразить невозможно. Это бесценное дело удалось ему потому, что он первый с высоты своего огромного роста наклонился к ребенку и прислушался к его речи, проник в сущность его интересов. Он понял, что дети должны как бы сами писать для себя, потому что книги взрослых, написанные вне этого открытия, проносятся мимо детского сознания. В нем самом навсегда осталось что-то детское — вот почему ему удалось заговорить с детьми на их собственном языке. Он как на сцене разыгрывал перед детьми их же собственный мир. Вот почему его детские книги не стареют — и никогда не состарятся. Через детство проходят все, а детство и книги Корнея Ивановича нерастают.

Мы расстались с удивительным человеком. Мы привыкли к нему за десятилетия. Это была крупно прожитая жизнь. Он словно задался целью опровергнуть пушкинский упрек: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Избаловав нас своей жизнерадостностью, отзывчивостью, всегдашностью, он унес с собой неопределимо важную часть нашей жизни.

В. Каверин.



ОТ РЕДАКЦИИ

Когда номер журнала был уже сверстан, стало известно о присуждении Государственных премий СССР 1969 года большой группе деятелей науки и техники, литературы, искусства, архитектуры. Редакция «Нового мира» особенно рада поздравить украинского поэта Андрея Самойловича Малышко, удостоенного Государственной премии СССР за цикл стихов «Дорога под яворами» из одноименной книги стихов, и члена-корреспондента Академии наук СССР Дмитрия Сергеевича Лихачева — за книгу «Поэтика древнерусской литературы», выдвинутую на соискание премии редколлегией «Нового мира».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Бухвальд. Это Америка... Сборник фельетонов. 319 стр. Цена 90 к.

И. Бычко. Познание и свобода. 215 стр. Цена 23 к.

Р. Мавлотов. Ислам. 159 стр. Цена 22 к.
У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Изд. 2-е. 478 стр. Цена 1 р. 29 к.

Р. Хигерович. Младший брат. Документальная повесть о Д. И. Ульянове. 175 стр. Цена 20 к.

«МЫСЛЬ»

В. И. Ленин. Об атеизме, религии и церкви (Сборник статей, писем и других материалов). 317 стр. Цена 84 к.

Анонимные атеистические трактаты. Переводы. 335 стр. Цена 1 р. 53 к.

В. Асмус. Платон. 277 стр. Цена 24 к.
А. Горфункель. Томмазо Кампанелла. 247 стр. Цена 25 к.

А. Левин. Социально-экономические проблемы развития спроса населения в СССР. 253 стр. Цена 82 к.

Моделирование психической деятельности. Коллектив авторов. 384 стр. Цена 1 р. 49 к.

Рабочий класс и развитие сельского хозяйства СССР. Сборник статей. 247 стр. Цена 82 к.

«ЭКОНОМИКА»

Т. Дурманова. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней. 77 стр. Цена 24 к.

Г. Пописанов. Современный этап экономического сотрудничества НРВ и СССР. Сокращенный перевод с болгарского. 111 стр. Цена 18 к.

А. Рубин. Организация управления промышленностью в СССР (1917—1967 гг.). 236 стр. Цена 87 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Искандер. Летний лес. Стихи. 102 стр. Цена 32 к.

Н. Капиева. Жизнь, прожитая набепо. О творчестве Э. Капиева. 280 стр. Цена 86 к.

Ю. Куранов. Облачный ветер. Повесть. 216 стр. Цена 47 к.

А. Макаров. Поэзия. Идущие вослед. Полемика. Сборник статей. Вступительная статья К. Симонова. 927 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Медников. Открытый счет. Роман. 295 стр. Цена 59 к.

Л. Мигдалова. Прикосновение. Стихи. 134 стр. Цена 31 к.

А. Минчовский. Мы еще встретимся. Три повести. 440 стр. Цена 83 к.

И. Мятлев. Стихотворения — Сенсации и замечания госпожи Курдюковой. Вступительная статья и составление Н. Коварского («Библиотека поэта»). 647 стр. Цена 1 р. 32 к.

М. Никулин. Звезды нужны живым. Повести и рассказы. 655 стр. Цена 1 р. 17 к.

М. Рауд. Золотая осень. Книга стихов. Перевод с эстонского. 111 стр. Цена 38 к.

В. Рошка. Встреча с любовью. Рассказы. Перевод с молдавского К. Ковальджи. 351 стр. Цена 43 к.

Ю. Сбитнев. Своя земля и в горсти мила. Повести. 326 стр. Цена 31 к.

Стихотворная сатира первой русской революции (1905—1907). Вступительная статья А. Нинова («Библиотека поэта»). 719 стр. Цена 1 р. 51 к.

Н. Тихонов. Двойная радуга. Новеллы-воспоминания. 485 стр. Цена 1 р. 1 к.

Д. Хренков. Александр Гитович. Литературный портрет. 176 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Американские поэты. Переводы М. Зенкевича. 285 стр. Цена 92 к.

Вчера и сегодня. Сборник рассказов писателей ГДР. Перевод с немецкого. 350 стр. Цена 93 к.

Габровские шутки. Сборник. Перевод с болгарского С. Озеровой. Вступительное слово Г. Гулиа. 61 стр. Цена 1 р.

К. Занднер. Ночь без милости. Роман. Перевод с немецкого. 143 стр. Цена 37 к.

Д. Зигмонте. Дети и деревья тянутся к солнцу. Роман. Перевод с латышского. Предисловие А. Бочарова. 296 стр. Цена 65 к.

Г. Клейст. Драммы. Новеллы. Перевод с немецкого. Вступительная статья Р. Самарина. 623 стр. Цена 1 р. 55 к.

Медресе любви. Персидская народная поэзия. Переводы Н. Гребнева. 175 стр. Цена 15 к.

Ш. Петефи. Любовь и свобода. Перевод с венгерского. Составление А. Кун. Предисловие А. Гидаша. 27 стр. Цена 2 р.

Н. Погодин. Человек с ружьем. — Кремлевские куранты. — Третья патетическая. Трилогия. 207 стр. Цена 76 к.

Поэзия и дружба. Сборник стихов советских и болгарских поэтов. Составители Л. Озеров и Х. Радевский. 101 стр. Цена 70 к.

Пою мое Отечество. Избранные произведения советской поэзии. В 2-х томах. Вступительная статья А. Суркова. Том 1, 567 стр., цена 2 р. 11 к.; том 2, 479 стр., цена 1 р. 89 к.

М. Пришвин. Незабудки. Составление, подготовка текста и вступительная статья В. Пришвиной. 303 стр. Цена 60 к.

М. Пуйманова. Игра с огнем. Роман. Перевод с чешского Н. Аросевой и В. Чешихиной. Последействие Н. Бернштейн. 287 стр. Цена 98 к.

Л. Разгон. В. Ян. Критико-биографический очерк. 183 стр. Цена 39 к.

А. Рыбанов. Повести. Вступительная статья Е. Стариковой. 623 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. Слуцкий. Память. Стихи. 1944—1968. Вступительная статья Л. Лазарева. 287 стр. Цена 77 к.

М. Слонимский. Собрание сочинений. В 4-х томах. Предисловие Д. Гранина. Том I. Рассказы. 1921—1926. — Лавровы. Роман. 504 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ю. Смолич. Они не прошли. Роман. Перевод с украинского. 368 стр. Цена 86 к.

Л. Татьяничева. Стихотворения. 253 стр. Цена 63 к.
А. Фадеев. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Вступительная статья В. Озерова. Том I. Разгром — Повести и рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Э. Витторини. Люди и нелюди. Роман. Перевод с итальянского. Послесловие Ц. Кин. 207 стр. Цена 51 к.
М. Дудин. Время. Стихотворения. 1964—1967. 255 стр. Цена 80 к.
С. Крутилин. Подснежники. Роман. 431 стр. Цена 78 к.
Д. Кьюсан. Солнце — это еще не все. Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 1 р. 8 к.
А. Леви. Записки Серого Волка. Предисловие М. Шагинян. 239 стр. Цена 32 к.
М. Слуцнис. Адамово яблоко. Роман. Перевод с литовского. 350 стр. Цена 67 к.

«ИСКУССТВО»

Ж. Ануй. Пьесы. В 2-х томах. Том 2 Колomba. Жаворонок. Орнифль, или Сквозной ветерок. Томас Бенет. Подвал. Перевод с французского. Послесловие Л. Зониной. 632 стр. Цена 1 р. 78 к.
Ж. Беккер. Высказывания. Фильмы. Составление и вступительная статья И. Соловьевой. 208 стр. Цена 77 к.
Л. Жорин. Декабристы. Трагедия 62 стр. Цена 19 к.
А. Свободин. Народовольцы. Драматическая хроника в 2-х ч. 70 стр. Цена 23 к.
Сказна в творчестве русских художников. Альбом. Автор текста и составитель Н. Шагина. 135 стр. Цена 1 р. 90 к.
Э. Смирнова. По берегам Онежского озера («Дороги к прекрасному»). 135 стр. Цена 40 к.
А. Тиц. По окраинным землям Владимирским (Вязники, Мстера, Гороховец) («Дороги к прекрасному»). 143 стр. Цена 47 к.

«НАУКА»

В. Алексеев. Происхождение народов Восточной Европы. 324 стр. Цена 1 р. 97 к.
С. Волн. Карл Маркс и русские общественные деятели. 216 стр. Цена 76 к.

М. К. Ганди. Моя жизнь. Перевод с английского. 612 стр. Цена 2 р. 51 к.
Б. Кафенгауз. Древний Псков. Очерки по истории феодальной республики. 135 стр. Цена 45 к.
А. Черных. В. И. Ленин — историк пролетарской революции в России. 333 стр. Цена 1 р. 73 к.
М. Шейнман. Христианский социализм. История и идеология. 317 стр. Цена 96 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Астафьев. Повести. 528 стр. Цена 1 р. 10 к.
М. Львов. Раздумья в пути. Стихи. 144 стр. Цена 50 к.
Ю. Трифонов. Пепка с большим козырьком. Рассказы. 272 стр. Цена 63 к.
Э. Шим. Ваня песенки поет. Рассказы и повесть. 272 стр. Цена 62 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Воронов. Женское счастье. Повести и рассказы. Пермь. Книжное издательство. 215 стр. Цена 52 к.
В. Касаткина. Поэтическое мировоззрение Ф. Тютчева. Саратов. Издательство Саратовского университета. 256 стр. Цена 62 к.
С. Кожевников. Мы собирали янтарные зерна. Повесть об одном путешествии. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 173 стр. Цена 22 к.
А. Куприн. О литературе. Составитель Ф. Кулешов. Минск. Издательство Белорусского университета. 455 стр. Цена 1 р. 9 к.
Л. Латьева. Цветные сны. Повесть. Кишинев «Карта молдовеняскэ». 126 стр. Цена 14 к.
И. Машбиц-Веров. Русский символизм и путь Александра Блока. Куйбышев. Книжное издательство. 349 стр. Цена 1 р.
Очерки истории советской литературы Карелии. Ответственные редакторы Э. Карху и Н. Надъярных. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 375 стр. Цена 1 р. 68 к.
Г. Троепольский. В камышах. Повесть. Рассказы. Воронеж. Центральное-Черноземное книжное издательство. 412 стр. Цена 84 к.
Ф. Шаляпин. Повести о жизни. Страницы из моей жизни. Маска и душа. Пермь. Книжное издательство. 371 стр. Цена 2 р. 14 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/VIII 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/XI 1969 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 10837. Зак. 3000. Тираж 126.900 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636